

Виктор
ВУЧЕТИЧ

ПЕРЕДАЙТЕ
В

Виктор
ВУЧЕТИЧ

ПЕРЕДАЙТЕ
В
ЦЕНТР

ПОВЕСТИ

МОСКВА
«СОВРЕМЕНИК»
1988

ББК84Р7
В90

Рецензент
Ю. МАСЛОВ

Художественное оформление
Р. СУРВИЛЛО

Вучетич В. Е.

В90 Передайте в «Центр»: Повести/Худож. Р. Сурвилло. — М.: Современник, 1988. — 464 с., илл. — (Новинки «Современника»).

В сборник Виктора Вучетича вошли две повести. Первая, «Мой друг Сибирцев», рассказывает о борьбе чекистов с контрреволюцией в годы гражданской войны. Главный герой повести, молодой чекист Михаил Сибирцев — непоколебимый большевик, храбрый воин, беззаветно преданный идеалам Октября.

Действие повести «Следователь особого отдела» разворачивается на Смоленщине в 1943 году. Большую и опасную работу ведут чекисты по обеспечению крупной наступательной операции советских войск...

Сборник приурочен к 70-летию создания Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).

В $\frac{4702010200-163}{M106(03)-88}$ 41—88

ББК84Р7

ISBN 5-270-00034-2

МОЙ ДРУГ СИБИРЦЕВ

Глава I

1

Верхнеудинск — маленький городок. Со всех сторон его окружают сопки, одетые хвойным лесом. Нынче, накануне рождества, трескучие морозы сковали своенравную Селенгу, намели метели высокие снега, утопили в сугробах одноэтажные дома, дворы, обнесенные двухметровыми оградами из лиственничных плах, амбары, сараи, пристанционные постройки и железнодорожные пути.

Солнце, уходя за сопки, в последний раз облило стылым огнем сизые шапки изб, бревенчатые стены, коротко сверкнуло в маленьких оконцах и угасло. Мгла окутала городок.

В эту пору по накатанной ленте Селенги, вдоль Баргузинского тракта, мелко трусила запряженная в сани низкорослая бурятская лошадка. Груз казался велик для нее: двое широкоплечих, кряжистых ездоков, горбящихся под заиндевелой медвежьей полостью, и обложенный сеном узкий длинный ящик, конец которого высывался из саней. Но лошадка привычно тянула свою поклажу. В виду городка она прибавила рыси. В морозном тумане, спустившемся в долину реки, глуше стали равномерный перестук копыт и скрип полозьев; заворочались, покряхтывая от долгого сидения, ездоки, выбрались из саней и торопливо зашагали рядом, шумно вдыхая сладковатый печной дым, подталкивая сани и помогая лошади подняться по береговому откосу в узкую улицу.

Сбивая сугробы, тесно обступившие проезжую часть, путники выбрались к железнодорожной станции и въехали в товарный двор, исполосованный санными колеями, прирушенный сеном и покрытый черными пятнами мазута. Остановились под навесом пакгауза, огляделись. Двор был пустынным.

— Никого вроде... — сипло сказал один из путников. —

Я пойду, дед. — Он помолчал, вздохнул. — Может, у нас заночуешь? Лошадь укроем...

— Нет, Олеха, — медленно заговорил второй. — Ни к чему это. Есть у меня знакомый... Полукровка он, но обычаи нашей веры соблюдает, да. У него остановлюсь. Рождество Христово встречу, к заутрене схожу. А там и обратно. Ступай, Олеха, — лошадь застынет.

Алексей Сотников, или Олеха, как звал его старик Лешаков, постоял еще чуть, покивал утвердительно и пошел в глубь двора. Он отсутствовал долго. За это время Лешаков на ощупь проверил упряжь, стряхнул игольчатый иней с мохнатой спины лошади и, ласково потрепав ее по холке, скормил малую горбушку хлеба.

Наконец невдалеке показались силуэты четверых мужчин. Лешаков поспешно отступил во тьму навеса, соображая, что, хотя Олеха привел своих людей, все же лучше, чтоб было меньше лишних глаз да языков. Береженного и бог бережет, особенно в такое смутное время.

— Мы это, — услышал он голос Олехи и легонько кашлянул в рукавицу.

Похрустывая валенками, четверо подошли к саням, разгребли сено, приподняли ящик и поставили его поперек саней. Алексей разглядел старика, шагнул к нему, сказал вполголоса:

— Спасибо тебе, дед...

— Дак пошто благодаришь-то? Все мы православные, все под ним ходим. Прощай, Олеха. В случае чего, помни разговор. Поеду, мне не след задерживаться.

Алексей вынул ладонь из рукавицы, сжал дедово плечо и, повернувшись к своим, негромко сказал:

— Поднимай.

И подставил свое плечо под узкий и длинный ящик.

Лешаков посмотрел вслед уходящим, не снимая рукавицы, перекрестил их и подхватил вожжи. Лошадь дернула сани...

Они медленно несли ящик мимо сараев и пакгаузов, вышли на железнодорожные пути и, перешагивая через замеченные снегом рельсы и стрелки, направились туда, где гукал и посапывал маневровый. Возле одного из товарных вагонов их встретил хрипло и натужно кашлявший мужик в длинной, до пят, дохе. Ни слова не говоря, он откатил в сторону дверь вагона и, когда ящик опустили на пол и придвинули к стенке, закрыл дверь и опломбировал ее.

Сибирцев проснулся сразу, будто его кто толкнул. Откинул жаркий овчинный полушубок, вытер ладонью испарину на лбу и висках. В закутке, за печкой, где стоял его топчан, было темно и душно.

Он потянулся к столу, нашаривая спички; наткнулся на твердую кобуру маузера, опрокинул ненароком консервную жестянку, служившую ему пепельницей, и, наконец, нащупал жирный бок керосиновой лампы. Свет зажженной спички резанул по глазам. Сощурившись, Сибирцев подкрутил коптящий фитилек лампы и щелкнул крышкой «Павла Бурэ». Четверть пятого. Это значит, он вовсе не спал. Короткое пятиминутное забытие.

Спустив ноги с топчана и ощущая голыми ступнями тонкие струйки холода, сочившиеся по-над полом, он достал из кармана кожаной тужурки кисет, оторвал от газеты узкую полоску и стал неуверенными пальцами сворачивать самокрутку, размышляя при этом, какая причина вышибла из сна его, усталого, не спавшего толком уже несколько ночей подряд. Причины вроде бы не было. Но она была — не могла не быть.

Пристально разглядывая подрагивающий огонь лампы, Сибирцев посплюнывал самокрутку, набитую крепчайшим хозяйским самосадом, и машинально оттягивал первую затяжку, словно бы не готов был еще закурить... А мысли текли. О чем? О службе? Пожалуй, нет. Она была привычной. Другой Сибирцев, по сути, и не знал. Как началось в восемнадцатом, так и по сей день. Вот уж два года, считай... Последние месяцы, по возвращении в Иркутск, стало вроде бы поспокойней. Вроде бы. Потому что среди своих.

Сибирцев приподнялся, потянулся самокруткой к надколотому стеклу лампы и, втянув щеки, прикурил. Тронул ладонью подбородок и подумал, что надо бы побриться, но подумал вяло, как о постороннем. Он задохнулся и со всхлипом закашлялся. И тут же услышал, как на печи закрихтел, заворочался под жестким тулупом хозяин дома Семен Каллистратович.

— А? Чего?.. — забормотал он сонно. — Слышь, Лександрыч, случилось чего? А?

Сибирцев усмехнулся: «Случилось... Ни днем ни ночью нет старику покоя. Нашел постояльца на свою голову».

— Спи, дядя Семен. Рано еще. Пяти нет. Просто покурить захотелось. Спи.

— А-а, — глухо вздохнул хозяин, — а я уж подумал чего...

И в этот миг сквозь толстые стены и наглухо запертые ставни донесся до Сибирцева визг кольца по тугой проволоке, протянутой наискось через двор, а следом свирепый рык и басистый гулкий лай старого кобеля Бурана. Совсем уже старого. Так, видимость одна, что сторожит.

«Вот и случилось», — мельком подумал Сибирцев, вслушавшись в наружные звуки. Крепко, видно, прихватил мороз.

В ворота громко застучали чем-то железным, вероятно рукояткой нагана. Звук был отрывистым и нервным. Спокойно, будто давно ждал этого стука, Сибирцев размышлял, кто бы это мог быть. Мизинцем стряхнул пепел в банку, еще разок затянулся и пригасил окурок.

«Небось Шумков», — решил он. Все-то нервничает, спешит, словно оправдывает свою фамилию. Трудно ему в милиции. Тут нервозность — гроб с крышкой.

Сибирцев понимал, конечно, что все это у Шумкова от возраста, от молодости. Себя он молодым не считал, хотя и был всего на пять лет старше. Но в эти его пять лет вошли война, революция и снова война.

Однако что-то действительно случилось. Не стал бы его Евстигнеев будить. Пожалел бы.

Заскрипела, застонала лесенка, приставленная к печи. Простуженно кашляя и неразборчиво матерясь, с печи спускался хозяин.

— Погоди, дядя Семен, — позвал Сибирцев, — я сам встречу.

— Сам, сам, — бормотал хозяин. Он шлепал босыми ногами по полу, шумно отыскивал в темноте катанки, сердито сморкался. — И чего им, к черту, не спится?.. Ты вот собирайся давай. Портки-то надень, не за мной, поди, пришли...

Хлопнула дверь, и Сибирцев вздрогнул, почуяв морозную струю воздуха, хлестнувшую по пяткам. Быстро одеваясь, он услышал сердитый окрик хозяина, и Буран вмиг смолк, полагая, что честно отработал свою кормежку. Потом загремели засовы, пронзительно завизжали петли отворяемой калитки и раздались быстрые, хрупающие шаги. Забухали сапоги в холодных сенях — это пришедший сбил снег, много его нынче в Иркутске. Снова хлопнула дверь, впустив клубы ледяного пара, и вошли хозяин с Шумковым, закутанным до глаз в желтый башлык.

— Ждраштуйте, Михаил Александрович, — с трудом проговорил Шумков, обеими руками оттягивая край башлыка, застекленевшего на морозе, — шичаш... — С трудом развязал узел, откинул концы башлыка на спину и тяжело сел на лавку.

— Здоров, — с легкой иронией отозвался Сибирцев. — Чего это ты, брат, расшумелся, а? Всю, понимаешь, улицу согнал с печи, всех соседей переполошил. Опять небось говорят, в милиции чепе, коли среди ночи своих собирают.

— Виноват, Михаил Александрович, бежал, — с готовностью подтвердил Шумков, но видно было, что нисколько он себя виноватым не считает, хотя бежал — это точно. — Товарищ Евстигнеев велел передать срочно явиться. Серьезная беда, Михаил Александрович.

— Что за беда? — отрывисто бросил Сибирцев и поднес лампу к самому лицу Шумкова. — Говори, можно, — он кивнул в сторону хозяина.

Шумков поморгал ресницами и шмыгнул носом.

— Творогова привезли, — сказал он наконец.

— Как привезли? В каком смысле привезли? — Сибирцев вонзил взгляд в Шумкова, и тот отвел глаза.

— В гробу привезли... Сотников...

— И Сотников? — воскликнул Сибирцев.

— Нет, Сотников привез, — поправился Шумков, снова шмыгнул носом и утерся рукавом худой своей шубейки.

«Совсем мальчишка, — глядя на него, тоскливо подумал Сибирцев и тяжело опустился на лавку. — Как же так? Что ж это ты, Творогов?..»

Замерла огромная, во всю стену, тень хозяина. Сибирцев смотрел на нее и тщетно старался поймать какой-то ускользающий вопрос, какую-то важную мысль.

— Нынче привезли, — снова заговорил Шумков. — Вот как вы ушли... Товарищ Евстигнеев велел дать вам маленько поспать, а теперь вот, значит, послал.

Сибирцев нагнулся, стал шарить под лавкой. Шевельнулся хозяин, достал из припечка сапоги с обернутыми вокруг голенищ портянками, подал Сибирцеву.

— На-ко, Лександрыч. Я их тут поставил. Теплые.

Сибирцев кивнул благодаря, начал закручивать портянки, натянул сапоги. Медленно прошел в свой закуток, надел куртку, сунул в карман кисет и спички, перекинул через плечо ремень маузера. Вернувшись, увидел запавшие скорбные глаза хозяина.

— Вишь, какая беда, дядя Семен...

Хозяин участливо покивал, спросил:

— Может, хоть пожуете чего? Надолго, поди?

— Да ведь кто знает...

— Тады погоду малость, — заторопился он и загремел печной заслонкой. — Эх ты, горе, ши-то мы с тобой, почи-тай, выхлебали. Картохи вот есть. Теплые. Сальца сейчас отрублю... — он зашлепал к двери.

— Голодный небось, — не столько спросил, сколько подтвердил Сибирцев, услышав, как сглотнул слюну Шумков. — Давай-ка, брат, подкрепись. Знатное у деда сало... Что случилось — того не воротишь. А чтоб голова варила, ее кормить нужно. Садись к столу. Шубу-то брось.

Сибирцев подвинул Шумкову пяток картофелин, сваренных в мундире, деревянную солонку, а сам, достав кисет, начал сворачивать новую сигарку, прикурил от лампы. Возвратился хозяин с куском замерзшего сала в сверкающих крупцах темной соли. Хорошее сало, с прожилками мяса. Хозяин нарезал его толстыми ломтями, посунул на середину стола.

— Поел бы, Лександрыч.

— Спасибо, дядя Семен. Я уже сбил аппетит. Давай, Шумков, нажимай, брат.

Шумков деликатно очищал кожуру, двумя пальцами присыпал картофелину солью и тут же запихивал ее в рот целиком. Голод брал свое, какая уж тут интеллигентность. Он жевал, откусывал сало, жирным пальцем утирал хлюпающий нос, и глаза его — видел Сибирцев — так и норовили закрыться в истоме.

«Их-то за что? — возник наконец все тот же немой вопрос. — Павел ведь ровесник этому губошлепу. Тоже мальчишка был. Уже был...»

Многое видел Сибирцев. Сердце, бывало, рвалось на части от жалости, а то от ненависти. Но больше всего боялся он увидеть трупы расстрелянных, замученных мальчишек. Срыва боялся. А сорваться никак было нельзя. Работа была такая. Да, многое он видел, в конце концов, понимал, что всегда присутствовала в его профессии некая железная необходимость. Но ведь это для него. Для него! А они-то — мальчишки. Их-то за что?..

Самосад показался горьким, от него першило в горле, стоял жесткий ком, и никак его невозможно было проглотить.

Хозяин неслышно двигался по избе, шебаршил чем-то, бормотал под нос.

Сибирцев встал. Немедленно поднялся и Шумков, взглянул виновато.

— Дядя Семен, дай ему клок газеты... Заверни остатки да возьми с собой, — сказал Сибирцев Шумкову. — Там до-
еешь... Идти надо, дядя Семен, ты уж прости, служба такая.

— Да что служба, — бормотал хозяин. — Я ить службу понимаю. Идите, сынки, с богом. Берегите себя. Ты, Лександрыч, того... особо не того... Не подставляйся. Пуля, она не понимает. Я-то знаю. Ну, Христос с вами...

3

Кабинет начальника губернской милиции Евстигнеева был тесным и низким. Собственно, это был временный кабинет. Постоянным помещением милиция еще не разжилась. Здание старое и сырое, бывшая контора складских помещений, и эта комнатка с единственным забраным решеткой окном была, по сути, тоже единственным местом, где усталые милиционеры могли отогреться. Половину кабинета занимал диковинный, под зеленым сукном стол, черт-те как попавший в это строгое учреждение. Сбитые его края, мощные формы и витые фигуристые ноги определенно указывали на бильярдное происхождение. На этом столе по очереди спали дежурные. Помимо него в кабинете находилась гордость всей милиции — настоящая чугунная с литыми узорными дверцами «буржуйка». Она стояла у окна на железном листе, и на ее раскаленных докрасна конфорках постоянно шумел чайник. Тускло светила под потолком электрическая лампочка.

Евстигнеев — худой, болезненный мужчина, в застиранном старом френче, поверх которого он постоянно носил меховую душегрейку, шаркал подшитыми валенками, маяча от стола к окну. Увидев вошедшего Сибирцева, он молча кивнул и жестом пригласил садиться. Сибирцев сбросил на стул полушубок и шапку, сел на соседний. Сунув руки в карманы широких галифе и зябко подергивая плечами, Евстигнеев продолжал толочься в узком пространстве, поглядывая то на телефонный аппарат на дальнем конце стола, то на закипающий чайник.

Среди бумаг на столе, до которых Евстигнеев был небольшой охотник, стояла загодя приготовленная кружка со щепотью сушеного брусничного листа. Когда чайник наконец закипел, Евстигнеев ловко подхватил его и быстро

залил кружку кипятком, помешал черенком столовой ложки и прикрыл надколотым блюдцем, чтоб настоялось. Взглянул вопросительно на Сибирцева; тот, отказываясь, качнул головой и потянулся за кисетом. Тогда Евстигнеев наклонил, как бык, свою лобастую лысеющую голову, подошел в упор к Сибирцеву и скрипучим голосом произнес:

— Его сейчас Шильдер осматривает. Составляет протокол. — Он вздохнул, отошел к столу. — Взглянешь сам потом?

Сибирцев кивнул.

— Всё бумаги, — снова проскрипел Евстигнеев и приподнял блюдечко. — Человек погиб, а им бумаги...

— Кому им? — Сибирцев поднял голову.

— Нам, — вяло отмахнулся Евстигнеев. — Видел я его... Страшной смертью погиб Павел. На-ко вот, — он протянул Сибирцеву несколько листов, плотно исписанных расплывчатыми чернилами. — Сотников это. Я велел, чтоб самым подробным образом. Все факты, и никаких фантазий. А дальше — мои соображения.

Сибирцев прошел за стол Евстигнеева, потеснив его к окну, раздвинул бумаги и положил перед собой листки. Сел, сжав ладонями виски, начал читать. А потом вдруг задумался, пристально глядя куда-то поверх бумаг. За сухими, грамотными фразами показаний Сотникова он снова увидел многомесячную мрачную и кровавую историю колчаковского исхода в Сибири...

События, о которых невольно вспомнилось сейчас, разворачивались еще в апреле восемнадцатого, когда во Владивостоке высадились десанты японцев, а позже — американцев и англичан. Тогда же в Харбине, при штабе главноначальствующего в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги¹ Дмитрия Леонидовича Хорвата — «длиннобородого харбинского Улисса» — как тайком звали его подчиненные — появился недавно вернувшийся с германского фронта бывший прапорщик Михаил Сибирцев. Хоть в чинах он был невысоких, зато фронтовая закалка: такие скоро становились штабс-капитанами, а то и полковниками. Именно здесь, под негласным покровительством и на денежные субсидии Хорвата и, кстати, с помощью оружия, которое от имени главы японской миссии в Харбине генерала Накашимы доставлял полковник Куроки, форми-

¹ Речь идет о части территории вдоль КВЖД, принадлежащей России.

ровались отряды спасителей родины под главенством Семенова, Орлова и других. Для этих вольных атаманов не существовало никаких законов, и слушались они лишь тех, кто давал деньги. А контр-адмирал Колчак, только что приплывший из Сингапура, был назначен для начала членом правления КВЖД и, видимо, еще не совсем четко представлял себе судьбу, уготовленную ему английскими союзниками. В общем, то были дни всеобщего помешательства на идее реванша, скорого и жестокого, отождествляемого со спасением России. Сибирцев запомнил эти слова, сказанные знакомым штабным офицером из окружения Хорвата; они потом сошлись накоротке, и странным показался Сибирцеву этот поручик, польский князь, невеста за какие грехи заброшенный сюда от далекой своей ясновельможной. Но в какой связи вспомнился этот офицер? Ах да, это он отослал Сибирцеву письмо, передал с оказией, — очень осторожное письмо, хорошо, что в эту пору был еще Сибирцев вне зоркого ока семеновской контрразведки. Дорого могло бы оно обойтись. Так вот, писал он Сибирцеву на станцию Маньчжурия: «...а штабные должности у нас, дорогой Мишель, нынче переполнены, и всюду еще толпы прикомандированных. Я спросил давеча опору нашего всероссийского правительства, полковника Маковкина, — вы должны помнить его, Мишель: смутьян и бабник, — зачем же так-то раздуваются штаты? Знаете, что он ответил? «Сие нужно для флага и для получения содержания: надо же как-нибудь кормиться». Нагл, да хоть откровенен... Все харбинское начальство обзавелось стадами личных адъютантов, по городу носятся автомобили с супругами, содержанками и ординарцами высшего начальства и всяческих кандидатов в атаманы. Семенов завел себе атаманшу из харбинских шансонеток и на днях преподнес ей кольцо в 40 тысяч рублей. И уже вовсе новость: появились «кузины» милосердия. В штабах теперь порхают для красочности, поднятия фантазии и настроения многочисленные машинистки с голенькими ручками. Мы же помним, что Наполеон проиграл Бородино оттого, что отяжелел, и потому заранее обеспечиваем себе легкость мысли... Ах, милый друг, ей-богу, настроение такое, что будь деньги, попробовал бы пробраться на Дон...»

Вот как начинали. А через два года они мчались назад, из России, крали все, что могли украсть, что можно было поднять и погрузить в вагоны. Союзники спешно покидали Колчака, окончательно убедившись, что его карта

бита. И среди этого, поистине вавилонского столпотворения удиравших завоевателей, теснимые и отгоняемые на запасные пути, медленно двигались из Омска к Иркутску два поезда «верховного правителя России», теперь уже «полного адмирала» Колчака. Сам «верховный», накинув на плечи серую солдатскую шинель, стоял у окна своего салона и смотрел, как мимо на большой скорости проскакивали составы, битком набитые российским добром. Плыли печальные аккорды старого романса: «...умру ли я, ты над могилою гори, гори, моя звезда...», мелькали в памяти пятнадцать месяцев упоения властью и славой под бело-зеленым знаменем, символизирующим снега и леса Сибири. Пятнадцать месяцев... Много это или мало?.. Нет, он еще не верил в свое поражение, он на что-то рассчитывал. Может быть, на верность союзников своему слову.

«...Про нашего адмирала говорят, — писал Сибирцеву в том письме поручик, — что он вспыльчив, груб в выражениях и как будто предан алкоголю. Человек с норовом, до полной неуравновешенности и взбалмошности. Но расклад таков, милый Мишель, что на эту серую лошадку наши партнеры, кажется, делают ставку. А великолепный Улисс все танцует какой-то чрезвычайно пестрый танец и, судя по всему, уже уходит в тень. Что-то будет?..»

А случилось то, что и должно было быть. Рабочий класс и партизаны Сибири предъявили союзным миссиям требование: либо выдача Колчака и золотого запаса России, который увозил с собой «верховный» под усиленной охраной, либо взрыв туннелей Круго-Байкальской железной дороги. И уж тогда ни один эшелон не покинет Иркутска. Решение союзников было единогласным и абсолютно логичным. Ввиду бесперспективности дальнейшего продолжения совместной борьбы передать представителям Советской власти Иркутска адмирала Колчака и вместе с ним председателя совета министров Пепеляева, нет, не Анатолия Пепеляева, лихого генерала, дошедшего в восемнадцатом от Сибири до Волги, а его старшего брата, апоплексического обжору Владимира Пепеляева. Черт с ним, с Колчаком, в конце концов черт с ним, с золотым запасом. Логично. Чисто по-европейски...

Последними под непрерывными ударами 30-й дивизии 5-й Красной Армии отходили наиболее крепкие, отборные колчаковские части — 15-тысячная армия генерала Каппеля. Двадцатисемилетний генерал, гордость белого движения, — его Колчак прочил в свои преемники, — отступая

вместе с армией, обморозил ноги и умер от гангрены. И вот его везли в гробу, чтобы пышно похоронить в Иркутске. Командование армией принял генерал Войцеховский. Озлобленная белая орда сбивала заслоны и рвалась к Иркутску, где в тюрьме изнывал Колчак и нынешний председатель Иркутской губчека Самуил Чудновский уже вел протокол допроса «верховного правителя».

Навстречу белым к станции Зима были спешно выдвинуты рабочие и партизанские соединения Иркутска. Здесь они стали насмерть. И тогда каппелевцы разделились. Отдельные отряды, увозя часть награбленного, повернули в тайгу, к Верхоленску, имея намерение перейти Байкал у Баргузина и оттуда спускаться к югу, на Читу. Основные же части, во главе с Войцеховским, использовав предательство чехословацких гусар, нарушивших нейтралитет и арестовавших руководителей рабочих отрядов, прорвали оборону красных и устремились к Иркутску на соединение с казаками атамана Семенова, требуя немедленного освобождения Колчака и выдачи золотого запаса.

Иркутский ревком связался с Реввоенсоветом 5-й армии и получил указание Совета Народных Комиссаров: сохранить жизнь Колчаку, но при особо тяжелых обстоятельствах поступить так, как потребует обстановка.

На подступах к Иркутску разгорелись тяжелые бои. Дальше медлить было нельзя. И ревком вынес постановление: «Лучше казнь двух преступников, давно достойных смерти, чем сотни невинных жертв».

А дальше, как зафиксировала история: «...Постановление ВРК от 6.II.20 № 27 приведено в исполнение 7.II. в 5 ч. утра в присутствии...»

Колчак и Пепеляев были расстреляны на льду Ангары, и тела их спущены под лед. Войцеховский же и Семенов вынуждены были во избежание встречи с регулярными частями Красной Армии снять осаду Иркутска и уйти в Забайкалье. Оттуда их уже окончательно выбили в конце октября двадцатого года, когда была освобождена Чита и образована Дальневосточная республика — ДВР — временное буферное государство. Но ни о каком спокойствии, конечно, говорить сейчас не приходится. Это Сибирцев хорошо понимал. Интервенция затаилась на станции Маньчжурия, подобрала когти, словно подлая рысь, выжидая только удобного случая, чтобы всадить их в спину революции. Убить-то теперь уже не убьет, силенок неостанет, но поранить может крепко.

Да... Ну а те, что пошли через тайгу и Северный Байкал, те, крепко потрепанные партизанами, вышли-таки к Чите. Выйти вышли, но, судя по разным слухам, пришлось им большую часть награбленного оставить в тайге. Что просто бросить, а что и припрятать до лучших времен. То, что придут лучшие времена, никто из них не сомневался. Более того, кое-кто уже и теперь пробует вернуться к спрятанным своим богатствам. И это не слухи, в сводках сообщают из уездов: там и сям появляются разной численности вооруженные группы и отряды. Грабят население, шарят по тайге, совершают налеты на прииски, убивают старателей, забирают золото и тут же исчезают. Скорее всего, многие бандиты родом из этих мест, знают потайные ходы и тропки, сторожки и займки, имеют многочисленную родню, а следовательно, и хорошо разветвленную агентуру. Если добавить к этому, что богатый сибирский мужик крепок и никогда, по сути, не знал крепостного рабства, а те, в глубинке, кто лично не пострадал от Колчака, к Советской власти относятся весьма прохладно, то возвратившиеся вчерашние колчаковцы в такой ситуации свободно могут раствориться в народе и жить, не вызывая подозрений, и в нужный момент с оружием в руках — благо его по всей России-матушке бери не хочу — занять место в банде.

На такую примерно банду, действующую в Баргузинском уезде, как следовало из показаний Сотникова, они с Павлом Твороговым и нарвались. Но что их занесло в Баргузин, когда они должны были заниматься делом на западном побережье Байкала, в Большой Тарели, Качуге? Сибирцев еще раз внимательно просмотрел показания Сотникова, но объяснения так и не нашел. Видно, тут и крылось самое главное.

— Ну? — Евстигнеев присел и в упор взглянул в глаза Сибирцева, заметив, что он прочитал все и теперь, сложив листки в стопку, словно бы машинально подравнивал края. — Понял, в чем беда?

Сибирцев неопределенно пожал плечами, однако Евстигнеев принял этот ответ как согласие и продолжал своей скрипучей скороговоркой:

— Вот и я полагаю, что нечего нам в это дело соваться. Но, увидев недоуменный взгляд Сибирцева, удивился и сам:

— Не понятно? Чудак-человек, Баргузинский-то уезд — территориально никаким боком нам не подчиняется. Боль-

ше того, он в другом государстве. В сопредельном государстве — Дальневосточной республике. Он не только Иркутску, но и Москве не подчиняется. Нет, я просто уверен, надо передать это дело читинским товарищам, так сказать, по дружбе, и на том поставить точку. Нам и своих забот по горло. Да и народу где взять? Нет у меня лишних людей. И сил таких нет, чтоб соседских бандитов гонять. Не потянем мы это дело, нет, не потянем.

— Да ведь это как смотреть: сегодня у соседей они, как ты говоришь, а завтра перешли границу — и у нас. Им ведь наша временная граница — плюнуть и растереть.

— Ну вот, перейдут границу, и будем ломать себе головы... Нет, я тебя понимаю, мне, может, тоже Павла жалко. То есть что я говорю, конечно, жалко. Но я смотрю реально: не сложилась у нас сейчас такая ситуация, чтобы бросить силы на это дело. Не потянем.

— Ох, и умный ты, Евстигнеев, ох, и голова! — с нескрываемым сарказмом заметил Сибирцев. — Куда как тонко чувствуешь ситуацию. По всему ты, выходит, прав. И государство за Байкалом другое, и в задачи наши не входит... Все у тебя верно. Слишком верно. Одного ты понять не хочешь: ДВР — явление временное. А Советская власть у нас одна. Права ты свои четко усвоил, а вот обязанности... Не могу тебя понять. Вроде из рабочих ты, а рассуждаешь, как самый завзятый бюрократ. Не видишь ты сути момента, это в тебе меньшевик сидит, и ничем его, понимаешь, не вытравить.

— Ну, ты скажешь... — обиделся Евстигнеев.

— А я вот и говорю. Имею, значит, право, потому как насмотрелся на вашего брата. И ты, я вижу, не собираешься расставаться со своим прошлым. И ежели не хочешь понимать, будем мы тебя, Евстигнеев, гнать из милиции в шею.

— Так уж и гнать, так сразу и гнать, — примирительно заговорил Евстигнеев. — Ну что ты мне душу мотаешь? Приставили комиссара на мою голову! Ведь я ж всей душой, да факты против нас. А то — гнать... Доразгоняетесь.

— Нет таких фактов, чтоб мешали Советской власти разделаться с мерзавцами. Бандитами и убийцами. Нет, понимаешь. И самое вредное — это быть в милиции бюрократом. Усвой.

— Ну, предположим. Выходит, я не прав. Хорошо. А сам что предлагаешь? Снимать всех наличных людей и бросать их в тайгу? Нарушать хоть и временные, но все же государственные границы? Да и где они, эти твои бандиты?..

— Пока не предлагаю. Речь идет о твоём отношении к делу. О твоей, извини, брат, незаинтересованности. Вот о чем. А одним нам, конечно, не справиться.

— И я о том толкую, — облегченно вздохнул Евстигнеев. — Не ссориться бы нам с тобой надо, а думать.

— Ну, Евстигнеев, ну, артист! — усмехнулся Сибирцев. — Что ж, давай думать... Скажи-ка, брат, ты внимательно читал показания Сотникова?

— А как же! — удивился Евстигнеев.

— Внимательно. Так... А не можешь ты мне объяснить, за каким чертом они потащились на Баргузин? Ты им давал такое задание?

— Не-ет... — Евстигнеев морщил лоб и мучительно соображал, наконец его что-то осенило. — Так ведь следы бандитов вели туда. — Он внимательно посмотрел на Сибирцева. — Не то? А ты думаешь иначе?

— Это все на поверхности. Да и выглядит примитивно: вдвоем против банды. С Сотниковым говорил?

— В общих чертах. Велел написать все. Вот он и...

— Не написал, — закончил Сибирцев. — Давай-ка, брат, поступим так. Ты пока человек действительно новый, а тут, видимо, все не просто. Этим делом займусь я. Может быть, даже на чека придется выйти, посмотрим. Распорядись, пожалуйста, чтоб Шильдер прислал мне сюда протокол осмотра тела, вызови Сотникова и оставь нас одних... Да, и еще одна вещь, на всякий случай. Очень советую не устраивать Павлу пышных похорон. Родственников у него в Иркутске, насколько мне известно, нет, так что в обиде никто не останется. А нам сейчас надо поменьше шума.

Евстигнеев заметно обрадовался. Дело-то, как оказалось, не такое простое, а Сибирцев — человек опытный, опять же — свои люди в чека, тоже немаловажно. Вот только с похоронами зря он так. С оркестром надо. Чтоб внимание привлечь к героической деятельности милиции, народ привлечь. Нет, решил Евстигнеев, тут Сибирцев не прав, тут он перегибает. Да и кого здесь, в Иркутске, бояться? Свои же кругом. Не прав Сибирцев, нет...

4

Появился Сотников — русоволосый, ясноглазый парень богатырского сложения. Гимнастерка, казалось, трещала на его широкой груди.

— Садись, Алексей, — пригласил Сибирцев и невольно подумал: как же так случилось, что щуплый и застенчивый Паша Творогов, приняв нечеловеческие муки, погиб и лежит теперь на цинковом столе у Шильдера, а этот красавец сидит напротив и в чистых глазах его не видно боли, разве что едва уловимое смятение. Ведь они были вдвоем.

— Показания твои я прочитал. Толково написано. Четко и по-деловому. А сейчас расскажи мне все это еще раз. Особо остановись вот на чем. Каким образом вы оказались в Баргузинском уезде? Раз. Затем, как взяли Павла, кто допрашивал и пытал? Что, по твоему мнению, могло интересовать бандитов и что они могли узнать? Два. И наконец, каким образом удалось увезти его тело. Давай, и как можно подробней.

Сотников опустил голову на ладони, прикрыл глаза, помолчал, а потом, тряхнув упрямыми своими кудрями, поднял взгляд на Сибирцева. И тот изумился — столько в нем было откровенного отчаяния. Вдруг совершенно преобразился человек.

— Михаил Александрович, — глухо заговорил Сотников и огляделся: нет ли посторонних, — то, что я написал, это все не то. То есть, я хочу сказать, не самое главное.

— Знаю, — спокойно отозвался Сибирцев.

— Откуда? — удивился Сотников.

— Концы не сходятся, Алеша.

— Да, вы, наверно, правы. Но я объясню вам...

— Этого мне и хотелось бы, — так же ровно говорил Сибирцев. — Только ничего не упускай. Никаких деталей не упускай.

— Тут вот в чем дело, Михаил Александрович. У нас же вы знаете какое помещение. Мне начальник велел написать показания. Я сел там, у себя, так ведь каждый подходит, через плечо наклоняется, смотрит. Я ж точно понимаю, ребята жалеют Павла, сочувствуют. А кто и наоборот: что ж ты, думают, жив-то остался — бугай этакий. Пашка, мол, хлипкий, а герой. А ты...

Сибирцев поймал себя на мысли, что и он тоже, наверно, обидел парня недоверием. Ведь такие вещи чувствуются особенно обостренно. Так-то, брат...

— В общем, эти показания можно выбросить, потому что нет в них самого главного, — продолжал Сотников. — А потом, я и сам чувствую, что виноват в гибели Павла. Я старше его по возрасту, мог предвидеть.

— Но ведь ты ему был подчинен.

— Ну и что же? Все равно здесь моя вина.

— Знаешь что, Алексей, — жестко сказал Сибирцев, — степень твоей личной вины еще пока никто не собирался определять. Придет время — займемся и этим. Дело давай. А прав ты или виноват — покажут обстоятельства.

— Ну, ладно, — вздохнул Сотников. — Вот как все произошло...

Сибирцев молча слушал рассказ парня, и перед его глазами наконец-то вставала истинная картина происшедшего.

Павел Творогов был родом из Баргузинского уезда. Село Шилово, таежная глухая сторона. Потомки сосланных сюда когда-то духоборов, не то староверов жили скрытно, посторонних не любили, стерегли свой уклад. Революция ворвалась и сюда, в богом забытую глухомань, кровавой межой разделила семьи, человеческие судьбы. Одни, подобно Павлу, ушли в революцию, другие — к многочисленным атаманам — Семенову, Анненкову, Красильникову, Калмыкову, вон сколько повылезало их на свет...

Творогов с Сотниковым были направлены в Верхотенский уезд для организации милиции и, главным образом, обмена опытом борьбы милицейских групп с бандитскими шайками. Дело было для них не новое, на протяжении года приходилось не раз выбирать в самые отдаленные уголки губернии, ничего особенного поначалу не представляла и эта их поездка. Но в районе Большой Тарели они вышли на след полковника Мыльникова, по-видимому, одного из близких самого Каппеля. Этот Мыльников увел от Войцеховского довольно сильный отряд и двинул через тайгу на Баргузин. Мужики говорили, что он вез с собой много золота и драгоценностей под большой охраной. Бросал пушки, снаряды, бросал обмороженных солдат своих, расстреливал не то что по подозрению, а за косой взгляд, но золото держал при себе, никому не доверял. Лютовал. Рассказывали, что известный каратель Меллер-Закомельский по сравнению с ним — белогубый щенок. И вот за Байкалом что-то с ним произошло: то ли сыпняк свалил, то ли еще что, но отряд застрял надолго. До весны. А в марте или в апреле он с остатками отряда — многие к той поре разбежались — и с малым количеством золота ушел к Чите. И опять-таки по слухам — это надо тщательно проверить — там и погиб. Осенью на Байкале появился его холуй, ведавший у Мыльникова контрразведкой, штабс-капитан Дыба. Зверь почище самого. Собрал отряд около сотни штыков и сабель и бесчинствует в уезде. Есть опреде-

ленные подозрения, что он вернулся за спрятанным мыльниковским золотом. Узнав об этом, Творогов, естественно, не мог оставаться спокойным. Его увлекающаяся натура требовала немедленных действий, он готов был забросить все свои дела и тоже броситься на поиски золота. «Когда еще такой случай выпадет? — с жаром доказывал он свою правоту Сотникову. — Да за это нам все простится!» И Сотников не устоял: соблазн был действительно велик.

Самое удивительное, что они вышли на золото.

А случилось это так. Когда Мыльников отдавал богу душу, за ним ходил только один дед Лешаков, остальные боялись заразы, наверное. Этот Лешаков был побратимом покойному Павлову отцу, но старательством не занимался, он сызмальства охотник. Лешаков-то и рассказал Павлу по старой дружбе, значит, что полковник вроде бы доверил ему свою тайну. А может, еще как узнал, может, больной в бреду проболтался, про то дед говорил уклончиво. Но только когда полковник оклемался, взял он деда за горло и пригрозил страшными карами, если тот хоть слово пикнет. С тем и ушел на Читу, обещая вскорости вернуться и хорошо наградить за молчание и службу. Не вернулся. И дед потихоньку переправил то золото от греха на свою охотничью заимку, там и спрятал. А потом появился Дыба. И так и эдак приступал к деду, стращал, за бороду дергал, клялся, что полковник золото ему велел взять, только дед — молчок. Знать ничего не знаю — и все. Ведать не ведаю. Ну, и стал Дыба по округе шнырять, убивал старателей, кооператоров, мужиков грабил и пытал все про то поганое золото. Да ведь никто и не знал. А Павел каким-то нюхом, что ли, вышел прямо на Лешакова, и тот раскрылся, видно, Дыба ему уже поперек горла стал.

— Ни я, ни Павел не учли самого главного, Михаил Александрович, — тихо рассказывал Сотников, уставясь в какую-то точку на стене. — Мало найти золото, надо его еще вывезти. А вывезти его мы не могли — не на чем, да и Дыба дороги перекрыл. И тут произошла наша ошибка. Перед уходом Павел решил выяснить, где Дыба имеет свою основную базу. Пошел в село, все ж таки родня, а гут Дыба и наскочил. Кто-то из своих Павла и выдал... Появился, мол, один из Иркутска, говорят, в комиссарах. Тут и взяли Павла...

— А дальше? — негромко сказал Сибирцев.

— Три дня он его... — Сотников опустил голову на побелевшие кулаки. — Три дня, товарищ Сибирцев. Я сидел

и ждал, как договорились, у деда на заимке. Сидел и не знал. А на четвертые сутки привез его дед Лешаков... Под сеном. Уже такого. Перепились, говорит, охранники, он его из сарая и выкрал. Мертвого... Ничего не сказал им Павел. Голову наотрез даю. Не такой он был, чтоб... сказать... В ту же ночь дед сколотил домовину, и мы поехали какой-то дорогой, теперь не помню, только где-то в стороне от тракта. На тракт мы уже в Гремячинской выбрались... Ну, а в Верхнеудинске я сразу к начальнику транспортной чека, объяснил: мол, погиб товарищ, дело было секретное, тот и дал вагон.

— Та-ак, — протянул Сибирцев. — Ну что ж, Алексей, кончим на этом. Ты хоть спал, как вернулся?

— Какой тут сон...

— Давай-ка, брат, вот что: даю тебе три часа и чтоб спал, я займусь делами, а потом пойдем в чека и там ты все повторишь.

— Вы мне не верите, — с тоскливой горечью прошептал Сотников.

— Ах, Алеша-Алексей, — Сибирцев укоризненно покачал головой. — Я-то думал, ты поумнел за это время. Какое же это недоверие?

— Так ведь в чека же...

— А сам ты кто? Самый ты что ни на есть настоящий чекист. Идеальный борец с контрреволюцией. Сотрудник милиции... Одно мы дело делаем, одни муки принимаем, все вместе сторожим завоевания революции. А ежели ты обижаешься, что повторить заставляю, так в том и секрет нашей службы: десять, двадцать раз вспомни, если надо. Ты вот, может, и не замечаешь, а каждый раз, все рассказывая, вспоминаешь все новые детали, тонкости. Для тебя они могут ничего не значить, а для меня... ой как много они мне говорят! Понял? И давай договоримся, никаких обид. Иначе будем считать, что Павел погиб бессмысленно.

— А какой же смысл? — вскинулся Сотников.

— Вот почему, — мягко перебил его Сибирцев, — нам очень важно знать, что хотел из Павла пытками тот самый Дыба вырвать. Не стал бы он из одной только жажды убийства три дня, как ты говоришь, пытать комиссара. Павел ведь, по разумению Дыбы, вполне мог ничего не знать о золоте. А Дыба понимает, что скоро каюк ему: пошлем хороший отряд — и крышка банде. Только вот когда пошлем, это вопрос. И нам, и, что еще важнее, — ему. Сил только маловато... Вопрос времени, и Дыба это знает. Понял?

— Понял, — пробормотал Сотников.

— Ну, то-то. Иди спи.

Едва за Сотниковым закрылась дверь, появился Евстигнеев. Он протянул Сибирцеву два листа бумаги.

— Протокол осмотра. От Шильдера. Ну?

— Мы с тобой были правы, Евстигнеев, дело оказалось серьезнее, чем мы думали.

— Да-а?.. А что будем делать с Сотниковым, он же нарушил приказ, сорвал задание...

— Сотникова я отправил спать. На три часа. Распорядись, чтоб его разбудили. Он мне будет потом нужен... И давай договоримся, Сотников ничего не нарушал. Старшим в группе был Павел. Конечно, разговор с Сотниковым состоится. Позже.

— Ну, как знаешь, — Евстигнеев был чем-то недоволен. — Как знаешь. Дело это ты на себя взял. Я звонил в чека, самого нет, доложил заместителю — Бровкину, что ты должен сделать ему важное сообщение. Могу ж я, в конце концов, поручить это дело тебе — своему заместителю? Вот я и поручаю. А мне доложишь о результатах. Да, главное, на нас это дело не вешай...

— Ты действительно артист, Евстигнеев! — восхитился Сибирцев. — Свет не видал таких артистов!

— Да будет тебе, артист, артист. Я был в губкоме, они оркестр дают. На завтра, в три часа. Речь надо будет сказать.

— Значит, все-таки по-своему сделал?

— Сделал так, как считаю нужным. И полезным. В целях пропаганды.

— Ну-ну, пропагандист... Вся надежда на мороз. Если будет такая холодина, как нынче, наверняка только наши и соберутся. Во всяком случае, любой посторонний будет замечен... Да... Хоронить — это мы потянем, еще как потянем. А дело делать — нет, не потянем...

— Ты чего? — насторожился Евстигнеев.

— Да так, ничего, своим мыслям...

5

Как нарочно, в первый день рождества морозы отпустили. Повалил крупный мокрый снег. Обшитый красным сукном гроб поставили на грузовик с опущенными бортами и медленно повезли по центральным улицам на городское кладбище. Хрипло разносились в сыром воздухе зву-

ки траурного марша, застревала в снежных заносах машина, и тогда провожающие дружно толкали ее, наваливаясь все вместе. Народу собралось много, день праздничный, обыватель выбрался на улицу. Казалось странным, никого ведь, по сути, не удивишь похоронами в такое время, это стало делом привычным; сколько смертей повидал человек, сколько крови пролилось и правой и виноватой, а вот услышал глуховатый рокот барабана, тонкие, нестройные вскрики труб и побежал смотреть, выяснять, кого хоронят, да почему с оркестром, видно, не прост был покойник, ох ты, господи, не прост, упокой его душу, все там будем...

Сибирцев пришел прямо на кладбище и остановился за старым кафедральным собором. Отыскал свежую могилу, осмотрелся в стороне, низко надвинул на глаза меховую шапку. Ему хотелось подойти поближе, в последний раз взглянуть в неузнаваемое лицо Павла, но он по-прежнему стоял в стороне, внимательно наблюдая за всем происходящим и отмечая про себя лица знакомые и посторонние, равнодушные и заинтересованные — почему заинтересованные? — вслушивался в обрывки разговоров. Потирая морщинистую шею и трубно откашливаясь, Евстигнеев произносил речь.

— Еще одна свежая могила! — доносилось до Сибирцева. — Еще одна незабвенная потеря. Еще одна жертва! Вчера — еще полный сил, здоровый, энергичный, неутомимый, преданный идее, а сегодня уже холодный труп... Коммунистическая партия, Советская власть и вся революция понесли тяжелую утерю. Погиб Павел Творогов — один из лучших наших товарищей, один из честнейших и активнейших работников, погиб, смертельно укушенный ядовитой коброй контрреволюции. Павел Творогов погиб в момент начатой им большой работы, замученный белогвардейскими палачами, героически перенеся невыразимые пытки проклятых бандитов... Перед свежей могилой нашего товарища Павла Творогова еще раз поклянемся быть верными дорогим для него идеям коммунизма!..

«Нет, все-таки он дурак, — решил Сибирцев. — При чем дурак самолюбивый. Зачем нужны все эти подробности? Жертва бандитов, героически перенесенные пытки и без конца имя-фамилия, имя-фамилия...»

Когда под звуки Интернационала и троекратный залп все закончилось, Сибирцев еще некоторое время наблюдал за расходившимися. Его острый глаз не обнаружил ничего

явно подозрительного. «Но ведь и они, — думал Сибирцев, — тоже не лыком шиты». А то, что «они» здесь были, в этом можно не сомневаться. Тем и опасен зверь, что умеет приспособливаться, умеет становиться незаметным, когда это требуется. Но зверь есть зверь, самим не надо быть дураками. Хорошо, хоть Сотникова удалось убедить не появляться на кладбище. Такого верзилу не спрячешь в толпе — сразу привлекает внимание, как раз то, что должно быть полностью исключено в предстоящей операции.

К вечеру ударил настоящий рождественский мороз. Ангара окуталась тяжелым колючим туманом. Он мешался с паровозным дымом и угольной гарью, давил и жег легкие, вызывая надрывной, сухой кашель. Свечками уходили в небо дымы из труб, высоко в черном небе хороводили крупные звезды.

Все это вспоминал Сибирцев, сидя на нижней полке воющего и задымленного вагона поезда, сквозь ночь тащившегося из Иркутска в Верхнеудинск. Рядом, привалившись к забитому куском фанеры окну, дремал Сотников. Из всех щелей сквозило, сыпало снежной пудрой, по вагону тянули сквозняки, и Сибирцев с теплой тоской думал о своем хозяине Семене Каллистратовиче, уговорившем его сменить привычные сапоги на теплые просторные бродни.

Перед отъездом Сибирцев зашел в гостиницу «Модерн», где жил заместитель председателя Иркутского чека Борис Петрович Бровкин. Сибирцев почти не знал его, связан был с самим председателем. А о Бровкине слышал только, что прислан из центра, человек дельный, толковый, немолодой уже, с большим опытом подпольной работы. Несколько раз встречались в губкоме, но как-то не познакомились, не было общих дел. Рассказывая Бровкину о чрезвычайном происшествии в Баргузинском уезде, выслушивая еще раз сообщение Сотникова, Сибирцев несколько раз ловил на себе показавшийся ему странным, какой-то очень заинтересованным, что ли, взгляд Бровкина. Впрочем, это могло относиться к работе. Видимо, заместитель председателя был в курсе еще недавней деятельности Сибирцева в колчаковском тылу. Бровкин сразу понял всю важность сообщения, обещал срочно разобраться и вообще всячески содействовать в подготовке и проведении будущей операции против банды. Иркутяне немедленно связались с читинцами, были подняты все сводки и документы, имеющие пусть даже косвенное отношение к отряду Мыльникова, донесения из Баргузина, дела об ограблении при-

нсков, в общем, все, что могло пролить хоть какой-нибудь свет на таинственного штабс-капитана Дыбу, который до сегодняшнего дня, как оказалось, нигде не значился.

Наконец, когда план операции против банды был в общих чертах составлен и утвержден, Сибирцев отправился к Бровкину за последними указаниями.

Суховатый и сдержанный, Борис Петрович встретил его на этот раз исключительно радушно. Немедленно заварил самый настоящий чай, придвинул на блюдечке несколько кусков сахара. Лицо его по-детски лукаво улыбалось, и как-то по-особенному весело искрились даже стеклышки очков. Сибирцев несколько растерялся от такого приема.

— Ладно, — не выдержал наконец и сам Бровкин, — не стану душу томить, вижу, как ты ерзаешь на стуле. Значит, так и не вспомнил? Хотя тебе-то зачем... Это я, дорогой мой, должен вечно помнить. А может, все-таки вспомнишь? — он захохотал. — Нет... Шестнадцатый год, под Барановичами... Попался агитатор. «Долой царя, долой войну!» Садист-поручик, был там такой, все зубы выбил на допросе. Потом полевой суд и — к стенке. И тут юный прапорщик... А?

Ну конечно, Сибирцев вспомнил.

Ночью пришел он в землянку, где ждал рассвета арестованный, отослал охрану, а потом вывел агитатора наружу и дал ему пинка под зад, чтоб больше не попадался. Вот уж поистине тесен мир... Сперва Сибирцеву самому грозил трибунал, но тут немцы вжарили с такой силой, что все смешалось в круговерти отступления.

Он пил душистый чай мелкими глотками, поглядывая на землистое, с темными мешками под глазами, лицо Бровкина, и размышлял о том, что его заставило тогда, в шестнадцатом, спасти пожилого агитатора. Обычная человеческая жалость? Нет, пожалуй. Презрение к поручику, известному своей изощренной жестокостью? Тоже нет. Мальчишеское удалство? Или понимание того, что публичная казнь произведет отвратительное впечатление на солдат, среди которых и так уже началось брожение? Черт его знает, видно, и к нему начало в ту пору подбираться ощущение какой-то несправедливости, творящейся вокруг, протеста, сперва и не очень осмысленного, стихийного. Но этот неосознанный поначалу протест скоро созрел и укрепился под влиянием массы агитаторов, нахлынувших в армию к середине семнадцатого года, и недоучившийся студент-медик Сибирцев, пошедший на фронт добровольцем, и уже

успевший хлебнуть окопного лиха, выбрал единственно верный, как он считал, путь для себя, который и привел его к большевикам.

— Послушай, — сказал Бровкин, — ты не помнишь фамилии того поручика?

— Дыбов, кто ж его, подлеца, забудет, — спокойно ответил Сибирцев и вдруг замер. — Не может быть... Борис Петрович, неужто случаются такие совпадения?

— То-то. Внимательно читал протокол осмотра тела?

— А как же. Так ведь это ж его почерк, дыбовский...

— Вот-вот, и я, как прочел, сразу того садиста вспомнил. Почерк действительно его. Да и разве забудешь? Все, чем мне он тогда грозил, все на нашем товарище выместил... Итак, что мы имеем? Ниточку к Дыбе, или Дыбову, как пожелаешь. Имеем, наконец, его портрет. Ведь до сегодняшнего дня его один старик Лешаков и видел. Да еще Павел ваш, но он уже ничего не расскажет. Ты его тоже помнишь: время, какие-то четыре года не должны его сильно изменить, узнаешь. А теперь давай уточним последние детали...

Дребезжал и дергался вагон, поблескивала в тусклом свете оплывающего огарка свечи снежная пыль, нещадно дымили вонючим самосадом и хрипло переругивались мужики — дикие, дремучие, заросшие, запуганные и обманутые, разбойные и отчаянные, только нащупывавшие свою правду, мечтающие о ней и не шибко пока верящие в нее. Сибирь-матушка поднялась, всколыхнулась, сдвинулась, и в этой кутерьме легко было не то что затаиться, но развернуться во всю свою разбойную силу и Мыльникову, и Дыбе, и любому самочинному атаману.

Пораженный открывшимся сходством Дыбы и Дыбова, Сибирцев забыл или постеснялся поговорить с Бровкиным, вспомнить прошедшее, неловко как-то... А поговорить хотелось. По душам, откровенно, о будущем. Не век же сидеть в милиции, перевоспитывать Евстигнеева, есть дела поважнее: опять Семенов зашевелился, японцы, того и гляди, нарушат шаткое перемирие. Пока живы старые связи, их надо использовать. Нет, не кончилась война со смертью Колчака. Сибирцев отчетливо понимал это. А если война — нужны оружие, хлеб, одежда. Нужно золото, много золота. И тут нельзя оставлять без внимания ни одной крупницы, не говоря уже о пудах, спрятанных в Баргузине полковником Мыльниковым.

Операция по изъятию этого золота была разработана

Иркутской чека совместно с читинцами. Сибирцеву, как исполнителю, оставалось лишь кое-что уточнить и, разумеется, при необходимости менять какие-то детали по ходу дела.

Суть сводилась к следующему. Под видом записи добровольцев в Красную Армию и сбора брошенного оружия — и то и другое, кстати, все равно необходимо было сделать в ближайшее время — небольшая группа, не привлекающая к себе особого внимания, проникает в район, где действует банда Дыбы. Большой отряд вызвал бы подозрение. Два-три человека немедленно станут жертвой бандитов. Итак, не более десяти человек, среди которых Сотников — он знает Лешакова — и Сибирцев — он может узнать Дыбова, — выходят на золото и тайно, вместе с собранным оружием, вывозят его. Надежной охраной, сами того не подозревая, должны стать добровольцы. Однако о золоте знают лишь трое: Сотников, Сибирцев и руководитель группы, читинский товарищ, который должен встретить двоих иркутян в Верхнеудинске. Для остальных — задача проста и конкретна: добровольцы и сбор оружия. Но это, как говорится, на бумаге, а все сложности, которые могут возникнуть, предстоит решать уже на месте фактическому руководителю Сибирцеву, при этом оставаясь в тени и ничем не выявляя себя. Попутно необходимо очертить район действий дыбовской банды, по возможности выйти на его базы и передать все данные читинцам. Дальнейшая ликвидация банды должна лечь уже на них.

Издавека, словно из другого мира, долетал тонкий паровозный гудок. Сибирцев зябко поеживался, курил без конца, вспоминал, восстанавливал перед внутренним взором портрет поручика, а теперь штабс-капитана Дыбова и продумывал разные варианты их возможной встречи. Сон не шел. К утру должен быть Верхнеудинск.

6

Сотников долго тер заspanные глаза, словно не мог понять, как он тут оказался, разминал затекшие плечи, по-детски любопытно глядел на Сибирцева, удивляясь его постоянной собранности, спокойствию и четкости жестов и мыслей. Не знал он просто, что за этим стоит. Не догадывался — молод еще, — какие сомнения кроются за твердостью и решительностью Сибирцева. Втайне завидовал он

этому человеку с ранней сединой на висках и жесткими складками на щеках и у подбородка. И ему совсем не казалось странным, что все молодые сотрудники милиции, и он сам в том числе, всегда старались по любому вопросу обращаться не к Евстигнееву, прямому начальнику, а к Сибирцеву, исполнявшему должность заместителя, хотя фактически все дела в милиции вершил именно он. Сибирцев умел внимательно слушать, не наказывал за промахи, а старался вместе с провинившимся разобраться в причинах неудачи, был немногословен, и его мнение было непререкаемым для всех. И то, что в столь сложную и, как понимал Сотников, опасную экспедицию был выбран именно он, Алексей, поднимало его в собственных глазах. Увы, он и не думал сейчас, на какой риск шел Сибирцев, беря его с собой. Просто другого выхода не было: старик Лешаков знал Алексея и мог довериться только ему.

А сейчас они подхватили свои тощие вещмешки и, расталкивая сидящих в проходах мужиков, наступая на ноги и отмахиваясь от сонных злобных матерков, двинулись к выходу.

Едва они открыли дверь вагона, как на них буквально обрушилась толпа мешочников, прижала к поручням, готовая раздавить, расплющить.

— А ну, осади! — гаркнул Сибирцев. И воспользовавшись секундным замешательством, Алексей врубился крутым своим плечом в наседающую толпу. Не обидел бог силой. Прорвались.

После душной вони прокуренного вагона можно было захлебнуться — такой пьянящий, кристальной чистоты был воздух. Они вдыхали полной грудью и шалели, замечая, как их покачивает. Наконец мороз стал чувствительно прихватывать носы и кончики ушей. Холодноватое утро. По времени было давно утро, но на востоке, за сопками, только-только наметилась желтоватая полоска зари. Мимо сновали сгорбленные, навьюченные мешками, тени, похожие не на людей, а на каких-то странных зверей из колдовских таежных сказок. Отовсюду неслись брань, крики, визги, свистки. Выпускал пар паровоз, тонко и морозно гудел.

— Ну что, — сказал Сибирцев, — пойдём, Алеша, своих искать. Помнишь, поди, где они размещаются?

— Помню, — отозвался Сотников и пошел, рассекая грудью метущуюся толпу, осаждающую прибывший поезд.

В маленькой комнатухе транспортной чека их уже ждали.

Первым при их появлении поднялся со стула из глубины комнаты молодой и розовощекий — это было заметно даже при довольно тусклом свете керосиновой лампы — человек, одетый с явным щегольством. Новенький короткий полушубок, перетянутый скрипучими ремнями портупеи, низко, почти у самых колен, маузер в лакированной деревянной кобуре на каждом шагу похлопывает по ярко-алым галифе и надраенным до блеска сапогам. Увидев его, Сибирцев так и замер с открытым ртом.

Все он мог предполагать, ко всему был готов. Легкая, едва заметная усмешка мелькнула на губах встречающего и тут же погасла, только глаза чуть сощурились. Он шагнул навстречу Сибирцеву и протянул ладонь.

— Здравствуйте, товарищи, — голос был негромкий и чуть хриловатый. — Рад встрече. Михеев.

— Сибирцев, — тоже негромко, с неимоверным трудом сдерживая себя, сказал Сибирцев и с отчаянной силой сжал ладонь Михеева. Михеев только улыбнулся — силен. Сибирцев посторонился и кивнул назад: — Сотников.

Дружелюбно улыбаясь, Михеев пожал руку Сотникова. Познакомились с остальными, присели на колченогие табуретки, и Сибирцев, чтобы скрыть волнение, полез в карман за табаком.

— Ну что ж, — после паузы сказал Михеев, — транспорт подан, можно трогаться. Жилин, отвезите товарища Сотникова в гостиницу, покормите, устройте отдохнуть и ждите нас там. А мы, — он кивнул на Сибирцева, — будем у вас, как закончим дела. В ночь тронемся. Ночь для нас, — он снова обернулся к Сибирцеву, — сестра родная.

Мужик, довольно свирепого вида, с бородой, что росла, казалось, от самых глаз, скрипуче поднялся с табуретки и, махнув рукой, потопал к выходу, за ним остальные. Ушел, сославшись на дела, дежурный.

Они одновременно вскочили и через миг сжимали друг друга в объятиях, так, что кости затрещали. Прижавшись к щеке Михеева, Сибирцев ощутил слабый запах одеколона. Вот же, чертов Михеев! Гусар недорезанный!

— Володька, — срывающимся голосом смог наконец сказать Сибирцев, — что ж ты, вражья душа, молчал? Хоть бы слово... Убить тебя мало.

Михеев, обеими ладонями слегка отстранив голову Сибирцева, внимательно рассматривал его лицо, отмечая и темные круги под глазами, и резкую морщину над переносицей, и глубокий, полный затаенной печали, взгляд.

— Стареем потихоньку, — он снова слегка усмехнулся.

— Ну, ты-то как яблочко... Пусти, ну тебя к черту. Совсем, понимаешь, расстроил...

Михеев захохотал:

— Ну, Мишель! Расстроил, видите ли, его, сукина сына! Да я нарочно попросил ничего тебе не сообщать, думал, обрадую. А он — расстроился!

— Ты давно здесь? — Сибирцев, рассыпая табак, смог наконец скрутить сигарку, жадно закурил, поперхнулся, отплевываясь табачной крошкой.

— Как тебе сказать? В Чите недавно. Работаю в губкоме. Продразверстка и все такое прочее. Не соскучишься. Но чувствую, что это вроде как передышка. А ты? Хотя чего я спрашиваю? — засмеялся он. — О тебе я уже в курсе. Но, честное слово, Мишель, узнал, лишь когда встал вопрос о баргузинской операции. Ребята наши сказали. Я и уговорил их поручить это дело мне. Будешь у меня под крылышком. Не боишься?

— Нет, все-таки ты — вражья душа.

— Но почему?

— Потому что.

— Что-то неясно говорите, господин бывший прапорщик?

— А тебя что, в чине повысили, что ли?

— Какое повысили! Еле ноги унес. Ты уходил, если мне не изменяет память, в январе прошлого года...

— Изменяет. По воде шел. Апрель был.

— Ну, значит, в апреле. А я недавно, в октябре. Последние месяцы — да ты должен помнить — совсем туго приходилось. Но кое-что все-таки сделали. Их высокое благородие Григорий Михайлович Семенов дорого бы дал, — Михеев легко хохотнул, — за те бумаженции, что мы передали нашим. По слухам, правда, не проверенным, половину своей контрразведки в расход пустил. Бушевал. А япошки — это надо было видеть — улыбались так, что шире невозможно: уши мешали, а сами готовы себе харакири сделать. Крепко мы их прижали. Они-то уж и Приморье, и Забайкалье, и все вокруг поделили и денежки нашему атаману выдали в виде аванса, а мы им — фигу. Обернутую в их собственные расписки. Все их планы вскрыли по части Дальнего Востока. Ничего? Вот так. Ну ладно, при случае расскажу, это все прошлое. Что сейчас вспоминать? Давай-ка, Мишель, двинем ко мне, приведешь себя в порядок, побреешься...

Сибирцев машинально провел ладонью по подбородку: скрипит.

— А дело?

— Потом и делом займемся. Или, может, в баньку? Вре-
мя есть, попаришься. Ты там, в вагоне, случаем, никакого
зверя не подцепил? Смотри, дорога дальняя, сыпняк сва-
лит, считай, так и зароем, без отпевания.

— Ну-ну, не пугай. И не подлизывайся. Все равно не
прощу. Поехали. Ты вот моего Алешку на всякий случай
в баню отправь. Мы-то с тобой, брат, двужильные, а ему
чего рисковать? У него еще все впереди.

7

Тронулись в путь, едва свечерело. По Селенге вилась
легкая поземка, сильно морозило, и над лошадиными мор-
дами колебались облачка пара. В трех передних розваль-
нях разместились пятеро ребят из губкома комсомола, Сот-
ников и двое кооператоров из бурят, местные. Эти послед-
ние были бойкими и тертыми мужиками, на них можно по-
ложиться. Завершали обоз сани, где ехали Михеев с Си-
бирцевым. Тут же, накрытый попоной и обложенный се-
ном, затаился ручной пулемет. Правил лошадью укутанный
в просторную доху Жилин.

Сибирцев поначалу с сомнением отнесся к этому зве-
роватому мужику. Но Михеев сказал, что Жилин — кре-
мень. Прошел огни и воды, был в колчаковской контрраз-
ведке, допрашивал его не кто иной, как сам штабс-капитан
Черепанов, кокаинист и лютый садист — чудом выжил и
после, видал Михеев, не раз показал себя в деле.

Ехали, вслушиваясь в монотонный дробот копыт по
стекленеющей дороге, скрип полозьев, шумное фыркание
лошадей. За полночь, удалившись от реки, выбрались на
тракт, и лошади побежали бойчей. Порой от недалеких ле-
систых сопок доносилась заунывная волчья тоска, тогда
лошади беспокоились, дергали постромки. Жилин успокаи-
вал их сердитым неразборчивым окриком.

Это Михеев настоял, чтобы выехали в ночь. Сейчас,
убеждал он, пора самых рождественских морозов, никого
палкой на улицу не выгонишь. И бандитам, если они не
идиоты, а они наверняка не идиоты, и в голову не придет
выходить из своего логова на большую дорогу, ловить про-
езжих. Народ в уездах пуганый. Днем — еще куда ни

шло — от села до села доберутся. Но ночью... Дураков и сумасшедших нет.

Однако ехали без лишнего шума, гуськом тянулись друг за другом, согревая под теплыми полушубками на груди верные свои наганы и маузеры. От греха, чем черт не шутит.

Сибирцев смотрел на убегающую из-под полозьев дорогу. Далеко позади, в распадке между сопок, низко над горизонтом стояла яркая, неизвестная ему звезда. Переливалась, искрилась. И был свет ее мерцающим и печальным, напоминающим что-то забытое, может быть, чужие звезды Маньчжурии, а может, еще более давнее, довоенное, студенческое. Ту единственную, с отчаянными цыганскими глазами, и нежную, словно полевой вьюнок повилика. Как теперь далеко все это... Лучше не думать, не помнить.

Закряхтел, переворачиваясь с боку на бок, Михеев, плотнее привалился к спине Сибирцева.

— Так что было после моего ухода? — негромко спросил Сибирцев.

В самом начале февраля двадцатого года случился первый за все время их совместной работы провал. Семеновская контрразведка взяла шифровальщика при штабе атамана, но самое скверное — старого машиниста Федорчука, который один-то и имел связь с этим шифровальщиком. Если Михееву этот провал пока еще ничем не грозил, то Сибирцеву следовало немедленно исчезнуть, раствориться, растаять. Однако он хорошо знал машиниста — старого подпольщика, участника японской кампании, верил в него. И остался. Федорчук, а позже и шифровальщик, как удалось узнать, погибли в застенках семеновской контрразведки, так никого и не выдав. Для Сибирцева эти дни стали не только труднейшим испытанием, но и той точкой, от которой он, возможно, сам того не замечая, начал новый отсчет своего времени.

В те дни Сибирцеву пришел приказ: немедленно уходить. Михеев выстроил удобную версию. По времени удачно она совпала с затянувшимися апрельскими боями под Читой. Отправился туда с инспекцией Сибирцев и канул. Может, партизаны убили, а может, какая другая военная превратность случилась.

Пропал.

А Михеев остался...

Новости сыпались тогда как горох. В середине февраля красные бойцы и партизаны, несмотря на все, чинимые японцами, препятствия, взяли Хабаровск. Этот сукин сын

Калмыков утащил с собой тридцать шесть пудов золота и удрал в Китай, перестреляв тех своих казаков, кто не хотел уходить с ним из города. Ну, правда, китайцы быстро сообразили, что за Калмыкова им ничто не грозит, арестовали его вместе со штабом и вскоре пустили в расход. Семенов злорадствовал: так, мол, и надо, не хотел объединяться, получай свое! Но, с другой стороны, и его собственный фронт трещал по швам. В Западном Забайкалье устанавливалась Советская власть, и оставалась у Семенова только Восточная часть.

В начале апреля двадцатого года в Верхнеудинске было провозглашено образование ДВР, а уже в мае РСФСР признала Дальневосточную республику и ее правительство. Теперь встал вопрос об объединении всего Дальневосточного края.

Среди японцев это сообщение вызвало переполох. Единственный расчет оставался на Семенова, на его забайкальские владения, на то, что будущее единое правительство Дальнего Востока оставит Семенова хотя бы атаманом казачьих войск Забайкалья. В противном случае Япония снимает с себя всякую ответственность за прекращение гражданской войны. Одновременно японский генерал Оой отдал приказ готовить немедленное наступление на Амурскую область, на Хабаровск.

И в этот самый момент во Владивостоке было опубликовано воззвание, где полностью и со всеми подробностями излагались планы японского командования по захвату и разделу Дальнего Востока. Взрыв бомбы произвел бы меньший эффект. Представители дипломатических консульств, которые были сами не прочь «погреть руки» на российских территориях, возмущенные «коварством» союзника, взяли японцев, что называется, за горло, требуя объяснений по поводу их территориальных притязаний. Начальник японской дипломатической миссии при штабе экспедиционных войск граф Мацудайра вынужден был официально заверить союзников, что Япония никаких захватов делать не собирается. Была перехвачена телеграмма генерала Ооя: «Все наши планы становятся известными. По приказу военминистра в Хабаровск подкреплений послано не будет...»

Теперь уходил и Михеев.

Уходил, жалея, что мало сделал. Уходил аккуратно, так, чтобы можно было вернуться, потому что он был уверен: его уход — это передышка...

Перед восходом солнца показалось село Петровское, небольшое, с десятков захудалых изб, сбежавшихся к лесной опушке. Вековые мохнатые кедры сгибались под тяжестью голубых снежных папах. Вились редкие дымки над крышами, где-то в глубине дворов, за низкими оградами брехала собака.

Здесь намечалась первая дневка. И отсюда «таежный телеграф», по всей вероятности, должен был разнести по округе, что едут губкомщики, ищут брошенное оружие, собирают молодежь и произносят зажигательные речи, призывая служить в Красной Армии. Слух побежит впереди, от села к селу, от заимки к заимке, дойдет и до штабс-капитана Дыбы. И тот, зная, что губкомщики хорошо вооружены, но пока особой опасности не представляют, пожалуй, не решится напасть. Будет выжидать и присматриваться. Лазутчиков подбросит, это уж как пить дать. Этих надо выявлять, но, упаси боже, пальцем тронуть. Днем по трое будут разъезжать по ближним селам, а к вечеру — общий сбор — и дальше, к Баргузину. Главная работа там. Все же остальное, хоть и необходимое, для отвода глаз. И знают об этом только трое, для остальных — привычное дело.

На краю села жил одинокий дед Игнат. К нему, с молчаливого согласия Михеева, и поворотил сани Жилин. Изба низкая, темная, конопаченная седым мхом, половину ее занимала печь. У квадратного окна с крестообразной рамой — простой струганый стол и широкая лавка вдоль стены. Вот, пожалуй, и все убранство. Так живут старые вдовцы, скромно, ничего лишнего. Но дух! Переступив высокий порожек, Сибирцев словно окунулся в полдневную жару только что скошенного июньского луга. Пучки трав были развешаны по всем стенам. Это они источали нежный, чуть дурмящий аромат.

Разделись, в одних шерстяных носках прошли по темному мытому полу, расселись на лавке. Сам дед, похожий на замшелую корягу, хлопотал у печки, гремя заслонкой. Жилин был, видимо, знаком с ним, потому что чувствовал себя свободно. Разоблачившись до нательной рубахи, он лишился было своей звероватости, кабы не эта разбойничья борода. Михеев еще в пути заметил Сибирцеву, что под этой бородой Жилин прячет страшные шрамы, оставшиеся после бесед со штабс-капитаном Черепановым. Приглядываясь к Жилину, Сибирцев начинал чувствовать к нему теплое чувство приязни.

Михеев вышел во двор проверить, как разместились хлопцы, позаботился об охране и вернулся с Сотниковым. После морозной бессонной ночи, долгой дороги тот держался молодцом.

Дед Игнат вынул из-за печки бутылку прозрачного самогона, выпил по стопке с Жилиным, остальные отказались. Просто закусили жестковатым темным мясом, похрустели луковицей. Сибирцев, спросив разрешения у деда, затащился самокруткой, но закашлялся и погасил ее. Наконец, побросав на пол полушубки, они растянулись, широко зевая и испытывая при этом невыразимое блаженство.

Спали недолго. Открыв глаза, Сибирцев увидел в окошке яркое солнце. Бубнили о чем-то старик с Жилиным, сидящие у стола. Негромкий, монотонный разговор сперва не привлек внимания Сибирцева, потом стали различаться отдельные слова, и он прислушался. Сообразил, что речь шла о банде. В начале зимы налетела она на Гремячинскую, перестреляла активистов. Надругались, а после покидали в прорубь привезенных с собою молоденьких девушек — не то учительниц, не то еще кого, перепороли на площади баб, взятых по какому-то списку, и ускакали. А командовал ими, говорили, такой чернявый, с усами. Красивый собой. Вроде бы из колчаковских — в английском сукне и с плеткой.

— Это он, сказывали, придумал, чтоб пороть, значит, не мужиков, а баб ихних. Мужика, мол, выдрать — что толку? Портки надел да и забыл. А вот бабу его — другое дело. Особо когда на людях, да с шутками-прибаутками... Энтот дело, — неторопливо рассказывал старик, — мужик век помнить будет. И страх иметь. А ему страх нужен — чернявому-то тому. Нынче ить мужик страх позабывать стал... Есть, однако, которые и того чернявого приголубить согласны. Тут-то, в Петровском, таких, пожалуй, не сыщешь, а там, подале, есть, есть... Да и как ноне не бояться?..

Услышав короткий вздох, Сибирцев повернул голову и встретился глазами с Михеевым. Видно, и он уже проснулся и слушал дедов рассказ. Сибирцев медленно, словно во сне, перевалился на бок и услышал легкий шепот Михеева:

— Молодец Жилин. Растрясет он нам старика. Мы-то ему чужое начальство, кабы после худо не пришлось. А Жилин тут свой.

Между тем беседа текла. Заговорили о недавних убийствах на Баргузине. Дед вспомнил села, где орудовал тот чернявый, избы палил, обижал старателей.

В общем, картина понемногу прояснялась.

Громко зевнул Михеев, прервав тягучий говор, сел и стал тереть заспанные глаза, растолкал Сибирцева и Сотникова. Дед снова завожился у печки, вытаскивая чугунок с пареным, принес из сеней мелких грибков, засоленных в смородинном листе и каких-то пахучих травах, налил всем по стопке. После сна, мол, большая польза. На этот раз не отказались, составили компанию, пошутили маленько, нахваливая дедову закуску.

Дед вскоре ушел на двор по своим делам, и Михеев сразу стал серьезным. Жилин помалкивал, вылавливая ложкой хрустящий гриб из миски, слушал разговор. Чувствовалось, что и он что-то знает, но пока обдумывает. Переглянувшись с Михеевым, Сибирцев достал потертую карту уезда и неожиданно для себя заговорил о цели поездки, о золоте Мыльниковых, о Лешакове и следил при этом за выражением глаз Жилина. Но тот оставался спокойным и даже более — равнодушным. Но когда решили, что нынче же, в ночь, Сибирцев с Сотниковым отправятся таежной дорогой на лешаковскую Медвежью заимку, Жилин вдруг заворочался на лавке, откашлялся и заговорил сипловатым, словно извиняющимся тоном:

— Про золото я слышал. Мужики говаривают, что было вроде. А кто и сомневается. Может, и не было. А старателей пограбили. Если старательское то золото — оно небольшое. Совсем небольшое... А может, и есть...

— Есть золото, и не малое, — возразил Сотников.

— Ну, есть так есть, — вздохнул Жилин. — Однако вам тут без меня никак нельзя. В тайге дорогу надо носом чуть... Кабы по тракту — другой разговор. Да вишь, нельзя по тракту.

— Что-то дед задерживается, — вскользь отметил Михеев.

— А это он пошел поглядеть, — отозвался Жилин, — не побег ли кто в тайгу.

Михеев одобрительно подмигнул Сибирцеву.

— Верный дед-то? — вмешался Сотников.

— Да уж куда верней, — буркнул Жилин.

— Ну ладно, — Сибирцев встал и потянулся так, что захрустели суставы, — будем кончать беседу. Пулемет нам лишний. Много места занимает, да и потише надо ехать. Винтовки есть, гранаты. От немногих отобьемся, а если сотня навалится, так и пулемет не поможет. Вопрос последний: как повезем золото? Под сеном?

Жилин словно ждал этого вопроса. Он снова, как бы виновато, что вмешивается в разговор, кашлянул, прикрыв рот ладонью, Михеев взглянул на него вопросительно.

— Ежли... Это... Игнат говорил, тут по деревням кой-где снаряды остались. В ящиках. Снаряды те мужики побросали, а ящики в хозяйство, значит, приспособили. Так ежли те ящики... А сверху нераспечатанными прикрыть. Вези себе, вроде как оружие. Снаряд, он без пушки кому нужен? И охрана при нем, вишь ты, без подозрений. И тяжесть подходящая. Тут вес много значит.

«А что? — веселея, подумал Сибирцев. — Молодец Жилин. Дельная мысль. Ай да мужик! Сразу видно — бывалый солдат».

Михеев откровенно улыбался.

— Ну, удружил! Быть тебе, Жилин, наркомом. Голова!.. А я, честно говоря, и сам уж подумывал направить тебя с ними. Договорились, поедешь. Только смотри, как друга прошу, вся надежда на тебя.

Жилин даже засопел, опустив голову. Потом боком, по-медвежьи, вылез из-за стола, оделся, проворчав:

— Лошадей пойти покормить...

И вышел.

— Ну, как тебе Жилин? — с восхищением глядя ему вслед, сказал Михеев. — Мы тут головы ломаем, а он — раз-два — и в дамки.

— Ты чего, Алексей, вроде как недоволен? — поинтересовался Сибирцев, глядя в хмурое лицо Сотникова.

— Да нет, — неохотно отозвался тот. — Я о другом.

— Давай выкладывай, — сказал Михеев. — Все сомнения сейчас. Потом поздно будет.

— Я вот что думаю, — медленно заговорил Сотников. — Двадцать пудов — не шутка. Там у него, у Лешака, и монеты, и песок, и другие ценности. Сам говорил. Двоих-то саней хватит? И опять же, нас только трое. Всем бы поехать... Да и ящики эти, где их искать?..

Михеев прошелся к печке и обратно, чуть сощурившись, посмотрел на Сотникова.

— Ящики сейчас главное. Но уж это забота Жилина. Пошарит по селам вдоль тракта и найдет. Здесь много добра побросали, когда удирали в Читу... А вот ехать всем вместе нельзя. Любой дурак засечет наш обоз, а там уж и «таежный телеграф» сработает... Я верю, что в тебе сейчас говорит обычная осторожность. Просто осторожность. — Сотников скинул голову, и щеки его вспыхнули, но Ми-

хеев движением руки остановил его. — Потому повторяю, что нельзя никак всем ехать. Я даю вам Жилина, а он — старый таежный волк. Его не обманешь... Ну, а вас мы встретим, как договорились, вот здесь, — он ткнул пальцем в карту, — у Трифоновой пади. Так что и ехать-то вам одним от силы полста верст. Тут важнее, чтоб у твоего Лешакова все было тихо. Думаю, что с помощью нашего дед и Жилина мы уже к вечеру будем знать, в каком районе банда. Если она сейчас близко от Медвежьей займки, все, естественно, отменяется. Будем оттягивать банду за собой, к Баргузину... А насчет транспорта — не беспокойся, кони хорошие, вытянут, сам отбирал. Кормите только получше — овса дадим.

Сибирцев достал клочок газеты, огрызок карандаша и, низко склонившись над столом, производил какие-то расчеты. Выпрямился, вздохнул и сунул расчеты в карман.

Солнце ушло из окна, и в избе сразу стало темно, накапливалась тишина, и в ней уютно заверещал сверчок. Вернулись дед Игнат с Жилиным, долго сбивали снег у порога, стучали чем-то деревянным, словно натягивали обручи на пустую бочку. Зашли в избу.

— Порядок, — сказал Жилин, сбрасывая доху. — В деревне тихо. Все по избам печки топят... Про «хозяина таежного» тоже близкого слуха нет. Вот, — через паузу добавил он. — Нашли кое-что. С пяток ящиков есть, но без снарядов, пустые. Я так полагаю, — обратился он к Михееву, — не нынче бы ехать нам, Владим Васильич, а завтра. Еще по округе поискать, людей послушать. И чтоб тогда без остановки. Проскоком. С первыми звездами. А им бы, — он кивнул на Сибирцева с Сотниковым, — на двор не показываться. Кто тут народ считал, сколько прибыли, куда убыли?

— Наверно, ты прав, — подумав, согласился Михеев. — А ты что скажешь? — он повернулся к Сибирцеву.

— Думаю, Жилин говорит верно. Нам, брат, нет никакого резона петлять по селам в поисках снарядов. Одних ящиков мало. Нужны снаряды. Есть и у меня одна мысль. Скажите, Жилин, можно найти снаряды от трехдюймовки? Их нужно не больше двух десятков.

Жилин помолчал и вдруг усмехнулся:

— Надо, так сыщем.

Михеев даже привскочил, с маху хлопнул Сибирцева по спине.

— Умница!

— Тогда будем ждать, — Сибирцев встал, спросил у старика: — Как, дед, не стесним?

— Да живите, — словно бы отмахнулся он. — Шуму бы помене, и курить в сени ступайте. У меня завсегда травный дух.

Сибирцев виновато спрятал вытащенный было кисет. Михеев хитро подмигнул ему: так, мол, приучайся к порядку. Сам Михеев не курил.

8

Поздней ночью, подойдя к темному оконцу лешаковской заимки, Сотников осторожно постучал по ставне. Стукнул еще раз. За стеклом затеплился огонек. Послышались тяжелые шаги, и хриплый со сна голос спросил из-за двери:

— Кого это носит?

— Я, дед, — отозвался Сотников.

Загремела щеколда, забренчали какие-то засовы, и дверь отворилась. В тулупе, накинутом на исподнее, держа над головой керосиновую лампу, в проеме двери встал дед Лешаков.

— Это ты, Олеха, — утвердительно произнес он, словно давно ждал гостя и ничуть не удивился его приходу. — Проходи. Ай не один?

— У тебя спокойно? — вопросом на вопрос ответил Сотников.

— А какая меня лихоманка тронет? — Лешаков зевнул и широко перекрестил рот. — Вокруг-то тихо. Гостей нет.. Ну, пришел, так зови своих. — Он отстранил лампу и пристально поглядел в темноту. — А коней-то вон туды заводите, в сараюшку, помнишь, поди, под сеновалом, да.

Помнил Алексей. Прятался на сеновале в ожидании Лешакова и Творогова. Ох, как помнил...

— Ну, давай, — махнул рукой Лешаков, — да в избу ступайте.

Он ушел, оставив открытой дверь в сени. Когда, отряхиваясь от холода, ночные гости вошли в избу, возле печи, с выведенной в дымоход трубой, уже закипал пузатый медный самовар.

— С мороза-то чего бы покрепче, — ворчливо, будто про себя заметил Жилин.

— С мороза — дак чай горячий, на травах-корешках, — тоже самому себе сказал Лешаков.

Был он действительно похож на лесного зверя. Огромный, кряжистый, с нечесаной бородищей до пупа и спутанной гривой седых волос. Двигался крупно, широко. Гулко кашлял, зевал и постоянно крестил рот. Гости — сами люди не хлипкие — чувствовали себя рядом с ним в тесной избе не очень уютно.

Когда с долгим молчаливым чаепитием было покончено, Лешаков придвинул к себе лампу и взглянул на Сибирцева острыми, чуть прищуренными глазами.

— Олеха — человек мне знакомый, — строго заговорил он. — Да время нынче такое, что и к родному брату доверие качнулось. Да... Ты, — он снова посмотрел на Сибирцева, — вижу, начальником ихним будешь. И при пистолете, — он кивнул на маузер, свисавший на ремне почти до полу. — Документ какой есть при себе ай нет?

— Есть, отчего же, — Сибирцев пожал плечами и вынул из внутреннего кармана сложенный вчетверо мандат, развернул, протянул через стол старику.

Тот принял бумагу, долго, шевеля губами и близко поднося ее к ламповому стеклу, читал, шептал про себя. Наконец положил мандат на стол и накрыл его широкой корявой ладонью.

— Ясное дело. Вот и я говорю, время нынче такое. Хошь не хошь, а человека проверяй, особливо ночного-то гостя, да... Стало быть, рассказал вам Олеха. Поди, не чаевничать приехали.

Сибирцев молча кивнул. Жилин привалился к стенке и сонно закрыл глаза, но чувствовалось, что он — весь внимание.

— Золотишко-то и прочее у меня тут, — продолжал старик. — Только вот вопрос, повезете-то как? Ты, начальник, должен понимать, что, ежели вас накроют, всем будет одна дорога — мать сыра-земля. И вам и мне, стало быгь, да... Дак вот, интерес имею.

Сибирцев изложил свой план.

Вывозить золото и драгоценности решили в пустых снаряжных гильзах, распределяя по каждой примерно по двадцати килограммов. Оставшуюся пустоту забивать пыжами и зачеканивать снаряд. Поди разберись, истинный снаряд в ящике или фальшивый... Недаром делал расчеты Сибирцев, а после, вместе с Михеевым, полдня провели они в заброшенной Игнатовой бане, распатронивая собранные Жилиным снаряды, вывинчивая взрыватели и освобождая гильзы от пороха.

Старик слушал, посверкивая глазами, почесывая бороду.

— Хитро придумали, — наконец высказал он свое отношение. — Кто придумал-то, а?

— Думали вот, да и придумали, — Сибирцев уклонился от прямого ответа.

— Ага, — подтвердил старик, — что ж, стало быть, задерживаться вам тут нет никакой надобности... Ты, мил друг, слышь-ка? — он тронул Жилина за плечо, и тот открыл глаза. — Ступай-ка к развилке да гляди шибче. Не ровен час, хоть и давненько не залетывал сюда «таежный-то хозяин».. В случае чего, к сараюшке беги. А вы с Олехой собирайтесь, со мной пойдете. Золотишко недалече. Дак и то двух десятков пудов не наберется.

Старик поднялся с лавки, побряхтел малость, разминая руки и ноги, и принялся одеваться. Потом он гремел в сенях, отыскивая заступ и тяжелый лом. Вошел в избу.

— Ну, с богом. Лампу-то с собой возьмите.

В сарае старик основательно закрепил лампу на гвозде, вбитом в стенку, раскидал слежавшееся сено в углу, очертил квадрат на прибитой земле и передал заступ Сотникову.

— Давай, Олеха, тут не шибко глубоко. Штыков на пять, не боле.

Копали по очереди. Торопились успеть до рассвета. Сибирцев взмок, скинул полушубок и безостановочно бил твердую землю ломом. Когда углубились на полтора штыка, пошло полегче. Старик время от времени выходил из сарая, вслушивался в темноту. Возвращался, сняв с гвоздя лампу, светил в яму. Наконец сказал Алексею:

— Теперь уж близко. Как дойдешь до доски, с осторожкой бери. Да землю-то не разбрасывай, обратно закапывать будем.

Лезвие заступа звякнуло. Старик тут же посунулся в яму, велел Сотникову вылезать.

— Давай, — сказал, — свои ящики. Сейчас вынуть станем.

Он вытащил из ямы три толстые широкие доски, уложил их впритык друг к дружке на земляном полу и начал подавать Сибирцеву, склонившемуся над ямой, тяжелые кисеты из сыромятной кожи, каждый весом примерно килограммов по пяти. Это, сказал, песок и самородки. Потом пошли такие же тяжелые кожаные мешки, туго стянутые у горла жесткими ремнями. Здесь были импералы и по-

луимпериалы старой, еще николаевской, чеканки, золотые полосы, кружки, платина. И наконец старик, обеими руками прижимая к груди, поставил на край ямы, один за другим, два мешка. Выбрался сам. Разостлав на земляном полу попону, он развязал мешок и осторожно стал высыпать на нее никогда прежде не виданные, разве что на старых картинах, предметы церковной утвари — панагии на тяжелых золотых цепях, наперсные кресты с тускло светящимися при свете керосиновой лампы неизвестными, но явно дорогими камнями, браслеты, перстни, ожерелья, нитки жемчуга.

От изумления у Сотникова округлились глаза.

— Вот это клад... — прошептал он.

— Одно такое колье, — Сибирцев взял из кучи добра и поднес к свету массивное, вспыхнувшее радужными огнями ожерелье, — стоило сорок деревень. Да... Ну что ж, — он вздохнул, зачерпнул горстью несколько предметов, словно прикидывая их на вес, — начнем паковать.

Жемчужная нить медленным ручейком потекла меж его пальцев.

— Доставай, Алеша, снаряды...

В гильзу забивали пыж — тряпки, сено, потом ссыпали золотые вещи, прижимали кисетами и снова закладывали пыжом, чтоб сохранить центровку снаряда. И уж после Сибирцев вставлял головку снаряда и зачеканивал края гильзы. Кто его знает, может, кому-нибудь придет в голову проверить, что в снарядных ящиках. Пусть проверяет: внешне-то обман, пожалуй, и не обнаружишь. Снаряд и снаряд. И по весу, и по центровке. А что взрыватель вывернут — так кому он нужен в пути, взрыватель-то?

Заполнили ящики. В каждом вышло килограммов по восемьдесят. Нормальные ящики. Уложили их в розвальни: один — в те, где поедут Сибирцев с Жилиным, и три — к Сотникову. Чтоб вес поровну. Розвальни на железном подрезе, добрые розвальни. И кони кормленные, овса расстарался добыть Михеев. На таких конях спокойно верст по сорок можно делать. Ну, а при нужде да по тракту — шестьдесят пять — семьдесят. Правда, при особой нужде, когда уж и выхода не будет и все, по сути, едино: живы останутся кони или запалишь их.

Быстро перебросали в яму полполенницы дров, пустые мешки, перекидали землю, подчистили и крепко утоптали пол. Прикрыли лежалым сеном. Утром старик обещал сам привести все в окончательный порядок.

Лешаков был хмур. Велел сразу уезжать и ехать быстро, а на дневку остановиться в Лиховой сторожке. Она в стороне от дороги, никто там не бывает, и до темноты можно переждать. Езды туда полтора десятка верст. Он подробно рассказал, как добираться, где укрыть коней и сани, как след замести.

— Чую, — сказал он, пожимая руки Сибирцеву и Сотникову, — беда на этом золоте. Ох беда!.. Ну, да все под ним ходим. Чему быть — того, стало быть, не миновать. Прощайте, значит. Ох, беда, беда...

У развилки подхватили замерзшего до зубовного стука Жилина и свернули не к Трифоновой пади — там Михеев будет лишь следующей ночью, — а к Лиховой сторожке, чтобы уж потом, окольными путями, двигаться на встречу со своими.

9

Не знал Сибирцев, не имел сведений и Михеев, что поутру к Медвежьей заимке с малым количеством людей пожаловал сам «таежный хозяин». Странное предчувствие деда спасло их на этот раз.

Лешаков, прибиравшийся в сарае, услышал дробот копыт и выглянул за дверь. Во двор на рыжем пританцовывающем жеребце въезжал его благородие, именовавший себя с недавних пор «хозяином».

Добрый коняга, мысленно определил Лешаков, стараясь сохранить спокойствие. А душа приготовилась к худшему. Вслед за «хозяином», словно влитым в седло, стройным, туго перетянутым в талии желтым ремнем, тоже верхами втягивались во двор его люди, одетые кто во что горазд.

— Эй, старик! — звонко и картаво, отчего слышалось «стагик», крикнул его благородие. — Встгечай гостей!..

Лешаков вышел наружу и стоял, разглядывая лесных бандитов и поглаживая дикую свою бороду.

«Хозяин» легко спрыгнул на утоптаный снег, потрепал жеребца по холке, приказал, не оборачиваясь к остальным, накрыть его попоной и, поигрывая витой плетью у голенища сапога, с ухмылкой пошел навстречу старику.

— Ну, стагый колдун, что это ты ни свет ни загя в сагае возишься? А? Золотишко щупаешь? Все хитгишь, стагик, да я похитгее буду... Эй! — он обернулся к своим. — Гляньте,

что у него там!.. Ну, колдун, пгиглашай в дом! Ставь са-могонку, угощай догогого гостя.

«Проскочили или нет? — металась мысль. — Должно, проскочили, успели... А то дак иной разговор был бы...»

Прибывший по-хозяйски оглядел избу, пристройки, мельком взглянул на следы санных полозьев, избороздивших двор.

— Кто был? — неожиданно резко крикнул он.

— Дак кто был? — Лешаков равнодушно пожал плечами. — Ездют разные. Чай, дорога никому не заказана... Кум был...

— Что это, твой кум о двух санях нынче ездит? Не кгу-ти, колдун, а то богоду запалю, ты меня знаешь!

— Воля ваша. Были с ним шиловские мужики, ехали шибко. Боятся, поди, вашего-то благородия. — От сердца маленько отлегло.

— Нет тут ничего! — крикнули из сарая.

— Ну-ну... Сковогодников! Погляди, куда след ведет. Один из верховых умчался назад, к дороге.

Вошли в избу. «Хозяин» неторопливо разделся, бросил на лавку щегольской свой полушубок, мохнатую волчью шапку и сел, широко расставив ноги. Был он тонок в талии, ловко сидел на нем френч английского покроя.

— Ну, ставь самоваг, подавай закуски и все остальное. Говогить с тобой буду. И учти, в последний газ, — сказал без угрозы, спокойно, скусывая и сплевывая на пол льдинки, намерзшие на пышных черных усах.

Старик не спеша стал раздувать самовар, поджигая тонкие лучинки, приладил трубу и начал собирать на стол. Громко топоча, вернулся Сквородников, склонился и сказал вполголоса:

— Следы только до дороги, а там пропали. Много езжено, ваше благородие.

— Ладно, — отмахнулся «хозяин». — Эй, колдун, дай моим молодцам самогонки.

Старик принес бутыль самогонки, шматок сала, передал Сквородникову, и тот ушел, хлопнув дверью.

— Садись сюда и отвечай как на духу. Было золото?

— Дак мне ж где знать? — удивился Лешаков. — Может, и было... Сам-то мне не сказывал. По болезни бормотал всякое, нешто упомнишь... Я уж тебе, ваше благородие господин Дыба, сказывал о том. Может, и было. Дак ведь увез он его, поди. Обоз-то помнишь какой шел? По весне-то... При пулеметах.

— А если я пгикажу сейчас обыскать всю твою усадьбу? А? И найду... Знаешь, что я потом с тобой делать буду?

— Оно, конечно, ваша воля. Только чист я. Нет у меня ничего. Вот, — он широко осенил себя крестом, — перед самым господом богом клятву даю. Ничего нет... И знать не знаю. Да ведь искал уж ты не раз, аль запомятовал? Ты сам подумай, ваше благородие, к чему мне золотишко-то? Я тайгой живу, зверем али птицей какой. Отродясь иного греха на душу не брал. А так-то воля ваша...

— Конечно, моя воля, — кивнул Дыба, встал, сделал два медленных шага, резко повернулся к Лешакову и пронзительно закричал: — А воля моя такова, пгоклятый колдун! Сейчас я позову Сковогодникова, ты его знаешь, он спустит с тебя шкугу! Полосками, лоскутками! И солью, солью! И голой задницей на самоваг, чтоб тебя насквозь огнем пготянуло! А? Хочешь?!

Лешаков не вздрогнул, не испугался, только поднял на Дыбу свои дремучие, жарко плеснувшие глаза и медленно ответил:

— Бог — он видит. Все под ним.

— Сковогодников! — срывая голос, завопил Дыба, распахнув дверь. — Ко мне! Все сюда!

Дикой ордой ворвались бандиты, вмиг заполнили избу.

— Взять! — бешено вращая белками, орал Дыба.

Но тут Лешаков выпрямился во весь свой могучий рост, и бандиты замешкались.

— Взять!

— Господи! — старик медленно и торжественно поднял глаза к низкому потолку и снова перекрестился. — Предаю себя воле твоей... Берите, — и вытянул руки.

Его схватили, заломили руки за спину, согнули и повалили ничком на лавку, мигом заголив на спине рубаху.

— Отставить! — приказал Дыба.

Отпустили. Посадили, рванув за волосы.

— Идите вон, — Дыба махнул рукой. — Ну что, старик? — поинтересовался с усмешкой. — Мои молодцы все умеют. Им не бог, а я все пгощаю. Помни об этом... Хотел я подпалить тебя, да бог твой милостив. Молись ему, спас он тебя сегодня. Молись да вспоминай. Даю последнюю неделю: не вспомнишь — пеняй на себя и на бога не надейся... Все, что обещал, — сделаю, и даже больше. Молить будешь, чтоб твой бог тебе легкую смегть послал, а он не пошлет, нет, пока я сам того не пожелаю. Понял?.. Ну, подавай на стол, обедать буду.

Он ел молча и жадно. Много пил, почти не хмелея, только багровела шея и проступали белые пятна на щеках и лбу. Отвалившись от стола, нетвердо ступая, подошел к окну, выглянул наружу. Во дворе развели большой костер и на двух рогатинах жарили ободранную баранью тушу, отрезая дымящиеся куски. Дыба долго наблюдал за своими молодцами, курил, сплевывая на пол табачную крошку. Докурив, погасил окурок о подоконник и совершенно трезво и даже вроде бы печально посмотрел на Лешакова, мрачно сидевшего в углу под образами.

— Эх, стагик! Дугак ты, кругом дугак. Может, ты слово какое дал полковнику? Знаю я вашего бгата, вегные люди. Уважаю за то. Так ведь нет уж его, полковника твоего. Отошел. Никому твое слово не нужно. Взяли б мы то золото, поделили б по-бгатски... Не вегишь? Слово чести! И подались бы в Китай, а там и Пагиж... Жили б как люди. Как цаги!.. Да что ты понимаешь?

— Оно, конечно, воля ваша, только куды уж нам от родных-то могил?.. Да и золото где ж взять, коли нету. Истинный крест — нету, ваше благородие.

— А скажи-ка мне, колдун, куда ты ездил на днях? Почему тебя не было, когда я не велел отлучаться? А?

— К свояку ездил, Гераське. Рождество Христово встрел. Заутреню отстоял, можешь проверить. Ты как хошь, да только я от своей веры не отрекался. И Гераська православный, хоть и полукровка он. Вместе были.

— Где ж этот свояк живет?

— А в Верхнеудинске. Я туды завсегда на рождество езжу. Каждый год.

— И чего это тебя в такую даль понесло? Не понимаю.

— Закон у меня такой, ваше благородие, уж и не ведаю, поймешь ли, нет ли...

— А зачем ты в Шилове вегтелся? В тот день, когда у меня чекиста моего похитили. Мне все известно. Каждый шаг твой.

— Дак сам посуди, ваше благородие, кроме как по тракту и не проедешь. По тайге-то твои гуляют, на сосне вздернут и греха не имеют. А по тракту, иначе чем через Шилово, и дороги другой нету.

— Ох, колдун, гляди у меня... Ладно, даю последнюю неделю, а после уж точно, пеняй на себя.

Он стал одеваться, затянулся ремнем, нахлобучил низко на лоб шапку и вышел, не затворив двери.

— По коням! — закричал. Легко вскочил на подведен-

ного к крыльцу жеребца, огрел его плеткой и вылетел за ворота.

Старик Лешаков поглядел вслед, запер дверь на щеколду и тяжело опустился на лавку, обхватив нечесаную голову жесткими, узловатыми пальцами.

10

Короткий день пересидели в сторожке. Меж двух крупных валунов на земляном полу Жилин развел небольшой костерок, почти бездымный, потому что топилося по-черному, в котелке со снегом натаяли воды и напоили коней, запряганных в густой чащобе и накрытых попонами, засыпали в торбы овса. Ближе к вечеру поднялся ветер, взметая крутые снежные буранчики: затевалась метель. Она была на руку.

Когда совсем стемнело, вывели коней к дороге, осмотрелись, прислушались — ничего, кроме ветра, шумевшего в верхушках старых кедров, не обнаружили — и тронулись в путь. Во вторых санях ехал Сотников.

Жилин действительно каким-то нюхом чувствовал дорогу. К удивлению Сибирцева, он не торопил коней, ехал спокойно. Но, видимо, уловив недоумение своих седоков, обернулся и сказал Сибирцеву:

— Раньше-то времени нам ни к чему. Поспеем в самый раз... Коней беречь надо. Всяко может случиться.

В каком-то часу, на какой-то неизвестной Сибирцеву версте Жилин съехал в узкую просеку, остановил коня, выбрался из саней и, сказав, что скоро вернется, пошел назад по дороге. Сибирцев ждал, пристально вглядываясь в темноту, начал беспокоиться и вдруг услышал голоса, фыркание лошадей и визг полозьев. Рука невольно потянулась к маузеру, хотя тут же пришла мысль, что никакой маузер не поможет. Только тишина. Сжался в своих санях и Алексей.

Голоса приближались. Наконец раздалось негромкое:

— Эгей! Свои!

— Михеев! Черт побери, Михеев...

Теперь они снова ехали вместе, завершая обоз. Сибирцев негромко рассказывал о проведенной операции. Михеев слушал, помалкивал. Потом сказал:

— Ты знаешь, Мишель, а ведь этот твой Дыба где-то рядом обретається. Я как узнал сегодня, не поверишь, места

себе на находил. Ведь как проверяли! Ни слуху ни духу! И вдруг — на тебе... В глубь-то он вряд ли стал бы забираться, кого там встретишь. На тракте — самая для него работа. Да по селам. Старик тот ваш, видно, сообразил, верный путь указал. Хоть и длинней — зато безопасней.

— А сейчас куда?

— В Шилово. Мои хлопцы хорошо поработали, собрали кое-что, митинги провели. Кооператоры тоже свое дело делают, соображающие мужики. А в Шилове завтра проведем большой митинг и запись добровольцев. Они поедут в Верхнеудинск вместе с нами. Мы уже там были вчера, подготовили почву, собрали активистов. В общем, думаю, все устроится.

— А банда?

— Что банда?.. Надежда на мужиков слабая, они пуганые. Разве что ты узнаешь своего фронтового «друга». Дай, как говорят, боже, чтоб он тебя не узнал первым. А Сотникова своего предупреди, чтоб носа не показывал. Когда речь шла о замученном чекисте, и его кое-кто вспомнил. Вроде был, говорят, такой рослый, белявый из себя. Пусть лучше золото стережет.

— Ну, хорошо, собрались, митингуем, а тут с разных сторон бандиты. Ох и вжарят они по нашему митингу...

— Чудак-человек, это я предусмотрел. Там есть сознательный народ, да нас, считай, десяток. Винтари имеем, гранаты. «Гочкис» говорить заставим. Нет, думаю, не сунутся. А если и появятся, что вернее всего, то будут тихомирно стоять в толпе. Но... тут уж мы бессильны.

— Ладно, брат, поживем — увидим. Давай-ка я вздремну малость. Мы ж ночь копали, днем сторожили. Ах, хорошо-то как...

...Митинг, как и предполагал Михеев, проходил спокойно. Закутавшись в просторную доху и сильно ссутулившись, внимательно оглядывал Сибирцев собравшихся, вспоминая, но никого похожего на Дыбова не видел. Не было среди присутствующих черноусого красавца, как рассказывал про «хозяина таежного» дед Игнат. Лешаков тоже, когда копали яму, нарисовал примерно такой же портрет. Строен, сказал, ловок в седле, глаза бешеные. Сильно картавит.

Да, именно таким запомнился поручик Дыбов прапорщику Сибирцеву в том далеком шестнадцатом. Значит, верно, он это. Вот, значит, где встрече-то произойти. Да вряд ли рискнет. Не дурак Дыбов, чтоб так рисковать.

Михеев произнес звонкую, зажигательную речь. Обри-

совал мировое положение, упомянул про Семенова, который за японские деньги жег деревни, расстреливая всех от мала до велика, и называл себя спасителем России. Говорил и о бандах, бесчинствующих в уездах. Немного их уже осталось, но те, что есть, — самые безжалостные. Ничего, разбили Колчака, выгнали за границу Семенова, со дня на день доберемся и до изверга, недобитого колчаковца, что зверствует в этом уезде. Скоро-скоро ему крышка.

Мужики воспринимали по-разному. Кто одобрительно кивал, на всякий случай оглядываясь по сторонам, кто иронически хмыкал, а кое у кого в глазах посверкивала затаенная злоба.

Богатое издавна село Шилово. Четко пролегла межа: богатеи и батраки. В армию записывались батраки — народ в массе хоть и не больно сознательный, но накопивший ненависть к своим вечным хозяевам. Многие уже прошли войну, но так ни с чем и вернулись к худым своим избушкам, полумертвой от голода ребятне, отчаявшимся женам. Было несколько комсомольцев. Эти слышали в речи Михеева звук боевой трубы и первыми поставили свои фамилии в списке добровольцев. В общем, набралось около двадцати человек. Были мобилизованы лошади по списку у богатых мужиков для поездки в Верхнеудинск, добровольцам раздали оружие, патроны. Забрались они в розвальни и кошевки под смех, хмельные песни и бабьи слезы, тронулись в дальнюю дорогу, не дожидаясь ночи. Теперь-то чего бояться?..

Ехали не торопясь. Присоединялись добровольцы из других сел. Подбирали в попутных селах оружие, ящики со снарядами, оставленные за ненадобностью отступавшими к Чите колчаковцами. Набралось уже немало, и потому ни у кого не вызывали вопросов такие же зеленые ящики, сложенные в санях,двигающихся в середине далеко растянувшегося обоза. Жилин теперь ехал с Сотниковым, а Сибирцев и Михеев правили по очереди.

На третьи сутки пути, к ночи, когда только приготовились расположиться на ночлег, Жилин, воспользовавшись тем, что хозяина не было в избе, рассказал о странном, на его взгляд, случае.

Пристал к ним давеча мужичонка, известный в Шилове скверным своим характером — вздорный и непутевый. Были, видать, за ним и темные дела — живет вроде бы не хуже других, а с чего живет — про то никто не знает. Догнал в своей кошевке, сказал, тоже, мол, хочет в Красной Ар-

мии послужить, поскольку собственное хозяйство в запустении, — одним словом, бобыль бобылем. Записывай в добровольцы! Записали, каждый человек нужен. Взяли с собой. Но чем-то не приглянулся он Жилину. Давай, говорит, твой ящик ко мне переложим. Чего, мол, коняку так утруждать? Снаряд, он, известное дело, тяжелый. Жилин вроде бы не слышал. Мужичонка пристал: давай, давай. Тогда Жилин велел нагрузить его ящиками с самыми настоящими снарядами. А мужичонка все вертится вокруг Жилина, все присматривается к его ящикам, слушает, о чем другие говорят, где будет ночлег, да в какое село еще заедем. В общем, стал наблюдать за ним Жилин. И вот наконец увидел. Нынче, как приехали, тот мужичонка ловко так вскрыл один из своих ящиков. Обнаружив доподлинные снаряды, маленько сник. После, покуривая с другими мужиками, будто нехотя намекнул, что возить снаряды опасно. Не ровен час, наскочит кто, так от пули, мол, весь обоз к богу взлетит. Ему возразили, что хоть оно, конечно, и страшновато, но раз приказ такой вышел: вези снаряды, — ничего не поделаешь. Надо. Поговорили да разошлись к своим саням. А он-то воровато эдак все зыркает по другим возам.

— Может, показалось? — Сибирцев внутренне напрягся, понимая уже, что не могло это показаться цепкому жилинскому взгляду.

Жилин сумрачно качнул головой, нет, мол.

— Кто его записывал?

— Да Аникеев, наш комсомол.

— Ну-ка, брат, принеси нам списки добровольцев. Давай поглядим, кто, что да откуда. Неужто лазутчик?

— Похоже на то, — задумчиво процедил Михеев. — Тащи, Жилин, аникеевский список, ничего пока не говори, но к мужику твоему приставь кого-нибудь из наших, и чтоб глаз не спускал.

Жилин ушел.

— Вот и весточка от нашего «хозяина», — сказал Сибирцев. — Что будем предпринимать? Впереди два дня пути — не меньше, пока до Верхнеудинска доберемся. А дорога — тайга. Всякое может случиться. Гнать лошадей тоже нет резона. Если «хозяин» недалеко и следит за нами, он все поймет, и тогда только бой. А где этот бой будет, он сам выберет. Его положение лучше нашего.

Михеев молчал.

— Может, арестовать его без шума? — предложил Си-

бирцев. — Очень уж эта проверка ящика да беседа с мужиками на провокацию смахивает... Ну, что ты молчишь?

— Думаю. Что провокация, тут, извини, и ежу понятно. А вот брать его или не брать — вопрос... Пути нам действительно два дня. Если не торопиться. Где теперь «хозяин», мы не знаем, — позади нас или впереди. Добровольцы наши, за редким исключением, народ не очень надежный. Хоть и стреляный, да пуганый. На кого можно положиться? От силы полтора десятка. А у «хозяина», по слухам, за сотню сабель...

И в этот миг неподалеку обрывисто и сухо, будто хрястнула доска, ударил выстрел. За ним — другой — подальше. И снова тишина. Чекисты в чем были, выскочили на крыльцо. Снова деревянно треснул выстрел. «Из нагана», — определил Сибирцев. Крики: «Стой! Стой!»

От ворот метнулась тень, слабо проявившаяся на более светлом снегу. Крики удалялись, стихли.

Из избы выскочил Сотников, уже одетый, с пулеметом в руках.

— погоди, — остановил его Михеев, прислушался. — Кажется, тихо. Давай без паники. Пойдем одеваться. А ты, — сказал Сотникову, — собирай народ.

Подбежал, тяжело дыша, Жилин.

— Ушел, сука! — хрипло крикнул он и длинно выругался. — В тайгу ушел...

В избе Жилин грузно опустился на лавку, морщась, стал рассказывать, как пошел было к Аникееву, но что-то будто остановило его. Заглянул в сарай, где стояли их кони и сани, охраняемые молоденьким шиловским комсомольцем. Сквозь щель над дверью пробивалась тонкая полоска света. Вдруг услышал скрип дерева, такой звук, будто отдирают доску. Затаившись, он прильнул к щели и увидел при свете огарка свечи давешнего мужика-бобыля, топором открывающего заколоченную гвоздями крышу снарядного ящика. Ящика с истинными снарядами: их, для маскировки, клали в сани на ночевках. А ящики с золотом тайно заносили в избу. Часового нигде поблизости не было.

Вскрыв ящик, мужик быстро вынул снаряд, покачал его в руках, заглянул на дно ящика и положил снаряд на место. Жилин широко распахнул дверь и встал в проеме, глядя на него. Ловким движением тот метнул в Жилина топор. Жилин машинально откатнулся, оступился на скользком



унавоженном снегу и рухнул навзничь. Это и спасло его. Сейчас же грохнул выстрел, и Жилин увидел, как мужик в длинном прыжке прямо через него метнулся в дверь. Извернувшись и одновременно выхватывая из кармана наган, Жилин силился поймать на мушку прыгающий силуэт. Выстрелил, видно, промазал, потому что в ответ тоже ударил выстрел. Жилин попытался догнать беглеца, но было уже поздно. Ушел.

Снаружи слышались голоса, это Сотников собрал во дворе добровольцев. Вошел.

— Я проверил охрану, остальные все тут. Звать?

— погоди, — махнул рукой Михеев. — Еще не все ясно. Кто был на часах возле нашего сарая?

— Тут он, — Сотников кивнул на дверь. — Говорит, подошел к нему мужик наш, покурили они, тот и предложил пойти погреться. А я, сказал, за тебя постою маленько. Ну, что с ним делать? Совсем малец.

— Ладно, с ним потом. Теперь, Мишель, картина ясна. Раз отстреливался и ушел без лошади, значит, дорогу знает. Значит, «хозяин» где-то близко. К нему ушел. Каков вывод?

— Я думаю, — через паузу сказал Сибирцев, — надо немедленно уходить и нам. Все снаряды, кроме наших, — к черту. Идти налегке. Идти всю ночь, без остановки. Вся надежда на лошадей. Как, Жилин, выдержим?.. Жилин!..

Сибирцев вдруг увидел, что Жилин стал клониться на лавку. Кинулся к нему, схватил ладонь, прижатую к плечу, — она была в крови. Под полушубком на рубахе расплылось темное пятно.

Не заметил, видно, Жилин в горячке да пока бежал, что крепко задел его выстрел, произведенный почти в упор, навывлет. А теперь вот свалился.

Пока дезинфицировали самогоном да перетягивали рану, Жилин пришел в себя. Ему дали кружку первача. Он глядел мутными глазами и покачивался, скрипя зубами.

— Уходить... надо... — прошептал он. — Тот назад побег... А нам — вперед. Пулемет прикроет. Кружных дорог нет... Снег большой. Трактором уйдем. Коня... вынесут...

— Все, — решительно сказал Михеев. — Уходим. И без шума. Золото — в голову обоза. Снаряды оставляем. Я — к мужикам.

Длинные таежные ночи. За версту слышно, как бегущий по макушкам сосен ветер обламывает вдруг поникшую под снегом хвойную лапу и с пушечным выстрелом обрушивается в сугроб заледенелая шапка. Волки на миг прерывают свою мрачную жалобу, почуяв дробот десятков копыт на вымерзшей звонкой дороге.

Не спалось Лешакову.

Нет, не грехи его мучили. Не видел он за собой греха. Давним, таежным чутьем понимал, что пришли его последние ночи. И он приготовился к ним. Достал с подволока хорошо смазанную и обернутую рогожей трехлинейку с обоймами к ней. Снарядил для верного старого своего ружья тяжелые патроны с самодельными, на медведя подпильенными пулями. Слушал ночь.

Сколько мог, убеждал Дыбу Лешаков, что увез золото с собой полковник Мыльников. Не знал о том Дыба, сбежал он в ту весну от полковника, видно, тогда же и след его потерял. Оттого и бесится. Поди, снова удирать собрался, ну, а перед уходом-то, известное дело, спуску не даст. Много крови прольет... Прольет? Ну-ну, потеснись, ваше благородие. Не ходить нам, видать, по одной земле.

Знал ведь, не мог не знать Дыба, что ни угрозой, ни огнем не совладать ему с таежным человеком, чья вера — вот она! — веками питана.

А золото? К чему оно? Горе от него да мерзость людская. Век бы его не видал Лешаков, однако пришлось. Ну, так что тут рассуждать, дело прошлое.

Вспомнил старик Пашу, горького племяша своего, потом Олеху, начальника ихнего строгого, подумал: бог даст, выберутся. А Дыба? Этот не уйдет. Тут удержишься, ваше благородие.

Шутки с «хозяином» кончились, это он знал твердо. «Ну, иди, иди...»

Услышав отдаленный топот и конское ржание, Лешаков медленно поднялся с лавки и подошел к киоту. Долго и пристально смотрел в почерневшие лики святых, трижды перекрестился, поклонился им земно и пальцем загасил слабо колеблющийся огонек лампадки.

Раздался треск ломаемого забора, громкие на морозе голоса. В дверь повелительно и резко застучали.

— Открывай! — закричало сразу несколько голосов. — Живо открывай, а то запалим!

Лешаков усмехнулся и, взяв с лавки ружье, взвел курок. Удары стали громче — били прикладами.

«Ну-ну, — думал старик, — поди сам-то отвори... Вечное дерево лиственница. Коваными полосками скреплены плахи, засовы железные... Отвори-ка попробуй. Не-е, шалишь, ваше благородие».

— В окно давай! — услышал он срывающийся крик штабс-капитана Дыбы.

Брызнули в избу осколки стекла, посыпались на пол обломки рамы. В узкое отверстие сунулась голова в мохнатой шапке.

— Темно, нет никого! — крикнул бандит.

— Лезь и откывай изнутги, — приказал Дыба.

Бандит стал протискиваться. Ему помогали сзади, подталкивали. Когда пролезли плечи, старик с маху бросил бандиту на шею каменный свой кулак. Тело дернулось и повисло.

— Один, — прошептал старик, — прими его душу...

Сообразив наконец, что произошло, бандиты выдернули тело из окна. И вслед ему из избы грохнул выстрел, отшвырнув еще одного из нападавших.

— Другой, — продолжал свой счет Лешаков.

Вопли, визг, матерная брань! Загремели выстрелы: били по дверям, били в пустой проем окна, пули впивались в стены, рикошетировали от печки.

— Стой! — неожиданно закричал Дыба. Выстрелы стихли. — Эй, колдун! Слушай мое слово! Оно у меня твөг-дое. Отдай золото — и живи. Пальцем не тгону! Где золото?..

Лешаков молчал, перезаряжая ружье. Подумал: ушли ребятки, ей-богу ушли.

— Одно слово, и я уйду! — Дыба стоял где-то рядом с окном, но его не было видно. Прятался.

Зорко следил Лешаков за мечущимися во дворе тенями. Он не торопился, он должен бить наверняка.

— Эй, отзовись! Избу твою запалим — уйдешь без покаяния! Слышишь?

Из-за угла выдвинулась высокая стройная фигура, показалась голова в папахе. Лешаков поднял ружье. От грохота, казалось, обрушился потолок, кислый дым затянул избу.

Снова дикий вопль во дворе.

В окно разом хлестнуло несколько выстрелов.

— Кого он? — услышал Лешаков в паузе вопрос Дыбы.

— Сковородникова... Голову начисто, как шашкой! Ну, леший!.. — и отборный мат.

— Хген с ним, со Сковогодниковым, — отозвался Дыба. — Эй, колдун! Обещаю все забыть. Пошутили, и хватит. Давай мигиться.

— Да куды ж это, ваше благородие! — слышался визгливый возмущенный голос. — Он наших, как медведей, наповал ложит, а ты — мириться?

— Молчать! Знай свое место!.. Чуешь, колдун, люди сегдятся. Тогопись, пока еще я добгый... Не хочешь? Ну что же, пеняй на себя. Эй, молодцы, пошугуйте в сагае и засветите, чтоб видно было...

В избе стало холодно. Стихло во дворе, кончилась возня и у двери, видно, поняли, что ее не взять.

Лешаков следил за окном и видел наголо бритую, желтую, как кость, голову полковника Мыльников, метавшуюся в жару на этой вот лавке, слышал его бессвязный и быстрый шепот: «...пристрелю, как собаку... золото... где золото?..» Это видение сменило черное безглазое лицо Паши, потом заискрилось, вспыхнуло в углу тяжелое ожерелье — сорок деревень... Оно словно высветило суровый древний лик угодника, его плотно сжатые губы, воздетые персты... Благословляет, указывает... Антипка — дрянной, подлый мужик, иудина душа — все вертелся, пытал, откуда, мол, парень. Он, поди, и выдал, да. Великие муки принял парнишка-то... За что, за какие грехи?.. Это Антипкин голос: наших-то, мол, как медведей... Нет, не жить ему. Есть для него пуля, есть...

У сарая слышались крики, брань. Потом разом осветился двор, высокие сугробы, отблески огня скользнули по подоконнику. Бандиты подожгли сарай. Голоса приблизились.

— Кончено, сволочь! — крикнул Дыба. — Нашли мы, где клад пгятал. Мешки нашли! Кому отдал?.. Отвечай! Когда?..

— Ну вот, — вздохнул Лешаков, — и пришла, стало быть, пора прощаться... Теперь уж одна дорога, господи.

— А тебя мы заживо спалим! — продолжал кричать Дыба. — И кума твоего!

«Как же! — усмехнулся старик. — Поди догони... Опоздал ты, ваше благородие, крепко опоздал».

— Ваше благородие, это же леший чертов, от него слова живого не добьешься! Дозволь, я ему огоньку под стреху. Враз заговорит, как задницу припечет.

— Успеем, Антипка, — отозвался Дыба. — Легкую смегть ты ему хочешь. Эй, доски давай! Заколачивай окно и двегь!

Во двор влетел верховой. Влетел, не опасаясь, не ведая, что происходит. Соскочил с коня. Виден был он в отсветах пламени.

— Ваше благородие! Признал я одного... — прибывший говорил, с трудом переводя дыхание. — В обозе. С охраной... Стреляли, еле отбился...

Лешаков прицелился.

— Где? — вскрикнул Дыба. — Ко мне! Болван!

Поздно. Выстрел из окна бросил верхового под копыта коню, и тот шарахнулся в сторону.

— А-а! — завопил, срываясь на визг, Дыба. — Зажигай!..

Крепко, на совесть, строил избу старик Лешаков. Выдержанное дерево, полвека стояло, а все светлым лесным духом пахло. Душу свою для людей хранило, для жизни...

Потянуло дымом, слышался треск занимающейся кровли. В окно стреляли не целясь.

Пригнувшись, старик осторожно выбрался в сени. Мощные засовы ставил, словно знал от кого. Не громыхнули бы. Хотя уж теперь-то все едино... Дышать совсем трудно, дым забивал горло, пламя охватило уже всю крышу, лизало стены...

Бандиты стреляли безостановочно, крики, конское ржание слились воедино. Штабс-капитан Дыба вскочил на коня, отъехал к воротам — сильно пекло, осели сугробы, завалившие избу по самую крышу.

Дыба визгливо ругался. Где обоз, в скольких днях пути, куда движется? Черт побери, один свидетель — и тот труп!

Никто не заметил, не обратил внимания, как распахнулась дверь и из глубины сеней ударило подряд несколько выстрелов. Рухнули двое сидевших в седле бандитов. Вздрыбился и опрокинулся, придавив собой хозяина, конь штабс-капитана. Насмерть перепуганные бандиты попадали в снег, стали расползаться.

А из сеней, охваченных пламенем, била винтовка, била — пока не рухнула, взметнув к огненно-багровым верхушкам кедров фейерверк искр, кровля старой Медвежьей займки.

В десятке верст от Верхнеудинска обоз встретил отряд красноармейцев, вызванных нарочным, с утра посланным в город. В двух санях — пулеметчики, остальные — вер-
хами.

Командир — пожилой, неразговорчивый мужик, похо-
же, из бывших партизан — сразу выслал вдоль тракта до-
зоры и ехал рядом с санями Михеева и Сибирцева, зорко
поглядывая по сторонам. Он ни о чем не расспрашивал, ни-
чем не интересовался, сказал только, что ждут их прибыв-
шие из Читы товарищи и надо поспешать. Легко сказать.
Кони-то еле тянули, дорого им обошлась дорога. Однако
к темноте успели в город.

Быстро проскочили заснеженными улочками, въехали
во двор уездного комитета. Добровольцев отправили в ка-
зарму, что размещалась в двухэтажном доме, напротив
укома, через дорогу. У ворот выставили охрану.

Это был отряд моряков байкальской флотилии — весе-
лые, разбитные парни, все в широких клешах и простор-
ных тулупах поверх форменок. Внесли четыре снарядных
ящика в пустой кабинет председателя.

Жилина, протестующего и упрямого, отдали на попече-
ние врача, который сразу и принялся за него.

Двое читинцев были знакомы Михееву. Здороваясь с
Сибирцевым, тот, что постарше, представился Филимоно-
вым. Молодой — Васильевым. Встретили тепло, с интере-
сом поглядывали на чекистов. Михеев вскрыл пакет, до-
ставленный из Читы, прочитал бумагу, молча протянул ее
Сибирцеву.

— Взгляни-ка. Что скажешь? Кажется, хороший пода-
рок сделаем Петру Михайловичу.

— Кому?

— Никифорову. Премьеру нашему. Прямо-таки как в
сказке: золотое яичко к светлому празднику.

Сибирцев взял бумагу, стал читать.

Предписывалось срочно доставить специальный груз в
Читу и передать в распоряжение правительства ДВР. Вся-
кая задержка исключалась. В конце объявлялась благо-
дарность Военно-Революционного комитета группе, выпол-
нившей особое задание. И все. Никаких фамилий. Ничего
лишнего.

— А в яичке-то — два десятка пудов, — задумчиво про-
изнес Сибирцев. — По нынешним временам тут, понима-

ешь, что ни ожерелье, то — батальон. Обут, одет, накормлен, вооружен. М-да, отольются еще атаманам золотые слезки... — Он задумался, складывая бумагу. — Благодарность — это приятно. А дело пока не закончено... Дорогато как? — спросил он у читинцев.

— Похвалиться особо нечем, — отозвался Филимонов, старший. — Есть случаи: чистят поезда. Семеновцы из-за кордона. Банды всякие... Раз на раз не приходится, конечно.

— А другой путь?

— Другого, к сожалению, нет, — вздохнул Васильев. — И бронепоезда нет. И охрана невелика: отряд байкальцев. Народ, правда, проверенный — коммунисты и комсомольцы. Вот и ломаем голову.

— И задание экстренное, — добавил Филимонов.

— Жилина, что ли, спросить? — усмехнулся Михеев.

— Кто такой? — поинтересовался Филимонов.

— Наш человек, — нехотя ответил Сибирцев. — Доктор над ним колдует... Рана сквозная, промыли, как могли, да ведь в тайге какое лекарство... Если какой малый волосок остался, считай — заражение. Что ж, будем думать... Вы нам в помощь или в качестве курьеров?

— В вашем подчинении, — подтвердил Филимонов.

— И то, брат, спасибо... Покурим, что ли?

Васильев с готовностью протянул кисет, листок тонкой папиросной бумаги. Сибирцев кивком поблагодарил, свернул самокрутку, затянулся. Посмотрел на Михеева, сказал ему:

— Только без обид и все как есть начистоту. Как они — свои мужики? — он имел в виду читинцев.

Михеев кивнул утвердительно.

— Что ж, тогда есть такой план... Лишних нет?

Васильев вышел за дверь, вскоре вернулся. Сказал, что никого поблизости нет. Только охрана на первом этаже.

— А сам где? — Сибирцев кивнул на стол председателя укома.

— Тоже внизу, — ответил Васильев, — с охраной.

— План такой, — повторил негромко Сибирцев. — И знаем только мы четверо. И больше ни одна живая душа... Тому, кому надо, уже известно, что мы прибыли. С грузом. Так, Володя?

— Ну, предположим, — подтвердил Михеев.

— Наш «хозяин» тоже знает. Не может не знать. В тайге мы были чужие, здесь — среди своих. Чего нам теперь бояться? Думаю, надо работать в открытую. Завтра днем

грузить классный вагон, с охраной, морячков этих ваших поставить, чтоб всем видно было: груз серьезный. Чтоб вопросы возникали, что да куда едет. А там пойдет по цепочке.

— Так это же?.. — сорвалось у Васильева.

— Вот именно, — кивнул Сибирцев. — И чтоб охраны побольше, погуще. И груз покрупнее, потяжелее... Классный цеплять последним, вроде бы как торопимся. Морячков — в предпоследний. Мы, — он взглянул на Михеева, — едем в классном. Вы, — он повернулся к читинцам, — с морячками. При пулеметах и всем таком прочем.

— Постой, постой, — оживился Михеев. — Если я тебя правильно понял?..

— Правильно понял, — грустно усмехнулся Сибирцев. — Такая уж, видно, наша с тобой, брат, судьба.

Читинцы переглянулись, не совсем еще, наверно, сообщая, что предлагал Сибирцев...

Он, конечно, понимал, и о чем думали, и о чем пока только могли догадываться читинцы. Объяснять сейчас было трудно, да, пожалуй, бесполезно: идея только возникла. Ее следовало детально обсудить с Михеевым, который если и не все сразу понял, то уж догадывался, это точно. Хватка у него железная. С Жилиным перемолвиться, да больно плох он. Этот мужик наверняка дал бы настоящий совет. Ну да что теперь, все равно думать надо, хорошо думать. И Сибирцев сказал с легкой усмешкой:

— А спать-то где будем нынче? Вы ведь тут хозяева. Распоряжайтесь.

— Спать-то? — Филимонов, как показалось Сибирцеву, был вроде бы обескуражен, огляделся с сомнением. Можно было подумать, что спать как раз он вовсе и не собирался. — Спать-то, что ж, в принципе, можно и здесь. Вон — диван есть... Ну... матрасов достанем. Не замерзнем, нет? — он покосился на замороженные белые стекла.

— Так решим, — сказал Михеев. — Вы с Васильевым давайте устраивайтесь в приемной, а мы уж тут вдвоем. Ежели чего, сами понимаете. Четверым здесь тесновато.

— Как скажете, — сразу согласился Филимонов и, кивнув Васильеву, вышел.

Они вскоре принесли два матраса, бросили на пол. Филимонов, показав на дверь, сказал:

— Оно, конечно... мы будем вроде как первая застава. На случай чего. Правильно, товарищ Михеев. Располагайтесь.

Ушли, стало тихо.

— Ты где хочешь? — спросил Михеев.

— А? Все равно.

— Тогда вались на диван, а я на матрасах. Мне же мягче, — он заулыбался. — Слушай, Мишель, тебе не приходило в голову, что возможны варианты проще и безопаснее?

— Безопаснее? — Сибирцев оторвал взгляд от заляпанного чернильными пятнами зеленого сукна, с усмешкой посмотрел на Михеева. — Это ты говоришь? Я, брат, и сам мечтаю найти этот твой вариант. Да нет его пока... Впрочем, ты — старший. Предлагай.

— О! Видали? Прапорщик заговорил. Обиделся.

— Глупости говоришь, какая ж тут обида?

— Брось, Мишель, все я отлично понимаю. И более того, полностью тебя поддерживаю. Если отработаем четко, убьем сразу двух зайцев... Но мне другое интересно. Скажи, — он стал укладываться на матрасах, подогнул край, чтоб голове было повыше, укрыл ноги тулупом, поерзал и наконец успокоился, лежа на спине. — Скажи, ну что у тебя за страсть вечно лезть в самое пекло? Я ведь тебя не первый день знаю.

Сибирцев долго молчал, как-то чересчур тщательно сворачивал самокрутку, потом прошелся по комнате.

— Видишь ли, Володька, — хрипло и словно бы виновато сказал он, — наверно, так уж мне на роду написано... Как бы тебе объяснить... Ну, брать, что ли, на себя, а?.. Понимаешь, если мы все это барахло, — он кивнул на ящики, — отправим с матросами и твоими ребятами, да в блиндированном вагоне, да еще пулеметов добавим, может, все и доедет в целости. Не сунется туда Дыбов. А нам надо, чтоб сунулся. Обязательно сунулся, ввязался в драку. Я ему, Володька, не прощу Павла, никогда не прощу. Вот и крутится у меня мысль, как заставить Дыбова пойти на авантюру. Как сделать для него возможным, понимаешь, с его точки зрения, реальным последний его шанс. Мы должны убедить Дыбова, что золото с нами, что мы сильны, а потому и беспечны. Он, как картежник, всюду увяз, терять нечего, и остается только пойти ва-банк. Терять действительно нечего, а приобрести он сможет, ну, по крайней мере, два десятка пудов золотишка. Безбедную жизнь.

— Я понял, — протянул Михеев.

— Вот так, брат. А рисковать я могу или, вернее, должен только самим собой... Ну, тобой еще, — он усмехнулся и посмотрел сверху вниз на Михеева. — Мы с тобой мо-

жем. И умеем. Вот как. А их, — он кивнул на дверь, — их-то зачем? Или вот Алешку моего... Жилина я бы взял с собой. Наш мужик.

— Ага, — улыбнулся Михеев, — оценил наконец.

— Оценил, — очень серьезно и даже печально ответил Сибирцев. — Дай бог, чтоб я только не ошибся, что все там, в тайге, промыли, понимаешь? Рана сквозная, почти в упор. Может начаться заражение. Растрясли мы его, бредил он, помнишь? Плохой бред. Не нравится он мне, этот бред...

— Да полно тебе, — Михеев сел. — Все будет в порядке. Выдержит Жилин. Не такое выдерживал... А мы съездим, дело сделаем и вернемся.

Сибирцев присел на край скрипнувшего пружинами дивана.

— Давай, брат, спать. С утра дай мне несколько самых надежных. Таких, чтоб с нами, понимаешь, могли до самого конца... Мы ведь им просто все объясним: мышеловка для банды. И все. Как ты сказал, одним ходом — двух зайцев. Морячки ящики отвезут, а мы удар примем. Надо принять.

— Ах, Мишель, и примем и проживем. Еще как проживем... Помнишь Харбин?

— Помню, — помолчав, ответил Сибирцев.

— Вот и не забывай, — решительно перебил его Михеев. — Это там мы были среди чужих. А тут свои. Мы с тобой фронтовики, а это — самый что ни на есть костяк. В первой атаке не убили, значит, проживем. Так?

— Так, вражья твоя душа, — рассмеялся Сибирцев. — Конечно, так...

А утром к железнодорожной станции проследовали под конвоем моряков несколько саней с упакованным на них — и непосвященному ясно — тяжелым грузом. На запасных путях стоял классный вагон. Его окружила охрана и осторожно перенесла внутрь несколько ящиков. Посторонних близко не подпускали. Позже, лишь только пришел поезд из Иркутска, маневровый подал вагон на станцию и прицепил к хвосту состава. Соседний вагон быстро очистили от посторонней публики, и там разместились моряки, выставив на площадках тамбуров рыльца «максимов». Никто из них не обратил внимания на полтора десятка ящиков со снарядами и патронами, задвинутые под нижние полки. Туго сейчас с боекомплектами — это всем известно.

Ударил станционный колокол, паровоз дал сиплый гудок, и вагоны дернулись.

Уже в темноте проехали Петровский завод. На станции

состав штурмовали толпы мешочников. Сунулись было в классный вагон, но увидели освещенных слабым светом вагонных фонарей часовых за намертво запертыми дверями; к морякам соваться побоялись. Они лениво прохаживались вдоль своего вагона, покуривали, поглядывали на ошалевшую толпу. Ну их, от греха. «Максимы» — дело нешуточное: врежут — костей не соберешь.

Следующая станция — Хилок...

Глубокая ночь. Классный вагон шел последним, его качало сильнее других. Окна его темны, плотно зашторены, чтоб ни один лучик не проникал наружу. В середине вагона, обложенные мешками с песком и прикрытые с боков железными листами, глядят на двери тамбуров собранные пулеметы, что доставили в тяжелых ящиках. Громко распоряжавшийся погрузкой Алеша Сотников молча вслушивался в размеренный стук колес на стыках. Теперь он знал все. И знали те, кто ехали в этом вагоне, те несколько чекистов, которые должны были принять на себя удар.

Ни Сибирцев, ни Михеев, да уж, пожалуй, никто не сомневался, что клюнут бандиты, не смогут не клюнуть. Прimitивный, конечно, ход, но именно чем проще, тем вернее.

Разбирать пути и останавливать весь поезд глупо и бессмысленно — сил не хватит, а моряки — народ суровый. Значит, расчет такой: сам по себе классный вагон, какая бы охрана в нем ни помещалась, все равно не крепость. Ее можно взять. И ночь — самое верное время.

— Алеша, — негромко сказал Сибирцев, — предупреди охрану в тамбурах, чтоб шли в вагон. Всем быть наготове... Покурить, что ли?..

Сотников ушел. Сворачивая самокрутку, Сибирцев поднял голову и пристально взглянул в глаза Михееву. Ссыпал обратно табак в кисет. Показалось?

Нет, колеса вагона замедляли свой стук. Быстро вернулся Сотников и взволнованным шепотом доложил, что, судя по всему, их вагон отцеплен от состава.

Глуше стучали колеса, вагон перестало качать. Еще немного — и он остановился.

— Приготовиться! — скомандовал Михеев и залег к пулемету. — Убрать свет!

Погасли несколько коптилок, освещавших вагон.

Прошло с десятков томительных минут, и в двери резко застучали чем-то металлическим. Посыпались разбитые стекла. Вдоль вагона, по окнам полоснула пулеметная очередь.

— Все выходи! — раздался громкий повелительный крик. — Эй, чекисты, если не будете сопготивляться, дагую всем жизнь! Выходи!

Среди сотни голосов узнал бы теперь Сибирцев этот пронзительно-картавый голос.

Темный, казалось, вовсе безжизненный вагон стоял посреди перегона. Ни проблеска, ни звука. И это, видимо, смущало нападавших.

Вагон их был один — это понимали и Сибирцев, и Михеев, и все остальные. Иначе уже давно заговорили бы «максимы» моряков.

Наконец двери в тамбуры взломали с обеих сторон, одновременно, распахнулись двери в сам вагон, и тут же разом ударили пулеметы чекистов. В тамбурах — вой, проклятья, выстрелы вслепую. Сдвинув штору разбитого окна, Сотников дал очередь вдоль вагона из ручного пулемета. В нападавших полетели гранаты, освещая короткими вспышками взрывов изломанные фигуры всадников, вздыбленных среди сугробов лошадей. В низкое небо взвились ракеты, бледным светом озарив ненадолго поле боя. Пулемет снаружи решетил вагонную стенку. Вскрикнул раненый. Взрывом гранаты, влетевшей снаружи в купе, вырвало дверь. Еще вскрик.

Бой кончился неожиданно.

— Все на площадки! — тихо приказал Михеев, и, подхватив пулеметы, чекисты метнулись к тамбурам. Сибирцев осторожно отодвинул плотную штору и выглянул наружу. Никого. Темно, ничего не видно. Возле уха тонко свистнула пуля, впившись в стенку.

— Что там? — шепнул сзади Михеев.

— Они где-то рядом, но боятся.

— Надо выбиратья.

— Тут трупов навалом.

— Дать еще ракету?

— Погоди...

Где-то рядом слышались сдержанные голоса. Слов было не разобрать. Говорившие находились в торце вагона, а он глухой — не достанешь. Гранату бы туда.

— Пусти, я погляжу, — Михеев потеснил Сибирцева.

...Есть предчувствие. Есть. Может быть, шорох какой услышал Сибирцев, может, движение воздуха. Он резко пригнул Михеева, распластав его на полу, и прижал собой сверху. И в тот же миг, опалая глаза, в тамбуре, в двух шагах всего, гроыхнул взрыв гранаты.

Жгучая игла впиалась в плечо Сибирцеву, и через миг по всему телу стала растекаться жаркая волна усталости. Он попробовал приподняться, но не смог — руки не слушались. Где-то далеко, он слышал будто сквозь толстый слой ваты, затарахтели палкой по длинному забору, кто-то кричал, толкал его, а он медленно погружался в сон, сладкий, упоительный. Но опять его толкали, кидали на качелях, и к горлу подступала тошнота. Он с детства ненавидел качели.

Потом он различил песню. Кто-то негромко напевал: «Эй, баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалеко...» Старая сибирская песня. И голос грустный, знакомый. А чей?.. Сибирцеву очень хотелось пить, и он шевельнулся, открыл глаза.

Было светло. Из зыбкого тумана проступила вагонная полка, потом лицо Михеева. Он сидел напротив и, сжимая ладонями забинтованную голову, тихо напевал, словно сто-нал. Поднял глаза, встретился взглядом с Сибирцевым.

— Пить...

— Ну, слава богу, пришел в себя, — Михеев хотел улыбнуться, но лицо его скривила боль. — На, дорогой, пей.

Сибирцев сделал короткий глоток из кружки, вода про-лилась по подбородку, затекла на шею. Его все покачивало.

— Что? — выдавил он с трудом.

— Спи. Мы свое сделали, — медленно расставляя слова, сказал Михеев.

— Ребята...

— Сотников тяжелый. А трое моих совсем... Отбились мы. Кончили Дыбова. Спи, спаситель мой.

— Спой.

— Спою... «Эй, баргузин, пошевеливай вал...»

...Поезд замедлял ход, он подходил к Верхнеудинску, маленькому забайкальскому городку.

Глава II

1

Поздним вечером в жарко натопленную приемную чле-на коллегии ВЧК вошел высокий, слегка сутулый человек в черном полушубке и мохнатой сибирской шапке. Огля-

нувшись и сняв шапку, он подождал, пока миловидная большеглазая секретарша примет пакет у стоящего возле нее курьера, распишется в толстой тетради, и затем коротко кивнул:

— Здравствуйте. — Голос у него был негромкий и низкий, с хрипотцой, вероятно, от давней простуды.

Секретарша с интересом посмотрела на него и, приняв мандат, внимательно прочитала.

— Здравствуйте, — с теплой улыбкой, осветившей ее осунувшееся лицо, произнесла она. — Наконец-то! Что ж это вы так задержались, товарищ Сибирцев? Вас еще позавчера ждали. Мартин Янович все время спрашивает. Садитесь, я доложу.

Но Сибирцев продолжал стоять, только положил на стул шапку да тощий вещмешок.

— Вот ведь беда-то... — сказал он, переминаясь с ноги на ногу и растирая широкой ладонью глаза. — Заносы по всей дороге. Думал, вовсе застряну. Двое суток то пути расчищали, то дрова рубили. Мне — куда ни шло, — он усмехнулся, — бог силушкой не обидел, а там публика была всякая... Стоны, слезы... Пробились, однако. Так вы уж доложите, пожалуйста.

— Скоро закончится совещание, а вы пока отдохните. Можете раздеться — у нас тепло, и садитесь вон поближе к огоньку.

Сибирцев взглянул на раскаленную «буржуйку», поежился и сел на короткий диванчик, вытянув длинные ноги и откинув на спинку голову. Прошептал: «Благодать...» — и через мгновение уже спал.

Входили и выходили люди, приносили пакеты, срочные документы, громко докладывая о своем прибытии. Секретарша их строго останавливала и, прижимая палец к губам, указывала на спящего. Те переходили на шепот и понимающе кивали.

Как всегда, вихрем ворвалась, стуча подковками сапог, курьерша Генриэтта — личность восторженная и самостоятельная, поклонница нового искусства, в котором она, однако, как все полагали, ровным счетом ничего не смыслила. Черные ее волосы, подстриженные под Анну Ахматову, выглядывали из-под пухового платка.

— Симочка! — еще с порога воскликнула она. — Достала пропуск на «Канцлера и слесаря»! Знаешь, кто автор? Сам Луначарский! — И не обращая внимания на предостерегающий жест секретарши, продолжала так же громко: —

Ты себе не можешь представить, идет всю ночь, целых пять часов подряд! Уж и не знаю, как выдержу! Как выдержу?! Ты чего это? — удивилась она вдруг, снизив тон.

— Человек же спит. Неужели не видишь? Тише!

— А кто это? — Генриэтта капризно скривила губы.

— Какая тебе разница? Устал человек. Ехал издалека.

— А-а... А еще мне обещали завтра на «Мистерию-буфф» Маяковского. Это — у Мейерхольда. У него, говорят, там прямо с потолка прыгают! Представляешь?

— Нет, не представляю, — нетерпеливо поморщилась секретарша. — Ну, что у тебя?

— У меня?.. Да, вот же пакет! Феликс Эдмундович велел твоему начальству, — она кивнула на кабинет, — ознакомиться и в десять к нему.

— Давай распишусь. Только не шуми, бога ради...

— Слушай, Сим, а может, пойдешь со мной? Пробьемся как-нибудь?

— Не могу, мама болеет... Да и сама что-то неважно себя чувствую.

— Ну, как хочешь, я ведь по-товарищески. Прямо не представляю, как выдержу, как выдержу!

— Выдержишь, — засмеялась секретарша. — Иди уж, да не топай, как солдат...

Звонили один за другим телефоны, секретарша, поглядывая на Сибирцева, негромко отвечала в трубку, записывала сообщения, выясняла, где и какие предстоят совещания. Все было срочно, экстренно. В десять — у Дзержинского, в одиннадцать — в Наркомюсте, потом требовалось обязательное присутствие Лациса в Наркомпросе, на деткомиссии... И так каждый день. Можно подумать, что Мартин Янович всесилен, как бог, и без него никто не мог обойтись, сам решить свои вопросы. А он опять сегодня не успел поехать. Вот уже третий час сидят, дымят. Там, в кабинете, хоть топор вешай.

Секретарша поставила на пышущую жаром «буржуйку» чайник. Подумала, что перед очередным заседанием успеет хоть чаем напоить Лациса. Машинально протянув ладони к печке, она долгим материнским взглядом посмотрела на спящего Сибирцева и вздохнула: «Вот ведь какой здоровый мужик, и симпатичный еще, а выглядит стариком — так умаялся. Интересно, сколько ж ему лет? Под сорок, наверно... Виски седые. И позу выбрал неудобную, спит, прямо не дышит...»

Она обернулась на шум открываемой двери. Из каби-

нета Лациса вместе с клубом табачного дыма показались трое сотрудников, докуривая на ходу свои папиросы.

— Товарищи! — взмолилась секретарша. — Вы бы хоть здесь не дымили!..

— Прости, Симочка, — отозвался тут же один из них. Он подошел к «буржуйке» и, открыв дверцу кочережкой, швырнул туда свой окурок. Двое других продолжали спор, начатый еще в кабинете у Лациса.

— Да пойми ты, умная голова! — мотая рыжим чубом, наступал веснушчатый коротышка Нефедов. — Я же был там. Бы-ыл!

— Проездом, — поправил его Коля Васильков, беловолосый стройный парень из оперативного отдела.

— Ну и что, что проездом? — кипятился Нефедов. — Был же? Видел. Положение действительно угрожающее. А сегодняшние сводки...

— Плюнь ты на эти сводки, что ты носишься с ними, как с писаной торбой. Читал я их. То же самое, что вчера. И позавчера. И месяц назад. Феликс Эдмундович, помнишь, еще в октябре говорил, что с бандами все кончено. Причем официально заявлял. Я думаю, Нефедов, что эти твои товарищи просто трусят. Положение стабилизировалось, а лишние средства им, конечно, не помешают. Вот и нашли способ выжать их из центра.

— Ну, ты скажешь! — Нефедов хлопнул себя ладонями по ляжкам. — Какая ж это стабилизация? Ты хоть на карту взгляни! Вся ж губерния в огне... Честное слово, давно я такого размаха не наблюдал.

— Послушайте, друзья мои, — прервал их спор третий чекист, стоявший возле печки. Сима мало знала его, он работал недавно, а приехал откуда-то из Заволжья. — Да послушайте же! Мартин Янович абсолютно, стопроцентно прав. Просто проспали мы это дело.

— Это как же так проспали? — удивился Васильков. — В каком смысле?

— А в прямом. Самым натуральным образом. — Он посмотрел на Сибирцева. — Вот вроде него. И нечего на дядю ссылаться. Мещеряков приезжал из Тамбова еще в сентябре. К Владимиру Ильичу ходил? Шлихтер бомбил шифровками? А? Еще как. А что мы делали? Как отнеслись к указаниям Совнаркома? Вот так относились, — он пальцем указал на Сибирцева. — Спали. Говорили: стабилизируется... Ах черт, хорошо спит... Славно... Даже зависть берет... Ну, ладно шуметь, айда работать.

Они ушли, унося с собой запах табачного дыма и отчаянную — так показалось Симе — тревогу новых, навалившихся где-то в южных губерниях бед.

Сима проверила собранные в особую папку документы для члена коллегии ВЧК и только собралась было войти в кабинет Лациса, как оттуда навстречу ей шагнул Михеев. Он придержал ее за плечи и отвел от двери.

— Что нового, Симочка? — спросил и закашлялся. — Ну и надымили, черти, задохнуться можно. Как их терпят?..

Сима знала, что Михеев не курил и сидеть в дыму было для него пыткой.

— Из Тамбова товарищ прибыл?

— Да. Он уж больше часа внизу ждет.

— Тогда вот что, Симочка. Его надо устроить отдохнуть до... — он посмотрел на часы. — До двенадцати. Потом ко мне. Теперь, вот эти бумаги, — он протянул Симе тонкую папку, — срочно к телеграфистам. И последнее. Поступили какие-нибудь сведения о Сибирцеве?

— Господи, товарищ Михеев! Да вот же он, спит. Тоже уж с час, пожалуй. Такой усталый прибыл. Заносы, говорит, еле добрался. Прямо жалко бедняжку! Как сел, так и провалился. Даже раздеться не успел.

Михеев легонько отстранил Симу рукой, мягко ступая, подошел к Сибирцеву и склонился над ним, разглядывая.

Крепко устал Сибирцев. Откинутае на спинку дивана его бледное, застывшее лицо казалось гипсовым слепком, и только острый кадык на шее, изредка вздрагивая, убеждал, что перед Михеевым был все-таки живой человек.

— Мишель! — негромко позвал Михеев и легонько похлопал Сибирцева по коленке. — Слышишь, Мишель? Проснись. Царствие небесное проспишь, господин прапорщик!.. Спит, — он огорченно покачал головой и тронул Сибирцева за плечо. — Эй, ваше благородие!

— А? — захлопал глазами Сибирцев, отходя ото сна и не понимая, где он и что с ним. — Кто меня?

Сквозь сонную одурь он увидел перед собой щеголеватого адъютанта в черной коже, перетянутого желтыми ремнями. Резко сжав глаза ладонью, выпрямился было на диване, щурясь и недоверчиво разглядывая розовощекое юношеское лицо с кокетливыми усиками.

Словно из забытого далека всплыло перед Сибирцевым это хорошо знакомое лицо. Но, видимо решив, что сон продолжается, Сибирцев снова откинулся на спинку дивана, слабо улыбнулся и прошептал: «Володька...»

Из кабинета Лациса вышли несколько человек. Громко разговаривая, они мельком посмотрели на Михеева и двинулись к двери. Наверно, привыкли ничему не удивляться.

— Да проснись же наконец! — воскликнул Михеев, тормоша Сибирцева за плечи.

Сима, широко распахнув глаза, наблюдала за ними: ей такое приходилось видеть впервые.

Наконец Сибирцев с усилием поднял веки, тяжело выпрямился и глаза в глаза встретился с Михеевым, взгляд его приобрел осмысленность.

— Володька?! — спросил недоверчиво. — Володька, ты! — он вскочил, уронив на пол шапку, и сжал Михеева в объятиях.

— Пусти, чертяка! — застонал Михеев. — Ну и здоров же!

— Живой... — отпуская его, выдохнул Сибирцев.

— Да живой, живой, — кривясь и распрямляя плечи, засмеялся Михеев. — Ну, медведь! И откуда сила берется?.. Сам-то как?

— А так, брат, все как на том медведе. Заросло. Ты что ж молчал, вражья твоя душа?

Михеев положил руку на плечо Сибирцева, сажая его на диван, и сам примостился рядом.

— Ты прости, понимаешь... — сказал он, отводя глаза в сторону. — Я тебя тогда в больницу доставил, мне доктор сказал, что рана опасная, сволочной какой-то попался осколок. Ну, пока то да се, на меня приказ пришел: в Омск, а потом вот — сюда. Знаешь, как у нас — всегда срочно. Всегда бегом. Где-то с месяц назад сделал я запрос в Верхнеудинск в больницу, я тогда только фамилию твою назвал — и больше ничего, сам понимаешь. Ответили: такого нет. Вроде был, да выбыл. Куда — неизвестно. А ребят, которым я про тебя шепнул, просил, чтоб проследили и сообщили, уже в живых нет. Вот так. Такая вышла история...

— Тебя ж тогда тоже задело, я помню.

— А, — отмахнулся Михеев. — Пустяки...

— Погоди, — словно опомнился Сибирцев. — Теперь-то как нашли? Я ведь не давал о себе вестей сюда, в Центр. А Иркутск меня сразу в глубинку, в тайгу отправил.

— Мартин Янович все службы на ноги поднял. Он о тебе, оказывается, еще от иркутян знает, как ты там милицией заправлял. Не может быть, сказал, чтоб живой человек без следа исчез. Кровь, говорит, из носа — сыскать. У него на тебя серьезные виды, — Михеев отодвинулся и с

улыбкой окинул взглядом Сибирцева с ног до головы, будто прикидывая, годится он или нет для «серьезных видов» Лациса.

— Куда, не знаешь? — через паузу настороженно спросил Сибирцев.

— Вот чудак, — усмехнулся Михеев, — конечно, знаю... Сам скажет.

— Прежнее что-нибудь? Старые связи, поди...

— Ох и не терпится! — Михеев покрутил головой. — Все равно не скажу. погоди маленько, сам узнаешь... А ты изменился, Мишель, — сказал вдруг, без всякого перехода. — Похудел. Седина вон появилась.

— Ну! — вскинулся Сибирцев. — Зато уж ты вовсе не меняешься. Гусар, понимаешь, недорезанный!

— А мне что? — в голосе Михеева прозвучали беспечные нотки. — Помнишь? — он негромким, но чистым тенорком запел: «И по щеке моей румя-а-ной слеза скатится, ох, скатится с пья-а-ных глаз...» Так?

— Так... — щуря глаза, словно от яркого света, качнул головой Сибирцев и прижал Михеева к себе, широко обняв рукой его плечи. — Так, вражья душа...

— Слышу, поют! — раздался громкий голос. Сибирцев с Михеевым увидели в дверях кабинета Мартина Яновича Лациса, и оба вскочили. Сибирцев вытянулся по-военному.

Он много слышал о Лацисе в Иркутске, но вот так, лицом к лицу, встречаться еще не приходилось. А Мартин Янович, оказывается, знал о нем, и знал, видимо, хорошо, иначе не стал бы поднимать ради Сибирцева столько людей.

Сибирцев и сам был росту немалого, но перед Лацисом почувствовал себя подростком. От двери шагнул чернородый великан и, поводя усталыми после долгого сидения плечами, остановился посреди комнаты.

— Поют? — удивленно повторил Лацис, закладывая большие пальцы за поясной ремень. — Что такое, думаю? А тут еще и обнимаются. С кем вы обнимаетесь, Михеев?

— С самым большим своим другом, Мартин Янович, — сразу отозвался Михеев. — Можно сказать, со спасителем своим.

— Ну уж спаситель... — буркнул смущенный Сибирцев. Он оглянулся, поднял с пола шапку и снова вытянулся перед Лацисом. — Товарищ особоуполномоченный, Михаил Александрович Сибирцев прибыл по вашему распоряжению.

Жесткое, словно вырубленное из камня, лицо Лациса, глубокие глаза источали силу и власть. Сибирцев с сожа-

лением подумал, что уж его-то собственная физиономия наверняка такого впечатления не производит, особенно теперь, после сна. Да еще комната эта натопленная расслабляет, плывет перед глазами, покачивается.

Во взгляде Лациса сверкнули веселые искорки.

— Здравствуйте, товарищ Сибирцев, Михаил Александрович, — медленно и раздельно сказал он. — Рад вас наконец видеть. Я полагаю, задержка вызвана объективными причинами?

Кровь прихлынула к лицу Сибирцева.

— Заносы... — выдавил он из себя.

— Заносы... — качая головой, повторил Мартин Янович. — Топлива нет. Банды гуляют, портят пути. Понятно. Как здоровье?

— В порядке, товарищ...

— Зовите просто.

— Здоров я, Мартин Янович.

— Очень хорошо, — удовлетворенно кивнул Лацис. — Так, значит, спаситель?

— Точно, Мартин Янович, — тут же встрял в разговор Михеев. — Не будь его, не стоять мне перед вами.

Лацис хмыкнул, подошел к печке с булькающим на плите чайником и приблизил ладони к горячей трубе, протянутой через всю комнату к окну.

— Давайте сядем... Тут тепло и совсем нет дыма. Вот что такое женщина. Здесь не курят. А там, — он кивком показал Сибирцеву на свой кабинет, — дымят как паровоз. Проветрите, пожалуйста, Михеев. А вы, Сибирцев, можете раздеться. Здесь правда тепло. Снимите ваш роскошный полушубок.

Михеев ушел в кабинет, быстро вернулся и остановился, привалившись к косяку двери и картинно заложив ногу на ногу. Сибирцев повесил на крючок полушубок, шапку и почувствовал себя просто.

Если бы он не знал Михеева, то подумал бы, что перед ним самый обыкновенный штабной адъютантишка времен недавней германской, никогда не нюхавший порошу, но явно бравирующий своей завидной свежестью и выправкой. Но в том-то и дело, что Сибирцев знал Михеева хорошо.

Сибирцев с завистью смотрел в его чистые, улыбающиеся глаза и не замечал в них ни капельки усталости. Таков уж он, Михеев.

Лацис между тем плотно и обстоятельно уселся на диванчике возле «буржуйки» и жестом пригласил Сибирцева

— Мартин Янович, — секретарша наконец выбрала паузу и взяла в руки папку с документами. — Здесь принесли для вас материалы от Феликса Эдмундовича. У него в десять совещание. Потом — из Наркомата юстиции. У них совещание в одиннадцать. Звонили из деткомиссии — там в двенадцать. Чайник вот закипел.

— Хорошо, оставьте бумаги, — кивнул Лацис. — У вас усталое лицо. Сделайте нам чай и идите отдыхать. В деткомиссию поедет Глебов. Сообщите ему и будьте свободны. — Лацис говорил негромко, четко выговаривая каждое слово, что выдавало его прибалтийский акцент. — А мы, пожалуй, будем здесь, возле «буржуйки». Почему такое смешное название?

Секретарша тем временем собрала бумаги, заперла их в сейф. Отнесла папку в кабинет Лациса. Потом из ящика стола достала три стакана в подстаканниках и чайные ложечки. Ополоснула кипятком маленький заварной чайник и сыпанула из бумажного пакетика пару щепоток розовой стружки.

— Морковка! — Михеев подмигнул Сибирцеву. — Ты такого, поди, не пробовал.

— Много пробовал, — вздохнул Сибирцев. — А это нет. — И потянулся к своему вещевому мешку.

— До свиданья, — секретарша ласково посмотрела на Сибирцева и обернулась к Лацису. — Я передам, Мартин Янович, чтобы поехал Глебов. Всего доброго, товарищи.

Сибирцев склонил голову, прощаясь. Михеев легонько махнул ладонью и, едва дверь за Симой закрылась, обернулся к Лацису:

— Это потому, Мартин Янович, что она такая толстая и горячая. Как буржуйская жена.

— Кто? — не понял Лацис.

— «Буржуйка». Вы же спрашивали.

— Ох, Михеев, Михеев, — Лацис укоризненно покачал головой.

— Мартин Янович, — Сибирцев пошарил в своем мешке и добыл газетный сверток, развернул его. — Вот сахару есть немного.

— Очень хорошо, — утвердительно кивнул Лацис. — Значит, будем пить чай с сахаром. Это приятно знать, что хоть у вас там живут богато... Вы вздыхаете, Сибирцев? — он удивленно поднял брови. — Я не так сказал?

Сибирцев машинально пожал плечами, но тут же спохватился:

— По-разному живут там люди, Мартин Янович. У кого есть, и много, а у кого совсем пусто.

Он вспомнил прошедший свой год работы в Иркутске, дорогу до Москвы и поежился, словно от холода...

В глубоких снегах, морозах и метелях ушел двадцатый год. Ушел голодный двадцатый, с его жестокой засухой, предвестницей еще большей беды. Смерть, разорение, озлобленные орды мятущихся, измученных людей, штурмующих проходящие поезда, — хлеба, дайте хлеба!.. А хлеб был. Только брать его приходилось с бою, с выстрелами и кровью, с ночными пожарами в полнеба, ценой гибели многих товарищей — продотрядовцев. В каком кошмарном сне, в какой изощренной дьявольской фантазии родились те муки, которые суждено было принять людям, спасающим страну от голодной смерти...

Сибирцев знал о великой беде. Знал потому, что сам в течение последнего года не раз отправлял из Иркутска эшелоны с зерном и мороженым мясом, рыбой и одеждой...

— Как наш чай, Михеев? — ворвался в его мысли голос Лациса. — Надо угощать гостя. Возьмите ваш стакан, Сибирцев.

Сибирцев принял протянутый ему Михеевым стакан и, сосредоточенно дуя, стал пить новый для него напиток, но никакого вкуса почему-то не ощущал. Он снова подумал: какое задание приготовил ему Лацис? Зачем так срочно вызвали в Москву?

Мартин Янович словно углубился в себя. Он пил мелкими глотками, помешивая в стакане ложечкой, и аккуратно откусывал мелкие кусочки сахара. Казалось, это занятие целиком поглотило его.

— Ну, так что там у вас было, Михеев? Почему — спаситель? — спросил он вдруг, отставляя стакан. — Расскажите. Люблю интересные истории.

— Шутит он, Мартин Янович, — неловко перебил Сибирцев. — Уж если кто кого и спасал, так это он меня. Вот еще в Харбине...

— А, — небрежно отмахнулся Михеев. — Мура в Харбине. Обычная работа. Помните, Мартин Янович, я вам рассказывал, когда мы с ним золото уволокли из тайги, бой у нас приключился. На железной дороге. Черт меня дернул высунуться из вагона. А он, Мишель, значит, кинул меня на пол и собой закрыл. От гранаты. В двух шагах рвануло. Могла бы меня, а вышло, что его, и довольно крепко. Вот и все... Я уж, грешным делом, решил, что он, как в

Сибири говорят, к верхним людям пошел. А он выжил, чертяка, медведище, и теперь мне по гроб жизни в должниках ходить.

— Не слушайте вы его, Мартин Янович, — поморщился Сибирцев. — Он ведь такое понарасскажет, хоть святых выноси.

— А сколько вам теперь лет, Сибирцев? — прищутив один глаз, неожиданно спросил Лацис.

— Двадцать шесть. Старый я уже...

Лацис громко и заразительно рассмеялся.

— Совсем пожилой! Да... Ах, юноши... Ну, а что там у вас случилось в Харбине? Расскажите вы, Сибирцев. У нас есть еще немного времени.

— Да я ж говорю, мура, Мартин Янович, — снова влез Михеев. — Мура — и все.

— Я спрашивал не вас, Михеев, — деланно сердито сказал Лацис. — Когда вы, черт побери, будете уважать свое начальство?

— Виноват, Мартин Янович, — с готовностью согласился Михеев. — Только...

— Нет, вы неисправимый. Сядьте на свой стул и молчите. Я хочу слушать Сибирцева.

— Не знаю, как и рассказать, Мартин Янович, — смущенно начал Сибирцев. — Вообще-то мы с ним, — он кивнул на Михеева, — об этом случае не докладывали... Чтоб лишними шифровками не загромождать. Ну, в общем, служил я летом восемнадцатого у Семенова. Даже не столько у атамана, сколько у харбинского его представителя, что-то вроде посла при правительстве Хорвата. Скипетров его звали. Полковник.

— Он все метил в генералы, — не выдержал Михеев, — и потому пил как лошадь.

Мартин Янович обреченно махнул на него рукой.

— Я теперь знаю, кто вы есть, Михеев. Вы — анархист. Молчите, это так!

2

В тот день в харбинском кабаке «Палермо» шел грандиозный пир. Гуляли калмыковцы — они, видать, произвели очередную «калмыкацию», то бишь ограбили проходящий пассажирский поезд в районе Гродековских туннелей. Если бы семеновцы ограбили, это называлось бы «семенизацией», а у этих «калмыкация»,

Гуляли в кабаке и орловцы. Эти — с горя. Шли упорные слухи, что их полк собирались расформировать: обнаружилась растрата по хозяйственной части — ни много ни мало в полмиллиона рублей. Да и как ей не быть, если у полковника Орлова всего три сотни штыков, зато два оркестра. И сведения о безобразиях орловцев ежедневно ложились толстой пачкой на стол начальника военного отдела генерала Колобова. Это он подсказал в свое время главноначальствующему в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги — генералу Хорвату идею создания ударных «кулачков», а попросту — мелких банд, которые должны были постоянно терроризировать большевиков на границах полосы отчуждения, то есть в районе станций Маньчжурия и Пограничная. Однако созданные ударные «кулачки», в массе своей, за исключением крупных отрядов Семенова и Калмыкова, предпочитали оставаться в Харбине. Да и чего бы им не оставаться, если даже младшим офицерам платили по двести рублей в месяц на всем готовом. К тому же дежурные по отрядам регулярно получали авансы, чтобы расплачиваться с извозчиками, привозящими господ офицеров из кабаков в казармы. Ну, а ежели кому бы пришло в голову сделать им замечание — о взыскании и речи быть не могло — в таких случаях обычно следовал доклад обиженного о переходе в другой отряд. Нет, не рвались они тогда из Харбина защищать веру и отечество.

Такими были, разумеется, и орловцы. Вот кабы не эта злосчастная растрата.

Но все это, в сущности, мелочи, потому что Семенов, сидевший на станции Маньчжурия, «зарабатывал» по два миллиона в день да плюс звание «благодетеля населения».

Семеновцы тоже гуляли в «Палермо». Гулял харбинский посланник атамана полковник Скипетров, ждавший очередного производства, и с ним хорунжий Кабанов. У этих была серьезная причина. Во-первых, позавчера обнаружили в Селенге труп известного золотопромышленника Шумова, ехавшего в семеновском бронепоезде с большим грузом золота. Что там произошло, где золото — никто не знал, но, разумеется, догадывались. А во-вторых, несколькими днями раньше была произведена «семенизация»: реквизировали двадцать девять вагонов кожи, и затем неизвестные лица продали их какому-то спекулянту в Хайларе. Об этих злополучных вагонах уже шел разговор по городу, громко негодовал недавно прибывший в Харбин

Колчак, ждали каких-то ревизоров омского правительства, но разговор разговором, а деньги были. Только у кого? Этого не знали. Семенов бушевал. Скандал разгорался.

Ночью, с охраной на пяти казенных автомобилях, приехал в «Палермо» Скипетров. На одном из них вместе с полковником прибыл и Сибирцев, доверенное лицо Скипетрова. Когда же это было? В июле? Нет, еще в июне восемнадцатого. Да, великий был пир...

Сибирцев задержался с шоферами, указывая им место, где они должны были ждать господ офицеров хоть до самого рассвета, пока те не нагрузятся до полного безобразия. Таков был заведенный порядок, ибо, как говаривали в Харбине, всякая власть начинается с автомобиля. И уж вовсе никого не заботило, что стоимость автоверсты перевалила в ту пору за пятнадцать рублей. Золотом.

Войдя в ресторан, Сибирцев окинул взглядом тусклый и задымленный зал. Как-то, видно, с самого начала пошло, что в нем собирались русские. «Высокие» иностранцы сюда избегали заглядывать, хотя их миссий и всяческих комиссий в городе было предостаточно. Среди багровых, испитых физиономий «спасителей России» Сибирцев отметил сидевших группами и в одиночку эмигрантов: бежавших заводчиков, купцов, спекулянтов. Попадались офицеры, пока никуда не приставшие. Эти были, как правило, особняком, пили, вспоминали германскую. Но в основном зал заполняли шумные и крикливые атаманские орды. Однажды появился здесь доселе никому не известный украинский консул. Он начал было предъявлять свои державные права, но ему тут же пригрозили плеткой, и он стушевался. Революеры и шашки с большой легкостью пускались в дело под предлогом оскорбления мундира.

Сибирцев отметил несколько знакомых лиц и среди них пьяного офицера-орловца. Из того угла, где сидел орловец, слышались крики, хохот, хлопки пробок шампанского. Взгляды встретились, орловец растянул губы в пьяной улыбке, но, видимо, не узнал Сибирцева, тут же отвлекся и стал что-то кричать на ухо соседу. Да и где было узнать, виделась, кажется, в ставке Хорвата — раз-два — не больше. И фамилию его Сибирцев тоже не запомнил.

Сибирцев подошел к сдвинутым столам, которые накрывали, быстро скользя черными тенями, два суетливых, прилизанных официанта.

— Где вас черт носит, Мишель? — недовольно прохрипел Скипетров.

— Прошу прощения, господин полковник, — Сибирцев наклонился над ним, — распорядился насчет автомобилей, — и поднял голову, снова оглядывая зал.

— Не гляди, — Скипетров хлопнул его ладонью по спине, — садись. Сейчас привезут. Я Ваську послал, велел, чтоб мигом доставил. Он знает, где хорошие девки.

— А если не достанет? — тряхнул петушиным хохолком уже заметно набравшийся поручик Козюля, начальник охраны Скипетрова.

— Как так не достанет, когда я приказал? — возмутился полковник. — Не достанет?! Задницу его заголю и прямо тут, на столе, при всех, господа, всыплю сотню соленых, таку их...

— Гульнем, стало быть, господин полковник? — ухмыльнулся Сибирцев.

— Гульнем, не будь я генералом! — захохотал Скипетров. — Тащи живей! — заорал он на официантов. — Все тащи, китайская твоя харя!

В зале появился Кабанов. Он крепко покачивался, и его поддерживали под руки двое башибузуков Козюли.

— Господин хорунжий! — раздался голос от стола, где пили калмыковцы, давно враждовавшие с семеновцами.

Кабанов остановился, уперся глазами в поручика, окликнувшего его.

— Вы ко мне? — спросил с хмельной важностью.

— Именно, — поручик поднялся, опираясь на плечо соседа. — Не могли бы вы сделать нам всем небольшое одолженье-с?

— Если в моих силах, господа, — Кабанов, качнувшись, развел руки в стороны.

— Вполне. Продайте нам один маленький такой, знаете ли, вагончик кожи. Сапоги, сами изволите видеть, износились, а до первопрестольной топать еще... — поручик высоко над столом поднял ногу, показывая свой сапог, и хохот за столом не дал ему закончить фразу.

— Зря шутите, господа, — выпрямляясь и выпячивая грудь, мрачно выговорил хорунжий. — Мы ведем следствие...

Хохот вспыхнул с новой силой, истомленный поручик упал на стул.

— Кабанов! — зарычал Скипетров. — Сядьте, ну вас к черту! Сплошной позор с вашими этими... пинчерами.

— Пинкертонами, господин полковник, — с легкой улыбкой поправил Сибирцев.

— Один хрен, — яростно отрубил полковник, — все суки! Кабанов грузно шлепнулся на стул и заорал:

— Шампанского, живо! — и затуманенными глазами пристально взглянул на Сибирцева.

От стола за спиной Кабанова повернулся какой-то незнакомый штабс-капитан и брезгливо сморщился, увидев хорунжего.

Будет драка, понял Сибирцев. Не сейчас, а позже, когда еще подопьют.

А драка уже вспыхнула. В углу, где сидели орловцы, послышался стук падающих стульев, звон посуды и пьяные крики. Вскочили два офицера: один тут же с лязгом обнажил шашку, второй выхватил револьвер. На них навалились, растащили в стороны. Того, кто размахивал шашкой, с трудом поволокли к двери, а он плевался, рассыпая, словно горох, матерную брань, и грозил оставшимся обнаженным клинком.

— Что-то нынче орловцы развоевались... — заметил кто-то из сидящих справа от Скипетрова. — Куш, что ли, сорвали?

— Господа! — Кабанов выпрямился на стуле, вскинув подбородок. — Их расформируют, господа. Я точно знаю. По хозяйственной части недостача в два миллиона. Все они жулики!

«Уже два миллиона, — мысленно усмехнулся Сибирцев. — Быстро растут слухи. Да уж и кто бы говорил...»

Он услышал негромкие голоса за своей спиной, обернулся нехотя: там ужинали двое штатских со своими дамами. Женский голос произнес:

— Ох, не нравится мне эта их компания...

На что один из мужчин немедленно отреагировал:

— Когда гуляют семеновцы, жди неприятностей. Умоляю вас, Нелли, не обращайтесь никакого внимания. Умоляю. Никакого.

Сибирцев презрительно скривился и обернулся к Кабанову:

— Значит, слухи верные? Расформируют орловцев?

— А на хрена они кому нужны? — Скипетров хлопнул ладонью по столу и надулся индюком. — Самостоятельная боевая единица! Полк! — он явно копировал генерала Колобова. — Дерьмо. Пушай к нам идут. Вы, Мишель, знакомы с кем-нибудь из них?

— Да так, господин полковник, больше по мелочам, — Сибирцев пожал плечами.

— А какая разница? Всем говорите: жрем до отвала, пьем до беспросыпа, препятствий никаких, а служба — одно удовольствие! Сами прибегут... Где же Васька, сукин сын? Ох, выдеру! — Скипетров откинулся на спинку стула и вдруг заявил жалобно: — Надоело в послах ходить. Живого дела хочу!

— Надо полагать, уже недолго, господин полковник? — полуутвердительно спросил Сибирцев.

Он почувствовал на себе злобный взгляд хорунжего и, подняв брови, хмыкнул. Затем мельком, словно по пустому месту, скользнул глазами по Кабанову, и, взяв бокал шампанского, поднялся, и пошел к полковнику. Склонился к его плечу, шепнул на ухо:

— А Кабанову разговоры о вашем повышении будто клизма. Взгляните, господин полковник.

Скипетров посмотрел на хорунжего, напряженно вытянувшего шею в их сторону и старающегося расслышать, о чем шла речь, и расхохотался: уж больно нелепой была его фигура.

— На чем сидишь, Кабанов? — крикнул он, утирая слезу.

Кабанов дернулся, будто его стукнуло, и машинально огляделся, чем вызвал новый приступ смеха у полковника.

— Молодец! — Скипетров толкнул Сибирцева в плечо. — Быть тебе поручиком!

Возвращаясь на свое место, Сибирцев громко сказал:

— А все-таки зря вы, господин полковник, так-то легко хотите расстаться с посольской миссией. У вас отменные дипломатические качества.

— Я же говорю: живого дела хочу! Наливай по этому случаю! Всем пить! — он в два глотка выпил свой бокал и добавил, отдуваясь: — А Ваську выдеру, господа. Видит бог, выдеру! При дамах!

Появились официанты с многочисленными подносами, и дальше все закружилось, завертелось. Пили и ели без разбору, поначалу с каким-то мрачным ожесточением, а потом, по мере насыщения, постепенно отваливались от стола, стали воинственно поглядывать на соседей, кидая весьма недвусмысленные замечания по поводу их дам.

Сибирцев осторожно посмотрел на часы и, улучив минуту, поднялся. Пошатываясь, он отправился через весь зал в глубину ресторана. Прошел длинным коридором, откидывая бархатные занавески, вошел в туалет, огляделся. Туалет был пуст.

Сибирцев начал медленно мыть руки, ополоснул лицо,

пригладив влажные волосы. Через короткое время в туалет вошел тот самый розовощекий орловец. Мундир его был распахнут, он качался, громко икал и пробовал, ужасно фальшивя, петь: «Без сюр-р-р-тука, в а-адном хала-ате...» Увидев Сибирцева, смолк и, подойдя к соседней раковине, сунул голову под кран и пустил сильную струю воды.

— Сильный северный ветер, — пробормотал он вдруг, словно про себя.

Сибирцев замер, услышав эту фразу, скосил глаза на орловца, так же еле слышно ответил:

— Сегодня тепло...

— Па-азвольте мыла! — вызывающе громко, так что Сибирцев вздрогнул, объявил орловец и взял обмылок с раковины Сибирцева. — Благодарю-с!

Вместо обмылка остался лежать в мыльнице маленький бумажный комочек.

Сибирцев небрежно положил сверху ладонь, прополоскал водой горло еще раз и вошел в кабинку. Орловец уже умылся и с песней удалялся обратно в ресторан. «Когда я пьян, а пьян всегда я, я буду вспоминать о вас, и по щеке моей румя-а-ной...» — донеслось из коридора.

Быстро развернул бумажку. Там было несколько слов: «Берегись Кабанова. Срочно уходи. Гродеково, Вокзальная, 3. Пароль прежний. М».

— Кто же этот — «М»? У Сибирцева и в мыслях не было, что его непосредственным руководителем мог быть кто-нибудь, подобный этому юному орловцу. Нет, сейчас, скорее всего, приходил связник.

Он тщательно порвал бумажку и спустил воду, проверив, чтоб не осталось клочков. После этого снова пригладил волосы, стряхнул капли воды с мундира и тоже отправился в зал.

Компания напилась. Дамы уже прибыли и теперь с визгом и хохотом усаживались рядом с семеновцами. Официанты тащили стулья. Васька бурно объяснялся со Скипетровым.

Усевшись на свое место, Сибирцев окинул туповатым взглядом опустошенный и разграбленный стол, взялся за бутылку. В этот момент кто-то крепко сжал его плечи и, горячо дыша в ухо, прошептал:

— Ты где был, а?

— Блевать ходил после этого дерьма, — пьяно отозвался Сибирцев, не оборачиваясь.

Цепкие пальцы сдавили сзади его шею.

— А если я пойду проверю, а? — прошипел голос за спиной.

Скривившись, Сибирцев резко повернулся на стуле. Пальцы на его шее разжались. Перед ним, держась рукой за спинку стула, стоял Кабанов и пристально-пьяным взглядом сверлил его зрачки.

— Иди, Кабанов, тебе только этим и заниматься.

— А... — начал было хорунжий, но Сибирцев так же мрачно и убежденно перебил его:

— Уйди, говорю, Кабанов, а то в морду дам... Эй, водки! — Сибирцев сел и, отодвинув от себя пустую бутылку, крикнул в пространство: — Чеа-ек! Пардон, мадам, — он отодвинулся вместе со стулом от оказавшейся рядом дамы.

Кабанов постоял еще, будто раздумывая, покачался вперед-назад с носков на пятки, потом пошел и сел на свое место.

«Случилось что-то серьезное, — размышлял Сибирцев. — Зря не стали бы паниковать. «Берегись Кабанова...» Неужели контрразведчик вышел на него? Вряд ли. Уж очень он откровенно зол. Подозревает? Возможно. Завидует доверительному тону со Скипетровым... Однако приказ ясный: надо смываться. А как?..»

Сибирцев вдруг обнаружил, что рядом с полковником сидит невеста откуда взявшийся молоденький калмыковец. Встречались они как-то на Пограничной. Это когда Сибирцев по приказу «временного правителя» Хорвата ездил к Калмыкову с посольской миссией помирить далеко зашедших в своих разногласиях забайкальского и уссурийского атаманов. Никак не хотел признать Семенов равенства Калмыкова, с позором изгнанного в свое время из 3-го конного корпуса генерала Крымова за всяческие подлоги и интриги против офицеров. И Сибирцев принял все меры, чтобы желательный Хорвату альянс так и не состоялся.

А калмыковец между тем с восторгом рассказывал:

— ...Весь юридический отдел... И всех — расстрелять. Всех до одного. А почему, я спрашиваю? А потому, что, — он слегка понизил голос, — много брали. А сдавали мало. — Он захохотал. — А чтоб помирать не тошно — водки ведро, и отдали им на сутки всех девок... Мы их взяли как большевичек. В разведке. Много взяли. Ха-арошие девки, молоденькие. А потом их всех вместе. В расход.

За столом поднялся хохот. Прибывшие дамы явно чувствовали себя неуютно. Но, как понимал Сибирцев, это было только начало.

— Мальчишки... Все вы, калмыковцы, — сопляки... — прохрипел Скипетров. — Без девки подохнуть не можете.

— А на что они нам? — пьяно вскинулся калмыковец. — Мы их в плен не берем. Нам это лишнее. Разве когда нужда в них есть. Поигрался — и в сопки. Пух!

— Это же черт знает что, господа! — воскликнул штабс-капитан и грузно повернулся на стуле к семеновцам. Сибирцев даже вздрогнул, увидев его взгляд, столько в нем было ненависти и презрения.

В глазах Кабанова тоже разгорелась звериная ярость. Сибирцев внутренне напрягся, понимая, что все это неспроста. Но в этот миг произошло неожиданное.

Совершенно багровый, штабс-капитан вскочил со стула, сделал нетвердый шаг к Кабанову и, сорвавшись на визг, закричал:

— Пошел вон, скотина! Дерьмо! Убийца!

В зале повисла мертвая тишина.

Опираясь обеими руками о край стола, Кабанов стал медленно подниматься и вдруг резким, сокрушающим ударом врезал штабс-капитану в подбородок. Тот с грохотом рухнул на свой стол. И тут все словно сорвалось. Треск ломаемой мебели, звон битой посуды, пронзительные вопли женщин. Бабахнули выстрелы. В углах погас свет. Было впечатление, что все бьют всех, на самом же деле целый зал обрушился на семеновцев. Летели бутылки, сыпались с потолка осколки люстр. По распластанным на полу, истошно визжавшим женщинам ожесточенно топтались сапоги господ офицеров, сшибавшихся в рукопашной: бутылка — против ножки кресла, вилка — против кулака, разодранный в неистовой ярости рот, захлебнувшийся матерным криком, располосованные мундиры...

Раздавая удары направо и налево, Сибирцев стал пробиваться к коридору. Рывком отшвырнул вцепившегося ему в рукав Кабанова. И в этот же миг что-то будто обожгло ему спину. Ринувшись на пол, в ноги атакующим, он резко обернулся и снова увидел Кабанова, целящегося ему в спину. Выстрел был неизбежен, но тут розовощекий орловец, каким-то чудом оказавшийся рядом с хорунжим, ловким и сильным ударом сапога взметнул его руку, и выстрел грохнул в потолок. Следом раздалось еще несколько выстрелов подряд, дикий вой, и наступила тишина. Публика рвалась из зала, но в центре его битва как-то сразу прекратилась. Рыдали женщины, поднимались с пола окровавленные офицеры, тщетно пытались застегнуть разорванные мундиры,

трезвели на глазах, и у всех было видно лишь одно желание — быстрее исчезнуть. Все знал Харбин, ко многому привык, но такого... Это даром пройти уже не могло. Все это понимали. И потому публика в зале как-то сама по себе рассачивалась.

Четверо семеновцев подняли с пола неподвижное тело Кабанова. Один из них неловко выпустил ногу, тело перекосило, и вдруг из кармана хорунжего посыпались деньги, много денег. Все словно оцепенели. Потом чьи-то руки стали хватать эти рассыпавшиеся по полу ассигнации.

— Назад! — заревел Скипетров. Прижимая к подбитому глазу скомканную салфетку, он вместе со скатертью смахнул со стола осколки посуды и приказал: — Клади его сюда!

Кабанова положили на стол. Скипетров залез в один его карман, в другой, расстегнул мундир и отовсюду вынимал толстые запечатанные пачки денег.

— Ох ты... — простонал кто-то. — Да их тут целый мильён.

— Тысяч на двести, — определил другой голос.

Послышался быстрый топот, лязг затворов, и в зал ворвался патруль.

— Всем оставаться на местах! — раздался резкий, повелительный голос.

Случилось так, что Сибирцев оказался почти рядом с бархатными портьерами коридора. Охрана, естественно, сразу бросилась к столу с убитым Кабановым, а Сибирцев, воспользовавшись тем, что внимание всех было приковано к труп и пачкам денег, кучей лежащим на столе, сделал шаг назад и скользнул за портьеру.

— Быстро за мной! — услышал он шепот.

Мгновенно обернувшись, увидел офицера-орловца, того самого, что заходил в туалет, а позже, во время драки, спасшего Сибирцева от выстрела хорунжего.

Ступая на носки, они почти бегом прошли по коридору, свернули за угол, по темной лестнице спустились во двор ресторана и, обогнув его, остались в тени, наблюдая, как патруль начал выводить и усаживать в автомобили арестованных кутил.

Сибирцев взглянул на орловца, отметил про себя его откровенную молодость и, на всякий случай, негромко сказал:

— Я твой должник. Кабы не ты, лежать мне сейчас там.

— Мура, — отмахнулся орловец.

— Это ты его? — снова спросил Сибирцев.

— А что ж оставалось делать-то? Под шумок, из кармана...

— Лихо!

— Дырку теперь зашивать, — орловец сунул ладонь в карман галифе и показал через отверстие палец. — Ладно, пустяки. Ты, ваше благородие, счастливым родился. Крепко, видать, копнул тебя Кабанов. Началось, наверно, с того, что больно уж благоволил к тебе Скипетров, а кончилось — вон чем. Едва на тот свет не отправил. Аккуратно и быстро проверь свои связи, может, где-то обнаружится прокол. Кабанов — контрразведчик, а попер, вишь, напролом... Но теперь нет Кабанова. Не только самого убрали, но и большое грязное пятно наложили на твое непосредственное начальство. Не думал я, что с деньгами так-то удачно получится. При полном, что называется, стечении народа. Как теперь твой атаман почешется! А? Славно... Твой уход временно отменяется. Но адрес запомни: верный адрес. И последнее. Думаю, тебе сейчас самое время оперативность проявить: дуй-ка к атаману в Маньчжурию, в ноги пади — Григорий Михайлович, отец родной, наших, мол, забижают, это все Калмыкова происки. Полагаю, выручит атаман твоего Скипетрова, а он нам еще пригодится, как прикрытие. И про деньги не забудь. Они сейчас рады будут все свалить на Кабанова, поскольку тот — труп. Ну, бывай. Двинем в разные стороны. Ваши автомобили вроде за тем углом, а я пешком, так скорее... — И он шагнул в темноту.

Сибирцев хотел было его окликнуть, но орловец вернулся сам.

— Ладно, — сказал он. — Раз уж так сложились обстоятельства, знай, я — Михеев. Понял? Самый я что ни на есть натуральный Михеев. У Орлова служу, пока нас, конечно, не разогнали. И наша встреча нынче вынужденная, поскольку все те же обстоятельства. А ты на меня больше не выходи. Мы с тобой знакомы — и только. Если чего — сам тебя найду. Связь прежняя. Бывай. — Он тронул ладонью Сибирцева за локоть и растворился в ночи.

Вот так и произошла их первая встреча. Давно это было, еще в Харбине...

В кабинете Лациса зазвонил телефон. Мартин Янович встал и, сделав знак Сибирцеву и Михееву следовать за собой, пошел к аппарату. Жестом пригласил сесть у длинного стола и снял трубку.

— Лацис у аппарата. Слушаю, Феликс Эдмундович, — он стал перелистывать бумаги в папке, оставленные секретаршей. — Да, здесь. Буду смотреть... Скажите, Михеев, — Лацис прикрыл ладонью трубку, — товарищ из Тамбова прибыл?

— Прибыл, — поднялся Михеев. — Я его отправил отдыхать до двенадцати.

— Хорошо, — кивнул Лацис и продолжил в трубку: — Прибыл. Все данные по Тамбову и губернии готовы... Буду ровно в десять. — Он повесил трубку, дал отбой и посмотрел на часы.

— Пожалуйста, Михеев, принесите все материалы для Сибирцева. Сейчас девять, у нас есть ровно час времени. — Лацис обошел свой письменный стол и сел напротив Сибирцева. Чуть сощурившись, посмотрел на него — по губам скользнула легкая усмешка — кивнул: — Хорошо, курите. Вот пепельница, — он придвинул пепельницу, набитую окурками. — Дымите. Что вы знаете, Сибирцев, о Тамбовской губернии?

— О Тамбовской?.. — в раздумье повторил Сибирцев. — Земля там, говорят, хорошая. Народ не бедный. Кулаков много. Яша Сивачев был родом оттуда. Из-под Моршанска. Погиб он...

— Он был ваш друг?

— К сожалению, только становился. Не успел. Его взяла контрразведка в прошлом году.

— Семья осталась? — спросил Лацис после паузы.

— Искать надо, — вздохнул Сибирцев. — Вроде были мать и сестра. Где-то там, наверно, живут.

— Вот и выясните. Попутно. Потом сообщите сюда, и мы постараемся помочь семье... К делу, — уже другим, суровым голосом сказал он и взял принесенную Михеевым папку с бумагами. — Вам надлежит утром выехать в Тамбовскую губернию. В Сибирь пойдет экстренный поезд, он доставит вас в Козлов. Оттуда направитесь в Тамбов. — Лацис посмотрел на него: — Окончательно вопрос решится позже, у Дзержинского. Так что и вы, Михеев, будьте готовы тоже.

— Нищему собраться, Мартин Янович... — начал Михеев, но Лацис махнул рукой:

— У вас представится возможность острить в дороге... Так вот, Сибирцев, ваш друг подготовил для вас обширное досье. С ним следует внимательно ознакомиться.

— Времени маловато, Мартин Янович, — озабоченно сказал Михеев.

— Ничего. Отберите сейчас самое главное. Остальное можно в поезде.

Михеев вышел в приемную, притворив за собой дверь.

— Итак, продолжим. Я имел разговор с председателем губчека. В губернии положение чрезвычайное. Очень. Начну с того, что в наши руки попали документы, которые говорят об участии партии эсеров в кулацком и бандитском движении. Среди этих документов есть весьма любопытные. Здесь, — он хлопнул ладонью по папке, — имеются письма членов эсеровского цека из Бутырской тюрьмы, где они в настоящее время содержатся, а также переписка тамбовского губкома правых эсеров.

Мартин Янович поднялся и стал прохаживаться по кабинету. Поскрипывали сапоги, поскрипывали ремни портупей, четко и тяжело, с металлической резкостью падали слова особоуполномоченного:

— Это была очень серьезная операция, Сибирцев. Благодаря ей мы твердо установили, что существует связь между кулацко-бандитскими мятежниками и эсеровским центром. Эсеры, конечно, отрекаться, так? Но у нас на этот счет имеются железные факты. В декабре в Ревеле вышел первый номер журнала «Революционная Россия», центральный орган их партии. Небезызвестный Виктор Чернов наконец отбросил свою демагогию и открыто призывает подпольные организации к активизации борьбы с Советской властью. Вы знаете его?

— Лично не приходилось встречаться, Мартин Янович. Но слышал, читал, конечно, достаточно. Я ведь в Сибири нагладелся на них, кое-кто даже за своего считал... — Сибирцев усмехнулся.

— Это мне известно, — Мартин Янович лукаво сощурился. — Больше скажу, именно это ваше прошлое должно сыграть важную роль в предстоящей операции. Именно оно остановило наш выбор на вас. Когда мы закончим, Михеев познакомит вас с той легендой, которую он разработал... Но вернемся к Чернову. Виктор Михайлович — серьезный противник.

— Бессменный член цеха партии эсеров, — добавил, словно в раздумье, Сибирцев. — Я бы сказал: мозг движения.

— Совершенно правильно. Только так и должны мы к нему относиться. Фактически в настоящее время он идейный руководитель так называемой «Заграничной делегации эсеров». Как человек неглупый, Чернов понимает, что поднять массовое движение против Советской власти только силами своей организации он не сможет. Он вступает в союз с меньшевиками и кадетами. Восстание в Кронштадте — дело их общих рук. Только что в Петрограде за контрреволюционную деятельность мы арестовали более сотни эсеров и меньшевиков. А их комитет снова открыто призывает к забастовке. Рука Чернова тянется далеко: в Воронеж, в Поволжье, в Сибирь и, разумеется, в Тамбов. Посмотрим, что он использует. Первое — голод. Вы, Сибирцев, должны знать, какой сейчас в стране голод.

— Насмотрелся, пока ехал сюда, — кивнул Сибирцев.

— Из окна поезда не так много видно, — возразил Лацис. — В центре России мы имеем жесточайший продовольственный кризис, который перерастает в кризис политический. Нами установлено, что банды в районах Тюмени, Саратова и Тамбова действуют по заранее намеченному плану. Они разрушают железнодорожные пути, грабят продовольственные поезда и ссыпные пункты, зверски убивают наших товарищей-продотрядовцев. Разграблено около шести миллионов пудов хлеба. Это самые приблизительные данные. Голод сегодня для эсеров — средство политической борьбы. Опираясь на недовольство значительной части крестьянства и даже рабочих, они пытаются взорвать нас изнутри. У них есть оружие. Много оружия...

— Этого добра, Мартин Янович, по всей России-матушке хватает. Бери не хочу.

— Вот именно! — Лацис рубанул ладонью. — Еще вчера у них был Кронштадт...

— Был? — вырвалось у Сибирцева. Он знал о мятеже, слышал и о том, что на его подавление брошены крупные силы, вплоть до делегатов X съезда большевиков.

— Теперь — был! Мятеж подавлен... — Лацис молча прошелся из угла в угол своего кабинета, резко остановился. — Но! Это стоило большой крови. Кто может оценить стоимость крови?.. Второе. — Он снова пошел размеренными, скрипучими шагами, глядя себе под ноги. — Сознательного пролетариата в Тамбовской губернии очень мало. Многие лучшие большевики были мобилизованы, погибли на фрон-

тах, вследствие чего партийные организации ослаблены. Понимаете ситуацию?.. Так вот, опираясь на кулаков, дезертиров и несознательную, неграмотную крестьянскую массу, эсеры сумели сколотить «Союз трудового крестьянства» с совершенно конкретной программой тщательной и хорошо законспирированной подготовки кулацко-бандитских восстаний. Мы имеем экземпляр их программы, — Лацис пальцем показал на папку, лежащую перед Сибирцевым. — Правильнее было бы назвать этот союз — по тем же буквам — союзом тамбовских кулаков... Вам надо хорошо знать эту программу... А скажите-ка, пожалуйста, Сибирцев, у вас теперь не складывается ощущение, что мы, судя по тому, что я говорю, знаем достаточно много, а дела пока не видно?

Сибирцев смутился от такого прямого вопроса. Он машинально сунул руку в карман к кисету с табаком. Достал, стал сворачивать самокрутку. Лацис молча и с интересом наблюдал за ним.

— Я, Мартин Янович, — сказал наконец Сибирцев, — понимаю всю эту работу как предварительную. Ежели, скажем, здесь случится у меня неувязка, значит, там, у них, считай, гроб с крышкой. Поэтому вся эта подготовка, считаю, правильная.

— Это хорошо, что вы так думаете, — Лацис возобновил свое размеренное хождение.

— Мне еще трудно судить о положении вещей здесь, то есть в Тамбове. Но если говорить о Сибири, мне кажется, Мартин Янович, что одной из главных причин общего недовольства является продразверстка.

— Так! — Лацис будто обрадовался. — Вот мы и подошли к самому главному. В свое время, помните... Ах да, — он улыбнулся, — откуда вам это помнить, когда вы были там, за кордоном... В свое время мы ввели продовольственную разверстку, как вынужденную меру. У нас просто не было иного выхода, иначе армия и рабочий класс погибли бы от голода. Но сегодня — другое дело. Сегодня уже назрел вопрос о замене продразверстки натуральным продовольственным налогом. Этой мерой мы можем дать крестьянину определенную свободу и определенный доход от своего труда. Теперь все будет зависеть от его личной заинтересованности. Подробно об этом вы прочтете в соответствующих документах X съезда партии большевиков, которые мы тоже вам даем. В настоящее время Центральный Комитет рассматривает это предложение Владимира Ильича. Повсе-

местным введением продналога, в котором будут точно указаны его размеры, и при жестком соблюдении классового принципа мы выйдем землю из-под ног эсеров и кулаков. Оторвем от них трудовое крестьянство, и в первую очередь середняка. Вот наша главная задача на сегодня.

— Простите, Мартин Янович, а какие-либо сроки уже известны? Когда его введут?

— У вас, в Тамбовской губернии, продналог уже вводится. Это в какой-то мере облегчит вашу задачу. Я постарался ввести вас в общий курс событий. А теперь конкретно о вашем деле... Итак, Александр Степанович Антонов. Вам что-то говорит это имя?

— Нет, — покачал головой Сибирцев. — Ничего.

— Хорошо, вкратце. Подробности — в папке. Эсер с девятьсот пятого года. Мещанин из города Кирсанова. Сын слесаря. Был в ссылке, вернулся в феврале семнадцатого. До октября был начальником уездной милиции. Позже неоднократно поднимал восстания по деревням, но мы быстро их ликвидировали. Однако наступление Деникина и особенно рейд Мамонтова на Козлов сильно оживили его деятельность. В настоящее время он имеет, по нашим приблизительным подсчетам, несколько десятков тысяч штыков и сабель.

— Ого! — вырвалось у Сибирцева.

— Да, увы, это так. Как человек, имеющий далеко идущую цель, он построил свои силы по образцу Красной Армии. То есть создал полки, институт политотделов, ревтрибуналы, вплоть до войск внутренней охраны. Кроме того, он имеет контрразведку и обширную, хорошо законспирированную сеть агентуры. А мы в это время — как это? — спали на лаврах? Да. По вине нерадивых губисполкомщиков и чекистов Центр еще в прошлом октябре получил ложные сведения о том, что восстание в Тамбовской губернии уже ликвидировано заодно с его руководителем эсером Антоновым. Вы меня понимаете, Сибирцев? А в это время Антонов, отсиживаясь в лесах, укрепил свои банды и сегодня разоружает наши мелкие воинские части, милицию, забирает скот и зерно. Он уже показал себя самым гнусным убийцей из-за угла и безжалостным головорезом. Но самое опасное: он держит под контролем железные дороги восточного и южного направлений. Он держит нас за горло. Понимаете?

— Понимаю, — эхом отозвался Сибирцев. — Положение действительно...

— Нетерпимое! Вам не надо этого объяснять. Вы ведь врач?

— Недоучившийся, к сожалению. Ушел на фронт в шестнадцатом. Ну, еще госпиталь...

— Да-да, — перебил Лацис. — Будучи врачом, вы должны знать, как важно вовремя поставить диагноз. Как необходимо отделить больную ткань от здоровой. Операцию нельзя сделать вслепую. Можно задеть жизненно важные органы. А организм еще не выправился от другой, более мучительной и опасной болезни. Так? Да. Но операцию необходимо делать. Вот вы и будете диагностом в этой операции. Орловскому округу дано соответствующее указание. На Тамбовщину мы срочно стягиваем крупные соединения, аэропланы, бронесилы. Предполагается прислать кавбригаду Григория Котовского. Мы усиливаем партийную организацию, местную чека, милицию, посылаем опытейших руководителей, агитаторов. Только что туда выехал уполномоченный ЦК и ВЦИК Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, который возглавит борьбу с мятежом. Зная вас как опытного чекиста, мы остановили свой выбор на вашей кандидатуре.

— А когда она начнется, эта операция? — Сибирцев уже представлял приблизительно, что ему предстоит, что ему уготовил особоуполномоченный ВЧК.

— В самые ближайшие дни, — взмахами кулака Лацис словно вколачивал гвозди. — Поэтому надо спешить. Феликс Эдмундович уже указывал на несостоятельность принципа окружения бандитов небольшими силами. Мы меняем как организацию, так и тактику борьбы. Не разрозненные действия отдельных отрядов, от которых бандиты легко уходили, а сильные маневренные группы, крупные воинские соединения, которые будут преследовать их до конца, до полного уничтожения. Только что мы ликвидировали кулацкое восстание Колесникова в Воронежской губернии, но остатки его шайки бежали сюда, к Антонову. Уничтожили банду Вакулина на Дону, но и его недобитые бандиты перекочевали к Антонову. К нему стягиваются бывшие белогвардейские офицеры, кулаки, эсеры, дезертиры, сгоняется силой крестьянская масса. Такова обстановка. В общих чертах. Весьма общих. Конкретно с задачей вас познакомит Михеев. Он готовил операцию. Феликс Эдмундович подпишет соответствующий документ. По мере развертывания боевых действий ваши функции будут меняться. Первое, что нам предстоит, — это изолировать кулацко-бандитскую

верхушку от основной крестьянской массы. А второе — вскрыть эсеровскую и белогвардейскую агентуру, внедриться в эти организации с целью их дальнейшего уничтожения.

Лацис остановился посреди кабинета и заложил большие пальцы за ремень. Выжидательно смотрел на Сибирцева, словно зависел от его решающего слова.

Не в первый раз Сибирцеву оказываться в незнакомой обстановке. Опыт подсказывал ему: не торопиться, все взвесить и проверить тут, чтобы уже там быть свободным в своих решениях. Хотя, в случае чего, рассчитывать, судя по всему сказанному Лацисом, можно будет не только на одного себя. Интересно, что за легенду приготовил Михеев... Вскрыть агентуру — это ведь просто сказать. Сидя в той же губчека, ее не вскроешь. Значит, надо идти вглубь, влезать в эсеровскую шкуру, вспоминать все их программы и решения. Враг, с которым предстоит встреча, конечно, очень серьезный. Эсеры — народ суровый и безжалостный, а в данной ситуации у них, пожалуй, и другого выхода-то нет, как быть безжалостными: все на карту поставлено...

Сибирцев вздохнул, поднял глаза.

— Я понял, Мартин Янович. Постараюсь сделать все, что нужно.

— Хорошо, — сухо заметил Лацис, но глаза его потеплели. — Я был уверен в вас, Сибирцев.

В кабинет вошел озабоченный Михеев, и видеть его в этом состоянии было непривычно. «С чего бы это он?» — подумал Сибирцев.

— Извините, Мартин Янович, через пять минут совещание.

— Благодарю, Михеев, я помню. Мы уже заканчиваем. Пока идет коллегия, вы, Сибирцев, смотрите материалы. Возможно, мы вас пригласим, уточним детали. Будьте готовы.

Все трое вышли из кабинета в приемную, и Лацис запер дверь своим ключом.

— Михеев, — сказал он, обернувшись, — не забудьте, пожалуйста, накормить Михаила Александровича. Умная голова не должна быть голодной, — он улыбнулся. — Время...

— Ну, Мишель, задали вы мне задачку. Прямо ума не приложу, как ты все это осилишь... Тут, — он показал на пухлые папки, разложенные на столе секретарши, — на неделю делов.

Сибирцев с сомнением посмотрел на них, открыл одну, полистал, снова закрыл.

— М-да... — он почесал пятерней затылок. — Постарался ты, брат. Ничего не скажешь... Действительно, на неделю. Что ж, не будем терять времени. Давай показывай все, что касается моей легенды и главных действующих лиц. Остальное потом. — Он плотно уселся на стуле, сдвинув папки в сторону, вынул из кармана гимнастерки несколько сложенных листков бумаги и карандаш. — Давай то, без чего никак нельзя. О деталях поговорим после.

— Вот, — протянул ему тонкую папочку Михеев. — Тут про тебя. Конфетка, Мишель, — оживился он. — Для себя готовил, да уж чего теперь считаться? Бери, пользуйся... Решил я: быть тебе представителем. Знаешь чьим? Смотри, — он перевернул лист, и Сибирцев прочитал: «Всесибирский союз трудового крестьянства». — Тут, — продолжал Михеев, — начальник Главсибштаба эсер Родионов. Дальше — его военный отдел. И кое-кто из наших с тобой старых знакомых. В частности, полковник Гривицкий. Помнишь такого?.. Маковкин, Гривицкий...

— А-а, — протянул Сибирцев, — поручик? Вот где он оказался... Он что, уже полковник?

— Как видишь. Я ж говорил, старые связи и знакомства всегда пригодятся. Держи. Тут дело верное. Никакой липы... Ты, кстати, тоже полковник.

— Ну да?.. — хмыкнул Сибирцев. — Гривицкий, значит... Помню я его...

— До последнего времени он руководил военным отделом. Недавно взяли мы его. Вообще, почистили ихнюю верхушку: Тагунова и иже с ним тоже. Но об этом их провале пока никто в Тамбове толком не знает. А Гривицкий только числится в начальниках. Сидит он в тюрьме. Официальный начальник теперь ты, как его заместитель. Понял? И зовут тебя Сибирцевым. Есть или, вернее, был у них такой в штабе. Так что ты — самый что ни на есть натуральный Михаил Александрович Сибирцев. И идешь ты к Антонову для установления контактов о совместных действиях... Все чисто. Документы подлинные. Ну как, ничего легендочка? Комар носа не подточит. А для тщательной перепроверки у них не будет времени. Это мне гарантируют наши военные. Ну, поехали дальше... В этой папке все материалы по бандам. Попов — в Поволжье. Вакулин. Это — Дон. С ним, правда, покончено, но многие его бандиты у Антонова. Серов — саратовский. Чует мое сердце, что с ним еще придется помучиться. Серьезный дядя. Знать тебе про них необходимо. В Сибирь такие сведения должны были по-

ступать. Так что изучай... Ну, и вот еще. Здесь, — Михеев прижал папку к груди, заговорил проникновенно, — антоновская агентура в Тамбове. Собрали, что могли, но... все надо проверять и перепроверять. Она вроде как и есть, и нет ее. Понимаешь, Мишель, все это пока мелочовка. А нам нужны киты. Нужны связники. У Антонова железная конспирация и дисциплина. Это без шуток.

— На кого ж я должен выходить? — недоуменно спросил Сибирцев, откладывая в сторону карандаш. — На самого, что ли? А он меня ждет, разумеется, чтобы тут же выложить всю свою агентуру. Так? Лихо придумал.

— Не торопись, Мишель. Я пока, честно говоря, не знаю, сумеешь ли ты проникнуть к Антонову и надо ли это вообще делать. Может, тебя и не допустят. У них свои порядки. Но связь для начала я тебе приготовил. Для них ты — человек новый, пока пойдет проверка, мы постараемся обеспечить твою легенду. А дальше уж придется самому. Зацепка нужна. Понимаешь, зацепка. Причем не эти, которых я тебе даю, а кто-то из крупных, из идейных, из приближенных к самому... Бери, вручаю. А я схожу каши тебе раздобуду. Чаек есть. Может, хлеба достану. Дома-то у меня есть маленько, но далеко туда ехать, а часы бегут.

— Не надо, — отмахнулся Сибирцев. — У меня в мешке есть кое-что... А ты что, уже дом имеешь?

— А, угол снимаю, какой дом! Нет у нас с тобой, Мишель, своего дома. И когда он появится, одному богу известно... Видишь, встретились, а уже скоро расставаться...

— Что это тебя, Володька, на сантименты потянуло? — Сибирцев подозрительно взглянул на Михеева.

— Так ведь живешь, живешь и не знаешь, когда следующая встреча... И будет ли... Ладно, пойду каши все-таки добуду.

Михеев ушел, а Сибирцев углубился в изучение бумаг, изредка делая для себя короткие пометки карандашом. Работа была трудная и спешная, и он полностью ушел в нее. От нее зависело теперь все: успех операции или полный ее провал. Десятки фактов, дат, фамилий укладывались в его мозгу, приобретая строгую последовательность, свою четкую логику.

Шло время. Сибирцев не видел, как вернулся Михеев, принес с собой миску каши, прикрытую другой такой же миской. Не слышал, как шепотом, настороженно глядя на Сибирцева, отвечал Михеев на телефонные звонки.

Сибирцев нещадно дымил, сворачивая одну за другой

самокрутки. Постепенно вырисовывалась перед ним панорама глухих заснеженных лесов, редких деревень и хуторов, скрывающих огромные воинские силы, массу оружия. Кулацкая Тамбовщина... Волчье логово. За мешок пшеницы горло перервет. И вся губерния, словно незримыми прочными нитками, прострочена тайными связями. А на концах этих связей — взрывы, убийства, пожары, грабежи, невероятные насилия...

Очередной требовательный звонок ворвался в сознание Сибирцева, оторвав его от бумаг. Он взглянул на Михеева, нахмурился.

Тот снял трубку, откашлялся.

— Михеев слушает... Так. Ясно. — Он повесил трубку и кивнул Сибирцеву: — Ну, Мишель, не успел ты поесть. Придется позже. Все бумаги срочно в сейф, потом досмотришь. А теперь айда со мной. Зовет Феликс Эдмундович.

4

Экстренный поезд пришел в Козлов после полуночи. Михеев растолкал, растормошил Сибирцева.

— Вставай, вставай, господин прапорщик, — посмеивался Михеев, он имел вид отлично выспавшегося человека.

— А сам какой? — лениво огрызнулся Сибирцев и сладко, с наслаждением потянулся на свежих жестковатых простынях, радуясь последним остаткам сна и словно догадываясь, что подобное счастье может не повториться. Не будет больше ни литерного вагона, ни свежих простынь, ни упоительного наслаждения быть самим собой.

— Что ж в том позорного, — широко улыбнулся Михеев. — Я, ваше благородие, горжусь тем, что на германской начинал с прапора. Уж чего-чего, а первая-то пуля всегда твоя. Разве не так?

— Храбрости тебе не занимать. Умишка бы... — Сибирцев рывком поднялся, едва не стукнувшись теменем о верхнюю полку.

— Ну, насчет умишка, — капризно надул губы Михеев, — тут вы, конечно, правы. Уж вы-то вовремя смылись. Хотя, кто знает, были бы у атамана наверняка в чине полковника. Генерала — нет, не потянете. Там, знаете ли, порода нужна. А у вас какая порода? Лапоть вы сибирский.

— Ладно, лапоть так лапоть, — усмехнулся Сибирцев. — Семенова, между прочим, верховный генерал-лейтенантом

сделал. Вот так. А он — наполовину бурят. Где ж логика?

— А тут своя логика. «Без доклада не входить, а то выпорю!» Помнишь? Во! Как при такой широте взглядов не стать генералом? Очень даже надо быть генералом. Спит сейчас, поди, твой-то атаман на станции Маньчжурия и видит себя в Москве белокаменной под перезвон всех сорока сороков. Вот он спит, а ты поэтому кончай спать. Протри глаза, умойся и пошли завтракать. Или ужинать, бес его знает. Все перепуталось.

— Где мы, уже в Козлове? — Сибирцев только сейчас заметил, что поезд стоит.

— Да, — сразу посерьезнев, сказал Михеев. — Давай-ка, Мишель, одевайся быстрее. Мартин Янович ждет.

Он присел на соседнюю полку и, вынув из внутреннего кармана кожанки металлическую пилку, стал тщательно подтачивать ногти.

Сибирцев не мог понять, каким образом Михееву удастся сохранять свежий и бодрый вид. Ни тени усталости. Сам же Сибирцев утомился до предела. И в Москве, и тут, в поезде, работал непрерывно и, если бы не приказ Ладиса, так бы и не коснулся головой подушки. Сколько он спал: час, два — он не знал. И сон не только не освежил, но расслабил, и все тело теперь было мятым, ватым.

— Прибыли, значит, ваше благородие, — задумчиво сказал Михеев. — Вспоминать-то хоть будете?.. Хотя зачем? Воспоминания только отягощают нашу и без того суматошную жизнь. Думать мешают. А мы с вами старые боевые кони. И скакать еще, и скакать...

— Ну тебя, Володька, к черту! — рассердился Сибирцев. — Не порть настроения. И так, понимаешь...

— А хорошо мы поработали. Без похвальбы, хорошо, — Михеев замолчал, глядя, как Сибирцев одевается, закручивает портянки. — Сапоги-то худые, — вдруг пробормотал он. — Знаешь что, Мишель, возьми-ка мои. Размер у нас, вижу, одинаковый. — И он тут же стал стягивать свой надраенный до блеска сапог.

— Ты чего, спятил? Какие сапоги? — опешил Сибирцев. — Не валяй дурака.

— Делай, что говорю, — словно обозлился Михеев. — Я ему, может, жизнью обязан, а он про какие-то вшивые сапоги. Запомни, заместитель Гривицкого в лаптях не ходит. А обо мне можешь не беспокоиться. Сегодня твои сапоги не развалятся, а завтра где-нибудь раздобуду. Я, как говорит Мартин Янович, совсем неисправимый. На худой конец, у

какой-нибудь богатой бабы обувкой обеспечусь. За ласку. Они, брат, за ласку — чего хочешь, не только сапоги... Да шучу! Не делай страшные глаза. Для своих бандитов прибереги. Неужели ты думаешь, что для меня пары сапог не найдется? В той же Москве, на Сухаревке? Или на Хитровке? Вот вернусь и добуду. Давай сюда свои.

Сапоги Михеева удобно и плотно сидели на ноге. Сибирцев встал, с удовольствием притопнул каблуками по полу, затянул на поясе ремень и с неловкой признательностью взглянул на Михеева, на свои старые, разбитые сапоги, так не вязавшиеся с лощеной внешностью друга.

— Вот, значит, как, — смущенно сказал он. — За сапоги, брат, спасибо. В самый, что называется, раз сапоги.

— Ладно, — отмахнулся Михеев, — ступай давай. Я тебя потом провожу...

Потирая виски, Сибирцев прошел в середину вагона, в просторный салон особоуполномоченного ВЧК. Он даже зажмурился от яркого света, заливавшего плотно зашторенное помещение. Вытянулся у дверей по стойке «смирно» и хотел было доложить о приходе, но Мартин Янович сам стремительно поднялся из-за стола, заваленного письмами и какими-то документами, поверх которых, свисая на пол, лежала большая карта.

— Явился, богатырь? — без тени иронии, твердо выговаривая слова, сказал Лацис. — Проходи, пожалуйста. Садись вот здесь. — Он показал на широкое мягкое кресло, совсем не вязавшееся со строгой рабочей обстановкой кабинета. — Давай будем говорить на прощанье.

Он снова сел за стол, положил длинные руки с широкими кистями на карту и остро взглянул на Сибирцева.

— Я знаю, что все материалы, которые тебе дали, ты проработал. Это очень хорошо. Но теперь, — Лацис сделал небольшую паузу, — наш план будет меняться. Временно.

Сибирцев насторожился. Он все еще не мог сосредоточиться после сна. И кресло это — мягкое, расслабляющее. Он попробовал выпрямиться, но кресло словно не отпускало. Так и хотелось закинуть ногу за ногу.

— Здесь, — продолжал, по-прежнему глядя в упор, Мартин Янович, — я снова имел беседу с председателем губчека. Он, конечно, жаловался, что положение резко осложнилось. В Козловском уезде участились взрывы на железной дороге, грабежи, убийства. Просил помощи. Да, я знаю, здесь трудно. И у нас нет лишних людей. Но мы обязаны

обеспечить, чтобы поезда с хлебом, чтобы все они шли без задержки. Обеспечить безопасность пути. Как это сделать? Времени у тебя, Михаил Александрович, будет очень мало. К тому, о чем мы уже говорили, прибавляется новое задание. Срочно разберись, что происходит в Козлове. Кто здесь действует, Антонов или это самостоятельные банды? С кем они связаны в городе? Вот вопросы. Ты понимаешь, что сейчас, когда в губернию пойдут войска, всякие задержки на железной дороге должны быть исключены. У тебя есть опыт, партия тебя знает и верит. Помоги местным товарищам и постарайся не задерживаться, Михаил Александрович. Помни, для нас сейчас главное — Козлов. И сразу — в Тамбов. — Лацис вынул из-под карты пакет, протянул: — Твои документы, инструкции здесь. Ознакомься. Потом обсудим твое новое задание...

Ушел поезд перед рассветом.

Ушел, унося с собой тепло и уют литерного вагона. Расстаял в предутренней дымке фонарь на площадке последней теплушки, развеялась паровозная гарь. Некоторое время еще казалось Сибирцеву, что он различает высокую стройную фигуру Михеева, стоящего на подножке литерного вагона, а потом и это видение пропало. Сама по себе рассеялась толпа, осаждавшая поезд, ушла охрана.

Стало совсем тихо. Насыщенный влагой воздух мелкими капельками оседал на меховых отворотах полушубка, дразнил обоняние резким запахом отсыревшей кожи.

Оглядевшись, Сибирцев увидел прямо перед собой возвышающуюся темную массу вокзала. В редких незаколоченных окнах его дрожали слабые отсветы, вероятно от керосиновых ламп. Близко от Сибирцева хлопнула дверь, и в светлом проеме обозначился на миг силуэт мужчины в шинели, с каким-то странным сооружением на голове. Сибирцев вскинул на плечо свой тощий вещевой мешок и пошел к той двери.

Взбужденная отходом поезда людская масса снова обреченно устранилась на каменном полу зала для пассажиров, на редких скамьях, подоконниках. Едко дымили самокрутки, слышался возбужденный, постепенно стихающий гомон. На вошедшего Сибирцева никто не обратил внимания. Был он еще одним не уехавшим неизвестно куда и вынужденным теперь ждать неизвестно какого счастливого случая. Так, скользнуло по нему несколько взглядов,

ну разве что привлекли внимание его добротный, черный полушубок и начищенные, справные сапоги. Но и эти взгляды равнодушно погасли.

Перешагивая через лежащих на полу людей, Сибирцев добрался до окошка кассы и негромко спросил сонного, небритого кассира в форменной фуражке, когда ожидается поезд на Тамбов. Тот, позевывая, ответил, что этого в настоящий момент никто знать не может.

Через зал, медленно пробираясь между обалдевшими от ожидания пассажирами, двигались двое патрульных, время от времени поднимая с пола очередного мужика и проверяя документы. Сибирцев двинулся было к ним, но, почувствовав на себе чей-то внимательный взгляд, скосил глаза, медленно повернулся и увидел мужика, укутанного в непомерно великую ему солдатскую шинель. Он сидел неподалеку, на подоконнике, и, слюнявя клок газеты, скручивал сигарку. Заметив движение Сибирцева, поспешно отвернулся. На голове мужика был надет бесформенный лисий малахай, из-под которого торчали концы яркого бабьего платка. «Похоже, что это его силуэт мелькнул в двери», — подумал Сибирцев и откровенно широко зевнул. Он постоял еще недолго, лениво разглядывая пассажиров, а после так же лениво побрел к выходу, вслед за охраной.

Он расстегнул полушубок, с наслаждением вдохнул свежий воздух и окончательно понял, что все, что было, безвозвратно прошло. И снова, как уже случалось не раз, надо начинать с нуля. Он постоял, поглядывая, не выглянет ли кто за ним вслед, послушал тишину и только потом шагнул в соседнюю дверь, куда ушли патрульные.

Молоденький дежурный, в потертой кожаной тужурке и с огромным маузером в новой лаковой кобуре, висевшей на ремне через плечо, привстал было при его появлении, однако крепко ему, видимо, хотелось спать, потому что он тут же сел на место и подпер кулаками подбородок. Глаза его сонно таращились на вошедшего. Не обращая внимания на вопросительный взгляд дежурного, Сибирцев подошел к столу, сел напротив, устроив вещмешок у ног, огляделся. В помещении больше никого не было. Только за плотно прикрытой дверью в глубине комнаты слышались приглушенные голоса.

— Начальство еще здесь или укатило? — спросил Сибирцев со спокойной усмешкой.

— А ты сам кто такой? — в свою очередь задал вопрос дежурный, и тон его голоса был весьма не ласков.

— Узнаешь... Так где его найти? Срочно надо.

Уверенный тон Сибирцева вроде успокоил дежурного, а протянутый мандат, по которому Сибирцев являлся уполномоченным по всякого рода заготовкам, внушил даже уважение.

— Они все тут были, — ответил он, по-детски потирая глаз кулаком, — но, скорей всего, теперь уехали, как поезд ушел. Домой поехали, куда ж еще.

— Та-ак, — протянул Сибирцев. — Ну-ка, давай, брат, покрути свою машину, — он показал рукой на телефонный аппарат, — да соедини меня с Ныrkовым.

Названная фамилия окончательно убедила дежурного, что перед ним серьезное начальство. Так что лучше не спорить. Он послушно завертел ручкой аппарата, долго дул в рожок микрофона. Наконец станция отозвалась.

— Семнадцатый мне! — потребовал дежурный. — Семнадцатый, говорю! — он уже почти кричал.

— Полегче, полегче, — Сибирцев положил ему ладонь на плечо. — Ты, брат, так весь вокзал всполошишь.

Он забрал рожок и услышал далекий хриплый голос.

— Ныrkов у аппарата. Кто это?

— Я это, Ныrkов. Гость с поезда. Что ж не дождался? Ищи тебя, видишь ли, по всему городу.

— Виноват, товарищ, — сразу сообразил, о чем идет речь, Ныrkов. — Я велю дежурному проводить тебя. Чтоб дал охрану.

— Опять ты не прав, Ныrkов. Ну какой мне резон таскаться по городу? Поступим иначе. Ты давай-ка подходи сюда, обсудим ситуацию и решим, как жить дальше. А что не дождался — сам виноват. Спал бы уже себе спокойно.

Сибирцев услышал что-то неразборчивое, и станция дала отбой.

Разговор приезжего с Ныrkовым произвел на дежурного благоприятное впечатление. Он вышел в соседнюю комнату, где слышались голоса, и вернулся с закопченным чайником. Потом достал из канцелярского шкафа две кружки, дунул в них и что-то потрусил из бумажного кулька.

— А здесь что пьете? — спросил Сибирцев с интересом.

— Как везде, морковь, — объяснил дежурный.

— А-а, уже пробовал. Брусничный лист лучше. Душистый чай получается... Охрана? — Сибирцев кивнул на дверь.

— Она. Все у нас там. И арестованных держим.

— Устрой-ка ты для меня, брат, небольшую проверочку.

Этак аккуратно пусть пройдут по залу, посмотрят документы у одного-другого и особо обратят внимание, но без навязчивости, на мужика в рыжем малахае. Под малахаем еще бабий платок повязан. Яркий такой платок. И шинель не по росту. На подоконнике он сидел, неподалеку от кассы.

— Сейчас распоряжусь, — с готовностью отозвался дежурный и ушел в другую комнату. Через минуту оттуда появились двое солдат и протопали к выходу.

— Аккуратно и без навязчивости! — крикнул им вдогонку дежурный.

Сибирцев улыбнулся, взял протянутую кружку и стал пить мелкими глотками. И опять он не ощутил вкуса. Только что горячее, да отдает прелью. Какая-то непонятная мысль тревожила. Нечеткая, расплывчатая, но беспокойная. Надо было понять ее, а поняв, успокоиться. В чем дело? Мужик этот, что ли? Платок дурацкий? Физиономия красная, сытая... Нет, незнаком. Взгляд его острый, заинтересованный? Может быть, не просто заинтересованный?..

Стуча подковками сапог, вернулась охрана. Старший склонился к дежурному и, глядя исподлобья на Сибирцева, вполголоса доложил:

— Нет там такого мужика.

Дежурный встрепнулся, но, встретившись с глазами Сибирцева, махнул рукой. Ладно, мол, нет так нет. На всякий случай спросил:

— Вы внимательно смотрели?

— А как же? — обиделся было старший.

Дежурный снова махнул рукой.

— Отдыхайте.

«Вот она, загадка», — понял Сибирцев. Неужели он все-таки был неосторожен и где-то прокололся? А может быть, просто внешним своим видом привлек внимание? Нет, внешний вид он менять не собирался. Все же из Сибири прибыл, да в чине немало.

Заметив пристальный взгляд дежурного, Сибирцев плотнее запахнул полушубок и спросил, кивнув на дверь охраны:

— Что-нибудь интересное есть?

Дежурный понял вопрос.

— Нет, ничего особенного. Мешочники, спекулянты. Мелочь... — Он вдруг смущенно хихикнул: — Парочку тут раздели... Она — почти в чем мать родила, а он — в котелке и ботинках. Умора! — Дежурный покрутил головой. — И с

гонором. Вы, говорит, обязаны сыскать, а не то... А чего там, если Клавка известная тут... Сама небось и навела на своего клиента.

— Так ты ж сказал и ее...

— А для отвода глаз. Вроде как, значит, и она пострадавшая. Дали им по шинели, сидят там... Мелочь все. Утром разберемся.

— Мелочь... Ну-ну... Далеко Ныркову-то добираться?

— С минуты на минуту будут... Да вот они сами.

Дежурный резво вскочил, вытянулся, услышав быстрые шаги на перроне. Невольно усмехнувшись, поднялся и Сибирцев. В помещение не вошел, а скорее вкатился невысокий плотный человек, в просторном пальто с вытертым бархатным воротником, какие носили еще недавно провинциальные чиновники, и солдатской папахе. Руки он держал в оттопыренных карманах.

Мельком взглянув на дежурного, вошедший тотчас перевел взгляд на Сибирцева. И, увидев его добродушное круглое лицо, стремящиеся быть строгими глаза, Сибирцев почувствовал облегчение и протянул руку:

— Здравствуй. Извини, что пришлось тревожить.

Нырков сжал его пальцы неожиданно жесткой и сильной ладонью, взял мандат, не сядя, прочитал его, сложил и вернул Сибирцеву.

— Здравствуй, — ответил наконец. — Малышев, — не поворачиваясь, сказал дежурному, — ступай к ребятам. Я позову, когда будешь нужен.

Дежурный вышел. Нырков сел на его место, расстегнул пальто, снял папаху, обнажив лысую крупную голову.

— Ну, как прикажешь звать-величать?

— Михаилом, — ответил Сибирцев, тоже сядя.

— Ага, — подтвердил Нырков, — а я, значит, Ильей буду. Неувязка вышла, Миша.

— Ничего, оно, может, к лучшему. Зачем лишние встречи, разговоры.

— Не думал я, что Москва так быстро откликнется.

— А я к тебе не надолго, Илья.

— Это как же? — опешил Нырков.

— Да вот так. Дня два-три, думаю. И — в Тамбов.

— Понятно... В Тамбов. А мы вроде как уже и не люди, — заговорил он вдруг с обидой. — Мы, значит, так, сами по себе. А ему, — он качнул головой в сторону выходной двери, — может, вовсе и не Тамбов, а Козлов наш поперек горла.

«Ему, — понял Сибирцев, — это Антонову».

— Нет, ты ответь, где справедливость? Где революционная сознательность? — Нырков произносил букву «р» так, словно ее стояло в слове по меньшей мере сразу три подряд. — Как настоящий профессиональный кадр, так дяде. А мне каково? Вон мой кадр! Малышев — вчерашний гимназер. Прошу, умоляю: дайте кадры! А мой собственный профессионализм? Ссылка да Деникин. Это что, опыт?

— У меня примерно такой же, — успокоил его Сибирцев.

— Это ты брось! Я настоящий кадр за версту чую... Такой же... Слушай, Миша, оставайся у меня. Я тебе чего хошь сделаю. Сам к тебе в помощники пойду. Мне же контру брать надо. А с кем ее брать?

— Ну-ну, не прибедняйся.

— А я и не прибедняюсь. Обидно.

— На кого обижаешься-то?

— На кого, на кого... Некоторые думают, что в губернии — там главные дела заворачиваются. В Тамбове. А у нас уезд. Какие, мол, такие дела особые? Промежду прочим, не где-нибудь, а именно у нас, в Козлове, известная тебе Маруся Спиридонова в девятьсот шестом вице-губернатора Луженовского ухлопала. И на каторгу пошла. Очень за это наш Козлов у эсеров-то в чести. Тут осторожный, тонкий подход нужен. Крепкий мужик у нас. Все у него есть: и хлеб, и скот, и граммофон американский, и что душе угодно. Кому голод, а кому, сам понимаешь, это на руку. И за так просто он тебе это дело не отдаст, нет. Он, может, пока и ничейный, а чуть прижмешь — к Александру Степанычу бух в ноги: помоги, мол, большевики одолели подразверсткой. И пошли гулять пожары...

— По части подразверстки имел я беседу. Перед отъездом. Со дня на день заменят ее продналогом.

— Скорей бы уж, — вздохнул Нырков. — Большое для нас облегчение. Чем иначе мужика-то от Антонова оторвешь?... Так ты, стало быть, не надолго?

— Я уже сказал.

— А мне что надо для тебя сделать?

Сибирцев оглянулся, на что Нырков встал и проверил, плотно ли закрыты обе двери, вернулся на свое место.

— Задача у меня... у нас, Илья, такова: обеспечить бесперебойную работу железной дороги. Выяснить, кто тут действует: Антонов или твои, извини, собственные, уездные. Вскрыть агентуру.

— И это за три дня? — недоверчиво взглянул на Сибирцева Нырков.

— Ну, сам, брат, понимаешь, к слову. Задерживаться не велено, и баста. Поэтому... — Сибирцев вынул из кармана гимнастерки сложенный вчетверо исписанный листок бумаги и протянул его Ныркову. — Вот взгляни на мои вопросы. Общая ситуация в губернии мне вроде ясна. Требуются уточнения по ряду пунктов. Я подчеркнул их. Видишь?

— Вижу... Ага. — Нырков покачал головой, почесал мизинцем за ухом. — Глубоко хочешь вспахать.

— Иначе нельзя.

— Чую. Только скоро не получится.

— Это почему же? Надо скоро.

— Дак это я вон как понимаю... Решили, значит, по-серьезному взяться? Что ж, это пора. По милиции я б тебе уже нынче мог дать материал... А эти твои, — Нырков ткнул пальцем в записку, — сидят себе посиживают. В учрежденья ходят — и вроде как ни при чем... Кто-то, может, и ни при чем, да ведь как разобраться-то? Кто прав, кто виноват? А поезда горят... Потому и говорю, скоро не получится.

— Ждать, Илья, не могу.

— А я могу?.. Вон контрика взяли, — снова завелся Нырков. — Полдня с ним бился, и впустую. Нутром чую, что контрик, а доказательств нет. Несет какую-то чертовщину... Станешь проверять — неделя уйдет. А где она, эта неделя? Нет ее у меня. На мне вон вся дорога. Чую, что потянется от него ниточка. А как размотать клубок? Опыт, говоришь...

За окном посветлело.

— Да ты устал, поди? — встрепенулся Нырков.

— Нет, ничего. В поезде отоспался... Записку-то убери. Так что ты говорил насчет контрика?

— Егерем он был. У Безобразовых. Жили тут такие помещики — не то князья, не то графы. Митька, младший их, был у Деникина. Это я сам точно знаю. Видел, проверять не надо. После, когда Мамонтов сюда рейд делал, с ним шел. Попил кровушки, бандит. За разорение поместья, значит, мстил. И нынче где-то неподалеку обретается. Это он, думаю, и держит дорогу в клещах. Зверь — не человек. И главное, все про нас знает. Когда и куда какой поезд пойдет, да с чем — все ему известно.

— Может, из твоих станционных кто-нибудь снабжает

его? — спросил Сибирцев. — Кассиры там, телеграфисты, или в депо свой человек есть.

— Проверял уж. Всех-то не проверишь! В Тамбове хоть гарнизон, а у меня узловая станция. Охрана, правда, есть, но ведь мало. На каждый поезд ее не бросишь. И кадры — сам видел. Пушку таскать — много ума не надо... А Митька тем временем кружит вокруг Козлова, момент ловит. И бьет нас тогда, когда меньше всего ожидаем. Сам ли он по себе, Антонову ли служит — не знаю, не уверен... Я, было дело, в уком уж ходил. Дайте, прошу, верного человека, чтоб в банду проникнуть мог. У меня ж нет таких, все наперечет и всякая собака их знает. А мне в ответ — ищите сами людей. У нас нет лишних. Вот тебе и весь сказ...

— Худо, выходит, твое дело, Илья. Ну а контрик этот чего же?

— Слышь, Михаил, ну хоть ты помоги мне Ваньку размотать. Егеря. Ведь чую, не зря он появился. Прямая ниточка к банде. А я для тебя в доску расшибусь, отдельный вагон дам до Тамбова, что хошь сделаю.

— Ишь ты, брат, вагон! — усомнился Сибирцев. — Знаю я ваши вагоны. На крышу подсадишь — и на том спасибо... А насчет егеря твоего давай подумаем.

— Сейчас я его, — рванулся было из-за стола Нырков, но Сибирцев осадил его.

— Погоди, не мельтешишь. Расскажи-ка, брат, поподробнее, что ты о нем знаешь.

5

Ивана Стрельцова, бывшего егеря помещиков Безобразовых, неожиданно узнал сам Нырков в вокзальной толчее. Неказистый, тщедушный мужичонка, был он когда-то грозным и опасным стражем хозяйских лесов и вод. Время и революционные бури, казалось, не тронули его. Разве что поредели серые волосы да порыжели от постоянного курения усы. Таким помнил его теперь уже тоже бывший мастер Козловского железнодорожного депо, страстный охотник Илья Нырков. Еще он знал, что Стрельцов исчез с глаз где-то в конце сентября восемнадцатого, когда в Кирсановском уезде поднял восстание начальник местной милиции Антонов. Восстание разрасталось и, по мере приближения Деникина, активно пополнялось дезертирами,



бежавшими из армии, кулацким элементом. Больше двух лет не было о Стрельцове ни слуху ни духу. Зверствовал в уездах Митька Безобразов, но о егере сведений не поступало. И вот — на тебе. Сам. Собственной персоной.

Нырков поступил разумно: не стал брать его на вокзале. Проследил лично весь путь до конца и взял буквально у дверей фельдшера Медведева, который в данный момент сидел в городской каталажке по подозрению в хищении лекарств из больницы. Цепочка замкнулась. Стрельцов понял, что опознан, сам узнал Ныркова, и был преспокойно доставлен на вокзал, благо он под боком, в комнату охраны. Но, запертый в тесной камере, вдруг взбунтовался, стал плакать, кричать, требовать, просить, умолять, чтоб выпустили. Мол, девица какая-то помрет и так уж еле дышит, криком исходит. Толком Нырков так ничего и не понял, а Стрельцов словно впал в прострацию. То плакал, то молчал, глядя куда-то в угол дикими глазами. И дальнейшие допросы ничего не дали. Бился Илья, и все — впустую.

Когда Стрельцова ввели, Сибирцев увидел совершенно уничтоженного бедой старика. Плечи и руки его мелко тряслись, но тусклые глаза оставались сухими. Сибирцев нарочно отсел в темный угол, чтобы на первых порах не привлекать к себе внимания. Стрельцов отрешенно сидел на табуретке посреди комнаты и, опустив голову, глухо постанывал.

— Ну, Ванятка, — строго заговорил Нырков, — давай не тяни. Рассказывай подробно, к кому и зачем шел. Откуда шел. Все говори как на духу. Цацкаться я с тобой больше не хочу. Пушу в расход, вот как светло станет. И так уж сколько времени потерял.

Стрельцов медленно поднял голову, взглянул в совсем уже светлое окно и вдруг с размаху рухнул на колени перед столом Ныркова.

Нечеловечески воя, он бился лбом об пол и выкрикивал:

— Илья Иванович, милостивец, христом-богом молю, отпусти меня... Помирает ведь... Милостивец, родной ты мой, хоть глаза своей рукой закрою... Отпусти...

У Сибирцева аж мороз по коже прошел, столько было в этом крике отчаяния. Это не игра. Так не играют. Это действительно смерть. И не за себя боится старик, не свою смерть чувствует, с этой-то он, видимо, смирился. С той, другой, смириться не может...

Он посмотрел на Ныrkова и заметил крупные капли пота, выступившие на его побагровевшей лысине.

А старик все бился головой об пол и выкрикивал что-то уже совсем бессвязное.

Медленно, словно пересиливая себя, Сибирцев поднялся, шагнул к старику.

— Встать! — скомандовал он хоть и негромко, но столько было власти в голосе, что старик будто запнулся, замер, распростертый на полу, а потом с трудом поднялся, вздернул заросшее свое, дремучее лицо и застыл так, вперив в Сибирцева незрячие глаза.

Сибирцев знал за собой эту силу. Знали ее многие в далеком теперь Харбине. Случалось ему утихомиривать разбушевавшегося семеновца или калмыковца.

— Кто умирает? Где? Говорить быстро!

Взгляд старика постепенно становился осмысленным, именно постепенно, не сразу. И эту деталь отметил Сибирцев.

— Ва... ваше благородие... — залепетал Стрельцов, и глаза его наполнились слезами. — Марья помирает... дочка...

— Где она? Ну?

— Там, — беспомощно мотнул головой старик. — На острове.

— Отчего помирает?

— Родить не может... Господи, другие уж сутки...

— Так. Садись! — приказал Сибирцев, и старик прямо-таки рухнул на табуретку. — Ну? — Сибирцев взглянул на напрягшегося Ныrkова. — Давай, Илья, разматывай...

Через полчаса из сбивчивого рассказа старика картина почти полностью прояснилась. Прав был Ныrkов: вывела ниточка на самого Митьку Безобразова. Старик, похоже, сломался и теперь уже ничего не таил, с нескрываемой надеждой почему-то поглядывая на Сибирцева.

Картина-то вроде прояснилась, но легче от того никому не стало. Трудная задача оказалась перед сидящими возле старика чекистами. По-человечески трудная задача.

Где-то на острове, в районе гнилых болот, свил себе гнездо бандит Безобразов. Вернувшись в уезд вместе с мамонтовскими головорезами, разыскал он жившего в уединении старого своего егеря, а чтоб покрепче привязать к себе, силой сделал своей любовницей единственную его дочку, о которой до сих пор никто толком-то и не слыхал. Собрал банду, делал налеты, грабил, жег, убивал и использовал старика по прямой принадлежности — назначил

его проводником в гиблых болотных местах. Банда невелика: десятка два — в землянках на острове, остальные — по деревням. С полсотни дезертиров да мужиков, недовольных продразверсткой. Но вот пришла пора Марье рожать, а Митька и слышать не хотел, чтобы тайно переправить ее в город, в какую-либо больницу или хоть к повитухе какой в дом, — боялся потерять единственного проводника. Когда начались боли, Митька, отправляясь на разведку в уезд, обещал подумать и найти доктора. И ушел. А Марья кричит, света белого не видит в землянке своей. Тогда старик, посоветовавшись с двумя-тремя мужиками, решил на свой страх и риск смотаться в город, уговорить знакомого доктора. Тут его и взял Нырков. Доктор тот и раньше, бывало, не раз выручал лекарствами, а то и оружием, не раз приходил на остров. Вот такая история приключилась.

Старик молчал, совершенно теперь опустошенный. Молчали и Сибирцев с Нырковым.

Первым очнулся Сибирцев:

— Старика, брат, давай-ка пока в камеру, а сами покумеваем.

Вошел охранник, тронул Стрельцова за плечо. Тот послушно встал и, посмотрев на Сибирцева с тоскливой собачьей безнадежностью, сгорбившись, побрел в камеру.

— Что скажешь, Илья?

— Помог ты мне... Превеликое тебе, прямо скажу, за это спасибо. Тут он, значит, бандит Митька-то. Чужало сердце мое... Ну, я скажу, полста бандитов — это нам выдержать. Тут нам помощь не нужна. Сами справимся... Ах ты, Медведев, сукин сын! Вот ты какой... Теперь не открутишься...

— Что выдержите, это хорошо. Не об этом речь. Девка-то его вправду помирает... А я ведь врач, Илья. Диплома только не успел получить, в шестнадцатом на германскую пошел.

— А чем мы поможем? Была б она в городе, а штурмовать остров — мертвое дело.

— Надо ли его штурмовать?

— Да ты что, в своем уме? — изумился Нырков. — Кто ж туда пойдет? Какой ненормальный согласится сунуть голову в самое логово? Они ж бандиты... Может, и она уже...

— Боли иногда начинаются за неделю до родов. Перед его уходом, он сказал, кровь появилась. Думаю, что сутки еще есть. Больше — вряд ли... Далеко туда?

Нырков, оторопев, уставился на Сибирцева и молчал.

— Чего молчишь? Далеко туда добираться, до болот этих твоих?

— Нет, он спятил! — сорвался на крик Нырков. — Да кто тебе позволит? Меня же за это повесить мало! Ты знаешь, что со мной сделают, если с твоей головы хоть волос упадет?! Нет. Нынче же отправляю в Тамбов. Тебя еще не хватало на мою голову!

Как ни странно, крик Ныркова успокаивающе подействовал на Сибирцева. И укрепил его решение.

Риск? Да, риск есть. Но ведь это Ныркова знает в городе каждая собака, а он — человек чужой. Почему не быть ему обыкновенным проезжим врачом? Другой вопрос: выдержит ли игру старик? Он, похоже, уже в полной прострации. Но ведь все рассказал, терять ему, с одной стороны, вроде и нечего, а с другой... Продам ведь своих-то. Есть о чем подумать... Думай, Сибирцев, думай. Помимо всего прочего, другого способа проникнуть в банду может просто не представиться...

— Знаешь что, Илья? — сказал он решительно. — Давай сюда еще раз твоего старика.

На Ныркова было жалко смотреть. Он совершенно сник, представляя себе, какие беды вызвал этот проклятый егерь на его голову.

— Ты послушай меня, — продолжал Сибирцев. — Не скажу, чтобы я не боялся смерти. Но мне не впервой. Головорезы, которых я видел, тебе, пожалуй, и не снились. Хоть, в общем, все они одинаковые. Но ведь меня-то они не знают. А риск в нашем с тобой деле нужен. Не выходит у нас без риска. Никак пока не выходит. Значит, надо нам, брат, во имя дела рисковать. Разумно рисковать. Если Митька еще здесь, то банда без главаря — не всегда банда. Поверь мне. Да и возможности другой, чувствую, больше не будет... И не гляди ты на меня как на покойника! Вот вернусь, ответишь ты на все мои вопросы и отдашь свой отдельный вагон до Тамбова. Как есть, брат, отдашь. А сейчас кличь сюда старика. Я твердо решил.

Приведенный Стрельцов словно бы уменьшился в размерах, словно бы совсем усох и сморщился.

— Слушай меня внимательно, Иван... как тебя, разбойника, по батюшке-то?

— Аристархович он, — подсказал Нырков.

— Так вот, Иван Аристархович, доктор я. Понял? — Сибирцев сурово посмотрел на старика.

— Господи, батюшка! — Стрельцов попытался было упасть на колени, но они не сгибались. — Милостивец, христом-богом!..

— Цыц! — прикрикнул Сибирцев. — Молчи и слушай. Пойдем сейчас с тобой спасать твою дуру. Это ж надо? Любовничка себе выбрала — бандита отпетого!

— Не выбирала она! — заверещал старик. — Это он, паразит, споганил ее. Из-за меня он ее так, будь я трижды проклят...

— Теперь это меня не интересует, — перебил Сибирцев. — В пути расскажешь, коли захочешь. Сколько времени уйдет на дорогу?

В Стрельцове мгновенно пробудилась надежда, и его понесло. Без пауз, захлебываясь, он стал объяснять, что ежели сперва поездом, так поезда сейчас нет. А ежели подводой, то он сам-то приехал поездом, и потому подводы тоже не имеет. Из всего этого словесного потока Сибирцев понял, что если добираться подводой, то они, пожалуй, еще до вечера успеют до болот, а уж в сумерках перейдут на остров. Одна беда, вода сейчас большая, снегу много было, и тает дружно. Но старик знает все потайные тропки да кочки, доберутся в лучшем виде. И лошадь будет где оставить.

— Я тебя, батюшка, ваше благородие, — захлебываясь, причитал старик, — на руках донесу, ноженьки замочить не дам...

Наступила реакция, понял Сибирцев. Пора было заканчивать разговоры и переходить к делу. Кое-какие детали можно уточнить и по дороге.

Но тут вмешался Нырков.

— Где сейчас Митька, а, Стрельцов? — строго спросил он.

— Здесь он, где ж ему быть? — испугался старик.

— Ты точно знаешь, что нет его на острове?

— Да уж, милостивец, Илья Иваныч, мне ль сейчас обманывать-то? Вот, как перед христом-богом... Он же без меня в болоте и шагу не ступит. Велел послезавтра встречать. А сам он ни-ни... Утопнуть можно, такие болота.

— А где ты его встречать должен? — сразу ухватился Нырков.

Старик помигал глазами, видно испугался вырвавшихся слов.

— Ну, отвечай!

— Так, Илья Иванович, он говорит: сиди в сторожке и жди. Я сам приду. Вот и ждешь его день, а то два.

Сибирцев с Нырковым переглянулись, и Сибирцев отрицательно качнул головой. Конечно, заманчиво было бы устроить Митьке засаду, да ведь и он непрост. Нет, пока надо идти самому, и вся надежда на старика. И дорогу покажет, и на бандитское логово выведет. Хотя... Этот вопрос следует хорошо обдумать.

— Ладно, — махнул рукой Нырков, — ты мне за доктора, Ванятка, своей плешивой башкой ответишь. Я и тебя и Марью твою везде найду и к стенке поставлю, как самую распроклятую контру. Понял? То-то... А у кого здесь Митька останавливается?

— Где ж мне знать? — вздохнул Стрельцов. — Я его только досуха провожаю, а уж дальше он сам. По три дня, не мене, в городе проводит. А у кого?.. — он снова вздохнул и развел руками.

Похоже, и вправду не знает.

— Ладно, ступай, посиди еще маленько, позову, когда надо, — Нырков подтолкнул его в комнату охраны. Крикнул в приоткрытую дверь: — Дайте ему хоть кипятку! — и добавил негромко: — Загнется еще по дороге от радости... Передумай, Михаил, — обратился он к Сибирцеву, — ей-богу, передумай! Христом-богом тебя, а?

— Кончай, брат, свою шарманку, — перебил Сибирцев. — Слушай, что мне надо. Срочно достань пару простыней, марлю, йод, скальпель, пару зажимов и еще... опий. Это на всякий случай. Спирту небось нет, так дай бутылку самогону. Свечей надо. Их побольше, с десятков.

Теперь главное. О нашем деле ни одна живая душа чтоб ни слова. Сам представляешь, куда иду... Тех, что в камере у тебя сидят, не выпускай. Во избежание болтовни. Вернусь, разберемся. Кое-какие бумаги нужные у меня есть. Дай мне с собой махры, если есть, то моршанской. Это для душевной беседы. А еще мне нужно постановление о добровольной явке дезертиров и всех примкнувших к бандитским шайкам. Знаешь, о чем я говорю. И последнее. Здесь, — он поднял с пола свой вещмешок, — посылка. Несколько банок тушенки, пара фунтов сахара и часы «Мозер». Я их в тряпицу завернул. Не разбей. Найдешь в Моршанском уезде Елену Алексеевну Сивачеву и передай все это. От сына ее. Мне-то надо бы самому... Но если не вернусь, найди и передай. Знал я Якова. Погиб он... А мог быть с нами. Только-только прозревать стал — и по-

гиб... Ну, а обо мне, брат, сообщишь как положено, по начальству. Возьми эти документы, спрячь. Вернусь — забери. Все. Доставай подводу.

6

Громко стучали плохо смазанные колеса. Телега катилась по схваченной за ночь морозцем дороге. Стрельцов погонял лошадь шибко, торопился больше проехать по утреннему холоду. Позже, как взойдет солнце, дорогу развезет, полуют смолкшие было ручьи, и уже не гроыхать, а хлюпать станут колеса в вязком, жирном черноземе.

Снега в полях было уже немного: он оставался лишь в придорожных канавах, в оврагах, да с теневой, северной стороны бугров — темный, ноздреватый, уже и не снег, а припорошенные, вмерзшие в лед комья земли.

Сибирцев лежал на большой охапке сена, подложив руку под голову и придерживая сбоку кожаный докторский саквояж: где-то умудрился раздобыть Нырков. Глядел по сторонам, вдыхал запах сена, покачивался в такт движению телеги. Машинально перебирал в памяти события последних часов.

Перед самым отъездом еще раз посовещались Сибирцев с Нырковым. Уж больно удобной была мелькнувшая у обоих мысль о засаде.

Деревня, как объяснил старик, называлась Гниловка. Потому, видно, что около гнилых болот располагалась. А сторожка та находилась верстах в трех от деревни. Стояла она на самом краю болота в зарослях ольхи, сама была не заметна, но округа от нее хорошо просматривалась. Значит, поняли чекисты, незаметно к ней не подобраться. Отправить конный отряд вместе с Сибирцевым — рискованно. Вмиг заметят, кому это надо. А если попробовать иначе?

Решили так. Конники пойдут самостоятельно на Гниловку, там и расположатся под видом продотряда. Если все закончится благополучно, Сибирцев, вернувшись с острова, подаст сигнал: два выстрела подряд. Видимо, это будет где-то под утро. Чтоб не проспали, были наготове. Ну, а дальше и решать: идти ли на штурм острова или какой другой выход найдется. Все, считал Сибирцев, решится на самом острове: какие там силы, насколько глубоко увязли в своих черных делах бандиты и, главное, кто с ними связан, откуда ниточки тянутся.

Вот когда все это будет окончательно ясно, можно делать выводы, как брат Бездобразова. Уничтожить его банду — значит обезопасить железную дорогу, а там и армия подойдет. Сила! Нельзя больше терпеть, чтоб под самым сердцем Советской власти зрел гнойный фурункул — антоновский мятеж. С ним надо кончать быстрым и решительным ударом. Но и удар нельзя наносить вслепую.

Мартин Янович назвал обеспечение безопасности железной дороги срочной и обязательной задачей. Тамбов с его агентурой — уже потом. А если Бездобразов в настоящий момент и есть самое главное? Значит, именно Сибирцеву и следует брать основную тяжесть операции на себя. И документы, и опыт — все есть. Кто мог бы, воспользовавшись удачно подвернувшимся случаем, проникнуть в банду? Малышев, что ли? С его маузером... Чепуха, все развивается правильно. Логично.

Сибирцев словно успокаивал себя, искал оправдание. Но если надо оправдываться — значит все-таки есть сомнения? А в самом деле, не ввязался ли он в авантюру с этой своей экспедицией? Имеет ли он право? Не кончится ли все самым дешевым провалом и роковым выстрелом где-нибудь посреди вонючих топей? Может быть, он попросту поддался мгновенному чувству острой жалости, а может, невеста из каких глубин памяти всплыли великие слова о долге врача всегда и везде помогать страждущему... Черт его знает, как получилось.

Нет, раскаяния в своем поступке он не испытывал. Скорее, по привычке исподволь прослеживал возможные варианты. И почти в любом из них немалая доля риска невольно зависела от этого старика.

Стрельцов совсем уж очухался. Даже вроде похохатывает чему-то своему.

Сибирцеву было, в общем, понятно его состояние. Не что подобное видел он, помнится, в июле шестнадцатого в полевом лазарете под Барановичами. Привезли пожилого солдата с напрочь, словно бритвой, отхваченной кистью правой руки. Кто-то еще раньше догадался наложить жгут, и теперь солдат сидел у плетня возле хаты, где расположились хирурги. Словно куклу укачивал он свою культю и кричал тонко и визгливо. Пробегавший санитар сунул ему кружку со сладким горячим чаем. И случилось неожиданное. Солдат замолчал. Он бережно уложил культю на колени, взял левой рукой кружку и стал пить и даже счастливо улыбался при этом. Допив, аккуратно отставил

кружку, снова прижал культю к груди и завопил так, что из глаз его хлынули слезы.

Видимо, примерно то же самое происходит теперь и со Стрельцовым. Он добился своего: доктор едет. И он не думает, что там, на острове, с дочерью. Может, ее нет в живых. Главное, доктор едет. Кружка с горячим сладким чаем...

Стрельцов уже не раз оборачивался к развалившемуся на сене Сибирцеву, все порывался что-то сказать, но, наверно, не решался. Вот и опять обернулся, и глаза его при этом как-то странно лучились.

— Красота-то какая, а, ваше благородие! Благодать... Дух какой от землицы-то! Большая вода — большой хлебушек. Это точно... Нно-о! — хлестнул он прутком замедлившую было шаг кобылу. — Эх, ваше благородие, господин доктор, нешто это лошадь? Вот, бывалоча, приводили на евдокиевскую коней! Нынче ведь как раз ей время, ярмарке-то. Она всегда на Евдокию-великомученицу началась. Со всей губернии праздник. А потом уж дожидай троицкой. Та — не так, лето жаркое. Помню, ваше благородие, было дело, черемис у цыгана коня торговал. Уж порешили они, по рукам как положено ударили, а черемис все в страхе дрожит, обману боится. Цыган ведь известный народ.

«Не верю, — говорит, — тебе, есть в коне обман». — «Ах, — говорит, — не веришь?» — «Не верю!» — «Не веришь, такой-сякой? Ну так набери, — говорит, — полон рот дерьма, разжуй да плюнь мне в морду, коли не веришь!»

Ух и смеялся народ-то! Весело было. Одно слово — праздник. — Старик долго хихикал, утирая глаза рукавом своего зипуна, покачивал головой.

«Ваше благородие, господин доктор, — подумал Сибирцев. — Неужто этот старик в самом деле до сих пор ничего не понял? Или дурочку валяет?.. Надо ж быть полным кретином, чтобы не сопоставить примитивных фактов. Кто такой Нырков, он не может не знать. Или на него затмение нашло?.. Вот тоже загадка».

Нырков предложил одеться попроще, полушубок, говорил, уж больно шикарный. Что шикарный, это как раз неплохо. Отличный полушубок. Если кто из бандитов острова хоть раз бывал в Сибири, вмиг признает полушубок черных анненковских гусар. Тех, кто хорошо умели кишки на руку наматывать... Мол, не простая птица, наш доктор-то. А для начала это совсем уж неплохо. Гимнастерку

свою привычную только сменил на довольно приличный, но тесноватый под мышками пиджак да переложил во внутренний карман свой неразлучный наган.

— Скажи-ка мне, Иван Аристархович, — старик резво обернулся, услышав голос Сибирцева, — ты к доктору Медведеву шел, говоришь?

— К нему, как же. Другого-то и не знаю. Только не доктор он, ваше благородие. Фершал он. Далеко ему до вас, — неуклюже польстил старик Сибирцеву.

— И давно ты его знаешь? — Сибирцев говорил небрежно, стараясь не вызвать подозрения у Стрельцова.

— Да ить нет, ваше благородие. — Он помолчал и, словно решившись, продолжил: — Приходил он к нам, на остров то есть. К Митеньке приходил. Мое дело какое? Встреть и приведи. Лекарству он приносил. Ежели кого из ребятушек ранят, лечил у себя в городе. Слышно, от самого к нам приставлен. Чтоб, значит, слушались и приказы сполняли.

— Как же ты решился идти-то к нему сам, без разрешения?

— Дак что поделаешь, ваше благородие, когда Марья-то... — старик глубоко вздохнул. — Да и кто другой к нам пойдет?.. Сердитый он, фершал-то, кричит, ругается всегда.

— А за что ругается?

— Приказы, звать, не сполняем. Наш-то не хочет, поди, подчиняться. А фершал ругается. Скоко раз было. — Старик отвернулся и замолчал.

Но и того, что услышал сейчас Сибирцев, было ему достаточно. Значит, Медведев не только связник, но и обладает определенной властью. Это, пожалуй, то, что надо. Главное теперь — вернуться целым и невредимым.

Сибирцев постарался расслабиться и так лежал, вдыхая слабый горьковатый запах тления, исходивший от сена. Его перебивали временами налетавший острый дух конского пота, дегтя, ледяные волны оттаивающей земли.

Низкое серое небо придавило все видимое пространство. Размытый синеватый гребешок леса по горизонту, размокающая колея, в которой уже по ступицу увязали колеса, ровная одноцветная равнина по сторонам — все это укачивало, убаюкивало, настраивало на мирный, спокойный лад.

Вздремнуть, что ли? Отделаться от всех тревожащих мыслей, от неосознанного, напряженного ожидания.

Как всякий раз перед ответственной операцией, он и теперь понемногу входил в новую свою роль. Давно забытую им роль.

Почему-то казалось, что сами роды осложнения не вызывают. Руки вспомнят, глаза подскажут. Без практики-то оно, конечно, трудновато придется, но ведь, если вдуматься, не так уж и много времени прошло с тех, казалось, навсегда ушедших, студенческих времен — пяти лет, пожалуй, не наберется. Это война и революция стали острым и зримым рубежом между студентом Мишей Сибирцевым и его нынешним, резко возмужавшим и, вероятно, постаревшим двойником. Пять лет, а будто целая жизнь. И ранняя седина, и жесткие складки на щеках и подбородке, и, наконец, неотъемлемое теперь право риска.

Покачивалась и будто плыла в бескрайность телега, смачно и размеренно чавкали копыта, тонко позвякивали склянки в саквояже — и тишина, особенно чутко ощущаемая от присутствия размеренных посторонних звуков. С этим он и заснул.

7

Вечер приполз незаметно. Стрельцов и хорошо отдохнувший Сибирцев перекусили, остановившись у небольшого березового колка, чем бог послал. А послал он им по краюхе хлеба и шматок старого, с душком, темно-желтого сала — все, что мог дать на дорогу Нырков. Больше ничего не было. Но после долгой дороги эта пища была съедена быстро и до крошки. Запили, зачерпнув горстью воды из родничка. Она пахла снегом и была пронзительно-ледяной. Сибирцев отметил, что старик спокоен и даже нетороплив в движениях, хотя, судя по всему, должен был бы чем-то обязательно выдавать свое волнение.

— Ну-с, милейший, — после долгой паузы покровительственным тоном начал Сибирцев. — Где же эти ваши болота? — Он нарочно выбрал такой снисходительно-барский тон, полагая, что ему, как доктору, он подходит более всего.

— Да вы, батюшка, не беспокойтесь, коли чего. Я ж понимаю.

«Батюшка, — усмехнулся Сибирцев. — Неужели я и впрямь батюшкой выгляжу? Нет, это прежнее, веками в мужика вколоченное. Батюшка-барин, вот что это».

— Не извольте сумлеваться, все будет в лучшем виде. Нешто ж я не понимаю, не в бирюльки играть едем-то. Я об вас ни словом ни духом — ни-ни. Ваше благородие, господин доктор. И все. А как же... Кабы не Марья, ноги б моей там не было. Все она, сиротинка сирая... Телегу-то мы надежно спрячем, а сами кочками, где посуху, а где, уж простите, бродом придется. Вода нынче большая. Ну да не пропадем. Там всего и верст-то с пяток не наберется.

Сибирцев слушал, а сам с томительной и теплой тоской думал об уехавшем Михееве, о его сапогах, которые нынче так кстати, о том, что, видно, не избежать лезть в холодную весеннюю воду, и хорошо, если только до голенищ, а ну как по пояс...

Ах, Михеев, Михеев! Будто знал, что обязательно должен Сибирцев впутаться в подобную ситуацию. Характер, что ли, такой?.. Или везение на всякого рода авантюры? Ну, насчет авантюры — это, как говорится, бабка надвое сказала. Ничего пока не ясно, так что авантюра это или разведка боем — еще поглядеть надо. Судя по всему, пожалуй, разведка. А риск — он на то и риск, чтоб душа горела. Чтоб тому, кто следом пойдет, тропка была протоптана. Такая работа: на долю первого всегда главный риск приходится. Сибирцев это знал. Знал и Михеев, тоже впереди идущий... А старик, видать, соображает, что к чему. Любопытный тип, этот бывший егерь Стрельцов. И вслушивался Сибирцев больше не в то, что говорил старик, а — как говорил. Что ж, хорошо пока говорит. Можно подумать, что он уже всерьез принял игру Сибирцева. Доиграет ли — вот вопрос. Вероятность срыва, конечно, имеется. Но степень риска, — полагал Сибирцев, — все-таки не завышена. В пределах нормы... Правда, норму ту устанавливал не кто-либо, а сами они с Михеевым. И не для дяди, а для себя. Себя-то ведь порой и пожалеть хочется, и слабинку какую не заметить... А надо замечать. Потому что никто другой, кроме тебя самого, не спросит: «Мог или нет?» Если мог, почему не рискнул? Черт его знает, что такое риск. Жизнь это. Полная и — интересная.

Сумерки сгущались. Дорога различалась совсем слабо, старик находил ее, видимо, нюхом. Резче пахло сыростью и прелью, гнилостным духом пробуждающихся от зимней спячки болот. Сибирцев начал чувствовать легкий озноб, потребность двигаться, размять уставшее слегка тело от долгого лежания в телеге.

На какой-то очередной версте, у очередного перелеска,

Стрельцов бодро спрыгнул с телеги, взял лошадь под уздцы и повел ее в сторону от дороги. Сибирцев соскочил тоже, пошел рядом. Сапоги скользили на сырой земле, чтоб не упасть — приходилось держаться за край телеги. Так прошли несколько сот метров. Зачернело впереди какое-то строение — не то сторожка, не то большой шалаш. Сибирцев заметил сбоку небольшую пристройку, что-то вроде навеса. Туда старик и завел лошадь вместе с телегой. Быстро и скоро выпряг кобылу и увел ее вовнутрь. Потом отнес туда же охапку сена, заложил скрипучую дверь светлой обструганной плахой и негромко сказал Сибирцеву:

— Можно б, конечно, в деревне оставить, но лучше, ваше благородие, туточки. Глазелок меньше, разговоров. И нам дорога ближе... Вы не сумлевайтесь, тут место чистое, лишних нет. Пожалуйте ваш энтот-то, — он показал на саквояж. — Мне сподручней. А вы на случай вот чего возьмите. Для устойчивости. — Он протянул Сибирцеву длинную палку. — Опирайтесь сподручней. Ну, — он вздохнул, — с богом, ваше благородие. Ступайте за мной след в след...

Сибирцев не мог сказать о себе, что он был неопытным ходоком. Приходилось ему много раз блуждать в тайге, умел он различать еле видимую тропу, след человека и зверя, мог сориентироваться в незнакомом месте, но теперь он готов был позавидовать идущему впереди егерю, тому, как тот легко и безошибочно находил нужный ему бугорок, перескакивал на соседний, слегка позвякивая содержимым саквояжа и поджидая Сибирцева. Следуя за ним, Сибирцев оступался, хватался за скользкие ветки и стволы деревьев, хлюпала под ногами вода, сапоги все чаще и глубже проваливались в болото, скоро вода проникла за голенища, и ступням стало совсем холодно и мокро.

«Пропадут сапоги, — с сожалением думал он. — Ах черт, какая жалость... Такие сапоги!»

Они долго кружили по заросшему невысокими влажными осинами болоту, но, видно, такова была тропа, потому что старик двигался довольно быстро. Наконец выбрались из перелеска, и стало светлее.

— Тут, ваш бродь, надо с осторожкой, — совсем уже шепотом предупредил Стрельцов.

Вот оно, начинается, понял Сибирцев. Теперь держись, ваше благородие, господин доктор. Он передохнул, стоя на качающейся кочке и опираясь на палку, которая медленно проваливалась в топь, потом, набрав полную грудь

воздуха, словно ныряя в глубокий омут, шагнул за стариком.

Сибирцев по-кошачьи зорко следил за шагающим впереди егерем, старался попадать в его следы, однако не всякий раз мог удержаться на ногах. То палка проваливалась, и он окунался в болотную жижу, то скользила подошва, и тогда хоть на четвереньках ползи. Темно, дьявол его заberi. Все на ощупь. Хорошо, саквояж у деда: побил бы все давно к чертовой матери.

«Тяжелая дорога, — думал Сибирцев. — Оно, конечно, ночь теперь. Да, пожалуй, и днем тут не легче, разве что искупаться меньше возможности. Но без проводника, разумеется, нечего и делать. А солдат с собой тащить на остров, да еще ночью — и впрямь задача бессмысленная. Хорошо, что отказались от этой мысли».

Сколько они шли — час, два? Сибирцев уже не мог вспомнить. Мокрый с ног до головы, он проваливался по пояс, и тогда Стрельцов, чутко следивший за ним, хватал за конец протянутой палки и ловко выволакивал его из топи. Сибирцев чувствовал, что силы уже на исходе. Не думал он, что такой окажется дорога, а ведь еще предстоит роды принимать. Если, конечно, придется их принимать. Если нужда в этом будет.

Наконец почва стала потверже, ногам поустойчивей, и напряжение стало спадать. А вместе с тем под одежду пробрался холод, озноб.

— Теперь уж рядом, ваше благородие, — шептал старик. — Совсем скоро. Обогреетесь, обсушитесь. Самогонки глотнете для сугреву. Ох, господи, хучь бы Марья жива осталась... Век себе не прощу!

— Ладно тебе хныкать. Двигай давай.

Спустя какое-то время их окликнули. Стрельцов предостерегающе поднял руку. Шепнул:

— Постой тут, я сейчас, — и сгинул во тьме.

Сибирцев услышал приглушенный говор, потом различил силуэт старика.

— Пойдем, ваше благородие. Митьки нет, как я говорил. И пока порядок. Орет Марья. Жива, значит, кровиночка, — он всхлипнул. — Вы уж постарайтесь, господин доктор, век молить за вас буду...

Их встретили двое. Разглядеть лица в темноте Сибирцев не мог. Увидел только, что оба рослые они, пахло от них перегаром, махорочным духом. Молча, изредка глухо

покашливая, шли они следом за Сибирцевым по узкой лесной тропе.

Вскоре впереди показались отсветы огня, и все вышли на довольно обширную лесную поляну. Посредине горел костер, возле него, на бревнах и древесных стволах, сидело пятеро бородатых в наброшенных на плечи шинелей мужиков. На треноге кипел черный чайник. Мужики курили и с любопытством, молча рассматривали прибывших.

— Доктора привел, — с ходу сообщил Стрельцов каким-то извиняющимся голосом. — Вы уж, братцы, подсобите, ежели что. А? Одежду просушить, самогонки бы стаканчик. Застыл ведь их благородие, непривычные они, а, братцы?

И столько было унижения и просительности в его голосе, что Сибирцеву стало несколько не по себе.

— Подай-ка сюда саквояж, милейший, — приказал он, — да проводи меня к роженице. А вы, — он недовольно оглядел сидящих, — грейте воду. Много воды. И чтоб ни-ни у меня! Этот чайник — ко мне.

Его слова произвели впечатление, это он сразу заметил. Как-то подобрались люди, один из них уже нес чугунок с водой, ставил в костер. Другой рогатиной снял кипящий чайник и, обернув ручку тряпицей, стоял в ожидании, куда прикажут нести.

— Пожалте, ваше благородие, — засуетился Стрельцов. — Сюда, пожалте.

Землянка, в которой лежала дочь старика, была сделана довольно прилично. Не то чтоб Сибирцеву встать во весь рост, но среднему мужику как раз по макушку. Просторная. В углу — железная печка с раскаленной трубой, выходящей через потолок наружу, небольшой стол, два широких топчана. На одном из них в гряде тряпья, выставив кверху огромный живот, лежала женщина. От слабого огонька коптилки по мокрому багровому лицу ее метались тени. Из широко открытого рта вырывался хриплый стон. Сбросив на пол тряпье, Сибирцев увидел всю ее — маленькую, щуплую, почти девчонку, с непомерно большим, округлившимся животом. Она, слабо подергиваясь, перебирала пальцами, и в глазах ее, казалось, застыла жуткая смертная тоска, ужас от боли, которая терзала ее уже давно.

Увидев эти страшные, остановившиеся на нем ее глаза, Сибирцев снова почувствовал озноб, спина его повлажнела и стала ледяной, хотя в землянке было довольно душно.

«Зачем ты здесь?» — услышал он свой собственный во-

прос и тут же отметил, с каким напряженным вниманием следят за ним глаза мужиков, набившихся в землянку. Нет, не на нее — на него глядят. Сурово, требовательно, зло.

— Все вон отсюда, — сказал он, но никто не сдвинулся с места. — Тряпье убрать. Подготовить горячую воду. Ну! Живо! — Он повысил голос, и мужики зашевелились, толкаясь, потянулись из землянки наружу.

Сибирцев раскрыл саквояж, достал свечи, зажег сразу несколько штук от коптилки и укрепил их на столе, вынул и разложил на чистой тряпке содержимое саквояжа — скальпель, зажимы, марлю, отыскал порошок хины, пузырек с опиумом, йод, поставил бутылку с самогоном, наконец, развернул простыни. Одну тут же скрутил жгутом.

Потом он неторопливо, словно каждый день принимал роды, скинул полушубок и шапку, закатал рукава пиджака и вышел наружу. Мужики топтались у входа.

— Где горячая вода? — спросил он.

Подали чайник.

— Остудили?

— Остудили маленько, — сказал кто-то.

— Тогда лей на руки, да не обожги. Морду набью.

Вода была очень горячей, но приятной. Пальцы отходили. Сибирцев только теперь почувствовал, как застыли они. И в сапогах хлюпало. Однако теперь было не до них.

— Миска есть чистая? Сюда, живо... Ты и ты, — он ткнул пальцем в двух, как ему показалось, менее угрюмых мужиков, — будете помогать. Там, на столе, — он кивнул одному, — самогон в бутылке. Принеси сюда.

Мужик быстро вернулся с бутылкой.

— Открывай. Лей на руки. Да не все. Еще потребуется. Он услышал чей-то сдержанный вздох.

— Так. Теперь, кому сказал, со мной, остальные — пшли к чертовой матери.

Нет, правильную он выбрал тактику. Подействовало. Даже такие вот бородатые, завшивленные дезертиры и те понимают команду. По голосу чувствуют, кто может приказывать, а кому не дано.

Уходя в землянку, он услышал вопрос, заданный старику:

— Где доктора такого взял, а? Это тебе не Медведев, балаболка...

Ответа он не расслышал, хотя следовало бы. Тем более что помянули Медведева. Но теперь уже действительно было не до этого. Прокипятив на «буржуйке» инструменты и

смазав руки йодом, Сибирцев расстелил на топчане простыню, дал женщине выпить хины, похлопал ее по щекам, приговаривая:

— Ничего, ничего... Горько, знаю. Надо так, чтоб сперва горько, а потом сладко... Сейчас мы с тобой рожать станем... Ты кричи, не бойся, громче кричи... И реветь тут нечего. Незачем, понимаешь, реветь...

По щекам роженицы текли слезы. Боли, радости ли, что доктор пришел, кто знает, отчего были эти слезы...

Случай, как сообразил Сибирцев, был трудный. Еще бы немного — и, считай, опоздали. Самый, что называется, критический момент. Опыт здесь нужен, большой опыт, да где ж его теперь взять...

— Значит, теперь так, — приказал он мужикам, боязливо стоящим у входа. — Этим жгутом вы будете давить на живот и помалкивать. И мордами не вертеть по сторонам. Слушать, чего прикажу, нехристи окаянные. Ишь, рожи запустили, тифозники. А ты, милая, — ласково обратился он к женщине, — гляди на меня, слушай и помогай мне, тужься. Поняла? Ну вот и хорошо, что ты поняла. Ну, давай нажимайте! Давай, давай, давай...

Сколько прошло часов, Сибирцев не знал. Он охрип, сорвал голос и теперь уже не выкрикивал, а рычал свое «давай-давай». В приоткрытую дверь землянки стал просачиваться рассвет, гудело пламя в трубе «буржуйки». Сбросили свои шинели и совершенно уже осоловевшими глазами следили за Сибирцевым мужики со своим жгутом. Обессилела и окончательно потеряла голос роженица, только разевала беспомощно рот, словно рыба на песке, и что-то глухо клокотало в ее груди и горле. И тут...

Словно сквозь сон увидел Сибирцев, как показалось сперва темечко, потом головка. Дрожащими руками стал он направлять тельце выбирающегося к жизни ребенка. И больше всего боялся, что руки не выдержат, уронят, разобьют этот хрупкий, мягкий комочек плоти человеческой.

Потом уже он с удивлением соображал, как ловко и профессионально работали его огрубевшие, отвыкшие от скальпелей и зажимов пальцы, вспомнил, как от хлопка по маленьким ягодицам раздался тонкий прерывистый писк. Но все это уже происходило не наяву, а было каким-то стершимся в памяти давним воспоминанием.

Он обмыл и завернул ребенка в кусок простыни, влажной марлей отер лицо матери, улыбнулся ей и сказал:

— Ну вот и все, милая... Теперь живите. Корми его, холь,

расти человеком. Умница ты, богатырскую дочь родила, фунтов, почитай, на десять. Молодец.

Он заметил, как горячечно заблестели глаза матери, на лице ее появился отек, потом его залила бледность, отдающая в синеву. Теперь все будет в порядке, подумал он и велел принести снегу и положить ей на живот.

Ссутулившись, выбрался из землянки. Рассвет еще не пришел. Просто четче стали силуэты людей, деревьев. По-прежнему горел костер.

У входа его встретил Стрельцов.

— Батюшка, — запричитал он, глотая слезы, — милостивец ты наш, господи...

— Будет, — устало сказал Сибирцев. — Счастлив твой бог, Иван Аристархович. Тебя, как деда, поздравляю с внучкой. Славную девицу вырастишь. Ежели только сумеешь... Слей-ка мне на руки. И самогонки дай. Теперь можно.

Помыв и стряхнув руки, он раскатал рукава пиджака и пошел к сидящим вокруг костра мужикам. Теперь их было более десятка. Повыползали, видать, из нор своих. Они уже знали, что роды прошли благополучно, и сразу подвинулись, давая доктору место у огня. Стрельцов стремительно вернулся, принес и набросил на плечи полушубок, поставил рядом саквояж, положил шапку, протянул кружку самогонки и прелую, посоленную луковицу. Сибирцев махом опрокинул кружку и, ничего не почувствовав, словно глотнул воды, стал хрустеть луковицей. Мужики молчали и сосредоточенно дымили самокрутками.

— Ну что, черти болотные, — сказал Сибирцев. — Чего помалкиваете? Человек родился, радоваться надо. А вы как сычи... Или для вас один хрен — что дать жизнь, что взять? Так, что ли?

— Да что радости-то от такой-то жизни? Маета одна, — сидящий рядом мужик в шинели и лаптях зло сплюнул на землю, швырнул в огонь окурок. — Еще одна на муки свет божий увидела.

— Это как глядеть на жизнь, — перебил Сибирцев. — Кому — вот вроде тебя — маета, верно. А кому — воля вольная.

— Видали мы твою волю, — пробасил мужик, сидящий напротив.

— Это где ж видали-то? — усмехнулся Сибирцев. — У Колчака, поди? Или у Деникина? Так один уже рыб скормил, а другому впору самому горбушку сосать.

— Но, но, ты полегше, ваше благородие...

— А чего полегче-то? Это вы тут в болоте вшей кормите, а я в мире живу. Мне видней.

— Ну и чего ж в твоём-то мире видно, а, ваш благородь? — спросил сосед в лаптях.

— Так что видно?.. Многое. Опять же и слухи ходят разные. Верные и сорочьи. Всякие слухи. Курите-то чего?

К нему протянулось несколько рук с кисетами. Он достал из одного щепоть табаку, положил на ладонь, понюхал.

— С корой, что ли?

— А где ж её взять, настоящую? — обиделся хозяин кисета.

— Среди людей поживешь, так будет и настоящая, — отрезал Сибирцев. Он раскрыл саквояж, достал кисет с моршанской махоркой, которую расстарался добыть Нырков. — На-ка вот, попробуй. Небось и дух забыл.

Протянулось несколько ладоней. Сибирцев отсыпал по щедрой щепоти. Снова полез в саквояж, вынул сложенный лист бумаги, развернул, покачал головой.

— Нет, эту бумагу на курево нельзя. Слишком серьезный документ. — Он снова сложил лист и спрятал в нагрудном кармане.

Ему протянули клочок газеты. Оторвав полоску, Сибирцев ловко свернул «козью ногу», насыпал махорки, прижал пальцем и, вытащив из огня горящую веточку, прикурил. Некоторое время мужики сосредоточенно дымили, покашливали, утирая набегавшую слезу. Крепка моршанская. Истинная.

— Ну, дак, ваш бродь... — напомнил сосед.

— Вот я и говорю, разные слухи ходят, — начал Сибирцев, пристально глядя в огонь. — Ну, например, что мужику серьезное облегчение вышло. Отменили prodразверстку.

Мужики, уставившись на него, беспокойно и напряженно молчали.

— Это как же отменили? — заносчиво спросил рыжий мужик с той стороны костра.

— А так, — спокойно ответил Сибирцев. — Пришла пора, и отменили. Будет теперь prodналог. Сдал, что положено, а остальное — твое. Хочешь — на базар вези, хочешь — свинью корми. Что хочешь, то и делай. Твое.

— Не врешь, ваше благородие? Как же так отменили? — нерешительно протянул сосед в лаптях.

— Не веришь — твое дело. Ваши тамбовские мужики, рассказывают, в Москве были. Они и привезли весть. Не се-

годня-завтра декрет на каждом столбе висеть будет.

— Врет он! — вскинулся рыжий мужик. — Ничего не отменяли. Вот и Митька...

— Дерьмо твой Митька, и ты — дерьмо, — угрюмо сказал Сибирцев. — Сами подумайте, на кой ляд России теперь продразверстка? Белых, считай, поколотили. Чего ж дальше-то мужику страдать. На нем, на мужике, ведь вся земля держится. Так я говорю?

— Так-то оно так, — буркнул кто-то. — Да только мужику-то все боком выходит.

— А вот чтоб не выходило боком — и вводят продналог.

— А ты сам, ваше благородие, из каких же будешь? — с издевкой спросил рыжий.

— Из тех, которые людям жизнь дают. Вот как нынче, — Сибирцев кивнул в сторону землянки. — А у меня самого, вот кроме этого полушубка да сапог, нет ничего. Все богатство.

— Ну, есть ли, нет — это еще поглядеть надо. С нами-то чего калякать, ты с Митенькой нашим покалякай. Он тебе враз все разобъяснит.

Остальные мужики помалкивали, пряча глаза. И Сибирцев понял, что этот рыжий у них сейчас за главного. С ним и будет разговор.

— С Митькой я говорить не стану. Не о чем нам с ним беседовать. Я свое дело сделал, пойду восвояси. Это вы тут сидите, ждете, чтоб слухи какие доползли сюда. Шиш они станут сюда ползти. Нынче слухи не ползают, по воздуху летают. Как шрапнель. А главный слух такой, что каюк приходит Александру-то Степанычу. Мол, пожаловались мужики те в Москве на разбой, что творится в губернии, и теперь идет сюда регулярная армия. А что это такое, вы все должны знать. Воевали, поди.

— Не слушай его, мужики, — рыжий вскочил, заорал, размахивая кулаками. — Гад он большевистский! Комиссар! Я их за ребра вешал и всегда резать буду!.. Ах ты, старая паскуда! — Он вдруг увидел Стрельцова. — Ах ты, змея! Вот ты кого привел! Ну погоди, сволочь! Дай Митеньке вернуться, он и тебя, и сучонку твою, и этого комиссара за ноги раздернет!

Мужики глухо зароптали:

— Брось, Степак, чего глотку рвешь?..

— Добро ведь человек сделал...

— Сядь, не скачи, дай с человеком поговорить. От вас и слова нового не услышишь...

— Истинно, как волки в логове...

Выждав паузу, Сибирцев стремительно поднялся, навис над костром.

— Цыц! — рывкнул он рыжему. — Как стоишь, сволочь? Порядок забыл?! Смирно! Волю ему, сукину сыну, дали! За ноги вешать научился! Я тебя, — Сибирцев протянул крепкий свой кулак, — вот этим враз научу. Сядь и молчи, когда умные люди говорят.

Рыжий, злобно озираясь и тяжело дыша, снова сел на свое бревно. Сел и Сибирцев, запахнул полушубок. Сказал спокойно:

— Угадал этот болван, мужики. Комиссар я. И нет в этом ничего плохого. Ежели кто грамотный, тот знает, что всегда были комиссары, лет триста уже. Только тех власть назначала, чтоб народ смирять и давить, а нас — сам народ, чтоб давить вот такую контру, как ваш рыжий Степак. И продразверстку самый главный комиссар лично отменил — Лениным его зовут. И к вам я по своей воле пришел — не шпионить, а помочь. Марье вон его помочь, вам. Не хотите, не надо. Только знайте, не вечно быть большой воде. Лето придет, и выкурят вас отсюда, как злое комарье. Всех начисто выкурят — и не пикните.

Сибирцев взглянул на старика и увидел, как тот делает ему из темноты какие-то знаки.

— Ты чего, Иван Аристархович? Подойди ближе.

— Да я, ваше благородие, господин...

— Брось ты свои благородия. Кончились они... Руки! — снова рывкнул он, мгновенно выхватив наган. — Руки, Степак!

Тот медленно потянул руки из карманов шинели.

— Кто там поближе, мужики, заберите у него пушку. А то начнет палить сдуру, новорожденную перепугает.

Один из мужиков достал из шинели Степака револьвер и сунул себе в карман. Сибирцев тоже спрятал наган.

— И последнее, что я вам скажу, мужики, а потом уйду. Дала вам Советская власть неделю на раздумье. Решайте, тут ли гнить либо хозяйство поднимать. Указ о том уже есть. Вот он, указ, — он вытащил давешний листок, протянул соседу. — Сами прочитаете. Грамотные есть? Вот и хорошо. Обсудите. И тем вашим, что по деревням сидят, расскажите. Знайте одно, наша с вами власть еще никого не обманула. Она и теперь говорит, что те, кто не участвовал в зверствах против населения, должны в течение недели выйти из леса. Они будут прощены. И никаких санкций к

ним применено не будет. Дезертир ты там или мужик, запутавшийся в обстановке, обманутый врагами. Кто виновен, получит свое, но Советская власть смертью карать не станет. Убийцам же и тем, кто будет продолжать борьбу, — тем конец один. И главное, Митьку Безобразова-то не бойтесь. Он за свои поместья мстит семьям вашим, а у вас какая месть? Вам дали землю. Ваша она навечно. И мы не позволим ее у вас отнять всяким Безобразовым. Соображайте, мужики. Нате вам махорки, покурите, подумайте. Неделя еще есть. Больше не будет. Выходите из болота... Пойдем, Иван Аристархович, проводи меня. Все одно, без твоей помощи не выйти, а дорогу в этих болотах разве запомнишь? — Сибирцев встал, надел полушубок, застегнулся, поднял шапку и саквояж. — Прощайте, мужики. И не бойтесь комиссаров. Я ведь и сам не сразу к ним пришел. Умные люди подсказали, научили. А мы с вами наверняка больше не встретимся. Проездом я тут. Случай свел.

Вместе с ним поднялось трое мужиков.

— Проводим, — сказал один.

— Ну, тогда пошли, — улыбнулся Сибирцев.

Он еще раз заглянул в Марьину землянку. Свечи оплыли, мигали огоньками, но он разглядел, что и мать и дочь спят. Вдохнул. Будут жить теперь.

На поляне гомонили мужики. Молча посмотрели вслед уходящим, а Сибирцев уже не обращал на них внимания. Будут стрелять или не будут, сверлила мысль. Нет, не будут, не должны. Вроде сломилось в них что-то. Разве что Степак... С ним ухо держи востро.

8

Старик шел быстро, будто торопился поскорее покинуть опасное место. Уже рассветало, и тропинка различалась хорошо. Сопели сзади провожатые, слышал Сибирцев шорох их шагов, приглушенные голоса.

Быстрым шагом вышли к болоту, на последний сухой бугор. Сибирцев обернулся. Троица, шедшая позади, приотстала и теперь что-то горячо обсуждала. Наконец, увидев глядящего на них Сибирцева, они подошли ближе. Один из них, тот самый сосед в лаптях, крепкий и вроде бы самый молодой, другие-то постарше, сказал:

— Ты уж прости, не знаю, как и звать-то: не то ваш бродь, не то гражданин комиссар...

— Там, за болотами, я тебе товарищ. А тут — как сам захочешь.

— Ты нам скажи, гражданин доктор, — вывернулся мужик. — Только как на духу... Бумажкам-то мы уж отвыкли верить... Правда, что ты говорил?

— Правда.

— Перекрестись.

— Хоть и не верую, нате, мужики. Вот вам крест святой.

— И ничего нам не будет?

— Ежели крови на вас нет, не будет.

— Да-а, — протянул бородатый постарше. — Ну, дак как, а, братцы?

— Знаешь что, — снова сказал молодой, — пойдем мы с тобой. Барахла там, все едино, не было, а винтарь — хрен с ним, пусть сгниет. Возвращаться — пути не будет.

— Вот молодцы, — обрадовался Сибирцев. — Самые что ни есть молодцы. Ну, тогда вперед. Двигай, Иван Аристархович...

Путь назад хоть и не легче, но кажется короче. Шли быстро, помогая друг другу, поддерживали в гнилых топких местах. Вышло так, что Сибирцев ни разу не зачерпнул голенищами. Опять же светло. Запоминать такую дорогу — гиблое дело. Тут под ноги смотри, вовремя скокни с кочки на кочку, не жди, пока она уйдет под воду — сразу дальше. И откуда только силы взялись, удивлялся Сибирцев. Будто и ночи жестокой не было. Он поймал себя на том, что ему даже запеть хочется, что-нибудь вроде: «...без сюртука, в одном халате...» И сапоги высохли на ногах, и не зябко было, хотя временами над болотами проносился пронизывающий, морозящий ветер.

Утром вышли к лесу. Запыхались, тяжело дышали, но шага никто не сбавил. Скоро уж и сторожка должна показаться. Мужики перебрасывались крепкими словцами, оскальзываясь и цепляясь за гибкие стволы осинок. Земля становилась суше, тверже под ногами.

Наконец вышли к сторожке, обогнули ее и лицом к лицу столкнулись с молодым человеком, который сидел в телеге, свесив ноги и покуривая папироску.

Стрельцов будто запнулся в шагу, так и замер. Как от удара в грудь, отшатнулись и бородачи. Сибирцев мгновенно уловил смятение в их глазах и позах и в упор взглянул на неизвестного. И чем больше смотрел, тем сильнее напрягалось, как для последнего прыжка, все тело.

Сибирцев узнал его. Хоть не было на нем рыжего лись-

его малахая и бабьего яркого платка не было. И шинель сидела совсем не мешком, а ловко и даже с изяществом.

— Так-так, — произнес с ухмылкой незнакомец, перекачивая из угла в угол рта папироску. Круглое женственное лицо его скривилось, прищурился глаз. — Я, значит, жду его у кривой березы ночь напролет. А его нет. Дай, думаю, к сторожке пойду, вдруг там. Кружу десяток верст без малого, гляжу: так и есть. Тут он, голубчик...

«Соврал старик, — мелькнуло у Сибирцева. — Зачем ему это было нужно? Страх, наверно, перед этим... Да, страх».

— Гляжу: и лошадь и телега. Комфорт. Кому ж это, думаю, такой комфорт? Мне разве? Нет, не мне. Так кому же? Отвечай, сучья рожа! — выкатив глаза, заорал он на Стрельцова и легко спрыгнул с телеги.

Сибирцев и старик стояли почти рядом, и Безобразов — это он, твердо понял Сибирцев, — медленно подходил к ним, оттопыривая карман шинели дулом револьвера.

Шинель портить не станет, быстро сообразил Сибирцев. Вынет револьвер. Пусть только руку потянет. Пусть... Лезть за своим уже не имело смысла. Поздно. Не даст.

— Отвечай! — снова заорал Митька.

— Доктор это, — совершенно убитым голосом выдавил из себя Стрельцов. — К Марье доктор.

— Как? — искренне удивился Митька. — Разве эта шлюха еще не сдохла? Какой такой доктор? Вот этот? Да разве ж это доктор? Это ж чекист. Я его сам наколол. Чекист с поезда. У Ныrkова сидел. Вот какой он доктор, голубчики. А вы, — он обратился к бородачам: — Вам тоже доктор нужен? Поносик у вас? Ну, хорошо, с вами разговор еще предстоит. А пока, Сергуня, пощупай-ка его, вынь у него пистолетик. И дай мне. Быстро.

Молодой подошел ближе к Сибирцеву, но остановился.

— Доктор он, Митрий Макарыч. Как есть доктор. Он ить и Марью спас. Девочку родила. С того света своими руками вынес. Отпусти ты его, обществом просим.

— Ах вот как! У вас уже «общество» появилось? Быстро.

Упустил момент Сибирцев. Успел выхватить револьвер Митька, теперь ствол его уставился прямо в грудь.

— Значит, что же происходит, а? — снова ласково заговорил Митька. — Я велел сидеть на месте, а этот старый козел в город смотался, чекиста привел, дорогу показал. Да не одного! Вон их в деревне — добрый десяток разместился. Каюк вам готовят, голубчики. Так-то. А вы — доктор! Это ты привел их, шкура! Марью твою я своей рукой при-

стрелю, если шевельнешься. И сучонку ее. С тобой разговор будет особый, а этого — этого мы сейчас на осинку вешать будем. Голову ему отпилим, чтоб другие запомнили Митю Безобразова. И на этой телеге Нырккову отправим. Пусть голова в город приедет. А уж остальное тут, тут повисит. Брось сюда саквояж! — приказал он.

Сибирцев безразлично швырнул ему под ноги саквояж. Там звякнули инструменты.

— А теперь тулупчик-то сними. Хороший тулупчик, чего его портить. Пригодится тулупчик.

Сибирцев рывком, так что полетели пуговицы, рванул полы полушубка и, сбросив, швырнул под ноги Митьки. Путь к нагану был свободен. Теперь только не упустить момента. Не сводя с Сибирцева взгляда, Митька ловко обыскал карманы полушубка, на миг опустил глаза, но этого мига Сибирцеву было достаточно.

Словно отпущенная пружина, он метнулся в прыжке к Митьке, и через секунду, выбитый ударом сапога, револьвер его мелькнул между деревьями. А сам Митька со всего маху грохнулся головой о колесо телеги.

Сибирцев поднялся с земли, подхватил свой полушубок, надел, подошел к Митьке и рывком за воротник шинели швырнул его на телегу.

Какое-то время все приходили в себя, потом разом загалдели. Стрельцов, со сжатыми кулаками, крича и плюясь, ринулся к Митьке. Рванулись к нему и бородачи. Окружили телегу. А Сибирцев почувствовал вдруг дикую усталость и опустошение. Словно навалился на плечи тяжелый груз всех последних лет. Стали ватными руки и ноги. Он не слушал и не слышал, что кричали мужики, даже не глядел в их сторону. Потом, пересилив себя, подошел к телеге, взглянул в разбитое бабье лицо неподвижно лежащего, оглушенного Митьки Безобразова и услышал, что кричал старик:

— А хучь бы и комиссар, и чекист! Он тебя, паразита, не побоялся. К человеку шел! По горло в воде. А ты его, паразит проклятый, вешать? Голову пилить? Ах ты, будь ты трижды проклят!..

Сибирцев вынул наган и дважды выстрелил вверх.

— Тихо, мужики, — сказал негромко, через силу. — Безобразов — враг Советской власти, и судить его должна Советская власть. Поэтому никакого самосуда. Свяжите его и везите в город. И ничего не бойтесь, мужики...

Сибирцев услышал отдаленный топот копыт, обернулся

к дороге и пошел между глубокими колеями тележных колес.

Он не видел, как провожали его взглядами мужики, не видел, как шевельнулся в телеге Митька и потянулась к голенищу его рука. На дальний бугор вынеслись пригнувшись к гривам лошадей всадники, и в тот же миг Сибирцев почувствовал сильный удар в спину и увидел, как стремительно рванулась ему навстречу земля.

9

Пришел вечер. Плыла, качалась телега по расквашенной дороге, каждым рывком вонзая раскаленный штык меж лопатками Сибирцева. Гулко, толчками долетали до него неясные, бубнящие голоса мужиков, их неторопливый, тягучий разговор. Казалось Сибирцеву, что он слышит и знакомый, характерный такой, быстрый говорок Ильи Ныркова, перебиваемый шлепаньем множества копыт. Вцепившись пальцами в края телеги, Сибирцев смотрел в небо. К закату оно очистилось, и только в самой далекой, темнеющей глубине его, словно малиновая пряжа, тянулась к северу узкая тропинка облаков.

Глава III

1

Сибирцев поднялся с постели в пору отцветающих вишен. Сам, без посторонней помощи, тяжело опираясь на суковатую палку, сделал он первые шаги к выходу, к потемневшей от времени террасе и, шаркая, ступил на ее рассохшиеся половицы. Короткая боль кольнула меж лопаток и жарко плеснулась в груди. На миг качнулось в глазах, и он прикрыл их. А когда снова открыл, вдруг счастливо рассмеялся. Мир, заслоненный до сей поры плотными зарослями дикого винограда, опутавшего ставни окон, открылся перед ним всей своей глубиной. Значит, снова жизнь и весна вокруг, и это буйное цветение — не выдумка, не порождение отрывочных, обморочных видений, бог весть сколько времени преследовавших его.

Когда-то огромный и ухоженный сад теперь одичал. Безнадзорный, расхристанный вишенник вздымал от порывов ветра снежно-розовые вихри своего кипения и швырял, рассеивал их по траве, кустам, бывшим клумбам, загложшим аллеям и дорожкам.

А поверх, и вокруг, и вдали, отовсюду, куда достигал взгляд, голубым и лиловым прибоем накатывалась сирень. От свежего ли дыхания земли и сада или от другого чего-то колело в горле, будто застрял там острый кусочек железа.

Продолжая улыбаться, Сибирцев сделал два-три коротких шага и опустился в плетеное кресло-качалку, именно такую, какая была в его детстве — расшатанная и пахнувшая старой пылью. Чуть наклоняясь вперед, Сибирцев качнул кресло, и оно заскрипело под ним, словно охнуло. И от этого плавного движения снова закружилась голова и все расплылось перед глазами. Сибирцев почувствовал, как мягкие пальцы бережно коснулись его спины и на плечи легло теплое и пушистое, легко окутало, прикрыло колени. Пахнуло неуловимым запахом духов.

Мирно поскрипывало старое кресло. Сибирцев полной грудью, распрямляя плечи, вдыхал тягучий аромат цветущей сирени и вслушивался в окружающие звуки. Легкий кашель — это Маша. Она сидит сбоку, наверно, на ступеньках лестницы, ведущей в сад, и, положив подбородок на сомкнутые тонкие пальцы, ждет, когда Сибирцев посмотрит на нее. А вот грузные, до стога в половицах, шаги Елены Алексеевны, уходящей в дом. Крупная женщина, сохранившая черты поместной барыни, суровой и неприступной, с гордым профилем, обрамленным реденькими буклями... Пережила свой век, мыкается теперь вот с Машей да бывшей своей прислугой, когда-то симпатяшкой-горничной, а ныне — сварливой и неопрятной старухой. Ходит Елена Алексеевна важно, как императрица, а разговор — легкий, неторопливый — заводит о разоренном хозяйстве, об усадьбе, за которой нет присмотра, избегая при этом самого главного вопроса. Разве что голос вдруг выдаст, задрожит, когда вскользь упомянется в плавном течении беседы имя сына Яши. И она, и Маша — понимал Сибирцев — все ждали, чтобы он сам заговорил. Давно ждали. Но он молчал: сперва оттого, что действительно не мог говорить, ибо находился в тяжелом состоянии после ранения, а после никак не мог решиться переступить порог той слабой надежды, которой все еще жили эти женщины, жили, хотя наверняка чувствовали правду. Оттягивать разговор не имело смысла,

однако не было сил и начать его. Так и жил Сибирцев в их семье, тщательно оберегаемый от боли, от посторонней жизни, от трудных своих воспоминаний.

За время болезни он потерял счет дням. Уплыл март по большой воде. Большую воду Сибирцев помнил: шел со стариком на бандитский остров. Позвякивала склянка в докторском его саквояже. А потом этот Митька... Митенька Безобразов, в ладной своей офицерской шинели. Удивленный тон его: «Какой такой доктор? Вот этот? Да разве ж это доктор? Это ж чекист... Чекист с поезда. У Ныrkова сидел. Вот какой он доктор, голубчики...» Однако подвела тогда рука бандита, хоть и мастерский был выстрел. Знал силу своего удара Сибирцев, и в положении Митьки, избитого, валяющегося в телеге, это был, конечно, лихой выстрел. Считай, на два пальца вбок, и гнить бы Сибирцеву в глубокой тележной колее. Подвела-таки рука, пославшая ему пулю в спину...

А дальше только отрывки, и не воспоминаний даже, а каких-то бредовых видений. Бесконечная, в тряских колдобинах, дорога, заросшие морды дезертиров, противный до рвоты запах карболки и смрадный дух гноящихся ран у соседей по койкам, лысина Ильи Ныrkова, славного и такого перепуганного мужика, и, наконец, снова тележный скрип и эта вот усадьба. Сколько же времени-то прошло в общей сложности?.. Месяц? Нет, побольше. Вон уж и сирень цветет вовсю, и дни на редкость жаркие. Так что, как ни считай, а к маю, по всему видать, подошло. Вот, брат, какие дела...

Спросить, что ли, какое нынче число? Спросишь — ответят, да ведь подумают: совсем, знать, спятил мужик, коли все позабыл. Вот те черт! Ни численника нет, никаких тебе известий. Илья тоже хорош. Рад, наверное, что жив остался Сибирцев, сбагрил с плеч и нос не кажет. Отдыхай, поправляйся, мол, поживи в усадьбе, в раю цветущем. Рай-то он, может, и рай, да только от усадьбы осталось одно название. Видел Сибирцев: дряхлость и ветхость сквозили изо всех щелей. Сердце щемило от этой опрятной и оттого еще более печальной бедности. В одном молодец Илья — сообразил продуктов подбросить, невозможно было глядеть в обтянутое, худое лицо Машеньки, на котором и жили разве что огромные серые глаза. И сама Елена Алексеевна, с отеками от голода щеками, только теперь стала напоминать себя прежнюю, как она давеча заметила.

Две недели полного покоя во все еще пахнущем смоли-

стой сосной старом доме подняли Сибирцева на ноги. Он встал с постели, сделал первые осторожные шаги и вот, видишь, в сад выбрался, ах, красота-то какая!

— Машенька... — Сибирцев увидел, как стало бледнеть ее лицо. Он чуть улыбнулся: — Принесите мне, пожалуйста, веточку сирени... Маленькую...

Маша метнулась в сад и через минуту взлетела по ступеням обратно, неся в обеих руках пышную, в блестящей росе ветку, осторожно, словно ребенка, положила ее на колени Сибирцеву. Он поднес ветку к лицу и задохнулся от нахлынувшего аромата. Взглянул поверх на девушку, и ему показалось, что он уловил сходство между нею и братом Яшей, каким он помнил его уже смутно. Тот же высокий лоб, заметно выступающие желваки на скулах, полные, резко очерченные губы и упрямый подбородок. И вместе с тем неуловимо нежная округленность линий. А глаза?.. Какие они были у Яши? Тоже серые?.. Уже не помнил Сибирцев. Там, в колчаковском тылу, при штабе атамана Семенова, где он служил вплоть до апреля двадцатого года, не до цвета глаз было, чтобы запоминать и думать об этом.

— А у нас, Машенька, — глухо сказал он, — сирени не было... Может, и была, да там, наверно, она пахла по-другому. Нет, не помню, была или нет.

— Михаил Александрович! — девушка порывисто шагнула к нему. — Скажите, я ведь знаю, я догадываюсь... Это все правда? Все-все?..

Глядя в упор в ее расплывающиеся глаза, Сибирцев медленно утвердительно кивнул. Маша упала лицом в его колени, в сирень, и застыла. Потом подняла мокрое от росы лицо и прошептала:

— И вы там были? И все знаете?

Помедлив, он снова кивнул.

— И ничего не могли сделать? — слезы полились из ее глаз.

Сибирцев отрицательно качнул головой.

Маша резко вскочила и исчезла в саду.

Сибирцев опустил голову и сидел так, перебирая пальцами сиреневую гроздь. Машинально отметил, что края цветков словно обгорели, обуглились. «Значит, уже и сирень отцветает», — посторонне подумал он.

В доме было тихо. Время текло почти осязаемо, и в его течении слышалось что-то обреченное, трагическое, отмеряемое потрескиванием половиц, шорохом кустов за тер-

расой, медленным хрустом присыпанной песком дорожки.

Она вернулась. Как прежде, присела на верхнюю ступеньку и сказала негромко, не глядя на Сибирцева:

— Простите, я понимаю... Я поняла, что вы были там, и если бы могли что-то сделать, то сделали бы. Простите меня... Я очень любила Яшу. Он ведь моложе меня... на целый год... — Она помолчала и добавила тем же ровным голосом: — А вам могло грозить подобное?

Сибирцев пожал плечами и ничего не ответил.

— Вы расскажете мне?

— Видите ли, Машенька, — Сибирцев заговорил медленно и негромко, как бы рассуждая сам с собой, — никто из нас не принадлежал... и не принадлежит себе. У нас не могло быть нервов и... — он неопределенно качнул поднятой ладонью, — всего этого... Одним словом, речь не о нас. О деле. Было дело. И только оно. Понимаете, Машенька, случается, слово какое вырвется, взгляд, скажем, или жест не тот — и все, что строили гигантским трудом не одного, а многих людей, вдруг рушится. И погребает под собой сотни, тысячи жертв... Одно только слово. Вот какие, брат, дела. Поэтому рассказать... не могу. Машенька... А Яша? Он должен был стать настоящим мужчиной...

— А эти часы, которые вы... нам привезли? Они еще папиными были.

— Это все, что я мог сделать, — ответил Сибирцев. — Все, что мог. Хотя делать это, возможно, не следовало... И вы, Машенька, немедленно забудьте все, что я вам сказал.

— Я поняла... Михаил Александрович, а как же мама? Она тоже про Яшу догадывается. Но верит. Пусть верит... Не помочь ли вам в чем-нибудь?

Снова увидел ее глаза Сибирцев, и у него перехватило дыхание, столько было в них муки.

— Машенька, милая... — голос сорвался, и Сибирцев закрыл лицо руками.

Разве найдутся слова против ее горя?..

2

Яшу Сивачева взяли неожиданно. Где-то был промах, но точной причины так и не смог узнать Сибирцев. Он был знаком с Яковым, как, впрочем, со многими, кто постоянно вертелся при штабе атамана. Чем-то уже давно при-

глянулся Сибирцеву этот совсем юный офицер, носивший погоны подпоручика скорее всего по чьей-нибудь прихоти, нежели за собственные заслуги... Однако был он симпатичен Сибирцеву. Возможно, тем, что напоминал ему самого себя, начинающего прозревать на недавней германской войне. Казался Сивачев таким же горячим и искренним, но, в силу сложившихся обстоятельств, еще не нашедшим ни себя, ни своей правды.

Интерес к Якову возрос многократно, когда Сибирцев узнал, что он работает в шифровальном отделе. Ряд удачно выстроенных обстоятельств позволил одному из сослуживцев Якова сделать тому предложение переселиться из штабного вагона, стоящего среди многих других на запасных путях станции Маньчжурия, в довольно приличный, хотя и скромный, домик железнодорожного машиниста, находившийся неподалеку от станции.

Машинист Федорчук пользовался уважением и деповского и станционного начальства ввиду своей деловитости, основательности поступков и безотказности по службе. Но, помимо всего прочего, был он и отцом весьма симпатичной девицы, подвизавшейся по швейной части. Поэтому ни у кого не вызвало удивления, что Сивачев скоро переселился в домик пожилого машиниста, все знали, что с жильем для офицеров было туго, и на подобные мелкие нарушения начальство смотрело сквозь пальцы. Многие офицеры пышно разросшегося атаманского штаба квартировали, где могли. Это уж ближе к апрелю двадцатого, после ряда провалов крупных семеновских операций, пришлось им, матерясь, но подчиняясь строжайшему приказу, возвращаться в тесные свои купе воняющих карболкой вагонов.

Опытный подпольщик и добрый дядька, Федорчук узнал некоторые подробности биографии Сивачева, о его сестре и матери, живущих где-то в Моршанском уезде, в Центральной России, которых Яков не видел более двух лет. Понимая состояние молодого офицера, чья вера в чистоту «белого движения», как любили в ту пору высокопарно выражаться, была уже основательно поколеблена, ибо ничто не могло бы ее скомпрометировать в такой степени, в какой это сделали проходящие через Якова документы, он сумел найти путь к сердцу Сивачева.

Началось все с небольшой «услуги» по части движения воинских поездов, тем более что такого рода «тайна», если смотреть на это дело серьезно, никакой особой тай-

ной среди штабных болтунов не являлась. Так, одна видимость тайны. Сибирцев полагал, что молодому и общительному офицеру лишние деньги вовсе не помешают. Но Сивачев совершенно неожиданно отказался от денег, предложенных ему Федорчуком, и уже по собственной инициативе познакомил его с копиями некоторых документов, имеющих действительную ценность. Что здесь больше сыграло роль — собственное прозрение или благосклонное внимание Федорчуковой дочери — было еще неясно. Однако Сибирцев с Михеевым решили, что пришла пора умело, хотя и исподволь, направлять поступки Сивачева.

До самого февраля двадцатого года Сибирцев тщательно руководил действиями Якова, не вступая с ним в контакт, но и не избегая встреч в штабе. Яков действовал смело, чересчур смело, как уже теперь, задним умом, понимал Сибирцев. Может быть, на него влияла острота ситуации, игра в опасность, может быть, собственная неустоявшаяся, неокрепшая жажда настоящего дела, кто теперь знает. Но Яков сорвался. Скорее всего, на какой-нибудь фальшивке, — семеновские провокаторы были большие мастера по этой части.

В штабе никто толком не знал о причине исчезновения шифровальщика. Но интуиция подсказала Сибирцеву, что случилось чрезвычайное и в его распоряжении считанные минуты. Рабочие депо — товарищи Федорчука — успели спрятать дочку машиниста, но самого предупредить не смогли, его взяла прямо в рейсе семеновская контрразведка.

Сибирцеву была хорошо знакома эта организация — бывшие сыщики и жандармы, озлобленные авантюристы, развратники, изощренные насильники, — грязные отбросы развалившейся царской охраны, не моргнув глазом отсылавшие людей на виселицу, ради любой денежной или иной награды. Но черное дело свое они знали: мертвый не мог бы не заговорить в их руках.

Немедленно ушел к партизанам связник Сибирцева и Федорчука. Но знал Сибирцев, что опасность слишком велика, ибо, коли уж взялась копать контрразведка, она может докопаться и до него, какими бы мизерными, ничтожными ни казались его связи с арестованными. Надо было уходить и ему, но он медлил.

Посоветовавшись с Михеевым, сообщили о провале в Центр, а затем затаились, прервав всякие контакты.

И вот тут стал Сибирцев замечать, что начали его не-

гласно проверять. Его отстранили от разработки крупной карательной операции против Тунгузского партизанского отряда, успешно действовавшего на правобережье Амура. Коли уж такая операция намечалась, — о ней довольно прозрачно намекали в штабе, но о том, что она должна начаться в ближайшее время, Сибирцев знал из источников Сивачева — он просто обязан был участвовать в ее разработке. Таков был заведенный порядок, и в этом заключалась его штабная работа. Однако интерес в штабе к этой операции неожиданно пропал, или, видимо, кто-то ожидал от Сибирцева большей заинтересованности, более решительных действий. Несколько раз назойливо, но якобы случайно забывали убрать в сейф секретные приказы, от которых опытный человек за версту почует запах фальшивки. Сибирцев не реагировал. Он ждал.

«Кого мог знать Сивачев? — мучительно размышлял в те дни Сибирцев. — Только Федорчука. А что он мог выдать, если бы не выдержал пыток? Только то, что сам добывал в своем отделе».

Все замыкалось на Федорчуке. И все зависело теперь только от пожилого машиниста.

Что же происходило с арестованными, никто определенно не знал и не мог толком ответить, почему Сивачевым заинтересовалась контрразведка. А сами чины этого малопочтенного заведения, как заметил кто-то из штабных остряков, в предвкушении раскрытия крупного и, разумеется, государственного — уж ничуть не меньше! — заговора приняла вдохновенный вид и на все расспросы таинственно помахивали своими провокаторскими головами.

Так и ходил по острию клинка поручик Сибирцев, в погонах с желтым кантом и тремя звездочками, пожалованными ему не так давно «за особые заслуги» полковником Скипетровым, правой рукой самого Григория Михайловича Семенова. Было дело, спас Сибирцев полковника от каталажки, грозившей тому за учиненное буйство со стрельбой в харбинском кабаке. Вообще-то Скипетров обещал «Георгия», но хватило только на поручика, тем более что это ему ничего не стоило. Был тогда уже Сибирцев подпоручиком, стал поручиком.

Возможно, думал он, именно эти новоиспеченные звездочки да откровенная симпатия Скипетрова сдерживали пока не в меру ретивого ротмистра Кунгурова, в чьих руках, по его сведениям, находились Федорчук и Яша Сивачев.

Этот Кунгуров, знакомство с которым вряд ли кто посчитал бы за честь, был весьма любопытным типом. Златоуст бывшей харбинской охранки, отъявленный насильник даже среди выдавших виды семеновских живодеров, однажды заявил, что в охранной деятельности нужно, чтобы чистые головы — намек на свою — руководили грязными руками и сдерживали преступные похоти этих грязных рук. Но теперь чистых голов, за редким исключением, — скорбный вздох! — уже не осталось. Верхи контрразведки захватили выскочки и авантюристы, развращенные неограниченными возможностями, которые дала им современная неурядица.

Нужен был Сибирцеву Кунгуров. И так случилось, что в один из промозглых февральских вечеров собралась небольшая компания в тесном кабинете харбинского «Континенталья» за казацким штосом. Поводом был приезд Скипетрова, месяц назад удравшего из Владивостока, как только туда вошли партизаны и большевики. Он и держал банк. Его знакомство с Кунгуровым позволило пригласить и контрразведчика.

Электричества не было: бастовали рабочие электростанции. Их порубили казаки, нагнали солдат, но дело что-то не ладилось. Поэтому сидели при свечах, и оттого по стенам метались причудливые тени, да поблескивала батарея бутылок на буфете.

Кунгуров нервничал, дергал прыщеватыми щеками и перекатывал из угла в угол рта изжеванный мундштук папиросы, сыпля пепел себе на расстегнутую грудь, обшлага мундира и зеленое сукно стола. Было также несколько офицеров, но тех интересовало исключительно содержимое Васькиного буфета. Там они и толклись, нещадно дымя гаванскими сигаретами. Бессменный скипетровский адъютант — сукин сын Васька — иначе его и не звали — откупоривал шампанское и строил рожи за спиной Кунгурова, ловко копируя его и веселя Скипетрова и всех остальных. Кунгуров делал крупные ставки, но карта не шла. Сибирцев поначалу не зарывался, ставил по маленькой, проигрывал, выигрывал, оставаясь, в общем, при своих.

Четвертым за карточным столом сидел штафирка Семен Аполлинарьевич Жердев, бывший редактор харбинского «Курьера», черт-те как и на чем сумевший сколотить приличное состояние, либерал и кутила. Только последнее качество и сближало его со Скипетровым, ибо тот на дух

не принимал либералов и прочих вонючек. Известность Семен Аполлинарьевич приобрел еще в восемнадцатом, в дни колчаковского переворота в Омске, когда выступил с едкой и злой статьей «Что делать с Колчаком?»

«Граждане! — писал он. — Теперь тяжелый политический момент, и не таким грязным и больным людям, как адмиралу Колчаку, быть нашим верховным правителем... Долой его! Сам Колчак — это олицетворение честолюбия — добровольно не уйдет, нужно его убрать... Помните, граждане, что с появлением у власти Колчака большевизм уже поднимает голову...» И все в таком духе.

Статья оказалась как нельзя кстати. Буквально накануне Колчак издал приказ о смещении Семенова с должности атамана Забайкальского казачьего войска за то, что тот отказался признать вице-адмирала «верховным правителем России» и, сидя в Чите, прервал железнодорожную, телефонную и телеграфную связь Омска с Владивостоком.

На имя Колчака поступила телеграмма из Читы, от начальника Забайкальской железной дороги, о том, что работы остановлены, ибо по приказу Семенова все рабочие перепороты и не в состоянии выйти на работу. «Верховного правителя» умоляли «оградить», так как это отражается на продуктивности работ.

Колчак встал в позу. Семенова тут же поддержали японцы. В дело вмешался глава французской миссии в Сибири генерал Морис Жанен и кое-как примирил «верховного» с японцами. Однако обозленный Семенов категорически отказался вообще вести какие-либо переговоры с Колчаком, хотя связь приказал восстановить. Так что статья Жердева, с точки зрения атамана, была в самое что ни на есть яблочко.

Александр Васильевич Колчак говаривал: «Я бываю сдержан, но в некоторых случаях я взрываюсь...»

Это был как раз тот самый случай: вице-адмирал жаждал крови. Атаман же, Григорий Михайлович, ухмылялся и крутил вислый бурятский ус, а вскоре пригласил Жердева к себе и милостиво с ним беседовал. После этого «Курьер» разразился серией статей, где «обер-хунхуз» Семенов представал божьим агнцем и истинно российским патриотом. Долго обсуждали потом, во что обошлась эта поездка семеновской кассе. Сошлись на том, что касса особо не пострадала: к тому времени атаман «зарабатывал» до двух миллионов в день. Но, видимо, именно

тогда сумел заложить основу и своего будущего находчивый Семен Аполлинарьевич.

Итак, шла игра. Жердев попробовал вернуть «керенки», но Скипетров, распушив седые усы и побагровев, решительно и молча смахнул их со стола. Пришлось вытащить «катышки» — сотенные.

Припечатав жирной короткопалой ладонью толстую грудку купюр в банке, Скипетров стал сдавать карты. Сибирцев искоса наблюдал за Кунгуровым, за нервными движениями его рук и понимал, что тому приходилось туго. По всему видать, крепко он влип. Но остановиться и выйти из игры мешал азарт. В банке было уже тысяч под тридцать.

Проиграв очередную ставку, Жердев достал из заднего кармана брюк пачку долларов, перетянутую аптечной резинкой.

— А валюту берете, господа? — ехидно спросил он Скипетрова. Не мог, знать, простить ему выходки с «керенками».

— По курсу, Семен Аполлинарьевич, сделайте одолжение, — пробасил Скипетров. — Такие деньги, господа, сами к руке льнут. Ишь ты, шельмы! — Он развернул новенькие американские ассигнации веером, словно карты, ловко сложил их и аккуратно кинул поверх «катек». — Ах, шельмы, таку их! А то что ни день, господа, жди какой-нибудь конфузии. Мало нам своей твердой, российской, подавай иены паршивые. Я слышал, Антон Иванович на Дону какие-то «колокольчики» удумал. Наш теперь как черт на горячем шомполе крутится, свою валюту сочиняет, а хрен в ней, в этой валюте! Нет, господа, молодцы шельмы-американцы. Видит бог, молодцы.

— Россию теперь, господин полковник, — заметил Жердев, — никакой валютой не спасешь! Поумнели-с.

— Это как вас прикажете понимать? — возмутился Скипетров.

— А вот так-с. Мы, доложу я вам, нагайкой не поигрываем да шашечкой над головой православных не крутим. Но далеко видим со своей колокольни. Кончилась для нас Россия-матушка. В паршивом, как вы изволили выразиться, Китае сидим. Японские иены подсчитываем. А уж давно, ох как давно, пора на доллары переходить, на доллары. За ними — будущее. Наше, во всяком случае. Вот и вы, господин полковник, так считаете. Пока вы рассуждали да мечтали о мести, мир изменился. И вы крупно

опоздали. Ищите себе теперь другие пути для самоутверждения. Если найдете, конечно.

— Брехня! — Скипетров стукнул кулаком по столу. — Россия ждет нас. Это все вы, либералы, продаете направо и налево! Ни стыда, ни веры...

— Как же, как же! Понимаю вашу горячность, господин полковник, и даже, видит бог, глубоко вам сочувствую. Но вот, позвольте, господа, был у меня проездом год назад, прошу заметить, господин... впрочем, не имеет значения. Друг и приятель светлой памяти Александра Васильевича. Так вот, сказал он... позвольте на память, господа. Когда розовые оптимисты начинают говорить, что народ молится, чтобы мы вернулись, я возражаю, что не верю в существование таких лошадей, которые сами бы просили, чтобы их заложили в старые, ненавистные, до костей протершие хомуты... Каково-с?

Офицеры захохотали: «Едко, мать его перетак!..», а Скипетров вскочил, отшвырнув ногой стул, и рассыпал колоду по полу.

— К черту! Если бы я не знал вас, господин Жердев...

— Да полноте, полковник, — скривился Кунгуров.

— Это все вы, ротмистр, — продолжал орать Скипетров, — с вашими филерами погаными.

— Филеры, возможно, и поганые, — засмеялся Сибирцев, — но ротмистр тут при чем, господин полковник?

— А-а, — Скипетров начал остывать.

— Бог с вами, полковник, — отмахнулся Кунгуров, — оставьте спор. Сдавайте-ка лучше карту. Ставлю на девятку пик.

Васька подал новую колоду, и Скипетров, отдуваясь, стал с треском ее распечатывать. Выпил единым махом бокал шампанского, поднесенный Васькой, громко икнул и плюнул на пол.

Сибирцев заметил, что, всякий раз доставая деньги, Кунгуров вынимал из нагрудного кармана серебряную луковицу часов и щелкал крышкой, словно его подгоняло время. Теперь же он положил их сбоку и, потянувшись за картой, как бы невзначай, сдвинул часы локтем в сторону Сибирцева. Колеблющиеся язычки свечей вспыхнули в серебряной крышке, пробежали по змейке цепочки, и Сибирцев замер. Это были часы Сивачева. Он узнал его серебряный «Мозер» с брелоком-якорем. Сивачев имел привычку при разговоре постоянно крутить эту цепочку на пальце, поигрывая якорьком. Кунгуров метнул исподлобья

острый взгляд, но встретил равнодушные глаза Сибирцева. Продолжая глядеть на Сибирцева, Кунгуров откинулся на спинку стула и небрежно швырнул деньги на стол.

— Все, господа, баста! — хрипло сказал он.

— Что, ротмистр, профиршипилился в пух и прах? — обрадовался Скипетров.

— Баста, господа, — Кунгуров нервно рассмеялся. — Все спустил. Как в лучшие времена... Впрочем, если вы не сомневаетесь, могу...

— На мелок не играю, — отрезал Скипетров. — Ставь часы! — он ткнул в луковицу пальцем, с широким и плоским, почти квадратным ногтем. Такие ногти, вспомнил где-то читанное Сибирцев, бывают у палачей и наемных убийц.

— Часы? — задумчиво повторил Кунгуров.

Он взял «Мозер» в ладонь, пропустив качающуюся цепочку с якорьком между пальцами, долго рассматривал его, словно бы прощаясь с дорогой ему реликвией, а затем, криво усмехнувшись, примял им грудку ассигнаций.

— На что потянут, господа? — спросил он.

— Пятьсот, — отрезал Скипетров, рассматривая «Мозер».

— Остальное утром, согласны? Тогда — ва-банк!

— А, черт с тобой, поверим, — у Скипетрова заблестели маленькие пороссячьи глазки. — Твоя карта?

Сибирцев поднялся и отошел к буфету, чтобы выпить шампанского. Офицеры, напротив, сгрудились у стола. Повисла пауза. Потом раздался утробный вскрик, будто в живот воткнул нож, и следом раскатистый, громовой хохот Скипетрова... Все разом загомонили, задвигались.

— Ага! — Скипетров хлопал ладонями по столу. — Не ходи ва-банк, не ходи!

Встал бледный Кунгуров, снова сел.

— Что ж, — выдавил он из себя. — Считайте. Долг чести. Утром, господа...

Скипетров, бормоча под нос, считал деньги в банке.

— Ого, — наконец изрек он, — ежели американцев по курсу, за полсотни тысяч перевалило, господа. Учти, Кунгуров... Ну, Жердев, в штаны не наклал? Берешь карту?

— Сибирцев! Мишель, ваша очередь, — вместо ответа крикнул Жердев.

Сибирцев подошел к столу, сел, взглянул на Кунгурова, на Скипетрова. Азарт погас в глазах ротмистра, и они словно подернулись дымчатой пленкой. А на щеках, как

струпья, темнели багровые пятна. Скипетров с победоносным видом ерзал на стуле.

— Ну, господа, — медленно, как бы в раздумье, процедил Сибирцев, — говорят, трусы в карты не играют. Ва-банк, господа. Дама треф. — Проще было бы не лезть на рожон, даже проиграть небольшую ставку и тем самым войти в хоть какое-то расположение к Кунгурову, но на ассигнациях лежал Яшин «Мозер». — Да, ва-банк, господа, — повторил мрачно Сибирцев...

— Дьявол! — взревел Скипетров, выкидывая Сибирцеву трефовую даму, и снова отшвырнул стул.

Сибирцева била дрожь, которая со стороны вполне сходила за картежный азарт, столь понятный всякому настоящему игроку.

Тускло наблюдал Кунгуров, как Сибирцев подрагивающими пальцами сгребал ассигнации и совал их в карманы, не считая, как небрежно сунул в брючный карман серебряную реликвию.

— Ну-с, Мишель, — Сибирцева обступили офицеры, — так дело не пойдет. С тебя, с тебя...

— Господа! — воскликнул Сибирцев. — О чем речь? Куда прикажете подать? Сюда или в зал спустимся?

— В зал, в зал, какой разговор! Эй, Васька, распорядись! И чтоб там — ни-ни! — Скипетров взял роль хозяина на себя. — А ты, Кунгуров, не тушуйся, ты теперь его должник.

— Ах, бросьте, полковник, — поморщился Сибирцев. — Какие, право, пустяки. Не будем мелочными, господа! Прошу вниз. Господин ротмистр?

— Мы завтра встретимся, Мишель, — негромко сказал Кунгуров, беря Сибирцева под локоть. — Позвольте я вас буду называть запросто, как все, Мишель?

— Разумеется, но я могу подождать, учтите это. Мне не к спеху, господин ротмистр.

— Николя, с вашего разрешения.

— Отлично, Николя. А сейчас вы — мой гость. Вперед, господа! Покажем штафиркам, кто мы есть! Вперед, Николя! — и обнял его за плечи.

3

Сославшись на недомогание, которое, впрочем, Елена Алексеевна сочла за последствия голода, Маша ушла в свою комнатку на мансарде и там, наверно, прилегла.

Сибирцеву было понятно ее состояние, но он — увы! — ничем не мог ей помочь. Только время, время...

Из села донесся веселый перезвон церковных колоколов, и тут же торопливо, словно отпихивая локтями кого-то невидимого, серой мышью прошебаршила по лестнице в сад бывшая горничная. Сибирцев, сощурившись, поглядел ей вслед. Никакого иного чувства, кроме брезгливой неприязни, не вызывала у него эта старуха, суетливая и неопрятная.

Подставляя солнечным лучам лицо и открытую грудь, Сибирцев смолил помаленьку тонкие самокрутки даже не потому, что хотелось курить, а больше по привычке.

Маша не появлялась, и спросить о ней у Елены Алексеевны было отчего-то неловко.

Начало припекать солнце. В доме по-прежнему было тихо, только потрескивали половицы да мерно поскрипывала качалка. Захотелось холодной родниковой воды. Сибирцев решил было позвать, но вдруг спохватился: совсем очумел, малый! Нет, брат, пора тебе менять режим. Все. Никаких снисхождений. Палка есть — начинай ходить, начинай двигаться. Пора действовать...

Что рана проклятая ноет, наплевать. Долго еще будет ныть. Надо Ныркову срочным образом весточку послать, чтоб приехал, забрал. Там, в Козлове или в Тамбове, врач на крайний случай всегда найдется. Беды большой нет, если и откроется дырка в спине, залатают за милую душу. Да... Только как послать?.. Смешно, эти милые дамы глаз с него не спускают, каждое движение сторожат, жди, пошлют они в Козлов нарочного, как же...

Тоже ведь вот забота: что станется здесь, когда он уедет? Они ж обе — и Маша, и ее мать — на ладан дышат, еле отошли за последнее время. Ни хозяйства у них, ни другой какой-нибудь сносной перспективы, одни осколки. Как помочь-то, чем? Теперь их так и не бросишь, не уедешь, все оставив за первым же поворотом. Идиотская ситуация... И что в мире делается — неизвестно. Ни газет, ни слухов. Окружили стеной, супчик с ложечки, сирень еще эта, будь она неладна. Прямо одно расстройство.

По-стариковски кряхтя, Сибирцев выбрался из качалки и, опираясь на палку, побрел в дом. За время болезни он как-то не удосужился узнать расположение комнат. Он вообще не мог представить: велик ли этот дом. Комната, в которую он вошел, была большой, со стрельчатыми окнами, полуприкрытыми снаружи щелястыми ставнями.

Здесь царил сумрак оттого, что и стены были темными, и солнце сюда заглядывало, по всей вероятности, во второй половине дня. Такие комнаты в барских домах называли залой. Дверь справа была приоткрыта, там, за ней, и вовсе густилась темнота. Где-то за той темнотой раздавались приглушенные стуки и железное звяканье. Винтовая деревянная лестница с резными балясинами вела наверх, скорее всего там и находилась Машина комната.

Сибирцев оглядел небогатое убранство: широкий стол с витыми ножками, несколько венских стульев с гнутыми спинками, огромный, в полстены, пустой буфет. Обогнул стол, чтобы подойти к окну, и вздрогнул: из темного проема между окон на него глянул незнакомый обросший мужик, длинный и нескладный, стриженный почему-то ежиком и весь странно расплывчатый. Через мгновение Сибирцев сообразил, что смотрит в зеркало. Он подошел поближе, потрогал резную, мореного дуба раму, стекло. Оно показалось пыльным. Нет, это амальгама стала мутной от долгой жизни. Уставился в собственное отражение. Хорош, ничего не скажешь: глаза провалились, как у покойника. Ну, ладно, этот ежик — еще куда ни шло, но борода... Рыжая, клочковатая. И не борода, а нечто вроде того расхристанного кустарника. Что ж это он так-то? Ну и рожа, ночью увидишь — испугаешься...

Сзади слышались тяжелые, стонущие скрипы. Сибирцев обернулся и увидел Елену Алексеевну.

— Что вы, Михаил Александрович? — тревожно спросила она. — Разве вам можно столько-то ходить? В постель, в постель, и никаких возражений... Или на солнышко. Оно, милое, всех лечит.

— Елена Алексеевна, — виновато заговорил Сибирцев, стараясь прикрыть лицо ладонью, — не найдется ли у вас водички погорячей?

Он уже забыл о том, что мечтал о ледяной, родниковой.

— Случилось что? — забеспокоилась хозяйка.

— Да вот... — замялся Сибирцев. — Дело есть маленькое. Уж вы извините.

— Есть, есть, отчего же. Сейчас принесу. Идите прилягте.

Сибирцев вернулся к себе, достал из-под кровати вещмешок, развязал его и добыл небольшой полотняный сверток: в чистой портянке он хранил опасную бритву с костяной ручкой и — ставший каменным — маленький серый

обмылок. Открыл бритву, попробовал на ногте и стал править ее на широком своем ремне.

За этим занятием и застала его Елена Алексеевна. Она вплыла в дверь, держа в руке чайник, и, увидев, чем занимается Сибирцев, вздохнула и улыбнулась.

— Ну вот, и слава богу. Значит, на поправку пошло. Раз мужчина взялся красоту наводить, считай, все у него в порядке... Ох, да что ж это я? Вам же прибор нужен. Сию минуту...

Она поставила чайник на пол и ушла в залу. И тотчас услышал Сибирцев, как на разные голоса запели-застонали отворяемые дверцы и створки буфета, ну прямо как у гоголевских старосветских помещиков, разнося по всему дому застарелые странные запахи не то выветренного нафталина, не то каких-то сладковатых сушеных трав... Или, может быть, так пахла лежалая одежда прабабушек, хранившаяся, за неимением другой мебели, на буфетных полках, одежда, впитавшая в себя воспоминания о модных в прошлом веке парижских духах, а теперь проданная за бесценок в том же селе.

Елена Алексеевна вернулась, неся потускневший бритвенный прибор: тарелку и стаканчик со стершейся латунию.

— Вот, — протянула Сибирцеву, — мужа моего, Григория Николаевича, земля ему пухом. — Она вздохнула, поглядев в тарелку, словно в зеркало... — Сколько лет, а все еще как новая... Да вы к зеркалу подойдите, там видно. А я пойду, не стану вам мешать... Ах, уж эти мне мужчины! — Она улыбнулась и кокетливо погрозила пальцем. — Брейтесь на здоровье. Сейчас обед принесу...

Закончив довольно мучительный процесс бритья, Сибирцев провел ладонью по щекам: другой разговор. А то и впрямь бандит с большой дороги.

Плохо дело, Сибирцев, коли ты за собой следить перестал. Совсем, брат, плохи твои дела. Раскис, успокоился...

Появилась Елена Алексеевна с полной тарелкой густого щавелевого супа, приправленного тушенкой. Хотела было уложить Сибирцева в постель, но он упрямо выбрался на террасу и отодвинул качалку с солнцепека в угол, в тень. Пока он с трудом глотал кислую, порядком надоевшую травяную кашу, Елена Алексеевна, испуганно округлив глаза, все порывалась открыть ему свою очередную и, разумеется, страшную тайну. Она и дверь в комнату прикрыла, и заглянула через перила в сад, нет ли

кого. Наконец, когда Сибирцев отставил тарелку, придвинулась к нему на стуле и зашептала:

— Михаил Александрович, только, ради бога, тише... Там, на кухне, сидит человек. Из Совета, сказал. Вас хочет видеть. Но я ответила, что вы обедаете, а потом будете отдыхать, пойду узнаю, сможете ли принять... Я должна вам еще сказать... — она придвинулась почти вплотную. — Сегодня Дуняшка была в церкви...

— Это горничная, что ли, ваша?

— Какая горничная? Дуняшка-то? Что вы, она живет так, из милости. А служит при церкви, свечами торгует, ладанками, крестиками... Так вот слыхала она, что батюшка наш, отец Павел, возгласил сегодня с амвона, будто грядет сюда сила великая и быть повсеместно пожарам и гореть в их огне антихристу. Мужики от этой силы будет избавление, а большевикам и комиссарам — геенна огненная. А?

— Так и заявил? — усмехнулся Сибирцев.

— Господи, вы смеетесь!

— А что она за сила, не изрекал ваш батюшка? Антонов там или еще кто?

— Ох, не могу сказать, Михаил Александрович, но... я очень боюсь за Машу. Ведь если они...

— Кто они, Елена Алексеевна?

— Ну как же, эти, которых сила великая. И грядет сюда...

— Грядет она или нет, еще неизвестно. А вот лежать тут у вас без дела мне действительно ни к чему. Это верно. Так что там за человек из Совета? Сидит он еще или ушел?

— Сидит. И мрачный весь такой, строгий.

— Пригласите его, пожалуйста, сюда.

— Может быть, в комнаты?

— Нет, здесь лучше... Простите, Елена Алексеевна, еще один вопрос: банды сюда не заглядывали? Я имею в виду село, вашу усадьбу.

— Господь миловал. Слава богу, не бывало у нас бандитов. Да и какой им от нас прок? Я — старуха. Машу жалко — слабенькая она. — Елена Алексеевна всхлипнула и перекрестилась. — Пойду, позову...

Гость оказался человеком рослым и худым, под стать Сибирцеву. Были на нем залатанная тужурка, расстегнутая косоворотка и простые брюки с обмотками и грубыми солдатскими ботинками. В широкой ладони он мял кожа-

ную фуражку. Снял, видно, с головы, проходя через комнаты и уважая хозяев.

Сибирцев слегка привстал и жестом указал вошедшему на стул. Гость кивнул, основательно уселся, расставив колени и положив фуражку на край стола. Елена Алексеевна быстро взглянула на Сибирцева и, приняв неприступный вид, величественно удалилась. Сибирцев едва сдержал улыбку. Гость, проследив за его взглядом, обернулся, проводил глазами хозяйку и с веселой укоризной покачал головой. И сразу что-то в нем проявилось простецкое, мужицкое такое, симпатичное. Но когда он поднял глаза, Сибирцев увидел, что они внимательны и холодны.

— Ну-с, слушаю вас, извините, не знаю вашего имени-отчества, — учтиво сказал Сибирцев.

— Офицер? — строго спросил гость.

— Бывший.

— Документик какой имеется?

— Имеется, однако с кем имею честь?

— Взглянуть бы хотелось на документик, — продолжал настаивать гость. Голос его построжел.

— Это не уйдет. Меня зовут Михаилом Александровичем. А вы кто? — Сибирцев требовательно посмотрел на гостя.

Тот вроде бы слегка смутился.

— Баулин. Комиссар продотряда.

— Ну вот и отлично. Москвич?

— Питерские мы тут.

— Металлист? — улыбнулся Сибирцев.

— Откуда знаете?

— Руки, — кивнул Сибирцев.

Баулин взглянул на свои широкие темные ладони и тоже улыбнулся.

— А документ я вам покажу, товарищ Баулин. Вы прямо из Центра или в Тамбове были, Козлове?

— Как же, были и в Тамбове, и в Козлове.

— Ныркова встречали?

— Это Илью-то Ивановича? Знаю.

— Хорошо. Давно видели?

— Зимой еще. Мы тут в округе с зимы, хлебом занимаемся... Ну вот что, не знаю, как вас все-таки — товарищ или ваше благородие, одним словом, Михаил Александрович, я сюда не разговоры разговаривать пришел. Скажу напрямик. Есть сведения, что в этой бывшей — а может, и не бывшей — барской усадьбе скрывается раненый офицер. Это вы будете? Отвечайте четко и ясно.

— Отвечу. Только видишь ли, товарищ Баулин, не знаю я тебя. Вообще-то, ты мог бы обо мне справиться у Ныркова, это ежели время у тебя есть. А коли нету, придется нам самим знакомиться. Покажи-ко свой мандат.

Баулин несколько даже оторопел. Долго смотрел на Сибирцева, потом нерешительно полез за пазуху и достал сложенную вчетверо бумагу, развернул и ладонью жестко припечатал ее к столу. Сибирцев взял мандат, внимательно прочитал его, сложил и вернул Баулину.

— Извини, товарищ Баулин, но этот разговор, я тебя должен сразу предупредить, сугубо между нами. Слухи могут быть какими угодно, но истину здесь будут знать только ты да я. Ты — коммунист и понимаешь ответственность... Ладно, не буду томить. Понимаешь, брат, по одному моему документу ты меня должен немедленно в чека передать или к стенке поставить. А по другому, если мне потребуется, поступить в полное мое распоряжение. Вот я и думаю, какой тебе показать. Погоди маленько.

Сибирцев пошел в свою комнату, достал из-под матраса старый бумажник и вынул из него свой мандат. Вернувшись, плотно прикрыл дверь и протянул мандат Баулину. Тот прочитал и удивленно взглянул на Сибирцева.

— Феликс Эдмундович? — шепотом спросил он и вытер фуражкой пот со лба.

Сибирцев кивнул и спрятал мандат обратно в бумажник, уселся в качалку.

— Вот такие дела, товарищ Баулин. Тебя мне, как говорится, сам бог послал.

— Вон оно что, — протянул Баулин. — А как же, товарищ Сибирцев, вы тут один? А если банды?.. Серьезная была рана?

— Уже заживает... О том, кто я, здесь не знают. Я — товарищ их сына, — Сибирцев кивнул на дверь. — Брата Машиного, который погиб в прошлом году. Нахожусь на излечении после ранения. Вот и все. Ну, будет. Что слышно о бандах? Сажу тут, понимаешь, как на необитаемом острове.

— Честно скажу, товарищ Сибирцев, плохи наши дела. Сушь стоит небывалая, отродясь такой не было. Апрель начался жарой, а сейчас и того похлеще. В Поволжье все повыгорело. По нашей губернии, особенно в южных уездах, считай, то же самое. Здесь-то маленько получше, но виды плохие. Понадеялись на озимые, да вон, видишь, горит все. Хоть бы капля дождя...

— Была же вода, я помню, — заметил Сибирцев. — Весна дружная, вода большая.

— Э-э, знаешь, как тут говорят? Обнадейчива весна, да обманчива. Уже поговаривают мужички, что подаваться надо им из этих мест. А куда? Где лучше? Везде плохо. Боюсь, как бы ситуация эта не нам, а Антонову пришлась на руку. Продналогом-то мы большую силу от него оторвали. Мужик, кажись, поверил в декрет, сообразил, что к чему. Но тут ведь и его понять надо. У бедняка, что тогда, что нынче — ни шиша. Ему нового урожая ждать надо. С семенами помогли, а что по осени будет? Середняк, справный мужик, тоже, считай, откачнулся от Антонова. Ему свое хозяйство подымать надо. Добавь сюда прощенные недели — это когда дезертир да силком загнанный мужик повалил от Антонова сдаваться, — тоже крепко ослабили. Эти нынче за нас. За Советскую власть. Но ведь и кулак, и явный бандит, и беляк недобитый — он тоже не спит. И неурожай, засуха ему первые помощники. Считать-то осенью придется. А какой счет — уже нынче видно. Голод идет...

— Не зря паникуешь?

— Это не паника, товарищ Сибирцев. Мужик — он загоня чует. Ох, быть беде великой...

— Ты прямо как тот поп заговорил.

— А-а, поп? Отец Павел? Слышал, ведет злостную пропаганду. Считаю, что он, как безусловно вредный элемент, должен быть передан в чека. Я по этому поводу уже документ составил в уезд.

— Отослал?

— Нет еще.

— Вот и хорошо. Будешь посылать, передай Ныркову и от меня записку. Я напишу... Много наших тут?

— Продармейцев-то? Пятнадцать человек. Местная ячейка небольшая, трое всего. Зубков — председатель сельсовета — этот молодой еще, горячая головушка и не шибко умен. Потом — Матвей Захарович, кузнец, войну прошел, батареец, наш человек вовсе, на него во всем можно положиться, как на самого себя. Он здешний народ доподлинно знает. Ну, и Антон Шлепиков — он и секретарь. Только его сейчас тут нет, в Тамбове он, по делам уехал. Вот и все. Сочувствующих десятка два наберется. Которые победней. Немного, конечно, понимаю. Село, однако, крепкое, под сотню дворов. Кулаков — раз-два, и обчелся. Середняк тут в основном.

— А он как?

— Середняк-то? Как ввели продналог, он, считай, тоже с нами. Коли будет хлеб. Ему бандиты самому поперек горла: ни посеять, ни убрать урожай. Вот погляди, какой мы днями митинг провели. Надо сообщить в уисполком, — Баулин протянул листок бумаги, исписанный корявыми лиловыми буквами.

Сибирцев стал читать: «В селе Мишарине состоялся грандиозный митинг. Присутствовали 150 человек. Заслушаны доклады представителей от Красной Армии о текущем моменте и бандитизме. В резолюции граждане раскаиваются в своем заблуждении и заявляют, что бандитские вожди больше не найдут опоры в наших краях. Приветствуя Козловский уисполком, мы просим помочь выпутаться из оута.

Резолюцию, принятую гражданами села, прилагаем».

— Ну уж и грандиозный! — с усмешкой протянул Сибирцев и взглянул на Баулина. Тот обиженно отвернулся. — Ладно тебе, не обижайся, а где сама резолюция? — спросил Сибирцев.

— В Совете лежит. Вот буду отсылать.

— А что, полторы сотни людей — это немало.

— Так то ж, — с неожиданной горечью сказал Баулин, — пока только в резолюции. Это слова. Их днем говорить можно сколько угодно. Что ночью думают, тут вопрос. Хлеб-то мы зимой кой у кого из ям силком выгребали. Были и такие в округе, что под винтарь ставить приходилось, а все одно молчали. Нет, не верю я нашему середняку.

— Это как же так? — удивился Сибирцев. — А резолюции зачем принимаете, митинги свои грандиозные проводите, а? Вы что же, обманом занимаетесь?

— Зачем же обманом? — обиделся Баулин. — Положено провести, вот и провели. Везде проводят, а мы что — хуже? Считаю это как агитацию.

— Да кому ж такая агитация нужна, умная твоя голова? — рассердился Сибирцев. — Ты не речи должен проносить, а на деле доказывать, что у Советской власти слово твердое. Что сказала, то и будет. Чтоб не речам, а делу твоему середняк поверил. Вот ты зимой, говоришь, хлеб из ям выгребал. А сейчас чем занимаетесь?

— Сейчас-то? Мы классовый принцип соблюдаем. Чего комбедам на посевную роздали, а чего в центр отправляем. Работы по горло.

— Ты мне про банды ничего не ответил.

— Так что говорить? Не было их тут. Пока. Которые мужики из села раньше ушли, так те не возвращались. А в округе спокойно. Не пошаливают. Глухое место.

— А ты сам нутром ничего не чувствуешь? По настроению там или еще по каким другим приметам? Вот и поп оживился. Верно? К чему бы это? Не думал? А ты подумай... Что с Антоновым?

— С Антоновым? Да вот есть сведения, что войско в губернию стянули. Много всего: броневики, пушки, Котовский Григорий Иванович прибыл с бригадой. Говорят, что, мол, конец Антонову пришел. Обложили его — мышь не проскочит.

— Значит, — задумчиво произнес Сибирцев, — мышь не проскочит, говоришь?.. Ах ты, черт! Слышь, Баулин, мне позарез нужно выйти на связь с Ильей. С Нырковым. Понял? Можешь нынче же организовать? Залежался я тут, а дело не движется.

— Нет телефона, а в ночь посылать... — озабоченно покачал головой Баулин. — Одного — опасно. Нескольких не могу. Тут всего по горло... Потом, и ты меня пойми, товарищ Сибирцев, это ведь только говорится, что мышь не проскочит. А ну как проскочит? Да не мышь, а волк? То-то. Между прочим, меньше месяца назад Антонов нагрянул в Рассказово с пятитысячной армией, разнес гарнизон и взял в плен батальон наших войск. А совсем днями уже с семью тысячами штурмовал Кирсанов. Отбросили его. Но ведь дело видишь какое? Ты извини, но мое мнение таково, что неладно и тебе быть тут одному. На отшибе-то. Может, к нам, в село, переберешься, а?

— Так то я для тебя одного товарищ. А им вовсе, может, свой. Полковник, скажем. Как на такой оборот дела поглядишь?

— Дак кто же скажет, что лучше?.. В селе слух такой, что ты вроде им родственником доводишься. Беляк не беляк, да кто тебя знает. Я, собственно, потому и пришел, раньше-то не мог, все хлеб ищем. Понимаешь, Михаил Александрович, как хитрит мужик? Ему говорят: сей, сколько хочешь. Налог-то ведь установлен, излишки, значит, твои. А он остерегается, придерживает зерно... И засуха эта проклятая на нашу голову...

— Не позавидуешь тебе, да. Но связь ты мне все равно обеспечь. Это необходимо. Поэтому откладывать не будем. Так-то, брат.

— Вы разрешите, Михаил Александрович? — на террасу выглянула Елена Алексеевна.

— Бог с вами, вы ж хозяйка. Какие могут быть разрешения? Слушаю вас.

— Там к вам еще гость, — неохотно, косо поглядывая на Баулина, сказала Елена Алексеевна.

— Кто же это? — удивился Сибирцев.

Елена Алексеевна стороной обошла сидящего Баулина и, наклонившись над ухом Сибирцева, скороговоркой прошептала:

— От батюшки нашего человек. Хочет вас лично видеть. Но я не знаю, удобно ли при этом... гражданине?

Сибирцев изобразил понимающее выражение и тоже шепнул:

— Зовите. От этого я сейчас избавлюсь.

Когда Елена Алексеевна вышла, он быстро заговорил:

— Вот какие дела, Баулин, от самого «святого отца» гонец. Я все думал, как с ним встретиться, а он сам пожаловал. Ты давай уходи через сад. Вам встречаться ни к чему. А попозже обязательно зайди ко мне или я тебя найду, если смогу добраться до села. О связи не забудь.

— Значит, до вечера? — Баулин встал, нахлобучил фуражку и, пожав руку Сибирцеву, неожиданно легко, почти бесшумно, исчез в саду.

Из комнаты буквально след в след ушедшему Баулину выскользнул лысый старичок, сморщенный и плюгавый, в длинной, до пят, пыльной рясе.

— Наша вам почтенья, — ласково произнес он.

Сибирцев наклонил голову.

— Чем могу служить?

— Хе-хе, — старик показал беззубый рот, поклонился. — От батюшки поклон примите. Просили узнать, как здоровья и не затруднят ли вас, когда придуть с посященьем?

— Благодарствую, — Сибирцев снова склонил голову. — Передайте: не затруднит.

— А здоровья позволить? — старик хитро сощурился и подмигнул, щелкнув себя пальцем по тощему кадыку.

Сибирцев усмехнулся:

— К сожалению, угостить отца Павла...

— Не, не, не беспокойтеся, — перебил старик. — Время такое, что в гости со своим ходють, хе-хе... Так я и передам.

— Сделайте одолжение.

Старик откланялся и ушел, а Сибирцев откинул голо-

ву на спинку кресла и задумался: «Вот и прислал гонца поп. Ну-ну...»

4

На запасных путях Козловского узла разгружались воинские эшелоны. По толстым доскам и сколоченным бревнам под звонкое «Раз-два, взяли!» красноармейцы скачивали с железнодорожных платформ бронеавтомобили, пушки, грузовые машины. Облака серой пыли смешивались с паровозной гарью, яростно палило солнце. Рассылая пронзительные свистки, сновали маневровые, расталкивали платформы и теплушки. Шум и гам стояли невообразимые. Но во всей этой человеческой мешанине и толчее, среди военных в буденовках и фуражках, мечущихся по перрону с котелками, в крикливых очередях у колонки с водой, в строящихся на перроне и привокзальной площади ротах и батальонах, прибывших с юга и с польского фронта воинских частей, виделся Илье Ныркову свой четкий внутренний порядок. Он стоял на краю платформы, сдвинув фуражку набекрень и заложив большие пальцы ладоней за приспущенный поясной ремень.

Солнце с утра словно взбесилось. По круглому лицу Ныркова катился пот, но он не вытирал его. Глаза его возбужденно светились. Наконец-то! Сила пришла. Это тебе не отдельные, с бору по сосенке, так называемые полки, разутые и одетые кто во что горазд, с десятком патронов на душу. Это армия! Регулярные войска, только что разгромившие пилсудчиков, Врангеля, Улагая, чекисты, чонцовцы...

На рассвете, оглашая сонный еще Козлов требовательным и восторженным ревом гудков, промчались по главному пути длинные составы теплушек. В их распахнутых дверях толпились конники в алых гимнастерках и галифе, наяривали гармоники, в глубине теплушек — видел Илья — мотали сытыми мордами добрые кони. На Тамбов, на Тамбов! — казалось, кричали паровозные гудки. «Кончился теперь Антонов», — понимал Нырков, и самому хотелось кричать от радости — против такой силы бандитам не устоять.

Он знал, что командующим назначен Михаил Тухачевский, совсем молодой, но знаменитый командарм, в марте подавивший Кронштадтский мятеж. Он недавно прибыл в

Тамбов, однако всем были уже известны его слова, сказанные в одной из кавбригад:

«Владимир Ильич Ленин считает необходимым как можно быстрее ликвидировать кулацкие мятежи и их вооруженные банды. На нас возложена ответственная задача. Надо все сделать, чтобы выполнить ее как можно быстрее и лучше».

Знал Нырков: Миха — так звали знакомые Тухачевского — слов на ветер не бросает. Полномочную комиссию ВЦИК возглавляет Антонов-Овсеенко, по указанию Владимира Ильича в губернию направлены сотни лучших партийцев и политработников, опытные чекисты. Уже разработаны новая тактика и стратегия окружения и уничтожения банд...

На фоне этих возвышенных и очищающих душу размышлений вовсе некстати оказалась перекошенная в испуге физиономия Малышева. Потный и взъерошенный, едва переводя дыхание и придерживая болтающийся у бедра маузер, он подбежал к Ныркову и выпалил:

— Скорее, Илья Иванович! Беда! Бунт!

— Какой такой бунт? — невольно пробурчал Нырков, не поворачивая головы.

— Бунт! В домзаке!

Ныркова как подбросило. Прихлопнув ладонью фуражку и на ходу затягивая ремень, он ринулся по перрону за Малышевым, расталкивая красноармейцев.

Он ворвался в комнату транспортной чека, где находилась его команда — десяток разномастно одетых чекистов. При его появлении все вскочили. Нырков с треском захлопнул дверь и схватился за телефонную трубку.

— Алё! Алё! Черт вас всех подери! Домзак мне! Номер?.. Какой номер? Домзак, говорю! Девятнадцатый давай! — он оторвал трубку от уха и обвел стоящих чекистов разъяренными глазами. — Номер ей подавай! Не знает, что такое домзак, стерва... А вы, молодцы, рассиживаете тут!.. — Он стал остывать, но, услышав в трубке голос телефонистки: «Занято!» — снова взорвался: — Как занято?! Немедленно разъединить, а меня соединить! Я, Нырков, приказываю!.. Еремеев! Ты? Что у тебя, быстро!.. Давно? Так что ж ты молчал, сукин сын?!

Начальник тюрьмы, или домзака, как его постоянно называли, сбивчиво объяснял, что заключенные — бандиты, спекулянты, мешочники, — сидящие в камерах в ожидании ревтрибунала, неожиданно взбунтовались, будто по

чьей-то команде. Уже с час стоит бешеный ор и грохот. Начальник попробовал справиться с помощью своей охраны, но ничего не получается. И он стал звонить в уком.

— Тебя самого в трибунал надо! — кричал Нырков. — Сиди жди! Сейчас приду! — Он швырнул трубку. — Малышев — на аппарат, остальные за мной!

Бегом выскочили на привокзальную площадь, где строились красноармейцы, подравнивали шеренги, перекликались взводные. Наблюдал за построением молодой, перетянутый скрипучими ремнями блондин, в ярко начищенных сапогах со шпорами. На его атлетической груди, обтянутой новеньким френчем с красными «разговорами», алел в розетке орден Красного Знамени.

Нырков бросился прямо к нему.

— Слушай, командир...

Тот удивленно взглянул на Илью, отступил на шаг, тонко звякнув шпорами, и ловко вскинул ладонь к суконной фуражке со звездочкой.

— Командир батальона Лудзанис.

— Послушай, товарищ Лудзанис, помоги чека, будь другом, дай взвод твоих ребят. Бунт в домзаке, а у меня, сам видишь, народу — раз-два, и обчелся. Дай взвод, стрелять не надо. Я просто покажу твоих орлов, и дело с концом. А? Минут на двадцать... Тут, за углом, домзак...

Командир, видно, сразу сообразил, что у него просят. Он остановил Ныркова четким жестом ладони и повернулся к строю солдат. Покачался с пяток на носки, окинул строй взглядом и звонко крикнул, твердо чеканя каждое слово:

— Взводный Фоменко, ко мне!

От правого фланга отделился невысокий рыжеватый крепыш. Слегка приседая на бегу и держа на отлете винтовку, он поспешил к командиру. Подбежал, вытянулся.

— Фоменко явился по вашему приказанию, товарищ командир, — неспешно доложил он.

— Бери взвод, Фоменко, и поступай в распоряжение этот товарищ...

— Нырков, — вставил Илья, — начальник транспортной чека. Мне бы только пугануть их... — Он хотел достать документ, но Лудзанис снова остановил его коротким взмахом ладони.

— Товарищ Нырков. Об исполнении доложить.

— Слухаюсь! — Фоменко сделал четкий поворот кругом и, чуть присев, побежал к строю. — Взвод! — кричал он

через мгновение. — Напра-аву! Бегом арш! — и побежал за Нырковым, гулко топая по булыжной мостовой...

Неширокий тюремный коридор был перегорожен толстыми прутьями решетки. По ту сторону ее находились камеры. Сейчас все двери камер были открыты, и за решеткой, сотрясая ее, бесновалась озверелая толпа. По эту сторону с винтовками наперевес растерянно переминалась жидкая охрана во главе с Еремеевым, размахивающим наганом и тщетно силящимся перекричать заключенных.

Когда Нырков со своими чекистами и взвод Фоменко ворвались в коридор, сразу заполнив его, крики по ту сторону поубавились. Нырков подошел вплотную к решетке и, перекрывая вопли и грохот, рявкнул:

— Приказываю! Все по камерам!

Из глубины волной снова покатились к нему истошный вой и матерная брань.

— Погодь трошки, товарищ! — Ныркова тронул за плечо взводный Фоменко. — Погодь, — спокойно повторил он. — Колы воны не утихнут, мы их зараз... — Он прошел вдоль решетки, с усмешкой разглядывая бешеные лица, и, обернувшись к своим солдатам, негромко приказал: — Взво-од! Ко мне! Слухай мою команду! У две шеренги — стройсь!.. На ру-у-ку!

Его команда была выполнена четко. И странно, невозможно было перекричать толпу, а спокойная команда оказалась ушатом ледяной воды. Все почти мгновенно стихло.

— Взво-од! — снова, будто нараспев, начал Фоменко. — По гнидам контрреволюции...

С дикими воплями, сминая и расшвыривая тех, кто слабее, толпа отхлынула от решетки и рванулась по камерам.

— К ноге! — спокойно и насмешливо скомандовал Фоменко. И дружный треск прикладов по каменным плитам пола поставил точку на этом бунте.

Взволнованный Нырков стянул с головы фуражку и скомканным платком вытер мокрую лысину.

— Еремеев, — позвал он.

Подошел бледный Еремеев с наганом в руке.

— Спрячь пушку. Камеры запереть, — к Ныркову наконец вернулось самообладание. — Выяснить, кто открыл камеры, и выявить зачинщиков. Обо всем доложишь. Немедленно приступай. Все... Пошли, товарищи.

Уже на тюремном дворе он обернулся к шагавшему рядом Фоменко.

— Слышь, взводный, ответь ты мне. Ну а ежели б не угомонилась толпа, чего б мы с тобой делали?

— Це ж бандюки, — застенчиво улыбнулся Фоменко. — Воны ж тильки на горло берут. А як до дила, у штанци накладуть... У мене же гарни хлопцы, у каждого кулак, як та кувалда у коваля. Вмажуть — та и копыты вбок.

— Ну, спасибо тебе, товарищ Фоменко, — с чувством произнес Нырков и пожал каменную ладонь кузнеца. — Спасибо, хлопцы! — крикнул он, обернувшись к шагающим позади красноармейцам.

Те вразнобой ответили что-то веселое, озорное.

— Взво-од! — строго запел Фоменко. — Подтянись!

Он козырнул Ныркову и, выйдя за ворота, свернул налево, к площади, к своему батальону...

В комнате транспортной чека Ныркова ожидал явно знакомый человек. Но вот кто — не мог сразу вспомнить Илья. Искоса поглядывая на утомленного посетителя, он поднял чайник над головой, выпил воды из носика и передал чайник товарищам. «Кто ж это такой? — вспоминал он. — Знакомый ведь, знаю...»

— Баулин я, Илья Иваныч, — посетитель поднялся со стула. — Из Мишарина.

— А-а! — обрадовался Нырков. — То-то ж смотрю — свой, а кто — убей не вспомню. Видал, что делается? — он кивнул на окно. — Голова кругом идет... — Он достал из кармана носовой платок в крупную красную клетку и промокнул лысину. — Ну, рассказывай, с чем пожаловал. Да, ну-ка, ребята, давай по местам. Занимайтесь делом... А ты, Малышев, возьми двоих да ступай сейчас к Еремееву, помоги ему. Будешь нужен, позову.

Комната опустела.

— Я, Илья Иваныч, ночь скакал, — устало заговорил Баулин. Снял очки, протер их подолом косоворотки и снова нацепил на нос. — Письмо привез от Сибирцева. И еще кое-какие документы.

— Виделся с ним? — настороженно спросил Нырков.

— Познакомились... Слух прошел, что беляк скрывается, я и зашел проверить... В общем, познакомились.

— Не трезвонил, кто он да что?

— Побойся бога, Илья Иваныч. За кого же ты меня принимаешь?

— Ну и то дело, — успокоился Нырков. — Рассказывай, как там Миша? Все собирался навестить, да сам видишь что у нас делается...

— Теперь придется навестить. И срочно. Серьезные обстоятельства появились. На-ка, посмотри письмо.

Баулин протянул лист бумаги. Нырков аккуратно взял его, прочитав, сложил, снова развернул, пробежал глазами несколько строк. Потом отвернулся к окну и застыл так, только пальцы барабанили по столу какой-то марш.

— Поп, значит? — пробормотал он. — «Святой отец...» Понятно... Я так понимаю, что по-пустому не стал бы Михаил тревогу бить. Не стал бы, нет... Как обстановка в селе?

Баулин неопределенно пожал плечами.

— Ну, сила хоть есть какая на случай чего, а?

— Да чего ты спрашиваешь, Илья Иваныч? — раздраженно ответил Баулин. — Сам ведь знаешь: каждый винтарь на счету.

— Ну а люди, люди-то? Мужики как? Можно положиться?

— На кого — можно, а кого и нет. — Баулин словно старался уйти от прямого ответа. — Как везде...

— Везде вон какие резолюции принимают. «Долой бандитов!» «Долой Антонова!»

— Резолюции и у нас принимают. Вот привез, смотри. — Баулин вытащил из кармана пачку исписанных листов. — Польза от этих резолюций...

— Ты знаешь кто, Баулин? — вскипел Нырков. — Ты плохой партиец. Каша ты! Кисель! Меншевики тебе приятели!

— Ты меня, Илья Иваныч, не трожь, — с обидой заговорил Баулин. — Я за мой партийный билет не кашу ел с маслом! И не кисели хлебал! Я кровью своей его...

— Брось! — отмахнулся Нырков. — Каким же ты можешь быть партийцем, если своему собственному делу не веришь? Липовые твои резолюции никому не нужны, хрен им всем цена, ежели мужику наплевать — есть они или их нет. Зачем ты привез их? А вот когда мужик поймет, что твоя резолюция — это его кровное дело, вот тогда не придется тебе пожимать плечами, как меньшевику. Твоя это работа, твоя, Баулин, убедить мужика, доказать ему, как жить дальше. А не плечами пожимать... И еще обиды строить. — Нырков замолчал, отвернувшись к окну, потом решительно взялся за телефонную трубку. — Але, барышня, давай девятнадцатый!.. Еремеев, ну что, тихо у тебя?.. То-то. Учись действовать по-революционному. Малышев мой у тебя?.. Пришел? С кем он?.. Понятно. Давай их обратно ко мне. Самому придется справляться... Обстоятельства ме-

няются, поэтому сам доложишь Корзинкину в уком. Все, отбой...

К вечеру того же дня Нырков отправился в уком партии и обо всем договорился с секретарем. А вскоре, прихватив с собой продуктов и прикрыв сеном пулемет, Нырков с Баулиным выехали в бричке из Козлова и покатали в сторону Моршанска. Малышев и двое чекистов сопровождали их верхами.

5

Долго ждал Сибирцев прихода отца Павла. Легонько покачиваясь в кресле, он смотрел, как медленно катилось, заворачивая за угол дома, солнце, и за садом, в низине, собирался туман, обволакивал кустарник, гасил яркие дневные краски. Потом туман как-то сам собой рассеялся. Позже заметил Сибирцев пробирающийся между макушек раскидистых высоких лип узкий серп уходящего месяца.

Наступали сумерки.

Елена Алексеевна вынесла на террасу керосиновую лампу с симпатичными медными завитушками и надколотым стеклом. Редко зажигали ее: с керосином было туго. Пользовались простой коптилкой, да и то нечасто, ложились, едва темнело.

Вокруг лампы сразу закружились мотыльки, мошки, опалая крылышки, падали на стол. Вместе с идущей ночью наваливалась плотная до осязания духота.

— Отчего вы не ложитесь? — спросила Елена Алексеевна, зевая и машинально крестя рот.

— Душно. Как перед грозой... Вон, слышите, погромыхивает?

— Да, — согласилась Елена Алексеевна, — дышать буквально нечем. Как вы себя чувствуете? Не знобит?

— Нет, слава богу.

— Вы знаете, Михаил Александрович, когда нас разыскал посыльный от доктора и сказал, что в госпитале лежит раненый товарищ нашего... Яши, — она на мгновение отвернулась и приложила ладонь к глазам, — я не поверила. А Машенька помчалась с ним, откуда только силы нашла... И вот привезла вас. Она сильная...

«Сообразил Илья, — думал меж тем Сибирцев. — Значит, выдал себя за доктора... Это он хорошо придумал. Что ж, тем лучше, никаких концов».

— Что вы говорите? — удивленно протянул Сибирцев. — Маша? Да... Ничего, знаете, не помню.

— Ну, конечно, вы тогда плохой были... А вы где служили, Михаил Александрович?

— Далеко. В Сибири, на Дальнем Востоке.

— Боже... И Яша?

— Да, и он. Мы вместе.

Елена Алексеевна медленно покачала головой. Сибирцев свернул самокрутку и прикурил от лампы.

— Ишь, старина какая... — пробормотал, разглядывая лампу.

— Почти ничего не осталось, — легко вздохнула Елена Алексеевна. — Менять уже нечего...

— А похоже, быть нынче грозе, — заметил Сибирцев, прислушиваясь к отдаленным раскатам, очень напоминавшим приглушенную расстоянием артиллерийскую канонаду.

Наверное, где-то на юге, под Тамбовом, собиралась гроза, пробовала силы, чтобы пролиться теплыми ливнями, напоить высушенную, но такую благодатную землю. Как ждали, как молились о ней ночами мужики, а она погромыхивала себе вдалеке и пропадала в сполохах зарниц.

Зашелестел кустарник за террасой. Елена Алексеевна подошла к лестнице, выглянула в темноту, пугливо прислушалась и снова вернулась к столу, к зыбкому свету.

— Ложитесь спать, Елена Алексеевна, — мягко сказал Сибирцев. — Да, совсем забыл. Тут может ко мне один человек прийти. Собирался. Не хочу вас беспокоить, а разговор у нас с ним может оказаться долгим. Поэтому, если услышите голоса, не волнуйтесь. И хорошо бы Машу предупредить. Пусть и она отдыхает. Как она себя чувствует?

— Пролежала весь день... Плакала. Ну, да что ж теперь поделаешь?.. Наверно, спит. Устала... Как быть, Михаил Александрович? — Елена Алексеевна молитвенно сложила ладони. — Ведь пропадет она здесь. Дни мои сочтены, я знаю, поверьте. Уж говорила ей, настаивала: езжай, дитя мое, в город, брось старуху. Дуняшка глаза закроет. А ты молодая, у тебя жизнь впереди... Нет, не хочет. Плачет, убивается, а не хочет... И родственников у нее никого на белом свете. Одна я. Да разве ж это помощь? Я-то?.. Михаил Александрович, вы человек городской. Неужели нельзя Машу устроить куда-нибудь? Она старательная, все может. А там, глядишь, и человека хорошего встретит. Двадцать четвертый пошел ведь. Не век же вековать в девицах... Помогите, а? Ну, а я уж и умерла бы спокойно.

Елена Алексеевна безвольно сложила ладони на столе, и глаза ее тускло блеснули в мигающем свете лампы. Сибирцев протянул руку и ладонью накрыл ее пальцы, сухие и холодные, как неживые.

— Успокойтесь, Елена Алексеевна. — Сибирцев опустил голову. — И вы еще поживете, и Машу мы не оставим. Идите спать и не волнуйтесь. Спокойной ночи.

Оставшись один, он долго сидел, глядя на огонь, отстраненно наблюдая рой мошек, толкущихся на свету. И снова перебирал в памяти мартовские дела, думая о себе, о странной судьбе своей, которая привела его на бандитский остров, едва не отправила на тот свет, а теперь вот забросила сюда, в эту тихую патриархальную обитель. Причем забросила не случайным гостем, прохожим, а вестником беды, в минуты глубокого горя и потерянной надежды на любой, мало-мальски благополучный исход.

Когда-то очень близкий товарищ упрекнул Сибирцева, что есть, мол, у него этакая страсть всюду подставлять свою шею. Может, в шутку упрекнул, а может, и была в его словах правда, кто знает. Но чувствовал Сибирцев, что не должен был он, не имел морального права поступить иначе, когда узнал, что на бандитском острове умирает от родов молодая женщина. Несостоявшийся доктор Сибирцев и другой Сибирцев — опытный чекист, прошедший огни и воды, — в тот миг взглянули в глаза друг другу. Нет, конечно, не мог он поступить иначе. Слишком многое сразу оказалось поставленным на карту: и женщина эта, и реальная возможность, ничем не раскрывая себя, проникнуть в банду, державшую в клещах целый уезд. И он пошел, и спас женщину, и с бандой, говорил Илья, покончили, и с главарем ее — Митькой Безобразовым. Тут-то все правильно сходилось. Банду выкурили с острова. Тот же самый егерь Стрельцов провел отряд на остров, а там уж и стрелять не пришлось, миром сложили оружие. Так что, считай, удалось дезертирам глаза открыть, а значит, спас их от красноармейской пули. Для жизни спас, как ту женщину.

Спасти-то спас, да как же сам-то опростоволосился, как же пулю сумел получить в спину? Вот что непростительно. Был бы юнец — другое дело. Почему же так произошло?

Вопрос возник сразу, едва очнулся Сибирцев на госпитальной койке и увидел над собой лысую голову Ильи Ныrkова, его укоризненно-обреченный взгляд. Говорил же, убеждал, знал ведь, что так случится, — твердил этот

взгляд. А по лысине, которую Илья без конца промокал клетчатым платком, все равно катились крупные капли пота, словно она безутешно рыдала, нырковская лысина.

Улыбался Сибирцев, видя сильного мужика в таком расстройстве, улыбался и понимал, что действительно дал маху: Митька ж бандит, значит, ищи вторую пушку или нож за голенищем. А он что, понадеялся на силу своего удара? На мужиков тех перепуганных? Лежи теперь и казись.

А между прочим, второе задание Лациса никто не отменял. Вот так...

Единственная пока реальная зацепка, которая имелаась у Сибирцева — о ней разговаривали с Нырковым перед отъездом сюда, и нет, не так уж плох был тогда Сибирцев, — это фельдшер Медведев. Взял его Илья еще в марте по подозрению в связях с бандитами: лекарства там и прочее. А Сибирцев нашел на острове подтверждение куда более серьезных его дел. Должно быть, размотал по этим данным Илья фельдшера... Но мало этого, мало! И времени нет. Совсем нет никакого времени. Когда заговорят пушки, поздно будет думать: кто свой, кто чужой, а кто, вообще, сбoku припека. Если уже не заговорили, похоже, вовсе не гроза движется с юга...

Однако что ж не идет поп? Никак за него не мог уцепиться Илья, хотя говорили про попа всякое. Но — осторожен был. Что ж это он нынче: просто сорвался со своей проповедью или сведения какие получил? Так-то, в открытую, с амвона, да анафему большевикам? Неосторожность или тонкий ход?

Должен был, по мнению Ныркова, клюнуть отец Павел на Сибирцева. Как же, раненый офицер, товарищ Сивачева. А где служил Яков? Далеко, у Семенова. Все должно сходиться... Потому и «доктор» Нырков в госпитале предупреждал Машу, и сам Сибирцев просил женщин не особенно распространяться о своем приезде. Достаточно посторонних слухов. Часы вон привез — семейную реликвию, поправляется понемногу, сельскими делами не интересуется. Елена Алексеевна, понял он, вообще мало в чем разбиралась, она и сейчас толком-то не догадывается, у кого служил сын: у красных или у белых. Маша — другое дело. Умная она девушка. Но чем меньше и она будет знать, тем лучше. В первую очередь для нее самой...

Не идет батюшка. Отец Павел... Как тебя в миру-то кличут? Говорил ведь Илья... Амвросий Родионович Киш-

кин. Да... Родственник известного тамбовского землевладельца, члена цеха партии кадетов, тоже Кишкина. Хороши родственнички.

Ну, так что делать? Пойти и притвориться спящим или подождать, покурить еще?

«Ладно, последнююю», — решил Сибирцев и свернул самокрутку...

В саду слышался шорох шагов, как будто шло несколько человек. Кто-то сипло и тонко откашлялся, приближаясь к дому.

На террасу поднялись давешний старик в замызганной рясе и высокий, представительный, средних лет мужчина в серой тройке. Пышная борода его и усы отливали красной медью. Волнистая темная грива ниспадала на плечи. В руках — трость с костяным набалдашником. Старик нес прикрытую вышитым полотенцем большую плетеную корзину. Он поставил ее на пол и, отдуваясь, низко поклонился.

— Мир дому сему! — спокойно и по-деловому произнес бородатый, но руки с тростью вознес торжественно и широко.

Сибирцев встал с кресла, одернул гимнастерку и шагнул навстречу гостям. Слегка склонил голову.

— Отец Павел... — начал было старик, но бородатый остановил его властным жестом.

— Матушка предпочитает, когда меня зовут Павлом Родионовичем, — приветливо сказал он и, протянув руку Сибирцеву, улыбнулся.

— Михаил Александрович, — приняв игру и тоже улыбаясь, представился Сибирцев, слегка прищелкнув начищенными дном сапогами. — Прошу садиться.

Он подождал, пока сел священник, а после и сам опустился на стул. Старик по-прежнему стоял возле корзины.

Минуту откровенно разглядывали друг друга, затем священник принял более свободную позу, скрестил ноги и передал старику трость. Тот почтительно принял ее и отошел.

— Позвольте принести глубокие извинения, — начал священник, — за столь поздний визит. Дела, знаете ли, мирские, паства.

— Понимаю, Павел Родионович, и благодарю, что не сочли за труд навестить страдающего, — снова улыбнулся Сибирцев. — Глубоко ценю ваше время. Это для меня оно сейчас пустой звук, нечто, знаете ли, эфемерное.

— Осмелюсь возразить, время, особенно в наши дни, весьма вещественная категория.

— Верно, но не для валяющегося в койке безо всякой пользы бог весть сколько дней.

Священник понимающе покивал.

— Давно ли прибыли в наши палестины?

— Я уже ответил на ваш вопрос, Павел Родионович. Привезли сюда в беспамятстве, а когда наконец увидел белый свет, потерял счет дням. Понимаю, грешен, но действительно вовсе запутался. А спросить отчего-то неловко. Думаю, недели две-три... Извините, Павел Родионович... — Сибирцев глазами показал на старика.

— Ах да, — вспомнил священник. — Егорий, ступай-ка сюда... Моя разведка, Михаил Александрович, — он через плечо указал большим пальцем на старика, — донесла, что вы не будете противиться, если мы обставим наше знакомство соответствующим образом.

— Ни в коей мере, Павел Родионович. Но, к великому моему сожалению... и смущению, не могу играть роль хлебосольного хозяина в силу понятных вам причин. Да и хозяина вообще, если говорить честно.

— Я учел это обстоятельство, а потому *omnia mea secum porto*¹, как говаривали древние.

— М-да-с. *Beati possidentes*², Павел Родионович, — столь же расхожей латынью ответил Сибирцев. — Ну что ж, милости прошу. Распоряжайтесь. Я ведь даже, грешным делом, не знаю, где в этом доме посуда. Пройти на кухню, полагаю, можно через эту комнату, — Сибирцев показал на дверь, — а дальше по коридору. Видимо, там она.

— Не беспокойтесь, уважаемый Михаил Александрович. Матушка обо всем позаботилась. Егорий, приготовь... Прошу покорно, — священник протянул Сибирцеву открытую коробку папирос.

— Бог мой, асмоловские! — удивился Сибирцев. Он взял папиросу, понюхал ее с явным наслаждением и печально покачал головой. — Было, все было...

Старик между тем расставлял на разостланном полотенце тарелки с нарезанным окороком, мочеными яблоками, солеными огурцами, крупными кусками жареного мяса. Поставил стопки, разложил приборы и в конце извлек со дна корзины бутылку водки. Столько всего было теперь на

¹ Все мое ношу с собой (лат.).

² Счастливы обладающие (лат.).

столе, что можно было подумать, будто батюшка собрался на пикник.

— Егорий, — обернулся священник. — Можешь причаститься, да ступай себе в сад. Я окликну тебя.

«Только бы с Баулиным не столкнулся», — мелькнула у Сибирцева тревожная мысль.

Старик вытащил из-под рясы стакан, плеснул в него водки, в пояс поклонился, на что священник благосклонно кивнул ему, и опрокинул стакан в рот. Утерся рукавом и поспешил в сад.

— Ну-с, Михаил Александрович, прошу.

«Машеньку бы сюда», — с сожалением подумал Сибирцев, но понимающе склонил голову и взял бутылку, чтобы наполнить стопки.

Священник пил и ел аппетитно, со вкусом. Брал руками крупные куски мяса, откусывал, раздувая щеки и широко двигая бородой. Видно было: не привык отказывать себе в удовольствиях и понимал в них толк. Сибирцеву же кусок не шел в горло. Ныла рана, сказывалась дневная усталость. Он лишь выпил пару стопок водки и теперь медленно жевал ломтик ветчины, казавшийся ему жестко-резиновым.

Наконец священник вытер жирные пальцы концом полотенца, расстегнул верхние пуговики жилета и потянулся к папиросам.

— Я замечаю, вы не горазды по этой части, — сказал он, кивая на остатки пищи. — А зря... В лихое время сей дар божий, пожалуй, единственное услаждение бренной нашей плоти.

— Зато вы, батюшка, — с усмешкой заметил Сибирцев, — не в обиду будь сказано, олицетворяете наш здоровый российский оптимизм. Редко теперь встретишь подобное роскошество.

— Грешен, грешен... Ну, да бог простит... Позвольте полюбопытствовать, давно вопрос держу: вы родственником приходитеесь уважаемой Елене Алексеевне?

— Нет. Сослуживец ее сына.

— А-а, — понимающе и словно разочарованно протянул священник. — Стало быть, с Яковом Григорьевичем... Понятно. И давно изволили видеться?

— Да уж с год, пожалуй.

— Любопытствую, что привело вас в бедные наши края?

— Дела, дела, — со вздохом ответил Сибирцев. Он внимательно и строго посмотрел в глаза священнику и доба-

вил: — Вам, как пастырю духа человеческого, могу сказать. Но... вы меня понимаете?

— Тайна исповеди... — с укоризной начал Павел Родионович.

— Это не исповедь, — перебил Сибирцев. — Не обижая ваш сан, замечу, что исповедоваться не люблю. Отвыкли мы там от этого занятия. Я о другом. Нет больше Яши... Якова Григорьевича.

— Да что вы говорите? — сложив ладони и делая испуганные глаза, прошептал священник. — И они, — он поднял глаза вверх, — это знают?

— Полагаю, догадываются, — сухо отрезал Сибирцев.

— Боже, горе-то какое! — священник истово перекрестился.

— Горе, говорите? — с жесткой иронией протянул Сибирцев. — Эх, Павел Родионович, вас бы туда на минутку... В Омск, в Иркутск, в Харбин. Вы бы узрели горе. Оборванные, окровавленные, обмороженные... По пояс в снегу. Со штыками наперевес. А все трещит и рушится... Страна в крови и огне. Чехи, поляки, японцы, хунхузы рвут Россию на куски, давятся, а глотают... А наш блистательный адмирал раздавал служивым папироски. Похабство! Вот где истинное горе-то, Павел Родионович... — Сибирцев закрыл лицо ладонями. — Кровь и смрад. Где она — единая и неделимая? А? Профиршпилились, игрочишки поганые... Впрочем, вы правы, каждое семейное горе — тоже горе... Совести не хватает, смелости сказать им честно... Вот и живу.

Священник слушал, печально кивая головой, сдержанно покашливая в кулак.

— Вы, стало быть, — сочувственно заметил он, — прошли все испытания... Великие терзания духа...

— Казнь духа, Павел Родионович.

— Точно сказано. Истинно казнь... Вот вы изволили называть меня оптимистом. Так ведь сие — не господом данное. Исключительно от веры в грядущее. Господа ученые подметили божественную закономерность спирали. Грех отрицать очевидное. Посему мыслю, испив чашу горестей до дна, мир увидит, что и новый порядок — явление столь же преходящее, ибо довлеет дневи злоба его. И все придет на круги своя.

— Полагаете, вернется? — с плохо скрытой насмешкой спросил Сибирцев.

— Верую, Михаил Александрович.

— И оттого столь неосторожны?

— Вы имеете в виду?..

— Вашу давешнюю проповедь.

— О-хо-хо! Воистину, если господь хочет убить человека, он лишит его разума. Что же противное существующему режиму узрели разносящие слухи?

— Анафему, батюшка, анафему. Впрочем, вы правы, пользуюсь исключительно слухами этой... Дуняшки. Так ее, кажется, здесь зовут.

— Глупая баба, прости господи. Нет, это заблуждение помраченного ума либо примитивный оговор. Ну, да что об Авдотье-то рассуждать?.. Пустое. Я ведь к вам, Михаил Александрович, попросту, свежее слово услышать. Живем тут, как в склепе, знаете ли, темно и глухо. Разве эхо донесет этакое: «бу-бу-бу!» Не то гром небесный, не то вполне земная артиллерия. — Священник неувовимо усмехнулся. — В уезд давненько не выбирался, тоже вот, изволите видеть, слухами питаюсь. Как крот в норе. Приход-то наш невелик.

— Вряд ли, Павел Родионович, могу быть вам чем-нибудь полезным по этой части. Особых знакомств ни в Козлове, ни в губернии не имею. Рана вот еще... Вышибла на целый месяц.

— Жаль, — поскучнел священник. — Думал беседой насладиться... Значит, не имеете знакомств... А какая ж нужда, извините за любопытство, все-таки привела вас в нашу губернию?

«Нейметса тебе, — подумал Сибирцев. — Нет, брат, не уйдешь ты отсюда просто так. Не за тем явился...»

— Долг, Павел Родионович... — и, заметив его удивленно поднятые брови, добавил: — Не должок, нет — долг.

— Я так полагаю, что ваше недавнее прошлое и мой сан позволяют мне быть с вами откровенным?

— Сделайте одолжение.

— Поймите меня, Михаил Александрович, — начал священник, придвинувшись к Сибирцеву вместе со стулом и переходя на доверительный тон, — разве вам не показалось бы странным... ну, скажем, трудно объяснимым то обстоятельство, что достаточно умный и опытный, как мне представляется, человек приезжает в места, мало ему знакомые, в разгар известных событий, его тяжело ранят — кто и как, я не спрашиваю, — а затем он появляется в нашей глуши и валяется, как вы сами изволили выразиться, в койке, не обращая внимания на происходящие вокруг катаклизмы? Вам это, повторяю, не показалось бы странным?

— Ну, предположим. Какой же вы делаете из этого вывод?

— А такой, уважаемый Михаил Александрович, что вам приходится нынче здесь быть. Надо вам тут быть. И нет у вас иного выхода...

Сибирцев долгим и пристальным взглядом смотрел в глаза священника, уловил в них мелькнувшее торжество. Видимо, тот был почти уверен в своей догадке. Ну что ж, совсем хорошо, надо помочь.

— Возможно, вы и правы... — задумчиво произнес он. — Возможно...

— Ну, посудите сами, Михаил Александрович, — голос священника нетерпеливо дрогнул. — А я ведь давненько наблюдаю за вами.

— Хорошо, — через силу сказал Сибирцев. — Хотя, признаюсь честно, даже не догадываюсь, как вам это удавалось.

— Слухами, изволите видеть, земля полнится. Да и личный интерес имею.

— Что ж, откровенность за откровенность. Что вас интересует? Только конкретнее, пожалуйста. Ежели смогу — отвечу.

— Откуда вы? — с готовностью начал священник.

— Откуда?.. Ну, скажем, из Омска.

— Омск... — недоверчиво и вроде бы разочарованно протянул Павел Родионович. — Экая даль... И что за надобность такая?

— А вы что же считаете: Тамбов — единственная наша ставка? Хороши бы мы были...

— Посмею возразить. Не знаю, как в других губерниях, но здесь у нас имеется мощь великая, Александр Степаныч...

— Ах, оставьте, Павел Родионович. Битая карта этот ваш Антонов. Сколько он еще сумеет продержаться? Неделю? Месяц? Вы в курсе происходящего?

— Ну-у, в меру сил...

— Тогда вы должны знать, что сюда стянуты регулярные войска. Это вам не милиция и не продотряды. Это — конец.

— Я не столь пессимистичен, позволю заметить.

— Разумеется, вы оптимист. Только Виктор Михайлович отчего-то не очень разделяет ваш оптимизм. Скорее, наоборот.

— Вы имеете в виду, простите, Чернова?

— Да. Потому и Главсибштаб принял решение временно уйти в подполье. У нас ведь тоже потери. Чека взяла Тагунова, Данилова, Юдина. Вам, вероятно, эти фамилии мало что говорят, но для нас урон серьезный. Члены сибирского областного комитета партии эсеров...

— А вы, Михаил Александрович, имеете отношение к штабу?

— Самое непосредственное, Павел Родионович... Ладно, так и быть, взгляните. — Сибирцев вынул из кармана второй свой мандат, врученный ему в Москве.

Это был фактически подлинный документ за подписью полковника Гривицкого, начальника военного отдела сибирского «Крестьянского союза». Он был известен в свое время Сибирцеву: встречались в ставке Колчака. Позже Гривицкий был пленен Красной Армией, но бежал из лагеря и вскоре организовал в Омске подпольную организацию из бывших офицеров-белогвардейцев. После объединения его организации с эсеровским «Крестьянским союзом» возглавил военный отдел. Помимо всего прочего, в Красноярской губернии действовал комитет «Союза трудового крестьянства», руководимый однофамильцем Сибирцева. Так что можно было считать мандат, выданный Лацисом, подлинным. С ним Михаил Сибирцев и направлялся Главсибштабом на Тамбовщину, к Антонову, для установления прямых контактов и выработки общей программы действий «Союза», имея в виду при этом серию крупных провалов, преследовавших сибирскую организацию.

Священник внимательнейшим образом ознакомился с мандатом и удовлетворенно протянул Сибирцеву.

— А я ведь с Петром Никаноровичем Гривицким...

— Никаноровичем.

— Да, простите, Никаноровичем, был знаком, знаком... Как-то он нынче?

— По-прежнему, Павел Родионович. Усы сбрил.

— Сбрил? Скажите... Лихой был подпоручик.

«Знал бы ты, что сидит сейчас твой Гривицкий в чека у Павлуновского и всюду дает показания...» — подумал Сибирцев.

— Так вы, следовательно, к Александру Степановичу.

— Шел, да, как понимаете, не добрался. А теперь, видно, уже поздно. И боюсь, что в нынешних обстоятельствах те мои связи, что имелись, могли нарушиться.

— Позвольте заметить: Антонов — еще не вся организация. О фельдшере Медведеве не слышаны? В Козлове.

— Медведев, говорите? — задумался Сибирцев. — Кажется, я должен вас крепко огорчить, Павел Родионович. Нет его. В конце марта его забрали чекисты.

— Что вы! Побойтесь бога! — испугался священник. — Откуда у вас такие сведения?

— Увы, знаю, что говорю. Я ведь и сам едва ушел.

— Как же так?! — Священник вскочил и стал взволнованно ходить по террасе. — Мне сказали: он в отъезде... Что ж теперь с оружием?.. У нас ведь все готово. И оружие... И организация...

— Я вас очень огорчил, Павел Родионович? Как же вы не знали?

— Да, это очень плохая весть... Как я не знал? Простите, Михаил Александрович, но я вынужден отбыть... Сделать кое-какие распоряжения.

— Медведев, это — очень серьезно?

— Не хочу оказаться прорицателем, но опасаясь, как бы это не стало началом... Однако же нам следует обезопаситься. Да и для вас надобно приискать связи... Назову я вам верных людей. Назову. Завтра же, Михаил Александрович. Дело-то наше общее. — Он высунулся в темноту и негромко крикнул: — Егорий!

Появился старик. Священник указал ему на стол:

— Прибери да ступай к калитке. Я догоню... Ну, любезнейший Михаил Александрович, разрешите откланяться. Весьма рад, весьма, — приговаривал он, поглядывая на старика, убравшего все остатки в корзину, и подталкивая его к выходу. — Без соли, без хлеба — какая беседа!

Он становился излишне суетливым.

Подождав, когда старик уйдет, Сибирцев по-дружески, с некоторой даже фамильярностью, притянул священника к себе за пуговицу и, прищурив глаза, сказал:

— А вы, батюшка, не лезьте на рожон с анафемой-то. Не надо. Не ровен час, понимаете?.. Вот так мы и горим — от излишней преданности да избытка чувств... Жду вас, значит, завтра. Спите спокойно.

«Как же, будешь ты спать! — мелькнула мысль. — Полетишь как ошпаренный...»

Шаги совсем уж затихли. Сибирцев, взяв лампу, отправился в свою комнату, но обернулся у двери, услышав скрип ступенек. Оглядываясь в темноту и пригнувшись, на террасу легко поднимался Баулин.

— Давай в дом, — шепнул он и первым проскользнул в

дверь. — Ну и сидели же вы... Дед еще этот. Чуть не спугнул. Ты гля, какая контра — поп-то?

— Слышал?

— Не все. А что это он про оружие? И организацию?

— Теперь узнаем. Завтра же... Понимаешь, почему мне нужен Нырков?

— Какой вопрос! Давай записку. Пиши, не бойся, они ушли, я проверил... Ну и духота, сроду такой не было.

— А меня что-то знобит...

Ушел Баулин так же тихо, как и появился.

На юге все погромыхивало. Перед сном Сибирцев подошел к дверному проему, чтобы выкурить последнюю самокрутку. Звездное небо потонуло в непроглядной черноте, и вместе с раскатами приближающейся грозы начали смятенно метаться ветви вековых лип, резко выхваченные из тьмы вспышками молний.

Через короткое время вместе с гулким потоком несущегося ливня в одуряющую духоту сиреневого сада влилась ледяная, первозданная свежесть, и Сибирцев широко распахнул окна и дверь в комнату. Слава богу, все-таки это была гроза.

Великая сила, орошающая землю, вливалась в его жилы, появилась неясная еще легкость, кожа, впитывая взрывы электрической бури, покрылась гусиными пупырышками, холодели щеки и ладони от надвигающихся перемен.

Гроза скоро продвинулась на север, оставив после себя мелодичное журчание воды в старом водостоке да торопливый шорох капли в ближних кустах.

6

Уходили крупным наметом, кровенили нагайками исгомленных, взмыленных лошадей. Атаман застрелил казака, пытавшегося отстать от отряда, а может, и не думал он отставать — просто повалился из седла от смертельной усталости. Добил его в упор из нагана подхорунжий Влащенко, уже разутого, распростертого на земле. Хмуρο взглянул на атамана: ведь уговаривал же идти к Дону, а здесь что? Разоренные до полной невозможности деревни: ни коню корму, ни себе. И красные на горбу сидят, передыху не дают. Так нет же, в Заволжье поворотил коней, а черт его, это Заволжье, медом ему там намазано?..

Воспользовавшись неожиданной передышкой, казаки сползали с седел, валились на землю, тяжело дыша, холодея лица и руки в колкой росной траве и вдыхая забытый тревожный дух теплой земли, прошлогодних прелых листьев и хвои.

Хоть и сердился Власенко на атамана, однако не мог и не отметить чутьем бывалого казака, что держался тот молодцом. Был атаман молод, худ, но жилист и крепок той крепостью, которая идет не от земляного извечного крестьянства, а от долгой беды и привычки терпеть ее, не поддаваться и не казать свою слабинку. Словно бы давнее, затаенное горе однажды и навсегда прихватило его, и носит он его в себе постоянно, не допуская близко никого и стойко перенося свое одиночество. Нередко он становился жесток предельной жестокостью бывших офицеров. Жестокостью, продиктованной ему, видно, знанием своей собственной, непонятной другим, правды. Ну, как нынче, к примеру.

О прошлом атамана Власенко толком и не знал. Встретились они у Вакулина, бывшего тогда командиром караульного батальона при Усть-Медведицком окружном военкомате. Вакулин загодя подбирал себе верных людей, таких, как вот он — Власенко, потомственных казаков, прошедших великую войну и имеющих много причин ненавидеть новую голоштанную власть москалей. Таким же, как стало ясно, оказался и бывший подпоручик, пробиравшийся с Дальнего Востока через Маньчжурию и Туркестан на Дон, к Деникину. На чем они сошлись — Вакулин и подпоручик, — Власенко не знал, но только вскоре командовал тот отборной сотней и быстро показал себя в деле решительностью и жестокостью приказов. А позже стал он сотником.

В середине декабря двадцатого года выступил Вакулин в Михайловской слободе против Советов, однако продержаться сумел недолго: через два месяца настигла его красная пуля в жарком бою на реке Чир. А уцелевших увел новоиспеченный сотник, ставший после Вакулина атаманом, на север, к Борисоглебску, где и влились они в первую армию Антонова, командовал которой полковник Богуславский.

Но, зная, прогневили судьбу славные защитники веры и отечества. Снова не прошло и двух месяцев, как от их полка едва ли сотня наберется. Тут даже и неопытному глазу видно, что нового боя с красными уже не выдержать. Самая пора вернуться на Дон, тихо осесть на хозяйстве,

затаиться и ждать. Так нет же, будто осатанел атаман.

Он и сейчас не сошел с седла, сидел по-прежнему прямо и с неприятной, ускользающей усмешкой, от которой перекатывались на скуластых щеках белые желваки, наблюдал за поверженным наземь своим воинством.

Ишь, развалились! Будто он устал меньше ихнего...

Власенко, надо отдать ему должное, рубака отчаянный, но больно уж недалек умом. Что втемяшится — колом не вышибешь. Пожалуй, все они — донцы — таковы. Дали им господь и государыня землю золотую, хватку крепкую, казачью, хозяйскую, а подале тына своего глядеть не научили. Потому, видать, и раскололся Дон, что сумбур в башках. Что им белые, что красные — один черт, как станичный круг постановит. Драться умеют, а спроси: чего ради? — ответят: приказано. Да... Пока есть силы держать их в суровых вожжах, много можно успеть. Но, не дай бог, почувют твое бессилие или неуверенность — все, финита. Атаман им нужен, голова. И никакой говорильни!..

— Власенко! — атаман взглянул в раздраженные глаза подхорунжего и сердито свел брови к переносице. — Ну!

Тот отвел взгляд и потянулся отпустить коню подпругу.

— Поднимай людей! Живо! Хочешь, чтоб все околели в этом болоте?

Атаман достал из седельной сумки грубо сработанную самодельную карту, развернул ее и прикинул, где они могли теперь находиться. Судя по всему, отряд уже вошел в Моршанский уезд. Позавчерашний бой под Козловом, где доморощенные антоновские стратеги уложили свой отборный кавалерийский полк, вынудил атамана принять наконец самостоятельное и крутое решение. И путь, выбранный им, был единственно верным, хоть и весьма нелегким. В Заволжье. Там, по слухам, разворачивается штабс-капитан Попов. Не Антонов, конечно, и не армия у него, но ведь и не станет он, поди, как Александр-то Степанович, дьявол его заberi, кидать конницу против бронеавтомобилей. Во-все очумел Антонов — от полков одни названия, тысячами кладет людей...

Умны красные, понимал атаман. Это с год назад мог гонять их Антонов в хвост и в гриву: какой страх от тех случайных гарнизонов, продотрядов, комбедов?.. Налетел, вырезал всех до единого, пшеницы им в брюхо — и айда дальше. А ныне стянули они войска. Это уже не гарнизоны, это — регулярная армия. Знал атаман, что такое дисциплинированная, хорошо вооруженная, сытая армия. Пишут в

своих газетах, листовках: преследовать до полного уничтожения. И похоже, так оно и будет. Неужели не видят всего этого ни Антонов, ни главком его Токмаков, ни, наконец, Богуславский — кадровый, старый офицер?.. Не желают видеть... Выходит, скоро каюк Антонову. Ну, а коли самому каюк, так чего ждать остальным? Нет, только уходить. Сотня, конечно, сила не бог весть какая, но при уме да при хорошей удаче можно попробовать начать сначала. В Заволжье...

И еще один аргумент имелся у атамана в пользу принятого им решения. Сейчас красные основной свой удар нанесут по главной группе Антонова: на Кирсанов, Инжавино, Пахотный угол. В Моршанском же уезде сил у них не имеется. Впрямую на Саратов не пройти — заслоны крупные. Но ведь и ближний путь — не всегда прямой. Идти надо севернее, лесами и болотами, там, где нет застав и гарнизонов, идти не кабаном — напролом, а лисой, петляя след, тайно, сохраняя силы для последнего броска.

Не хочет понять Власенко, что Дон для них потерян. Если и не навсегда, то на долгое время — уж это точно. Поэтому так важно именно сейчас сбить с хвоста преследователей, оторваться, не дать себя обложить — и уходить, уходить днем и ночью. Только уходить... А всех недовольных — пусть злобятся! — немедленно в расход, чтоб свидетелей не оставалось.

— Власенко! — снова позвал атаман, укладывая карту в сумку. — Через двадцать верст привал. А его, — он показал нагайкой на труп, — убери с дороги и брось тут. Нечего с дерьмом возиться.

Поднимались молча и словно бы отрешенно взбирались в седла. Видно, не было сил даже выматериться от сердца, а может, подействовал пример того, которого за ноги отволокли в кусты.

И снова хмурая лесная дорога, сырая болотная гниль да чавкающий звук копыт в непросохших лужах.

Ночная гроза застала врасплох. Хоть бы деревня захудалая, хутор бы какой, так нет же, вымокли, озлобились — легче село спалить, чем простой костер развести. А молнии полосовали низкие тучи и непрерывно, словно окружила их тут вся артиллерия красных, рвал барабанные перепонки грозный, как небесная кара, гром. Даже бывалый Власенко, заметил атаман, невольно крестился, когда обвал был особенно силен. Потом гроза ушла на север, затихла вроде, а с юга и попозже — с востока опять стал нава-

ливаться отдаленный гром, и его уже теперь не могло бы спутать с любой грозой ни одно солдатское ухо: была артиллерия. И всем стало ясно: была по Антонову. Значит, бой продолжался и надо быстрее уходить.

Медленно поднималось солнце, рассеивая голубоватый низинный туман. Небо было высоким и безоблачным, вымытым грозой, оно наливалось огнем и, по всему видать, снова предвещало день жаркий и трудный. В прозрачной его пустоте громче стала слышна отдаленная канонада, приглушаемая до поры лесной сыростью. И сам лес пошел помельче, чаще стали попадаться опушки, затемненные по окраинам густым сосняком.

Ближе к полудню, когда вовсе уже не вмоготу стало дышать горячим настоем сосновой хвои и воздух начал плавиться и куриться над дорогой, атаман выбрал одну из полян, достаточно широкую, с высокой и темной, похожей на осоку, травой в глубине, что определенно указывало на присутствие здесь родничка, и разрешил спешиться, чтоб перед следующим броском подкормить лошадей да и самим наконец прийти в себя.

Негромко переговариваясь, казаки расседывали лошадей, отпускали подпруги, вели в глубь поляны к родничку; на затемненной стороне заструились легкие дымки: разводили небольшие костры; добывали из седельных сумок последние свои припасы, располагались кто где, некоторые уже спали, хрипло и трудно дыша.

Неопределенность — хуже усталости. А для большинства впереди не было никаких видимых перспектив. Оттого и шума обычного, какой бывает на привалах, не слышалось, так, случайно брошенная фраза, но больше отделялись приглушенным ворчанием, покашливанием, похмыкиванием и другими, ничего не значащими звуками.

От родничка вернулся с котелком Власенко, жестом предложил атаману напиться. Тот принял котелок с ледяной, обжигающей горло, водой. Остатки вылил на ладонь и протер задубевшее лицо: сразу охватило свежестью, а ноздри ощутили неуловимый до того запах весенней листвы и горьковатого дыма.

Власенко разостлал потник, бросил седло под голову и завалился на спину.

— Ну, — сиплым, после ключевой воды, голосом, не открывая глаз, спросил он, — кого следующего, атаман?

— Ты это дело брось, ты меня не серди. Слышь, Власен-

ко? Не серди без пользы. Голова — она у каждого одна, что у тебя, что у меня.

— Голова голове рознь, — примирительно пробурчал Власенко.

— Ну, то-то... Как считаешь, оторвались?

— Навроде со следа-то сбили. Надолго ли, тут вопрос имеется... Не пойму я тебя, Григорич, разрази меня гром, не пойму. — Власенко приподнял голову и в упор посмотрел на атамана.

— У тебя ведь два «Георгия»? — усмехнулся атаман, блаженно растягиваясь на траве и пошевеливая занемевшими плечами.

— Три. Самую малость не дотянул до полного банта.

— Надо полагать, за дело получил. А потому и порядок должен помнить. Иль забыл?

Власенко тоже криво усмехнулся и поерзал головой по скрипучей седельной коже.

— Что ж, может, у тебя свой какой резон имеется, бог тебя прости... Только где ж он, этот порядок? Али слеп я, не вижу? Так ты, поскольку атаман, ткни меня, как слепого кутенка, куды следует, глядишь, и прозрею... Али тут тебе нет резону?

— Не гони коней, Власенко, не гони. Всему свой черед. И прозреешь, и ткну, коли нужда заставит... Ты откуда родом-то?

— С Медведицы. Станица Кепинская, слыхивал о такой?

— Может, и слыхал... А чем же она знаменита?

— Сады у нас богатые. Бахчи. У батька моего кавуны зрели, не поверишь, в два обхвата. — Власенко растопырил руки: — Во! Всем куренем зараз не осилишь... А в пойме, как свечеряет, соловушка бьет. Ах ты, сладкая ж моя птаха, мать ее в три господ!.. Было, Григорич, да прошло...

— Домой-то хочешь воротиться?

— Да кто ж того не хочет?.. До хаты я бы с милым сердцем, только вона где та моя хата... — Власенко отстраненно махнул ладонью в сторону далекой канонады.

— Ну вот, а говоришь, ткни как слепого кутенка. Сам, поди, соображаешь, что напрямки домой не дойти. Перекрыли нам дорогу туда. Крепко перекрыли, Власенко. Только ведь то ж дурак прямой путь выбирает. Умный и стороной обойдет, коли случится такая необходимость. Ты вот газеты на курево переводишь, а их сперва читать надо.

Власенко с явным недоверием посмотрел на атамана.

— Гляди не гляди, но выходит из тех газет, Власенко,

что одна у нас дорога, пока, конечно, и ту большевики не отрезали — за Волгу. Ты — человек служивый и должен знать, что с армией шутки не шутят.

— Дак то как сказать... Обходились покудова.

— То-то и оно, что покудова. Сил у них не было, вот и гулял Александр Степаныч. А нынче — ты прикинь — мир с Польшей, кончился Антон Иванович Деникин. Днями, ты, может, не знаешь, два наших полка у Токмакова целиком перешли к большевикам. А в «прощенные дни», месяц назад, так тысячами валили сдаваться. Соображаешь? А мы все хорохоримся. Обходились покудова... Больше не обойдется, Власенко. Ни Антонову, ни нам с тобой. Это те, на ком вовсе крови нет, еще могут рассчитывать на что-то. А тебя я в деле видал, да и не я один. Многим мы тут по себе память оставили. Потому одна у нас дорожка... За Волгой, знаю, есть верные люди. Да и народ иной там, глядишь, ко двору придемся. Сибирь поможет, у них тоже большие дела заворачиваются.

— А ежели и туда армия придет?

— Придет, конечно, но не сразу. С год, думаю, продержимся. А после, как маленько уляжется... память, Власенко, память, тут ты к дому и заворишь. Вот те и весь мой резон.

Задумался Власенко. Долго молчал, словно бы переваривая сказанное атаманом, ворочался с боку на бок, грыз сухой стебелек полыни, зло сплевывая горечь, потом сел и оглядел спящих вразброс казаков. Из брючного кармана вытащил кисет с табаком и аккуратно сложенным листом газеты, отпечатанной на тонкой папиросной бумаге. Развернутый, потертый на сгибах лист затрепыхался в руках Власенко, со смутным беспокойством и недоверием рассматривающего на просвет нечеткие серые слова.

Атаман, прикрыв глаза ладонью, наблюдал за подхорунжим.

Наконец Власенко буркнул себе под нос что-то неразборчивое, похожее на матерок, и, оторвав от газеты малую полоску, стал сворачивать самокрутку.

— Читал я днями вот в такой же газетке, — лениво заговорил атаман, — «Красное утро», что ли, не помню... Двое наших орлов схорониться решили от большевиков. Землянки себе отрыли под болотными кочками. Так, чтоб, значит, только поместиться, всего и делов. Кочками накрылись, тростинки для дыхания приспособили. А тут, на грех, не красные, а стадо коров. Одна возьми да и ляпни блин на

тростинку. Прошло время, вылез один наружу, глядь, а второй-то уж давно богу душу отдал. От коровьего дерьма задохся. Вот и сидел тот страдалец да слезы лил над трупом товарища, пока его не взяли большевики. Так и написано было: мол, гибнет антоновщина, придавленная коровьим навозом...

— Вишь ты, как оно вышло, — пробормотал Власенко, дожигая в кончиках пальцев окурки. — Что в лоб, знача, что по лбу — одна хреновина. Да... Ну, тады вот тебе и мой сказ, Григорич. Ты — атаман, ты и веди. И я с тобой, коли одной веревочкой повязаны... Хучь и свербит душу, однако нутром чую, правду ты баешь... — Он еще помолчал и сказал уже самому себе: — Дозоры пойти выставить, не ровен час... Вот жизнь сучья...

Оставшись один, атаман перевернулся со спины на живот, уткнулся лицом в траву. Увидел: ползет маленький черный мураш по тонкой былинке. Вверх ползет, а куда! Былинка-то кончается, и ничего дальше, не прыгнешь, не улетишь. Ткнул ногтем — мураш свалился, но через миг снова настойчиво карабкался вверх, к пустоте. А может, к солнцу?.. Глупые, ненужные мысли.

Приподнявшись на локте, атаман огляделся, ища глазами муравейник, но ничего похожего поблизости не было. Эк тебя занесло, бедолага, — вздохнул он.

Сам того не подозревая, тянулся и атаман, подобно тому мурашу, полз, карабкался, а куда — самому господу неизвестно. Двадцать с небольшим лет за спиной, и впереди — та же пустота. Все, что было и что могло только быть, уже прошло, и память о том лучше не хранить. Нельзя хранить — так вернее. То — за чертой. Знал он, что ничего не найдет на родном пепелище, тогда зачем же так тянуло его в родные места?..

Вдруг закралось сомнение: убедил ли он Власенко? Должно, убедил. Правда, хоть и горькая, всегда убеждает. Смотря, конечно, как ее поднести, эту правду. После того инцидента с казаком, понял атаман, нужна была только правда, иного и не мог принять упрямый подхорунжий. Принять умом, не сердцем. Всякий истинный казак, убежден был атаман, напроць лишен какой бы то ни было сентиментальности. Его бог — необходимость, сиюминутная логика. А после — обойдется... Убедить Власенко — значило убедить, сломить и всех остальных.

Атаман снова перекатился на спину и закрыл глаза...
Грохот налетел неожиданно.

Еще не понимая в полусне, что произошло, атаман вско-чил на ноги и увидел, как в пыльном облаке по дороге промчалась бричка, поливая поляну из пулемета, а за ней, стреляя на скаку, промелькнули несколько верховых. Атаман заметил, бросаясь к своему расседланному коню, как бежали из глубины поляны, паля в белый свет, расхри-станные казаки, падали и снова вскакивали, матерясь и размахивая руками.

Мгновение — и бричка скрылась. Подбежал, прихра-мывая, Власенко, он, как загнанная лошадь, широко ра-зевал рот и сжимал правой ладонью расползающееся по левому рукаву багровое пятно.

— Опоздали, мать... — хрипло выдавил он, и лицо его перекорежило.

Казаки исступленно затягивали подпруги, сбиваясь тол-пой посреди поляны, вваливались в седла, передергивали затворы винтовок и обрезаов.

— Спокойно, Власенко! — прикрикнул атаман, чувствуя, как минутная растерянность уходит от него. — Ранен?

Власенко заскрежетал зубами.

— Эй! — властно приказал атаман, перекрывая общий испуг. — Санитара сюда!

Подбежал казак и, закатав рукав гимнастерки у Вла-сенко, стал перетягивать рану бинтом.

— Навылет. Кость не задело, — наблюдая за перевяз-кой, сказал атаман. — Ну, Власенко, докладывай!

— Повел я дозор, Григорич... — морщась от боли, стал объяснять подхорунжий. — Только к дороге, а тут они. Из станкача... Трoих хлопцев наповал, а меня... вот...

К дороге ускакал десяток казаков.

— Разведка или случайные, как полагаешь? — снова за-дал вопрос атаман, и не столько даже Власенко, сколько самому себе. — Неужели догнали?..

— Не, атаман, — подхорунжий взглянул виновато, — те, которые случаем. Мала их сила до разведки... Слышь, Гри-горич, вдогон бы, а?

— На наших-то конях? — гневно сощурился атаман. — Ты в своем уме? И пулемет у них. Зря людей положим.

От дороги возвратились казаки, везя поперек седел уби-тых. Отдали трупы на руки подбежавшим товарищам, те положили их в ряд на землю. Сняли фуражки, папахи, ждали, глядя на атамана.

Атаман обвел взглядом их мрачные и осуждающие глаза, затянул ремни на гимнастерке и, тяжело ступая, по-

шел к убитым. Остановился, холодно оглядел их, разные при жизни, но такие одинаковые в смерти, небритые и бесстрастные лица, застекленевшие зрачки и, отвернувшись, негромко сказал:

— Погибшим в бою — честь и память. Убитых за нашу землю, за поруганную казачью волю предать земле. Времени у нас нет, но мы не бросим своих товарищей непогребенными. Ройте братскую могилу вон там, у дороги, чтоб каждый проезжий знал: здесь лежат с миром свободные русские люди...

Атаман снова взглянул на убитых и коротко перекрестился. За ним трижды широко осенили себя крестом остальные казаки...

К вечеру, когда спала жара, вернулись разъезды, посланные атаманом на десяток верст назад и вперед по дороге. Они сообщили, что никакого движения не обнаружили. Пусто было и на тракте, и на малоприметных лесных дорогах. Атаман окончательно успокоился: значит, действительно то были случайные, может, продармейцы, может, какая власть местная.

Наконец тронулись, втянулись в узкий меж сосен коридор песчаной дороги, пахнувшей горячей дневной пылью; уходили молча, оставляя на самом краю поляны, у дороги, невысокий холмик с грубым крестом и светлой дощечкой, прибитой к нему. На той дощечке чернильным карандашом атамана было написано, что здесь покоятся с миром свободные русские люди. И все. Буквы были четкие, прямые, без всяких витков и закорючек.

7

Послегрозовое прохладное утро принесло Маше исцеление. Резкий упадок сил, сваливший ее вчера в постель, сменился жаждой какого-либо немедленного действия, напряженным ожиданием скорой перемены, быстрого приближение которой она вдруг ощутила. Вместе с вялостью мышц исчезла наконец изнуряющая боязнь услышать правду, вернее — подтверждение этой правды. Словно кончилось разом утомительное и бесполезное сидение у подушки безнадежно больного близкого человека, отвыли свое старухи-плакальщицы и снесли свежеструганый гроб на старый погост у церкви, где за семейной оградой давно почили и отец, и бабушка, и дядя — вся многочисленная когда-то родня Сивачевых.

Утро требовало дела. Маша упруго сбежала по разно-голосно стонущим ступенькам со своей мансарды, мельком подумав, что все расшаталось, одряхлело и, как ни старайся, уже не поправишь; столкнулась на террасе нос к носу с матерью, имевшей вид растерянный и перепуганный.

— Машенька, — тревожно зашептала она. — Михаил-то Александрович ушел...

— Как ушел?

— Заявил, что для пользы дела должен ходить, взял палку и... откланялся. Я старалась, доказывала, как могла, что это нелепо в конце концов, и вообще... Больному нужны покой и пища. Сон. А он только рассмеялся, — Елена Алексеевна в изумлении округлила глаза, — и пошел в деревню.

— Давно? — в голосе Маши мать не уловила ни удивления, ни беспокойства — одно простое любопытство.

— Давно... Но разве ты считаешь это естественным?

— Ну конечно же, мамочка! — рассмеялась Маша, чем испугала мать еще больше. — Человек встал на ноги, значит, он должен ходить. Правильно делает. Молодец. Что же тут противоестественного?..

— Ма-а-ша! — прошептала Елена Алексеевна. — Что с тобой? Ты сегодня... ну, как бы сказать... на себя самое не похожа. Я рада, дитя мое, что ты улыбаешься... даже смеешься, но что-то меня в тебе очень тревожит. Очень!

— Ах, мамочка, не обращай внимания. Жить-то ведь все равно надо... Дай-ка мне лучше пожевать чего-нибудь, и я побегу за ним. Есть хочется — спасу нет!

Елена Алексеевна как-то сникла, и в ее опущенной голове, безвольно порыхлевшей фигуре, слабо шаркающей походке Маша вдруг отчетливо увидела старость. Тяжелую, неотвратимую беду во всей ее безысходности.

— Мамочка... — вырвалось у Маши, но мать, не слыша, уходила в глубь коридора, будто засасывала ее туда плотная темнота.

Солнечный свет, упавший в комнату Сибирцева через открытую дверь террасы, лежал на полу ярко-желтым ромбом, трепеща и подрагивая робкими тенями листьев. И было в нем столько живого и ласкового, что Машина тревога рассеялась, разве лишь на самом доньшке души оставалась еще тихая грусть.

А короткое время спустя, растормошив и зацеловав мать в скорбно слезящиеся глаза, Маша бежала через сад,

подныривая под влажные еще ветки и на ходу откусывая от горбушки хлеба.

Усадьба Сивачевых стояла на отшибе, там, где пыльная дорога, широко раздвинув порядки домов, скатывалась под уклон к Утице — извилистой и юркой речонке, выющейся в зарослях горбатых ив, черной ольхи и крапивы. Барский сад подступал к самой воде и, высасывая влагу, собирался, видно, до осенних дождей сохранять зелень. Он вообще казался оазисом среди рано усохшей по весенней жаре мишаринской растительности. Одиноко торчали во дворах ржавые тополя и липы, серой щетиной затягивали усадьбы низкорослые конопляники.

Поднимаясь на взлобок, Маша услышала ритмичные, глуховатые удары по железу, доносившиеся от дальних домов, откуда-то, видимо, из-за церкви, высокий шатер которой указательным перстом упирался в белесое небо. Подумав, Маша решила, что искать Сибирцева надо, по всей вероятности, там, где люди, и пошла, определяясь по железному стуку, загребая старенькими башмаками прохладный утренний песок.

Так добралась она до обширной, почти квадратной площади, одну сторону которой замыкала солидная, красного кирпича церковная ограда с массивными коваными воротами, а с противоположной стороны протянулся двухэтажный парфеновский дом. Нижний его этаж представлял собой лабаз, сложенный из беленого известкой кирпича, а верхний — жилой — был деревянный, крашенный зеленым, и вдоль него по фасаду тянулась галерея с пузатыми столбиками и балюстрадой. На галерею вела широкая лестница. Здесь теперь размещался сельсовет, и потому с конька крыши свисал линялый флаг. Был Парфенов прасолом, торговал скотом и хлебом, как отец и дед его, но ушел с белыми, и с тех пор не слышали о нем в Мишарине.

Маша оглядела пустынную площадь, кое-где вымощенную булыжником, но никого не обнаружила. Железный стук между тем стал громче, можно было различить даже голоса споривших мужиков. Обойдя площадь, Маша наконец увидела в глубине узкой улочки, сбегавшей к оврагу за церковным кладбищем, небольшую группу людей, собравшихся возле сруба старого колодца. «Наверно, Михаил Александрович там», — решила она.

Чернобородый сельский кузнец дядя Матвей на вбитом в бревно обухе топора правил гвозди и скобы, вокруг валялись бревнышки разобранного сруба, чурбаки, окован-

ный железными кольцами ворот с колесом. Наверно, собрались миром чинить колодец. А рядом стояли и сидели мужики и дружно дымили «козьими пожками» — так назывались их самокрутки. Однако Сибирцева среди них не было.

При виде Маши мужики примолкли, кое-кто даже загасил в песке окурок, смотрели выжидательно. Дядя Матвей поднял голову, почесал широкую цыганскую бороду и, весело подмигнув Маше единственным глазом, отложил в сторону молоток.

— День добрый, Марья Григорьевна, — приветствовал он и, привстав, стал отряхивать фартук.

— Здравствуйте, дядя Матвей, — улыбнулась Маша. — Я хотела спросить...

— Спрашивай, голубушка, спрашивай, — кузнец шагнул ей навстречу. — Кого ищешь?

— Дядя Матвей, — Маша слегка запнулась. — Вы не видели?.. Здесь не был Михаил Александрович?

— Это кто же таков? А? — снова подмигнул кузнец.

— Михаил Александрович... Он болеет. С палочкой...

— Тот, что у вас в усадьбе проживает? Этот, что ль?

Маша смущенно кивнула.

— Ну, тогда ищи его у Егорки. У него он, в пристроечке, поди, — кузнец кивнул за церковную ограду.

Маша тоже кивком поблагодарила и уже повернулась, чтобы уйти, но дядя Матвей в два шага догнал ее и, тронув локтем, негромко спросил:

— А скажи-ка мне, Марья Григорьевна, голубушка, кто он, этот Михаил-то твой Александрович? Откуда прибыл, коли, конечно, не секрет? Хороший он человек али как?

Маша взглянула на кузнеца. Высокий, с мускулистыми, обнаженными по локоть и поросшими черным волосом руками, стоял он перед ней, и глаз его был чуть прищурен. И тон, каким спросил он о Сибирцеве, был очень серьезен.

— Он с Яшей был... — запинаясь, заговорила Маша. — Там... А Яша погиб...

Кузнец печально и понимающе покачал гоовой.

— Его ранило. Очень сильно. И доктор сказал, что ему надо отлежаться. Вот мы и привезли Михаила Александровича сюда... Он еще не выздоровел.

— Значит, думаешь, человек он...

— Хороший! — перебила Маша и слегка покраснела.

— Ну-ну, — ухмыльнулся и тут же погасил улыбку кузнец. — Хороший, говоришь?.. Поглядим. Так-то он в раз-

говоре навроде не барин. Поглядим, да... Ну, ступай к Егорке. Там они оба. — Он помолчал и добавил: — Ну-к, пойдем, Марья Григорьевна, провожу тебя малость. — Он обернулся к мужикам, махнул рукой: — Давайте, робяты, собирай помалу...

Сибирцев, между тем только что выбравшись из церковных подвалов, сидел в крохотной клетушке деда Егора и стряхивал с плеч и локтей пыль и паутину. А сам дед цедил через тряпицу квас из большой четвертной бутылки.

Ощутимо ныла спина, болели мышцы ног — все-таки напряжение было чрезмерным, рано вскочил с постели. Но Сибирцев не жалел, что потратил столько усилий и смог, по сути, сверху донизу, от колокольни до подвалов, довольно внимательно обследовать церковь. Были тому весьма серьезные причины.

Еще ранним утром, по холодку добравшись до церкви, он увидел мужиков, что разбирали старый сруб. Присел с ними, покалякал о том о сем, угостил табачком. Начали, как водится, с погоды, с небывалой доселе ранней жары. Мужики сокрушались, что земля горит, и даже давешняя гроза обманула ожидания — влага паром вышла, не впиталась, разве что пыль прибила, оттого, видать, и с хлебушком будет плохо, совсем плохо, и за какие грехи?.. Но едва беседа коснулась разбойных налетов в соседних уездах, слухи о которых приносили проезжие люди, мужики будто завяли, — чего, мол, зря воду-то толочь, слухи, они слухи и есть, может, и грабят, а может, и нет, у страха, известно, глаза велики. Самих-то пока бог миловал, еще, поди, накличешь на свою голову. Пожалуй, один только кузнец, — понял Сибирцев, что это о нем говорил Баулин, — остро сверкнув глазом, заявил, что всех бандюков надо связать и в дерьме утопить, а не ждать, пока пожгут губернию. Но мужики отмалчивались, не то опасаясь незнакомого им человека, не то держась своего мнения на этот счет, отличного от мнения кузнеца. Так и не понял Сибирцев... Однако кузнец ему приглянулся прямоотой и ясностью суждений. Резкий мужик и знает себе цену. В общем, не склеилась беседа, хотя и ощутил Сибирцев общее настроение какой-то апатии и подавленности. Прав был Баулин: мужик загодя чует беду.

Щурясь от дыма самокрутки и незаметно разглядывая мужиков, Сибирцев никак не мог ответить себе на вопрос, еще со вчерашнего вечера застрявший в голове: кто, кто из них мог знать о поповском оружии, — но встречал

взгляды усталые и равнодушные. А после беседы с отцом Павлом отчетливо понимал и свое двусмысленное положение — и оттого не имел права сейчас лезть, что называется, на рожон.

И тут чертиком из коробки появился вчерашний дед Егор. Егор Федосеевич, как немедленно стал его величать Сибирцев, чем, возможно, заслужил особое доверие старика. Был дед Егор, похоже, уже под хмельком, и, когда приблизился, Сибирцев ясно различил исходивший от него си-вушный дух.

— Причастился, поди, Егорка, с утра раннего? — насмешливо поинтересовался кузнец Матвей, вызвав заметное оживление остальных. — Что, али нынче праздник какой?

— Им-та с батюшкой кажинный день праздник... — непонятно — не то с осуждением, не то с завистью — протянул кто-то из мужиков. Его реплику поддержали вздохами и смешками.

Но дед Егор не обратил внимания на насмешки. Увидев Сибирцева, он словно прилепился к нему.

— А я, Михал Ляксаныч, — хихикал он, утирая тыльной стороной ладони беззубый рот и заросший редкими пучками волос маленький подбородок, — с утречка-та и тюкнул. Батюшка наш скок в бричку и кричит: «Па-ашел!», — а мне: «Гляди, Ягорий!» А чё? Отцу Павлу — по делу, к соседу, а можа, еще куды — в уезд али в губернию. А нам — к матушке, — старик опять захихикал, погрозил сам себе пальцем. — К матушке причастица, поскольку сами батюшка очень люба...

Дед Егор уселся на бревнышке, по-татарски подвернув под себя босые пятки. Был он в длинной, распахнутой на груди рубахе и грубых портках. И то, что он рассказывал, вероятно, было давно уж всем известно. А потому, послушав его поначалу, посмеявшись малость, мужики снова приступили к делу: кто подтесывал бревно для сруба, а кто, спустившись в колодец, вычерпывал ведром гнилую воду с песком и тиной, — словом, все, кроме деда Егора и Сибирцева, принялись за работу.

— И-эх! — с восторгом продолжал дед Егор. — Светлой души женщина — Варвара Митарьна, а уж доброты несказанной, узрит господь, надо понимать, воздасца ей благостью, сердешной. «И где ж эт вы, милай друг Ягорушка, вчерась-та с батюшкой, а? На-ка вот чарочку!» А я: «Да недалеча, матушка, пошли те бог здоровья за милость

твою». — «Батюшка, — баить, — прибыли в сумруке, ета в полной, значица, расстроенности, и всю ноченьку не сна-ли. А не жалаешь ли еще, милай друг Ягорушка?» — «Как жа, матушка, с превеликим, значица удовольствием, дай те господь».

— Уехал, стало быть, Павел Родионович, — негромко и как бы вскользь заметил Сибирцев и поднялся, оглядыва-ясь. Никто не обратил на него внимания. Только кузнец поднял голову, посмотрел внимательно и кивнул, проща-ясь. Сибирцев медленно, опираясь на палку, пошел к пло-щади, дед Егор, подпрыгивая ошипанным петушком, за ним.

— Уехали, уехали, как жа, — подтвердил он, когда ото-шли на довольно приличное расстояние. Он с дурашливой опасливостью искоса взглянул на Сибирцева. — Как не уехать! Сели в бричку и мне: «Гляди, Ягорий, полный чтоб, значица, молчок!»

— Жалость-то какая, — пробормотал Сибирцев. — А мы договорились было, что поможет он мне каким-то там сво-им снадобьем... Уехал... А надолго ли, не сказывал?

— Как жа не сказывали? — удивился дед, но тут же буд-то спохватился: — Не, не сказывали. «Па-ашел!» — кри-чить. И уехали.

— Прямо с утра? — усомнился Сибирцев.

— Истин бог! — дед перекрестился. — Еще темно было. Сели в бричку... Михал Ляксаныч, голубчик, можа, я чё помогу? А? Бабка и с дедкой мои вон кады населению пользовали от всякой болести. Травкой али корнем. Божьим словом, сказывали, тожа можно. Нужному святому какому молитву вознести... Никола Чудотворец — он от всяких бед и напастей. Еще от потопления. А священномуче-ник Антипий — етот от зубной боли. От глазной, сказыва-ють, — Казанска богородица, а от головной — Иоанн Пред-теча. Ежель у младенца родимчик али друга болеть — тута великомученик Никита и Тихвинска богородица. А Ягорий-великомученик — етот скот от зверя хранит, а Флор и Лавр...

«Не выдержал, отец Павел, крепко, значит, тебя при-жало», — думал между тем Сибирцев, краем уха слушая дедовы рецепты святой аптеки. И вдруг вспомнил, как зи-мой шестнадцатого года пришел под Барановичи опломби-рованный спецвагон, поговаривали — от самой государыни. Ждали медикаментов, бинтов вовсе не было, вошебойки устраивали из раскаленных на кострах железных бочек.

Сунулись тогда в вагон, а там — иконки, образа святые. Интересно, были там Флор и Лавр, предохраняющие от конских падежей, или на военные действия их святость не распространяется?

«Да, батюшка, припекло тебе хвост... Куда ж ты подался? Неужто — в уезд? Торопишься. Это уже не проверка, это, похоже, паника... Или своих предупредить поспешил?..»

— А неопалимая купина — эта от пожара...

— А от огнестрельных ран есть что-нибудь? — поинтересовался Сибирцев.

— Ну как жа! — обрадовался дед. — Тута, значица, отвар на девяти травках, увнутрь, а понаруже — втиранья особая, мазь така целебна. Как не быть, есть. А от внезапной смерти — эта уж великомученица Варвара, завсегда она. А ежесть от трудных родов — тады великомученица Катярина.

— От внезапной-то смерти, по нынешним временам, Егор Федосеевич, — вздохнул Сибирцев, — полагаю, не спасет никакая Варвара. Ну, а что касается трудных родов... Да... Батюшка, стало быть, в большом расстройстве отбыл? — Он озабоченно покачал головой.

— Так ить, милай, весть-та, знать, не хороша...

— Да, весть, я ему нехорошую...

— Во-во, тёмно было, а они — в бричку. Надо понять, к Маркелу уехали, куды еще?..

— Это какой же Маркел? — спросил Сибирцев так, словно знакомое имя случайно выпало из его памяти.

— А ну как жа! Свояк ихний. В Сосновке они, в Совете состоять. Эта недалече, верст тридесять и будеть.

— Ах, вон кто... Не сказал, когда воротится?

Дед отрицательно помотал головой.

Сосновка... Почти ничего не говорило это слово Сибирцеву. Кажется, Илья Нырков упоминал, что подходит туда железная дорога, значит, крупное село. Больница вроде есть, училище. И все. Немного... Что ж Илья-то? Взял на крючок попа, а его родственниками не поинтересовался? Бывший кадет Кишкин — это все на поверхности, такие связи и не скрывают.

Еще в Сибири, в иркутской милиции, частенько приходилось Сибирцеву раскручивать дела кадетов, эсеров, особенно последних. Большие они мастаки по части маскировки. Решительные, жестокие, долгий опыт подполья у них, толковая и глубокая агентура. Как хрен на огороде. Потя-

нешь — и вроде выдернул, ан нет, самый-то корень глубже сидит. По весне, глядишь, опять стрелку выбросил. Копать надо, только копать — и брать шире, не жалея труда и пота... Вот теперь и Маркел появился.

После разговора с Павлом Родионовичем Сибирцев был убежден, что оружие, о котором в волнении проговорился поп, должно быть где-то здесь, под боком, но сейчас, услышав о Маркеле, он усомнился в своей недавней твердой уверенности. Начать с того, что оружия, судя по той интонации, с какой о нем было сказано, немало. Где ж его держать? В огороде, что ли, в яме? Вряд ли. Село небольшое, все на виду. В храме? Там, конечно, есть подвалы, куда посторонний взгляд не заглядывал, а уж в подвалах тех такие тайники, что и черт ногу сломит. Однако, случись обыск, именно с храма и начнут чекисты, и все подвалы «перевернут вверх дном» — поп это знает. Следовательно, рисковать не станет. У кого-нибудь из знакомых или особо доверенных людей, церковных служек, вроде вот этого дедки? Тоже большая натяжка. Их ведь тоже без внимания не оставят...

Конечно, с точки зрения железной конспирации, вел себя вчера отец Павел неосмотрительно, но его можно понять. И обстоятельства сложились для Сибирцева более чем удачно, и общие знакомые нашлись, и, главное, слишком уж велико было желание верить, что Сибирцев — свой... А сам-то — смел! На анафему большевикам с амвона не всякий решится. Не надо считать его глупым или слишком уж подверженным эмоциям, скорее всего, поп уверен в себе и ничем сейчас не отягощен — ни порочащими связями, ни, разумеется, оружием. Ну, а кадет Кишкин — это когда было! Это, по сути, и не связи, мало у кого какие родственники! Все так, но тогда где же оружие?.. А на стороне. Скажем, у того же Маркела, который, оказывается, даже в Совете состоит. И следовательно, должен находиться вне подозрений — ведь Советская власть! Так-то. К нему, значит, и помчался перепуганный поп. Пока все логично...

Продолжая медленно двигаться по улице в сопровождении деда, Сибирцев, как бы между прочим, спросил:

— А Маркел давно приезжал?

— Маркел-то? А не, прошлым годом. По осени.

— Погостить, что ль?

— А ну как жа, истин погостить! Хе-хе... — Дед покрутил головой, вспоминая, видно, гулянку Маркела с отцом

Павлом. — От уж, милай, гостюшка так гостюшка! Ох, уметь!

— Редко, выходит, видятся батюшка со свояком? — скорее утвердительно, нежели с вопросом, произнес Сибирцев.

— Не, отчево жа, тута и батюшка к им ездили... Кады ж?.. А пред пасхой. Цел воз добра в подарки, надо понять, им отвозили. Мно-ого всяво, кабанчика кололи, пшаницы — большой воз, чижолый!

«И было в том тяжелом возу много всего, — мысленно дополнил Сибирцев свою догадку, — но никто толком не знает, что вез «святой отец» свояку в качестве пасхального подарка, за исключением пороса да пшеницы. Тяжелый воз — это, похоже, хорошо замаскированное оружие, а то с чего б ему быть тяжелому?.. Впрочем, это в том случае, если поп действительно возил оружие, а не доставили его прямо к Маркелу в Сосновку, минуя Мишарино...»

— Скажи-ка, Егор Федосеевич, а храм-то у вас большой? В гости хочу напроситься, поглядеть его. Не прогонишь?

— Дак, милай, отчево жа, заходи, кады хошь! Я завсегда при ем состою. В пристроечке, как, значица, войдете, так и увидите пристроечку-та.

— А чего тянуть? — как бы решился Сибирцев. — Прямо и зайду. Или у тебя дела какие срочные?

— И-эх! Каки таки дела?

Любопытству Сибирцева не было границ. Дед Егор обрадовался настырному гостю. Вдвоем, не торопясь, обошли они весь храм, осмотрели небогатый иконостас, алтарь, все заалтарные помещения, поднялись к колоколам на колокольню, заляпанную голубиным пометом, потом спустились в подвал. Дед прихватил несколько свечей, и они сожгли их поочередно, озираясь поначалу на прыгающие по стенам собственные тени. В таких подвалах, размышлял Сибирцев, можно батальон разместить, и никакими пушками его отсюда не выкуришь. Надо бы это обстоятельство иметь в виду. Так, на будущее. Мало ли что может случиться?.. Сибирцев не расстраивался, что ничего, напоминающего склад оружия, обнаружить не удалось. Хорошо уже то, что наперед не придется опасаться: вдруг отец Павел решится поднять своих в ружье? Сибирцев до тошно выпрашивал деда о возможных старинных тайниках, захоронениях, склепах, подземных ходах и прочем. И эта его настойчивость вполне сходила за самое обык-

новенное любопытство, присущее всякому человеку, сталкивающемуся с явлениями таинственными и непонятными. Ничего особо мрачного в истории этой церкви, посвященной в свое время Флору и Лавру, не было. Да и сама постройка не отличалась древностью или там известностью своих создателей. Заложили ее всего сотню лет назад, и была она маленькой, деревянной, но на каменном фундаменте. Собирались, поди, строить-то всю церковь каменную, но, скорее всего, средств не хватило. А вскоре после освящения сгорела она. Год был плохой, холерный. Власти, сказывают, приняли жесткие меры, чтобы удержать холеру от распространения, да не всяк человек то понял. Вспыхнул бунт. Много по уезду было тогда пожаров. Горело и Мишарино, огонь не пощадил храм. И уж спустя время отстроили на том же основании новую церковь, каменную. В те же годы обнесли ее почти крепостной кирпичной оградой. Деревянную-то церковь строили на деньги деда Парфеновского, а каменную после пожара его сын отгрохал, по завещанию, видно.

Слушая деда Егора, Сибирцев время от времени простукивал палкой подвальные стены, но звук казался ему везде одинаковым, а освещая стены свечой, никаких следов новой кладки или штукатурки не обнаружил. И то ладно.

Когда выбрались наконец на волю, Сибирцев невольно зажмурился и почувствовал мурашки на коже, столько было вокруг света, солнца и сухого жара после погребного холода подвалов. Зашли в дедово жилье, и тот взялся цедить квас, который прихватил из ледника. Кружка сразу запотела снаружи, и Сибирцев с трудом проглотил слюну, глядя на этот пенящийся квас и заранее предвкушая, как он лихо шибанет в нос. А выпив, со всхлипом перевел дух и вытер слезящиеся глаза.

— Ну, квас... всем квасам...

— То-та, милай, — обрадовался дед Егор. — Это не квас, а сплошная лекарства. На травах, мята да хрен. Любу болесть лечить.

За пыльным окошком слышались голоса, и дед петушиным скоком выглянул наружу.

— Ах, Марья Григорьевна, душенька ты наша! — тонко зачастил он. — Похорошела, голубица-та, истин бог похорошела! — Он широко распахнул дверь. — Заходите, гостишки дорогие. А мы тут. И-эх! Кваску испейте!

Кузнец широкой ладонью легонько подтолкнул Машу,

низко пригнув голову, вошел и сам, и сразу в дедовой клетушке стало тесно.

Сибирцев поднялся, опираясь на палку, отряхнул брюки, взглянул на Машу, и глаза его смеялись.

— Что-нибудь случилось? — серьезно, как только мог, спросил он.

Маша вдруг почувствовала, что краснеет, неудержимо, до слез краснеет, и все видят ее растерянность. Но через минуту она нашлась.

— Вы ушли, ничего не поели. Мама забеспокоилась. И не сказали ничего. А вам пока, наверно, не надо много ходить.

— Ну-у, — протянул Сибирцев, — стоило ли волноваться так-то. Я потихоньку-полегоньку, спешить некуда. С людьми вот хорошими познакомился, поговорили маленько... — Он легко подмигнул кузнецу, но тот лишь неопределенно хмыкнул и обернулся к деду:

— Налей квасу-то своего, что ли. По ранней жаре в самый раз...

Дед Егор оделил всех квасом, но сам пить не стал. Что-то его вроде бы тревожило или смущало, — словом, похоже, чувствовал он себя не в своей тарелке. Он мялся, переступая с ноги на ногу, почесывал подбородок, потом с отчаянной решимостью махнул рукой и с непонятым восклицанием выскочил за порог. Матвей усмехнулся ему вслед и с укоризной покачал головой.

— Куда это он? — удивился Сибирцев.

— А-а, — отмахнулся кузнец. — Неймется ему.

Возникла пауза. Сибирцев понял, что кузнец пришел не просто так, он хочет поговорить, но при Маше не решается. Девушка, однако, сама поняла значение затянувшейся паузы и, словно бы между прочим, поднялась, подошла к двери и, не оборачиваясь, сказала:

— До чего же тесно тут. Дышать нечем... Я, наверно, пойду, Михаил Александрович? Подожду вас там, — она кивнула на улицу.

— Мне еще в сельсовет надо зайти... Знаете что? Сделайте мне одолжение, поглядите, есть ли там председатель? Чтоб зря не ходить, а?

Маша обрадованно кивнула и бегом припустила к воротам. Легкая, тоненькая, она была похожа на бедовую девчонку, радующуюся утру, солнцу, мягкому песку под ногами, затянутому ползучей травкой, добрым веселым людям, окружающим ее.

Сибирцев ласково посмотрел ей вслед и обернулся к кузнецу:

— Ну, Матвей Захарович, слушаю.

От неожиданности кузнец даже крикнул. Потом с хитрой усмешкой качнул головой и поднял прищуренный глаз на Сибирцева.

— Вот, вишь ты, шел за разговором, а тут не знаю, что и молвить.

— Ну, тогда я скажу. Говорил я уже с Баулиным. Обо всем. И о тебе тоже. Жду вот теперь его с часу на час. Но пока суд да дело, чует мое сердце — время наше зря уходит... Давай-ка для начала скажи, брат, вот о чем: хорошо ли ты знаешь попа? Это, значит, первое. И второе: что собой представляет наш дед, Егор Федосеевич? И учти, разговор сугубо между нами.

Было заметно, что вопросы Сибирцева попросту изумили кузнеца. Любое ожидал услышать, но такое... Он недоверчиво посмотрел на Сибирцева, хмыкнул, потом рассмеялся:

— Ну что ж, ежели про попа... так поп, он поп и есть. Брюхо набить — это он любит... Я-то сюды не хожу, чего мне тут. И баба моя тоже, почитай, до бога не шибко... Поп, говоришь... Ну, кады напьется — бывает его дело у него, — говорят, такое-то с амвона запустит, хоть святых выноси... — Он снова рассмеялся, ухватив себя за бороду. — Ну, а что до Егорки, так этот вовсе безвредная душа.

— М-да... — задумчиво протянул Сибирцев, уставясь глазами в темный, затянутый паутиной угол. — Твоими бы устами да мед пить... А где поп оружие прячет? Много оружия, по моим сведениям.

— Оружие?... — Кажется, до кузнеца дошла наконец серьезность вопроса. — А ты не ошибся, Михаил Александрович?

— Какая ж ошибка, если он сам давеча проговорился?

— Сам?

— То-то и оно, что сам. И организация у него имеется...

— Ах ты, мать честная... — протянул кузнец, словно тряпицу сжимая в мощных кулаках свой тяжелый кожаный фартук. — Вражина-то какая... А я, выходит, как есть дурак дураком...

— Ну, или вспомнил что?

— Не торопи, погодь малость... Дай-ка сообразить, подумать.

— Ладно, думай. Только не опоздай с думами-то...

Кузнец долго молчал, уставившись в пол, потом вдруг с размаху трахнул себя кулаком по коленке.

— Слышь-ка, Михаил Александрович, а ить вспомнил я... Отец-то Павел, было дело, зазывал к себе. Крест отковать, запоры поправить, ось, помню, ковал ему для брички. Один я в селе-то, все и ко мне, выручай, мол. Как не выручить, дело такое. Про меня кого хошь спроси, скажут: ежели Матвеева работа — стоять ей без срока. А тут сам заглянул в кузню, как бы мимоходом. Смазь ему, вишь ты, понадобилась. «А чего мазать-то?» — спрашиваю. «Да, — говорит, — бричка скрипит, нутро выворачивает». Я и говорю, что бричку дегтем надо, завсегда так делают. А он мне: «Душа, — говорит, — запаху не принимает. Чего бы, — говорит, — помягше, замки да запоры тоже скрипят». Была у меня банка веретенки фунтов на пять. Навроде ружейного масла. Показал ему. «Подойдет?» — говорю. Понюхал он, подумал, посумневался. «Давай, — говорит, — попробую». С тем и ушел, а после мясца прислал, самогонки, того-сего. Я еще, помню, сказал, что сам приду сделаю, а он говорит: Егорка все без пользы сидит, пушай, мол, делом займется... Так вот я и думаю, что эту веретенку мою, может, он к другому делу приспособил, а?

— Когда это было?

— А когда? Да пред пасхой. Я, помню, сказал, что у хорошего хозяина бричка-то с осени смазанная. А он рукой махнул.

— Та-ак... Ну, а дед Егор? С попом он или сам по себе? Кузнец поскреб пятерней затылок.

— Да кто ж его теперь поймет?..

— То-то, брат... Ты, я знаю, воевал. Где?

— Воевал-то? Да где только не воевал! И с японцем воевал, и с германцем. Попервости-то, вишь ты, обошлось. Цел и невредим вернулся. А германец — вот она, метка, — он ткнул пальцем в пустой глаз, — до самого гроба.

— К большевикам пришел на германской?

— На ей. А что?

— Интересно мне, как же ты — фронтовик, бывалый человек, большевик, надо полагать, убежденный, — так? — а в классовой борьбе — ни бельмеса? Не складывается что-то.

— Не, ты погодь. Как так — ни бельмеса? — насторожился кузнец. — Ты словами-то не шибко, ты объяснению давай!

— Могу и объяснить. Ты, Матвей Захарович, суть классовой борьбы понимаешь?

— Ну?

— Вот и расскажи мне про нее, применительно к нашему селу.

— А тут долго и говорить неча. Воротился я с фронта — это после госпиталя. Пришел в уком доложиться. А мне: вали, говорят, к своим волкам, коммунию строй. Прибыл, огляделся. С кем ее — коммунию-ту поднимать? С Егоркой? Мужик у нас не бедный, не. Он за свое хозяйство сам кому хошь глотку порвет. Потом Баулин с продотрядом прибыл. Ну, а после Шлепикова прислали и Зубкова, горластого. Это когда чрезвычайное положение объявилось. Робяты они ничего, только ж не местные, дела не знают. А нашего мужика глоткой не возьмешь. Он и Антонову не верит, и в коммунию не идет. А в укоме знай свое талдычут: давай коммунию! С кем же давать, хоть ты мне ответь? Я так думаю, что мужика нашего, тамбовского, нужно не в коммунию загонять силком, а с добром к нему. Вот те, мол, продналог, сей, братец, сколь хошь, а мы те не помеха. Однако и ты помоги Россее-то матушке.

— Да ведь оно нынче так и есть, — заметил Сибирцев.

— Так кабы спервоначалу-то. Может, и Антонов не гулял бы на воле. А оно вишь как вышло? Не наш мужик — он особый, с им терпенья ужаси сколько надо.

— Твоему мужику, между прочим, бедняку, середняку тому же, землю-то Советская власть дала.

— Да это мы понимаем.

— Понимаешь, но, видно, не совсем. Ну, ладно. Вот ты сказал: терпенье надо. Ты, значит, ждал, пока он одумается, а кулак да эсер его тем временем к себе перетягивали, где посулом, а где и кнутом. Но армию создали. Знаешь, сколько у Антонова было войска по вашей губернии? Пятьдесят тысяч. Понял, солдат? А как ты объяснял мужику, чтоб он Советскую власть защищал от Антонова, от тех бандитов, что ты собрался узлом завязать да в дерьме утопить, ты — большевик? Молчишь?..

— Ну, из наших-то которые из кулаков, те ушли, — неуверенно сказал кузнец. — А середняку вроде как ни к чему это дело. Он на хозяйстве сидит.

— Надо полагать, не твоя в том заслуга. А вот что поп твой контрреволюцию у тебя под носом разводит, тут уж, брат, извини, твоя вина. Проморгал.

— Поп — это того, действительно.

— Ну, а, скажем, ежели вот сегодня придется твоему середняку выбор делать, с кем будет?

— Как с кем? Землицу-то он не отдаст, ни в коем разе. С нами, значит.

— Считаешь, можно на него положиться?

Наблюдал Сибирцев за кузнецом и думал: вот как легко можно глупость сотворить. Бросили хорошего мужика как кутенка в воду — плыви. А он не умеет, барахтается без толку и пользы делу, того и гляди — потонет. Так нет чтоб руку протянуть, помочь, научить. Все, поди, только приказывают... А ведь он не так уж и не прав: середняк действительно сейчас в коммуны не пойдет, нечего ему с бедняками хороводиться, у него свое хозяйство налажено. Пока налажено. А что Матвей ему может предложить? Животину полудохлую да пару хомутов? Вековой уклад глоткой не перестроишь, тут мудрость нужна, но не тех мудрецов, что в уезде сидят и ни черта не смыслят в сути кулацкой агитации...

Но куда ж дед-то девался? Сибирцев выглянул во двор.

— Да он небось к попадье за самогонкой побег, — сказал кузнец, вставая. — Каменный дом на площади за сельсоветом видал? Его и есть. Отца Павла.

— А зачем к попадье?

— Ну как же? Гости, чай, пришли, как не угоститься? А своего-то — шиш, гол как мышь.

— Нет, я не угощаться пришел. Мне еще к вашему председателю зайти надо.

— Может, вдвоем зайдём? — предложил кузнец. — Он у нас...

— Не нужно, — перебил Сибирцев. — У меня с вашим батюшкой Павлом Родионовичем теперь свой союз наметился. И лишние глаза и уши только помешают. Потому, считаю, что и с тобой вместе нам пока не стоит появляться. Дальше — видно будет, а пока не следует. И еще один совет: давай-ка, брат, собирай тех, которые понадежней, да вооружай их. Есть хоть чем?

— Этого добра покуда хватит. Продармейцы помогли.

— Ну, и то дело. Дождемся Баулина, окончательно решим. Но времени не теряй. Думаю, лучшее заранее обезопаситься, чем на перекладине болтаться... А с дедом поговори насчет масла своего. Тебе узнать сподручней: мазал он или нет поповскую бричку или там замки-запоры. Ну, бывай, Матвей Захарович.

Выходя с церковного двора, Сибирцев снова обратил

внимание на добротные засовы на воротах, оценил толщину кирпичной, выше человеческого роста ограды. Прямотаки крепость.

У железной калитки едва не столкнулся с дедом Егором. Тот, бережно прижимая к груди, нес бутылку самогонки, заткнутую тряпицей. И глаза его радостно лучились, будто заработал он награду за великий подвиг.

— Михаил Ляксаныч, да куды ж эт ты, милай? А угощенью?

— Недосуг, Егор Федосеевич, уж извини. Как-нибудь в другой раз. К председателю надо.

— И-эх! — Дед аккуратно поставил бутылку на землю, утвердил ее, чтоб не опрокинулась, и только тогда с обидой взмахнул руками. — И на чё он те сдался? Гусак-та! Ого-го! Эге-ге! Тьфу, прости господи!..

— Не нравится тебе ваш председатель? — рассмеялся Сибирцев. Уж очень чудно передразнил дед еще незнакомого Сибирцеву человека.

— А он не девка, чтоб нравиться, — дед искоса, как-то хитро метнул дурашливый взгляд на Сибирцева. — Ну, ить как знашь, милый друг, я с чистой душой. А то б мы ее, голубушку! — Он поднял бутылку и ласково понес ее во двор.

Маша сидела на ступеньках высокого крыльца сельсовета, поджидая Сибирцева, и, откинув волосы, подставила лицо солнцу. Подходя, он пристально разглядывал девушку и чувствовал, как исчезает напряжение и невольно распрямляется спина.

К двадцати шести годам у Сибирцева сложились убеждения, соответствующие его опыту и делу, обозначенному двумя войнами и мерой личной ответственности в круговерти событий. И не то чтобы он категорически отрицал любовь, нет, он, скорее, определял ее для себя как чувство доброты и жалости к попавшему в беду человеку, будь то женщина или мужчина, друг или вовсе незнакомый ему страдающий человек. Это чувство диктовало необходимость немедленных защитительных действий, и, пожалуй, не более. Но теперь, высвеченное неожиданной тишиной и невольным сельским уединением, это чувство вылилось в странный парадокс: как если бы созданная им теория разваливалась именно от обилия фактов, подтверждающих ее.

Ему вдруг показалось, что совсем не в жалости нуждается Маша. Защита — другое дело, сильный должен всег-

да прикрывать собой слабого. Но Маше, видимо, нужна не просто его доброта, общая для всех, а нечто большее. Сибирцев чувствовал, что и ему становятся необходимыми присутствие девушки, резкая смена ее плавных и порывистых движений, ее матерински понимающий взгляд и ненавязчивая, нераздражающая забота.

«Был бы помоложе...» — с сожалением подумал Сибирцев и подавил невольный вздох. До сих пор жизнь убеждала его в собственной правоте...

В помещении сельсовета, куда Сибирцев вошел, опираясь на руку Маши, было по-казенному пусто и неуютно. Большая комната в пять окон по фасаду на улицу, — наверно, раньше ее называли парадной залой. Вся мебель состояла из двух самодельных столов — один по центру, другой сбоку, широких лавок вдоль стен и резного пузатого комода, оставшегося, скорее всего, от старых хозяев. Половину противоположной от окон стены занимала изразцовая печь.

В простенках между окнами висели истрепанные по краям, засиженные мухами плакаты двухгодичной давности: подобные видел Сибирцев еще в Иркутске. На одном — краснощекий молодец в шлеме-богатырке лихо бил ногой под зад лысого и скрюченного, потерявшего папаху адмирала Колчака, а на втором — брат-близнец того молодца втыкал штык в брюхо усатому толстяку в мундире с позументами и погонами явно деникинского происхождения. А поверху, под самым потолком, был протянут неумело написанный белилами по красному ситцу лозунг «Вся власть Советам!».

За главным столом, посередине, положив жилистые кулаки на пустую, не обремененную никакими бумагами, столешницу, сидел широкоплечий кудрявый парень в наглухо, несмотря на жару, застегнутом френче с накладными карманами. Светлые его волосы, казалось, слиплись от пота, фуражка кверху тульей лежала рядом, на столе. Он не встал навстречу Сибирцеву, словно чего-то ждал, сурово глядя в пространство.

После короткой паузы, во время которой они успели осмотреть друг друга, парень, не поднимаясь и не протягивая руки, с откровенной неприязнью произнес:

— Зубков. Председатель.

Председатель чего, он не добавил, видимо, будучи уверенным, что всем он и так должен быть известен.

— Сибирцев, — сухо представился и Михаил Александр-

рович. — Зашел вот познакомиться. Представиться. — И оглянулся в поисках стула.

Маша проследила за его взглядом и принесла от печки грубо сколоченную табуретку. Сибирцев благодарно кивнул, сел, несколько раз глубоко вздохнул и обернулся к Маше, не обращая никакого внимания на председателя сельсовета.

— Машенька, посидите пока на воздухе. Что вам тут с нами? Я скоро выйду.

Маша, по-девчоночьи обиженно оттопырив нижнюю губу, исподлобья взглянула на Зубкова и вышла, стараясь казаться гордой и независимой, покачивая подолом длинной юбки. «Вся в мать», — пряча улыбку, посмотрел ей вслед Сибирцев. А снова повернувшись к председателю, даже слегка опешил, ибо увидел в его глазах теперь уже совершенно открытую враждебность и трудно объяснимое торжество.

«Уж не решил ли он, что изловил беляка?» — мелькнуло у Сибирцева, но вдруг, трезво оценив ситуацию, он понял, что так, видимо, и есть. И не может быть иначе. Баулин, разумеется, этому Зубкову ничего не сказал, от услуг Матвея он сам только что отказался, а слухи о нем — Сибирцеве, говорил же Баулин, самые недвусмысленные.

— Чего живете-то скучно? — чтобы как-то разрядить обстановку, сказал Сибирцев первое, что пришло в голову, и кивнул на пожелтевшие плакаты.

— А тут не клуб, чтоб плясать! — отрезал председатель.

Сибирцев даже растерялся. Наверно, в первый раз в жизни он не знал, о чем говорить. Больше того, чем объяснить свой приход. Дурь какая-то... Может, правда, кликнуть Матвея? Нет, пожалуй, пока не стоит...

— Ну что, молчать пришел? — как хлыстом, рубанул председатель. — Где документ? Подавай сюда свой документ, кто ты есть такой!

— Нет у меня его с собой, — спокойно ответил Сибирцев.

— Правильно! — удовлетворенно воскликнул Зубков. — Нет и не может быть. Потому как знаешь, кто ты есть? Контра ты, вот кто! Я тебя сразу разгадал. Так-то, ваше благородие.

Сибирцев понял, что спорить с председателем бесполезно, и усмехнулся, вспомнив характеристики, которые

походя дали ему дед Егор и кузнец. Однако сам Зубков, видимо, расценил эту усмешку по-своему.

— Оружие где?

Сибирцев хмыкнул и показал палку. Зубков быстро подошел к нему, нагнулся и ловко обхлопал его карманы. Брякнул спичечный коробок.

— Нет оружия, — констатировал председатель. — Ну так вот, слушай. Я давно знал, кто ты и зачем тут. Лазутчик ты бандитский, беляк недобитый, дезертир, понял? Руки до тебя все не доходили. А теперь, вишь, и сам явился. Каяться захотел!

— А ежели ты ошибаешься, Зубков? А?

— Я-то? Не, не ошибаюсь. У меня на вашего брата нюх особый, революционный. Понял?.. Значит, познакомиться зашел? — странно ласково спросил он.

— Да уж нет, теперь охота пропала, — Сибирцев поднялся, опираясь на палку. — Пойду лучше домой. Или к деду Егору в храм. Самогонки выпью за твой революционный нюх.

— Во-во, — подхватил Зубков, — в самый те раз помолиться, потом не успеешь. Ступай, ступай!

Сибирцев повернулся, вышел в сени, но тут шедший следом Зубков крепко сжал его плечо. Сибирцев поморщился от боли.

— Пусти, черт бы тебя...

— Не, не туда ступай, а вот куда! — и Зубков толкнул его в сторону, в распахнутую узкую дверь. — Посиди в чулане, помолись за покой души.

— Скажи Маше, — повернул голову Сибирцев, — чтоб не волновалась и шла домой.

— Не твоя забота! — и снова грубый толчок в спину. — Да, спички отдавай! — Зубков забрал коробок, встряхнул его. — Богато живешь, ваше благородие. Ну, ничё, посидишь без курева. Знаю вас, гадов, готовы дом спалить и сами сгореть.

Хлопнула дверь, звякнул засов. Сибирцев огляделся. Узкий полутемный чулан с крохотным лазом вверху — для кошек, что ли? Охалка лежалого сена. Сибирцев, кряхтя, опустился на нее и боком привалился к стене. Ноги упирались в дверь. Душно, до кашля. Пахло пылью, мышами. Болела спина. Сибирцев попробовал расслабиться и закрыл глаза.

Сейчас он мысленно повторил весь короткий разговор с Зубковым и похвалил себя за то, что не упомянул име-

ни Баулина или Ныrkова. Уходя утром, Сибирцев запрягал в щель под террасой документы и наган. Правильно сделал. Оружие помогает лишь тогда, когда нельзя не стрелять. А документы ничего этому... действительно гусаку — надо же! — не скажут, скорее, наоборот, вызовут у него отрицательную реакцию...

Обостренным чутьем ощущал теперь Сибирцев движение подспудных сил здесь, в Мишарине. Иначе, чем объяснить ночное посещение попа и его скорый отъезд в неизвестном направлении, хотя, возможно, и к Маркелу? Или откровенную тревогу Баулина? Похоже, назревают нехорошие события даже в этой, богом забытой, глухомани, которую почему-то не принимал всерьез Илья. Тихо, мол, там. Разве что поп... За него хотел зацепиться. Ну вот, и зацепились. А что дальше?

Потом Сибирцев подумал, что этот непредвиденный арест может оказаться даже на руку. И для попа — хорошая наживка, и с Баулиным можно будет поговорить без свидетелей, не таясь... Главное, чтоб Машенька не испугалась, вот что...

8

Солнце стояло еще высоко, когда бричка с маху проскочила бродом мелководную Утицу и, взметнув веера брызг, вынеслась на взлобок. Взмыленные кони на виду села сбавили бешеный галоп и с заметным усилием подкатали бричку к сельсовету. Стали, бурно поводя боками. Подскакали верховые, с натугой сползли с седел и подошли к бричке, хрипло отплевываясь и покачиваясь на широко расставленных ногах.

— Хлопцы! — срывающимся, пересохшим голосом крикнул Ныркoв и показал на приоткрытые ворота сельсоветского двора. — Давай туда. Распрягайте да поведите, поведите, а то запалите коняг... Ну, Баулин, пошли в дом... Где хозяйева? — громко крикнул он, увидев на дверях увесистый замок.

На прощади появились несколько мужиков и баб, молча и отчужденно наблюдали за приезжими.

Баулин закинул за плечо короткий казачий карабин, который он до сих пор держал в руках, и побежал рысцой через площадь, но вдруг остановился, заметив в глубине улочки степенно шествующего Зубкова.

— Эй, живей сюда! — крикнул Баулин. Зубков в приветствии поднял руку, но шагу не прибавил. Баулин зло выругался сквозь зубы: «Вот же гусак, туды его кочерыжку!..»

Зубков приближался, блюдя достоинство председателя, уважая себя и подчеркивая это уважение жестами спокойными и значительными. Защитный френч и суконная фуражка со звездочкой, а также широченные галифе, заправленные в начищенные сапоги, делали его плотную и стройную фигуру действительно весьма значительной. Ему где-нибудь в городе цены бы не было, говорил не раз Баулин. Представитель, да и только. А тут, в селе, как называл его кто-то гусаком, так и прилепилось, хоть ты убейся.

Нырков, поигрывая плеткой, нетерпеливо прохаживался по галерее и неприязненно поглядывал на подходившего председателя.

— Ну? Ты где шатаешься? Почему замок на помещении, а? Где дежурный? — сразу засыпал вопросами Зубкова. — Черт, понимаешь, что за порядок!

Он не ответил на приветствие Зубкова, поднесшего ладонь к козырьку фуражки, на что председатель отреагировал по-своему. Он не стал вступать в пререкания, но молча и с полным пониманием собственного авторитета поднялся по ступеням и, вынув из кармана шикарных галифе худую связку ключей, открыл и снял замок. Распахнул дверь и, сделав приглашающий жест, первым вошел в помещение.

Баулин, Нырков и чекисты последовали за ним, тут же поскидали портупеи, куртки и фуражки на широкую лавку и расселись кто где, блаженно вытянув ноги.

Нырков устроился за боковым столом, достал из внутреннего кармана сложенную пополам тетрадку, карандаш и положил перед собой, как бы начиная чрезвычайное заседание. Мельком взглянул на Зубкова, занявшего свое председательское место, и неожиданно сказал ему:

— Я — Нырков. Усек?

Зубков кивнул и, сняв фуражку, положил ее на стол рядом с собой.

— Вопрос стоит один, — начал Нырков, нервно поглаживая лысину. — Идет банда. Количественный состав неясен, возможно, не больше сотни. Думаю, из тех, которые позавчера ушли от разгрома под Козловом. Кто их ведет — неизвестно. Так же, как их путь. Скорей всего, на

Сосновку и Моршанск, в общем, к железной дороге, а может, и свернут где-нибудь в сторону. Они нас видели — это плохо. А что мы их видели и даже положили нескольких — это хорошо. Наша задача: остановить банду, не пропустить и, по возможности, уничтожить. Все. Какие у нас для этого есть силы? Давай, Баулин, доложи товарищам, о чем мы с тобой говорили.

Баулин встал, подтянул брюки, поправил очки на переносице.

— Я считаю, Илья Иванович, надо Матвея позвать. Шлепикова-то нет, в Тамбове он, на конференции.

— Правильно. Зубков, распорядись.

— Второе, — продолжал Баулин. — Думаю срочно отрядить нарочных к соседям, продармейцев моих собрать и, может, даже у сосновских попросить подкрепления.

— Дело говоришь, согласен. Слышь, Зубков?

Зубков между тем поднялся, надел фуражку и подошел к окну.

— Ты чего там, Зубков? — Нырков повернулся к нему всем туловищем.

— Послать некого... за Матвеем, — недовольно пробурчал председатель.

— Так сам ступай! — Нырков грохнул кулаком по столу. — Сам давай, чтоб тебя!.. Мои хлопцы сутки с коня не слезали!

— Идет, — спокойно отозвался Зубков, не отрываясь от площади. — Вон он уже идет...

Нырков отвернулся и, глядя совершенно осоловелыми глазами на Баулина, помотал головой: ну и ну! Баулин в ответ обреченно пожал плечами.

Вошел кузнец, как был с утра — в фартуке. Его он тут же снял и кинул в угол. Склонил слегка голову.

— Тут уж слух по селу: власть прикатила, — он улыбнулся. — Вот зашел. Здравствуйте, товарищи.

Нырков привстал из-за стола и протянул ему ладонь, кузнец пожал ее.

— Садись, Матвей Захарыч, — сказал Баулин. — Неприятность у нас. Банда идет. Верстах в тридцати уже, думаю. Так что к вечеру ожидать гостей.

— Велика ли банда-то? — невозмутимо осведомился кузнец.

— По всему видать, сабель не меньше сотни.

— Многовато... — протянул кузнец. — Ну дак что ж делать? Надо... Я тута, товарищ Баулин, покуда с мужика-

ми-то нашими беседу провел. Оружью велел приготовить и чтоб по первому сигналу сюда. Верные мужики, ты их знаешь. Считай, два десятка наших. Да твоих бы собрать, да мы вот. Все сорок. По два бандюка на брата. Сдюжим, думаю, своими силами.

— Вот это да! Вот это ты молодец! — восхитился Баулин. — Когда ж успел-то? Как угадал?

— Да то не я угадал, — кузнец смущенно сграбастал в кулак бороду. — Тута один умный человек совет дал: чую, говорит, а сам как в воду глядел, вишь ты.

— Это кто ж такой? — вмешался Нырков.

— Да есть... — неохотно отозвался кузнец. — Вот товарищ Баулин знает его. Ждет он вас, товарищ Баулин.

Баулин с Нырковым переглянулись и понимающе кивнули друг другу.

— Вот закончим, — сказал Нырков, — и съездим.

— Я так считаю, — встрял Зубков, — что сперва надо допросить пленного беляка, бандитского лазутчика, а если не сознается, стенкой пригрозить. Заговорит.

— Где ж его взять? — хмыкнул Нырков и отвернулся, потеряв всякий интерес к Зубкову.

— А в чулане у меня сидит. Цельный день.

— В чулане? — подскочил Баулин. — Так что ж ты тянул? Давай его сюда!

Зубков снисходительно усмехнулся и вышел. Послышался скрежет засова, потом голос председателя: «Выходи, ваше благородие, давай, давай! И тут же в дверь, споткнувшись о порог, морщась и потирая глаза, вошел Сибирцев. Нырков мгновение глядел на него, потом перевел глаза на Зубкова, скользнул по присутствующим и сказал:

— Ну-ка, мужики, выйдите на улицу. А ты, Баулин, останься. И ты, Малышев. Ступайте гляньте, чтоб посторонних не было, а с беляком мы тут втроем поговорим.

Зубков, чекисты и Матвей Захарович вышли за дверь, плотно притворив ее.

Нырков, раскинув руки, бросился к Сибирцеву:

— Миша! Как же это тебя угораздило?

— Здоров, Илья! Да полегче, полегче ты... И что это вы все по больному норовите? — кисло улыбнулся Сибирцев. — Ты, что ль, Малышев? Живой?

— Я! — обрадовался Малышев и, гордый, обернулся к Баулину. — Признали!

Сибирцев машинально похлопал себя по карманам, на что Нырков немедленно отреагировал: добыл из кармана

тужурки коробку папирос «Дебек» и коробку спичек. Сибирцев оценил подарок, подбросил на ладони спички.

— И за спички спасибо, а то этот гусак отобрал их у меня. Пожару боялся.

Баулин усмехнулся.

— Ну, так что у тебя, Миша? — спросил Нырков, когда Сибирцев закурил и сел на лавку.

— Обо мне потом. Что у вас?

— Плохо, — отрезал Нырков и помрачнел.

— Банду мы обогнали, Михаил Александрович, едва проскочили, — сказал Баулин. — Похоже, к ночи тут будет.

Сибирцев отложил папиросу.

— Так... Значит, идут... Ну, где решили встречать банду? Сколько их?

— Под сотню, — глядя в стол, пробурчал Нырков.

— Много. А у нас?

— Десятка четыре будет. Если моих успеем собрать, — ответил Баулин. — Нарочных надо срочно посылать в Рождественское и Глуховку. И в Сосновку за подкреплением. А, Илья Иванович?

Нырков согласно кивнул.

— Погоди-ка, Баулин, — перебил Сибирцев. — Ты ж грандиозный митинг днями проводил. Сколько народу-то присутствовало? Полторы сотни. Сам писал? Сам. Почему же тогда сорок человек получается? Или ты отписку в уком давал?

— Ну зачем так, Михаил Александрович? Вы ж ситуацию знаете...

— Потому и говорю. Мне, например, Матвей Захарович другое сказывал. Что не отдадут мужики село бандитам. Дратся будут. Только поднять их надо. Объяснить, что идут волки, которые никого не пощадят. Вот и откликнутся мужики. Или у тебя нет такой уверенности? Кстати, зря его не оставили, кузнеца-то. Знакомы мы с ним.

— В колокол бы ударить, — сказал Баулин, помолчав. — Вояки они, конечно, никудышные, однако миром такую пальбу поднять можно, черт испугается. А Матвею я объясню про вас. Он поймет.

— Вот и пора поднять народ, пока не поздно. На митинге надо выступить Матвею Захаровичу, тебе. А вот Зубков пусть не лезет. Похоже, не очень любят его здесь, больно он важный.

— Пойду, — Баулин поднялся и направился к выходу.

— Что, Илья? — Сибирцев снова зажег спичку. — Нехо-

рошая складывается ситуация? Оружие у попа есть, я тебе писал, но где оно — неизвестно. Церковь я с утра основательно обследовал. Пусто там. Вот, кстати, ежели держать оборону, — лучше не придумать. Пулемет на колокольню, а стены пушкой не прошибешь. Да-а... Умчался «святой-то отец», с утра пораньше. Есть подозрение — в Сосновку. Там у него, оказывается, свояк имеется. Маркелом зовут. Он в Совете служит. Не слыхал о таком?

Нырков отрицательно покачал головой.

— Ладно, разберемся позже. — Сибирцев подошел к окну, долго наблюдал за площадью. — Знаешь что, Илья, ве-зи-ка ты меня, брат, вроде как арестованного, в усадьбу. Для отвода глаз и пока народ не собрался. Потом решим, где мне находиться, с вами или вовсе наоборот. А ты, Малышев, располагайся с ребятами здесь, отдохните. Ночь, по всему видать, будет нелегкая...

Бричку они остановили, едва съехав с бугра, и, заведя коней в приречные заросли, до калитки пошли пешком. Илья прихватил из-под сиденья вещевой мешок.

Измученная ожиданием, Маша с радостью бросилась от террасы навстречу Сибирцеву, но еще больше обрадовалась, узнав рядом с ним козловского доктора. Довольный Нырков подмигнул Сибирцеву, и тот понимающе кивнул, мол, пусть все остается так, как есть.

— С вами что-нибудь случилось, Михаил Александрович? — нетерпеливо спросила девушка, и Сибирцев заметил, что у нее слезы выступили на глазах. — Весь день вас не было... А потом этот сердитый председатель буквально прогнал меня, так грубо, зло...

— Ничего не поделаешь, Машенька. Назревают большие неприятности, — сухо вато ответил Сибирцев и обернулся к Ныркову. — Между прочим, Илья, об этом, — он взглядом показал на усадьбу, — тоже думать надо. Ну, пойдем, — и пошел по дорожке к дому.

Елена Алексеевна, перегнувшись через перила террасы и молитвенно сложив на груди ладони, укоризненно качала головой.

— Ай-я-яй, нехорошо, Михаил Александрович. Что ж это вы весь-то день пропадаете? Мы же беспокоимся. Я даже готова предположить, что, уйдя без завтрака, вы так и не удосужились поесть. Ох, уж эти мужские дела! — В ней так неожиданно проявилось кокетство, что Нырков, поклонившись ей, легонько хмыкнул, сдерживая улыбку.

— Познакомьтесь, пожалуйста, Елена Алексеевна, это— доктор, который меня лечил в Козлове.

— Очень приятно, здравствуйте, доктор, — Елена Алексеевна высоко, как для поцелуя, протянула руку.

Нырков шаркнул ногой и слегка пожал ладонь.

— Тут, кстати, — сказал он, кладя вещевой мешок в чалку, — кое-какая пища и газеты. Что ты просил, Миша.

— Потом пробегу, когда время будет. Спасибо, Илья, узнаю, чем мир дышит. Машенька, Елена Алексеевна, нам надо поговорить, доктор меня посмотрит, а вы пока, может быть, приготовите чего-нибудь пожевать? Вообще-то, есть хочется, спасу нет.

«Вот откуда это выражение у Маши, — поняла Елена Алексеевна. — Тянется к нему, даже невольно копирует его речь... Ах, дай-то бог!..»

Сибирцев с Нырковым уединились, сели друг против друга, невесело переглянулись.

— Ну, давай выкладывай свои соображения про нашего попа, — Нырков снова достал тетрадку и карандаш и положил перед собой.

Соображения... Услышав о банде, Сибирцев понял, что многое, продуманное им еще вчера, нынче, в связи с бандитским налетом, наверняка разрушится. Первый вопрос: есть ли какая-нибудь взаимосвязь между бандой и попом? Или это случайное совпадение? Если простое совпадение, то попа необходимо всеми силами удержать от контактов с бандитами. Тут любой аргумент подойдет, скажем, такой: банду могут уничтожить, но связь с ней, даже короткая, непременно его скомпрометирует, а в дальнейшем вскрыет всю агентуру. Законспирированное, готовое к действию подполье дороже сотни случайных головорезов. Нельзя делать ставку на случай. Но это к примеру. Если же банда идет сюда по вызову отца Павла, тогда положение совсем скверное. Значит, поп уже всесторонне подготовился и его люди ждут только сигнала. Против них без крепкой посторонней помощи не устоять. Тогда коммунистам и всем сочувствующим надо уходить. И уходить немедленно. Сопротивление ничего, кроме бесполезной гибели, не принесет. И вместе с тем именно ему — Сибирцеву — необходимо устанавливать связь с попом, и незамедлительно. Но того еще нет в Мишарине. Где ж его черт носит?..

И второй вопрос — он был сугубо личный — касался Маши и Елены Алексеевны. Сибирцеву и в голову не при-

ходило хоть на миг оставить этих женщин в селе, занятом бандитами. Их следовало срочно куда-нибудь увезти. Но куда? И согласятся ли они еще?

Сибирцев подробно рассказывал Ныркуву, как он обследовал церковь, о чем говорил с дедом Егором и кузнецом.

— Да, кстати, а фельдшер у тебя как, размотался? — спросил Сибирцев.

— Размотаться-то размотался, да вижу, что выдал он нам рыбью мелочь. О главном не сказал. Ничего, будем живы — узнаем. Теперь уж скажет.

— Поп считает, что арест Медведева может провалить всю их организацию.

— Это ты хорошо сделал, что сказал ему об аресте. Они сейчас забегают и наверняка наделают ошибок... Ах, Миша, кабы не эта банда!.. Ну, давай уточнять, кто чем займется.

Ударил колокол, и звук его, тягучий и тревожный, поплыл над Мишарином.

— Посидим, — спокойно заметил Илья. — У меня там пока особых дел нет.

Зашла, постучавшись, Маша и пригласила обедать. Мужчины поднялись и пошли вслед за ней на кухню мыть руки, причем намыливали их под рукомойником новым куском серого, похожего на глину, мыла, привезенного Нырковым. Пены этот кусок почти не давал, зато дух от него шел пронзительный, как в лазарете.

Елена Алексеевна накрыла стол на террасе. И хоть тарелки были разнокалиберные, и обед состоял все из того же зеленого, щавелевого с крапивой, борща на тушенке, а на второе — пшенная каша-концентрат, тем не менее каждый сидящий ощущал какую-то торжественность, приподнятость, необычность уж во всяком случае.

Только в самом конце обеда, отодвинув пустую тарелку, аккуратно подчищенную хлебной корочкой, и откинувшись на стуле, Сибирцев решил перейти к делу. Поглядывая на Илью, словно испрашивая поддержки, он коротко рассказал о бандитах, что вот-вот могут ворваться в село. Нет, их конечно же встретят и постараются не пропустить, однако же будет лучше, если женщины на время покинут усадьбу. Мало ли что может случиться: вдруг какому-нибудь озверевшему бандиту взбредет в голову... Что взбредет, Сибирцев не сказал, полагая, что и так все поняли.

Елена Алексеевна отнеслась к услышанному неожиданно спокойно. Только подняв от стола свое большое отеч-

ное лицо, отрешенно, как о постороннем, сказала, что ей теперь бояться поздно, а вот Машу надо обязательно увезти. И лучше всего, если о ней позаботится Михаил Александрович. Она надеется, что он не оставит Машу, ну, а им с Дуняшкой — двум старухам — куда уж уходить из родного-то гнезда. Да и бог милостив, поди, обойдется.

Маша, естественно, заявила, что без матери она и шагу не ступит.

Разгорелся спор, долгий и, в сущности, бессмысленный, о том, что страшно, а что — нет, чья жизнь дороже — громкий семейный спор, в котором абсолютно прав каждый, потому что каждый меньше всего думал о себе самом и его могли заботить и волновать лишь безопасность и здоровье ближнего. Уже и слезы появились на глазах у Маши, дряблым и отчужденным стало лицо Елены Алексеевны.

Вечерело. Солнце в последний раз обожгло оранжевым огнем широкие половицы террасы и ушло за дом. Взглянув на карманные часы, Илья Нырков тем самым обратил внимание всех присутствующих, что время уходит бесполезно и надо приходить хоть к какому-то приемлемому решению. Устал настаивать, убедившись в бесполезности своих суждений, и Сибирцев.

Маша поднялась и, вытерев рукавом красные глаза, стала убирать со стола посуду. Расстроенная, Елена Алексеевна ушла на кухню.

Сибирцев и Нырков спустились по ступенькам в сад и, медленно двигаясь к калитке, заговорили наконец о самом главном в настоящий момент.

— По всему выходит, что мне, брат, надо тут оставаться, — словно подвел итог разговорам Сибирцев.

— Это почему же? — шепотом возмутился Илья.

— А потому, что в пользу такого решения есть два веских аргумента... Даже целых три, если хочешь.

— Ну, — возразил Илья. — Выкладывай.

— А вот какие. Давай по порядку. Ты как полагаешь, мандат, выданный мне Главсибштабом «Крестьянского союза» стоит чего-нибудь? Сотня бандитов — это тебе не сто уголовников, собранных вместе. Это, скорее всего, войсковая часть, подчиненная какому-то своему начальству или, возможно, вышедшая из его подчинения. В любом случае там есть командир, атаман или какой-нибудь черт в ступе, не важно. Документ, считай, подлинный, тут, в Мишарине, я никакими дурными — с их точки зрения — связями не опорочен. Знакомство с попом только на руку. А что

ты или там Зубков меня допрашивали — это в порядке вещей.

Теперь дальше. Там, за церковной оградой, в случае рукопашной, помощи от меня, считаю, никакой. А здесь же, напротив, могу не только узнавать о том, что бандиты замышляют, но и, по возможности, где-то направлять их действия. В конце концов устроить им с вашей помощью ловушку. Опять же, и женщинам рядом со мной будет грозить меньшая опасность. В принципе-то, конечно, как еще повернется. Все от меня будет зависеть. Вот тебе уже два аргумента. И третий: если объявится Павел Родионович, — Сибирцев усмехнулся, — пора мне перестать называть его попом, так вот, если вдруг он здесь появится, только я смогу раскрыть его противосоветские действия. Понимаешь? Он ведь, между прочим, уже возгласил с амвона, что грядет сюда сила великая. Может, иносказательно, а может, и вовсе по делу, имей в виду. Короче, дальше — мое дело. Ну, не убедил?

Нырков снял фуражку и вытер лысину своим клетчатым платком. Сибирцев проследил за его жестом и добавил с улыбкой:

— Ты бы, Илья, не показывал платка-то. Тебя ж по нему любая собака узнает. Всей губернии этот твой платок известен.

— Да-да, — спохватился Илья и спрятал платок, но видно было, что думал он совсем о другом. — Честно скажу, Миша, есть резон в твоих словах, однако боязно за тебя. Я же не рассказывал, как с меня за твои подвиги штаны снимали.

— А ну-ка! — словно обрадовался Сибирцев.

— Это совсем не весело, — отмахнулся Нырков. — Потом когда-нибудь. Ну, да не в этом дело. К сожалению, говорю, есть резон в том, что ты предлагаешь... А как же я тебе безопасность-то смогу обеспечить? Вот вопрос.

— Да ты что, Илья? Как раз самую лучшую безопасность и обеспечишь, ежели ни сном ни духом — понимаешь? — ничем не будешь связан со мной. А стрелять я, коли нужда случится, сумею, ты знаешь.

За кустами, у ограды, слышались негромкие голоса. Чекисты притихли. Люди прошли мимо, но вскоре снова раздались шаги, потом шорох кустарника и легкий кашель. Нырков, закрыв собой Сибирцева, выхватил наган.

— Спокойно, Илья Иванович, — сказал из кустов знакомый голос. — Я это, — Баулин раздвинул ветки. — Поди-ка

сюда. И вы тоже, Михаил Александрович. Тут нас никто не накроет... Значит, слушайте, докладываю: митинг мы провели. Короткий. По-военному. Многие мужики согласные, что банду в село пускать нельзя. Зубков вскрыл свой лабаз и раздал оружие. В общем, уже сейчас мы с полсотни людей имеем. Да мои, глядишь, подлетят. Малышева твоего я, Илья Иваныч, на колокольню отправил с пулеметом. Видимость, скажу тебе, отменная. И вот сейчас дозор у речки поставил. Также твоего одного и из деревенских — сочувствующего. Они предупредят, ежели что... А вы чего порешили?

— Мы-то? — Нырков оторвал листик сирени, пожевал и, сморщившись, выплюнул. — Он тут останется. Усек?

— Чего ж не понять? Это дело мы понимаем. Так, значит... Ну, тогда прощевай покуда, неизвестный товарищ, а мы с тобой, Илья Иваныч, давай-ка в село. Оборону держать.

— Вы в случае чего — в церковь. Пушкой не возьмут... И последнее: установите самое пристальное наблюдение за поповским домом. И если появится «святой отец», немедленно, слышите, немедленно и любым способом дайте мне знать. Меня не найдете, тогда через Машу. Считай, Баулин, это приказом. Понял? — строго сказал Сибирцев. Баулин ни с того ни с сего негромко рассмеялся. Сибирцев с Нырковым опешили.

— Что с тобой, рехнулся? — Илья подозрительно посмотрел на него.

— Да нет, забыл вам сказать, заходил я к попу-то. Но его не было дома, кухарка открыла, она и сказала. Я, значит: «А кто из хозяев есть?» Она: «Сама дома». Ну, говорю: «Зови сюда». Выплыла. Видали бы вы! Во баба! — Баулин поднял ладонь выше своей головы. Во! Во! — Он показал, какие у нее бедра и бюст. — Лет тридцати с чем-нибудь, думаю. Хороша баба! Царица! На лицо приятная... Да...

— Варвара Дмитриевна ее зовут, — заметил Сибирцев.

— Да? «Имейте, — говорю, — в виду, сюда может скоро банда пожаловать. Так она никого не пощадит». — «Нам, — отвечает, — это не грозит. Церковь, говорит, выше политики. Это вы воюете, а мы о душе заботимся». — «Смотрите, — говорю, — потом будете пенять на себя. Они мимо таких, как вы, значит, не проходят». Так она мне на дверь показала. «Ступайте, — говорит, — отседова и боль-

ше никогда не возвращайтесь». Чего делать-то? Я и ушел. Да, баба такая, что сама любую банду уложит. Вот бы к нам ее...

— Все, что ль? — Сибирцев нахмурился.

— Все, а что?

— Ну, ладно, давайте прощаться. Ты потом, Илья, ежели чего, о Маше побеспокойся.

Илья помрачнел.

— А это, — Сибирцев раскрыл бумажник, извлеченный перед обедом из тайника в террасе, и вынул мандат, подписанный Дзержинским, — ты его сохрани, однако, в случае чего, сам знаешь, как с ним поступить. — Он пожал Ныркову руку и добавил с усмешкой: — И платок свой спрячь подальше...

Маша сидела на ступеньках крыльца, сжав лицо ладонями. Сибирцев подошел, присел рядом, положил ей ладонь на плечо и почувствовал, как девушка вздрогнула.

— Машенька, — сказал он после паузы, — сейчас я вам скажу кое-что, а вы это крепко запомните. Можно?

Маша подняла к нему большие, в наступающих сумерках, и темные глаза и пристально, с глубокой затаенной болью посмотрела на него.

— Доктор уехал в Сосновку. Он проездом тут был, посмотреть меня. Сказал, что все хорошо и дело пошло на поправку. Я — бывший белый офицер, друг вашего брата — и все. Я через доктора кинул вам весточку, вы меня взяли на излечение... Вот это же все должна знать и ваша мама. И ни слова больше. Вы меня поняли? Вы сами должны сказать ей об этом, чтобы она поверила, если есть какие-то сомнения... Иначе всем нам может быть крышка.

Девушка внимательно, словно впервые узнавая, глядела на него и безмолвно кивала.

— И еще одно обстоятельство. Мне необходимо найти в вашем доме какое-то убежище, чтобы его никто, кроме вас, не знал. Вспомните, пожалуйста, детство, куда вы прятались от родителей? Такое место, повторяю, чтоб ни одна живая душа не отыскала. Ни одна.

Маша положила легкую, вздрагивающую ладошку на его сжатый, упертый в колено кулак.

— Хорошо, я покажу вам такое место. Пойдемте ко мне в мансарду.

Пришла ночь. Спала дневная духота, посвежело. Из низины потянуло туманом, легким таким, чем-то напоминающим дымок от малого костра. Один за другим гасли огоньки в домах, и устанавливалась тишина недоброго, напряженного ожидания. Даже собаки перестали брехать. Застыли, всматриваясь в темноту, дозорные в церковном дворе, на крыше и колокольне, в помещении сельсовета заняли свои посты вооруженные люди, притаились, нечаянно мелькая огоньком самокрутки и настороженно покашливая. А ночь шла. Майские ночи коротки. И вскоре уже, должно быть, просветлело на востоке, потому что проявились темные силуэты крыш и деревьев. Вот тут и потянуло в сон по-настоящему.

Баулин с Матвеем обошли посты, постояли молча посреди площади, вольно дыша прохладным воздухом, пахнущим улегшейся пылью и ароматом отцветающей в низине сирени, и разошлись по своим местам: комиссар — в сельсовет, а кузнец — на колокольню.

Не раздеваясь, только слегка отпустив ремень, лежал на кровати Сибирцев и чутко прислушивался к ночным звукам, доносящимся сквозь приоткрытое окно. Дверь на террасу была заложена щеколдой. Невольный арест и полдневное лежание в чулане, как видно, обернулись пользой: тогда духота сморила и кинула в сон, а теперь не было его ни в одном глазу. Слабо шелестела сирень в саду. Где-то подальше, может быть в кроне лип, возились и негромко попискивали ночные пичуги. Но все это были обычные мирные звуки, они лаской и покоем отдавались в ушах. Сибирцев же томительно выискивал и ждал только те, которые должны были нести с собой страдания и большую беду. Возможно, это будет осторожный и оттого пронзительно громкий в ночи скрип разошедшейся ступеньки под вкрадчивым сапогом или быстрый, скользко рвущийся шепот, короткий, как вспышка, звук металла, отдаленное конское ржание или оборванный, предсмертный всхлип убитого человека. Казалось, весь жизненный опыт солдата и чекиста Сибирцева сфокусировался сейчас в слухе, в ожидании глухого, в туманной пойме, или звонко треснувшего, на взлобке, винтовочного выстрела. Но — тишина. Она успокаивала, и, чтобы не расслабиться, не забыться, Сибирцев вспоминал и думал, сдерживая дыхание и глядя в темный потолок.

Просмотренные вечером газеты, целую кипу которых привез Нырков, обрадовали, конечно, но и заставляли крепко задуматься о будущем. Напечатанные на тонкой, почти папиросной бумаге, сведения из всех уездов Тамбовской губернии, из Москвы, Петрограда, из-за границы говорили о том, что битва, и тайная, и явная, не прекращается ни на миг. С одной стороны, собравшиеся на митинг, скажем, в Борисоглебске четыреста дезертиров клянутся искупить свою вину перед республикой, а в это же время комитет эсеровской партии приглашает членов бывшей «учредилочки» приехать в Париж для того, чтобы объявить о создании нового русского правительства. Это ж надо! В каждом номере короткие некрологи и сообщения об убийствах местных, советских и партийных работников. Вот и недавно ворвались антоновцы в деревню Токаревку, резали рты, ремни со спин, икры, кололи глаза. «Все убитые товарищи, — пишет газета, — не коммунисты, а беспартийные. Но оголтелая банда не щадит никого мало-мальски прикосновенного к рабоче-крестьянской власти». Но это бандиты, понятно. А в Моршанске революционный военный трибунал приговорил милиционера Сосновского района Фомина — это уж вовсе рядом, где-то, считай, под боком, — к расстрелу. Бандит Фомин, оказалось, виновен в самоличных обысках, грабежах и мародерстве. Вишь, как получается. Они — эти Фомины — понимают, что Советская власть, конечно, побеждает, ну и стремятся проникнуть на ответственные посты. Не важно какие, им лишь бы власть. Сколько еще всего менять придется, сколько потерь впереди...

Страна понемногу налаживает жизнь свою. Но бедность, нищета... Вот в Козлове, на очередном субботнике, домашними хозяйками починена тысяча штук красноармейского белья. Вишь, чего достигли! А в Константинополе спекулянты перепродают друг другу разные суда русского флота. И бывший министр Врангеля официально заявил, что военный флот будет передан Франции для возмещения ее расходов по содержанию врангелевских войск. В самой же Франции проходят демонстрации в поддержку Советской России, вспыхнуло революционное движение в Китае и Японии, волнения в Индии, бастуют английские углекопы.

Мир бурлит в преддверии мировой революции. И России бы сейчас — самое время! — вовсю засучить рукава, кабы не антоновщина.

Или вот еще заметка: «Съезд русских черносотенцев и

монархистов состоялся в Баварии, так как Пруссия признала невозможным допустить его в своих пределах». «Что ж это за народ такой в Баварии? — размышлял Сибирцев. — Глухой, слепой? Пиво, сосиски — сытый бюргер? Неужели страшная прошедшая война его ничему так и не научила? Обыватель там, вот кто. И наш, российский, он тоже, вишь ты, пробрался на газетную полосу». Эти две небольшие заметки как ножом полоснули Сибирцева.

«В то время как по всей стране происходит хозяйственный подъем, чинят, организуют, строят народное хозяйство, у нас в городе происходит обратное явление: все разрушается и загрязняется. Вот если вы пройдете по бывшей Покровской улице, то увидите, как разбирается обывателями на дрова дом № 18, но которой мог бы быть отремонтирован. Вот и другой факт: сломали у нас на базаре лавки, а ямы не засыпали, теперь туда валят что попало: и навоз, и мусор из выгребных ям, и кал, и тому подобное. Все это высыхает и разносится ветром, распространяя кругом заразу.

Не спите, кому это ведать надлежит.

Обыватель».

И другая: «Правда ли, что нечистоты, вытекающие со двора общежития Поарма, заражают зловонием Петроградскую и Советскую улицы? Правда ли, что коммунальным отделом запечатаны все уборные и помойные ямы в гостинице № 4 и уполномоченный по очистке города т. Щербаков уже две недели посылает туда ассенизационный обоз? А жильцам приходится таскать нечистоты за полверсты от гостиницы на базар? Все это правда, конечно, только нужно это устранить. Когда же это будет устранено? Завтра, завтра... или таки сегодня?..

Спевшиеся».

Вот они — все эти спевшиеся, усмотревшие, любопытные, участвующие — обыватели. Губерния в огне, в крови, так бери топор, лопату, делай, помогай, строй, разгребай же... Нет, он усмотрел, и с него будет. Его хата с краю. Живуч, будь он проклят...

Рассказ Ильи о бригаде Котовского дал Сибирцеву больше всех газет, вместе взятых, да и не все в них можно писать из того, что хочется слышать. Свежими, опытными кадрами усилены политотделы, чека, милиция, местные советские органы. Огромная помощь. Вся страна,

только вчера, как говорится, вышвырнувшая Врангеля, заключившая мир с Польшей, лежащая в дымящихся еще развалинах, слала на охваченную восстанием Тамбовщину учителей и врачей, медикаменты и продовольствие, одежду и обувь.

Конференция беспартийных, крестьян-бедняков, съезд учителей, конференция домашних хозяек, собрания рабочих железнодорожных мастерских — и всюду одна резолюция: нет — Антонову! Да, теперь уж точно — нет. Но без крови он не уйдет. И потому слушай сегодня ночь, Сибирцев, может быть, это будет самая трудная, самая тяжелая ночь в твоей жизни...

Тайник, который показала Сибирцеву Маша, его вполне устраивал бы: почти не приметная дверца выводила из мансарды, где была Машина комнатка, на обширный чердак. И там, среди старой и теперь никому не нужной мебели, досок и ящиков, можно было бы довольно прилично устроиться. Если бы бандитам пришло в голову производить на чердаке обыск, то прежде, чем здесь кого-то найдут, пройдет целый день, столько нагромождено тут всякого барахла. Но скверно другое, и это решило вопрос: лестница так обветшала, что спуститься по ней бесшумно практически невозможно. Коли уж Машины легкие шаги отдаются скрипами да стонами по всему дому, то что говорить о Сибирцеве. Прятаться в какой-либо из комнат бесполезно, найдут запросто. Все, что сделал Сибирцев, это отнес на чердак свой полушубок и вещевой мешок, а остановился пока на самом простом варианте. Окно в его комнате заплетено выющимися растениями, глухой кустарник вдоль всей стены. Окно невысоко — даже подтягиваться особенно не нужно. Уйти наружу через него он всегда успеет, тем же путем нетрудно и возвратиться в дом.

Захотелось курить. В комнате этого делать не следовало: табачный дух легко угадывался бы всяким, вошедшим с улицы. Сибирцев поднялся, на ощупь встряхнул постель, убирая вмятину от своего тела, и подошел к окну, чтобы выбраться в сад. И тут раздался осторожный скрип.

Сперва Сибирцев решил, что скрипнула ставня окна. Но скрип повторился, и шел он с террасы. Кто-то в темноте искал дверь, наткнулся на стол, чертыхнулся сквозь зубы, дернул за ручку, звякнула металлическая щеколда. Пора. Сибирцев снял наган с предохранителя и, перекинув ногу через подоконник, бесшумно сполз на землю, притворив за собой ставни.

В двух шагах от него, отделенные кустом разросшейся сирени, молча прошли трое или четверо человек — не успел сосчитать — по направлению к террасе.

Прижимаясь спиной к стене дома, Сибирцев скользнул следом за ними. Осторожно, чтобы не хрустнуло, пробуя землю сапогом.

— Власенко! — услышал он негромкий голос.

— Тута я, — отозвался человек с террасы.

— Ну, открыл? — спросил первый.

— Не, атаман, задвижка, хрен ее возьмешь. Ломать треба.

— Я те дам ломать, Власенко! Чтоб мне без шума! — громче, чем следовало бы, прикрикнул человек, которого Власенко назвал атаманом. И голос его показался Сибирцеву знакомым. Слышал его уже Сибирцев. Но кто, кто? Взглянуть бы... Нет, не мог вспомнить.

— Ступай проверь с той стороны. Там должен быть второй вход, через кухню. И не греми!

«Этот человек знает дом и знает, где у него входы-выходы, — размышлял Сибирцев. — Значит, он из местных. Вот, наверное, почему мне и знаком его голос». Но как ни напрягал память Сибирцев, вспомнить не мог. Оставалось ждать, благо никто пока по кустам не шнырял. А в том, что это бандиты, уже никакого сомнения не было. Хорошего человека атаманом не назовут.

Неожиданно хлопнуло окошко наверху, и Машин голос громко и возмущенно спросил:

— Эй, что там за люди и что вам надо?

Короткий топот сапог, щелчок затвора. Сибирцев выпрямился и поднял наган.

— Маша? — как-то растерянно и слабо прозвучал вопрос с террасы. — Машка! Машенька!..

Мертвая тишина, и оттуда, сверху, снова услышал Сибирцев.

— Яков? Ты?.. — Страх, даже ужас, а может, и отчаяние, смешанное с невероятной радостью, — все это перемешалось в двух словах: «Яков» и «ты».

— Я, Маша, я, живой-невредимый! Открывай скорей! — голос атамана задрожал.

Сибирцева словно обухом по темени треснуло. Яков? Не может быть... Его нет. Но он же сам только что слышал и узнал, конечно узнал, этот голос. Правда, стал он грубей, с хрипотцой, но это действительно голос Якова Сивачева, Яши, расстрелянного семеновской контрразведкой год на-

зад, в феврале двадцатого года. «Постой! — приказал сам себе Сибирцев. — Спокойно, думать надо».

— Эй, свету! — приказал атаман.

Кто-то зажег свечу в стеклянном фонаре, поднял над головой, высветив остальных. Всего их было пятеро. Мгновение спустя распахнулась дверь, и вышла Маша, замерла, прижав ладони к груди. Один из пятерых рванулся ей навстречу и схватил в объятия.

— Маша, Машенька... — будто в забытьи повторял он.

Маша, услышал Сибирцев, заплакала навзрыд.

— Постой, пусти меня, — срывающимся голосом сказала Маша. — Я пойду маме скажу... Мама же умрет от радости.

— Мама... — эхом повторил Яков. Он повернул голову к свету, и Сибирцев увидел, что перед ним в самом деле Яша Сивачев, только возмужавший, с обтянутыми худыми скулами, но это он.

Как же так, Яков — и вдруг бандит, атаман? Все перемешалось в голове у Сибирцева. Может быть, все-таки произошла какая-то ошибка? Может, показалось, и не атаман он, может, это слышалось Сибирцеву, ждал бандитов, нервы напряжены, вот и ослышался, показалось...

Яков подошел к краю террасы, пригнув голову, взгляделся в темноту, будто хотел увидеть Сибирцева, потом громко вздохнул и повернулся к своим.

— Ну, докладывай, ты, Игнат. Что у тебя?

— Обнаружили мы их с Ефимом. У самого брода. Они, значить, сигарку запалили, тута мы их накрыли. А боле никого.

«Бандиты», — окончательно понял Сибирцев.

— Хорошо, молодцы. Власенко! — Из тени вышел рослый худощавый казак в фуражке. — Давай заводи людей в усадьбу, пусть пока тут, в саду, сосредоточатся. А сам бери вот Игната с Ефимом, еще двух-трех казаков, да к церкви. Нет, погоди. Пока собирай людей. Но смотри, чтоб ни одна собака не унюхала.

Сивачев взял фонарь и, махнув всем остальным рукой, шагнул в дом, притворив за собой дверь. Казаки затопали по ступенькам.

Сибирцев, воспользовавшись шумом, змеей проскользнул обратно, к своему окну. Приподнял голову и увидел колеблющийся свет в зале. Там, слышно, что-то упало, похоже стул, потом раздался прямо-таки нечеловеческий, какой-то утробный вскрик:

— Яша! Сынок! — и падение тела.

«Мать», — понял Сибирцев, наверно, в обморок упала. В голове у него была полная каша. Все, что угодно, мог предполагать Сибирцев, но только не встречу здесь, в этом доме, с Яковом Сивачевым, действительно убитым, Кунгуров об этом говорил. Помнит же Сибирцев... Что же делать?

Между тем в доме снова слышались рыдания. Они постепенно стихли, и тогда Сибирцев услышал наконец то, чего он ждал.

— Яков, — заговорила Маша, и голос ее напрягся. — Ты — кто? Скажи мне честно. Может, ты бандит?

Яков как-то странно, с натугой рассмеялся. Очень искусственный получился у него смех.

— Ты с ума сошла, Машка... Ну какой же я бандит?.. А что ты слышала про бандитов?

Сибирцев замер.

— Я слышала, что сюда идет банда.

— Кто тебе сказал?

— Мне? Ну, это сейчас не важно, в селе говорят. Люди проезжие предупредили. Так кто же ты тогда?

— Предупредили, говоришь?..

— Яша, Яшенька, родной мой! — всхлипнула очнувшаяся Елена Алексеевна. — Живой, кровинушка моя! Я не верила, не верила, что тебя нет... Живой!

— Подожди, мама, — перебила Маша. — Ты мне не ответил, Яков.

— Машка, да что с тобой? Ты что, не рада меня видеть? — В голосе Сивачева прозвучала растерянность. — Мы, между прочим, сюда пришли, чтобы уничтожить бандитов. Понятно тебе? Только вот не знаем, где сейчас местное начальство, где... — он запнулся, — наши? Много их?

Маша молчала. Как хотел помочь ей Сибирцев!.. Но оставалось только затаиться и слушать. Слушать...

— Откуда же я знаю?.. Я из дому не выхожу... Много, наверно.

— А где они, в церкви засели или в другом месте? Где сельсовет? А?

— Не знаю, Яша... Ничего не знаю...

— Яшенька! — это снова Елена Алексеевна. — Господи, дождались наконец. Маша, а где же?..

— Мама! — перебила Маша, и голос ее зазвенел. — Подожди, я сама! Яша, а почему же вы ночью, как воры?..

С террасы слышался громкий стук. Сивачев прошел

через комнату, где спал Сибирцев, и открыл дверь, впус­тив Власенко. Его силуэт четко обрисовался на фоне освещенного дверного проема в зал. Они подошли почти к самому окну, под которым притаился Сибирцев, и негромко заговорили.

— Ничего не удалось узнать, — пробормотал Сивачев. — Говорит, много... Черт его знает!.. Придется тебе, Власенко, языка добывать. Душу из него вынь, но узнай, какие тут силы и где они. Узнаешь, сразу подтягивай за собой казачков. Перед самым рассветом ударим. Вот уже светлеет маленько. Начинайте по обстоятельствам, без меня. Сегодня твоя ночь, Власенко.

Власенко молча выслушал атамана, молча же повернулся и ушел, затворив дверь.

В саду уже отчетливо слышались топот ног, фыркание лошадей, звенели уздечки, приглушенный говор. Видимо, казаки уже собрались тут и ждали только сигнала. Как же предупредить-то своих? Вся надежда на то, что там, у церкви, не такие раззявы, как те покойники у брода. Там не заснут и сигарками размахивать не станут.

— Ну, так о чем ты собиралась рассказать! — снова заговорил Сивачев, вернувшись в зал.

— Я? — удивилась Маша. — Не помню. Это ты не ответил на мой вопрос. Почему вы, как воры?

— Маша, что ты говоришь! — вмешалась мать.

— Какие воры? — возмутился Яков. — Не твоего это ума дело, Маша. Военная тайна.

— Тайна? Ну, хорошо, пусть так... Дело в том, Яков, что нам... Вернее, мне сообщили, что ты погиб... как герой, где-то там на Дальнем Востоке. И твои часы передали... Понимаешь?

— Какие часы?

— Твои. То есть папины, ну те, что у тебя были... Вот мы и решили, что тебя нет... И теперь так неожиданно...

— Кто передал? — голос Сивачева напрягся.

— Твой товарищ. Был и передал.

— Какой товарищ? Ничего не понимаю. Мама, о чем она говорит? Погиб, передали часы — чепуха какая-то. Может быть, ты?..

— Мама! — снова воскликнула Маша. — Я не вижу, Яков, что тебе неясно. Ты хочешь знать, как зовут твоего товарища? Отвечу: Михаил Александрович Сибирцев. Вы же с ним вместе были.

— Сибирцев? — протянул Сивачев. — Убей не помню. А где он?

— Ты разве его не помнишь, Яков? — медленно спросила Маша.

— Я спрашиваю: где он? Отвечай! Где ты его видела?

— Успокойся, Яков, — устало и тихо ответила Маша, — его здесь уже нет.

— Нет?.. — Сивачев, видно, успокоился, помолчал и после паузы сказал небрежно: — Ну, нет так нет. Жаль, хотелось бы с ним увидеться. Давно мы с ним расстались... Так это он, выходит, меня похоронил? А ты, что же, Машка, желала бы видеть меня мертвым?

Ответа не последовало.

Сибирцев не видел ничего: ни, вероятно, изумленной Елены Алексеевны, ни, судя по сказанному, помертвевших глаз Машеньки, которая конечно же поняла, кто такой Яков, и теперь сама хоронила его уже навсегда, ни выражения лица Якова. Интонации донесли до него суть той трагедии, которая разворачивалась в доме.

Маша... Он скрывал от нее, молчал, а она все-все понимала. Разобралась сама и теперь открылась перед Сибирцевым всем своим мужеством. Ах, Машенька, за что же тебе-то такое горе, за какие грехи?..

— Мама, — снова заговорила Маша, — ты сегодня очень устала. Идем спать. А Яша от нас теперь не уйдет, правда, Яков? Ты ведь больше не бросишь нас с мамой? Ну, вот и хорошо. Помоги мне маму уложить. Идем, мамочка. А утром и поговорим, и порадуетесь.

Свет ушел из зала. Видно, Маша с братом повели мать по коридору в ее спальню. Сибирцев беззвучно раскрыл ставни и, перевалившись через подоконник, подтянулся в комнату. Закрыв за собой ставни и, неслышно подойдя к двери, задвинул щеколду. Где-то в глубине дома слышались голоса, но слов Сибирцев разобрать не мог. Наконец снова из коридора показался свет, и Яков с Машей вошли в зал. Сивачев сел на стул, вытянул ноги.

— Ну, а теперь, Мария, рассказывай мне все. Все как есть. Обещаю тебе также все рассказать. Ничего не утаю... Так, где и при каких обстоятельствах ты видела этого Сибирцева? Что он тебе про меня говорил?

В этот миг тишину разорвал залп. Следом за беспорядочными винтовочными выстрелами затрещал пулемет. Донеслись крики, ржание — и все слилось в едином громе ночного боя.

Сивачев вскочил со стула, распахнул ставни, ударом вышиб окно в зале и перевесился через подоконник, пытаясь, видимо, определить, что происходит в центре села.

— Что это, Яков? — вскрикнула Маша.

— Что? — удивился Яков. — Наверно, напали бандиты, о которых ты слышала, и теперь мы ведем с ними бой. — В его словах послышалась откровенная издевка.

Маша тяжело опустилась на стул, уронив лицо на руки. Сивачев захлопнул ставни и сел напротив.

— Ну, так что же Сибирцев? — усмехнулся он.

— Здесь я, Сивачев, — негромко сказал Сибирцев, входя в зал. — Руки, руки, — спокойно добавил он, поднимая наган и видя, как Яков схватился за кобуру. — Встать!

Сивачев медленно поднялся, держа раскрытые ладони на уровне плеч.

Маша, подняв глаза, с ужасом переводила взгляд с Сибирцева на брата.

— А теперь, Сивачев, расстегни ремень и сбрось портупею. Одно лишнее движение — стреляю. Точка.

Яков медленно снял ремень с кобурой, бросил на пол.

— Два шага назад! — скомандовал Сибирцев, потом подошел и, не отводя от Якова нагана, поднял его сбрую, расстегнул кобуру и, вынув сивачевский наган, сунул себе в брючный карман, а ремень отбросил в сторону.

— Маша, могу я с ним поговорить один на один?

— Конечно, Михаил Александрович, — тусклым голосом сказала Маша и сделала попытку встать. Потом, опустив голову, она оттолкнулась двумя руками от стула и медленно, через силу пошла скрипучими ступеньками к себе наверх.

Сибирцев плотно прикрыл обе двери — в коридор и в свою комнату, подвинул стул ближе к керосиновой лампе, которую, оказывается, зажгли (а он думал, что сидели со свечой), и кивнул Сивачеву на стул.

— Ну, Сивачев, а теперь рассказывай. Все мне рассказывай, бандит Яков Сивачев.

Ротмистр Кунгуров приехал к Сибирцеву, едва рассвело. Тяжелая ночь, в которой были и сумасшедший проигрыш, и обильное возлияние, казалось, вовсе не отразилась на нем. Разве что выдавали зеленоватая кожа обтянутых

щек и нервно сжатые сухие губы с подрагивающим в уголке рта изжеванным мундштуком папиросы. Даже в разговоре не вынимал ее изо рта, небрежно рассыпая пепел. Сибирцев же чувствовал себя нехорошо: выигрыш и необходимое разудалое гостеприимство сделали свое дело.

«Во рту так кисло, — пошутил он, — будто там переночевал эскадрон гусар вместе с конями».

Кунгуров скривил губы в улыбке, но глаза его были насторожены и безулыбчивы. По этому взгляду Сибирцев понял, что ротмистр пуст. И все эти вчерашние застольные разговоры об офицерской чести, о долге — сплошной блеф.

Другое было причиной столь раннего визита. И, чтобы сразу прояснить для себя это второе, главное, Сибирцев решил избавиться от первого, которое определенно смущало Кунгурова, а неудобство, испытываемое в настоящий момент контрразведчиком и ставящее его в зависимое от Сибирцева положение, никоим образом не должно было влиять на то другое, ради чего прибыл ротмистр. Сибирцев решил опередить гостя. Потирая виски и морщась, он указал на кресло и сделал ладонью жест, призывающий к молчанию, а затем, раскрыв створки буфета, достал оттуда початую бутылку коньяку и пару хрустальных фужеров, похожих на рубчатые ручные гранаты. В них он влил коньяк и, перенеся через всю комнату, протянул один Кунгурову, присевшему в кресло. Молча чокнулся с ним — раздался мелодичный звон, так же молча, залпом, проглотил коньяк.

Кунгуров проследил унылым взглядом и, швырнув в пепельницу окурок, опрокинул в рот свой фужер. Помолчали, глядя в окно на сырой рассвет. Ротмистр достал новую папиросу и закурил.

— О! — Сибирцев вяло хлопнул себя по лбу. — Совсем позабыл. — Он снова подошел к буфету и достал оттуда плоскую тарелку с нарезанным подсыхающим лимоном, присыпанным сахарной пудрой. — Прошу... Анатолий Николаевич Пепеляев, правда, со ссылкой на своего приятеля князя Голицына, помню, рассказывал, что Николай Александрович, покойный государь и ваш тезка, Николя, всегда коньяк закусывал лимоном под сахарной пудрой. Говорят, он сам придумал сию закуску, только поверх сахара посыпал еще толченым кофе... Не знаю, не знаю, а по мне эта кислятина... — Он взял лимонную дольку, оббил сахар о край тарелки и стал, морщась, жевать. — Где-то сейчас наш

храбрый генерал Анатолий Николаевич?.. Я слышал, он чуть ли не в Якутске?

— Примерно, — отозвался Кунгуров.

— Боже, холодина-то какая... — Сибирцев выплюнул лимонную кожуру. — Вот уж не позавидуешь... Я давеча хотел вас предупредить, Николя, — продолжал Сибирцев, не отрывая взгляда от раскисшей февральской улицы, — чтобы вы не особенно беспокоились. Все мы люди, все под богом ходим. Да и невелика сумма, чтобы голову ломать. Так что будем считать вопрос исчерпанным... Но как вам нравится этот Жердев? Премерзкий тип. Жаль, что нынче не восемнадцатый год. И мы не в Омске...

Кунгуров нервно барабанил сухими пальцами по подлокотнику кресла.

— Что Жердева связывает со Скипетровым, как вы считаете?

— Кутежи, Николя. Большой знаток.

— А к чему это он постоянно фрондирует? У нас ведь, знаете, есть закон: обрати внимание на того, кто старается остаться в тени, но трижды присмотришься к тому, кто лезет на рожон.

Сибирцев неопределенно пожал плечами.

— Должен вам заметить, Мишель, — сипло сказал ротмистр, — что я действительно нахожусь в несколько стесненных обстоятельствах. Однако...

— Э, полноте, полноте, друг мой, — перебил Сибирцев. — Я же сказал, что вопрос исчерпан. Оставим это. Уж нам-то что делить?..

— С вашего разрешения, Мишель, я ведь к вам еще и по делу.

— Господь с вами, Николя, — поморщился Сибирцев и встал. — В такое гнусное утро...

— Что поделаешь? — вздохнул контрразведчик. — Понимаю вас, — он попробовал усмехнуться, но усмешка получилась кривая. — С другой стороны, как вы догадываетесь, мы предпочитаем приглашать к себе в учреждение. Но, питая к вам искренние чувства, я решил, так сказать, тет-а-тет. Не по службе.

— Что ж, — шутливо-скорбно вздохнул Сибирцев, — ценю ваше доверие. Я весь внимание, господин ротмистр.

— Ах, оставьте этот тон, Мишель. Дело-то ведь действительно серьезное. Присядьте, сделайте одолжение. — Он подождал, пока Сибирцев снова сел напротив и закурил. — Прошу вас учесть, что разговор сугубо конфиденциальный...

Наше учреждение заинтересовалось одним человеком, который, судя по собранным данным, имеет самое непосредственное отношение к красному подполью. Должен сразу сказать, что улики достаточно веские.

Сибирцев снова пожал плечами, как бы спрашивая, причем тут он-то.

— Вы, вероятно, знаете его, Мишель.

— Вполне возможно. Но кто это, если не секрет?

— От вас у меня нет секретов, — подчеркнул ротмистр. — Это некто Сивачев, из отдела шифровальщиков.

— Сивачев? — протянул Сибирцев. — Не исключено, Николая. Каков он из себя, напомните.

Ротмистр натянуто улыбнулся одними губами.

— Каков? — повторил он. — То-то и оно, что никак. Рост средний, черты лица правильные, глаза серые. Подпоручик... Впрочем, я готов его предъявить вам очно.

— Если это необходимо... — Сибирцев вздохнул. — Но в чем должна заключаться моя миссия? Оpoznать, и все? Или еще что-нибудь?

— Главная неприятность в том, Мишель, что в числе людей, которых он знает, он назвал и вашу фамилию.

— Ну какая ж это неприятность? — удивился Сибирцев. — Вполне вероятно, что по долгу своей службы этот ваш шифровальщик — так? — знает многих, в том числе, не исключено, и вас, и самого Григория Михайловича. Вы же понимаете, что такое штабная работа? Знать все и обо всех. К сожалению, немало народу по какой-то абсолютно для меня непонятной причине считает необходимым вмешиваться в сугубо ваши прерогативы. Вы не можете мне объяснить почему? Что это — особая какая-то страсть или всеобщее помешательство на почве шпиономании?

— Возможно, вы правы, Мишель, — сухо заметил контрразведчик. — Но мне не хотелось бы углубляться в абстрактные рассуждения. Поставьте себя на мое место — и вы поймете, что поводов для беспокойства, если не сказать жестче, более чем достаточно.

— Согласен. Однако и вы, господин ротмистр, поставив себя на мое место, сочтете себя, мягко выражаясь, оскорбленным. Полагаю, что мой послужной список дает мне право так думать. Покойный адмирал...

— Оставим покойного.

— Есть немало других, включая нашего атамана, а также хорошо вам известного полковника Скипетрова. Я уж не говорю о Дмитрие Леонидовиче Хорвате, Вологодском,

Путилове, Калмыкове наконец. Вот видите, я называю вам самых разных людей, у которых вам нетрудно навести обо мне справки. И потом, почему я должен в чем-то оправдываться? — Сибирцев неприязненно смотрел на Кунгурова.

— Мне не оправдания нужны, Мишель, — примирительно сказал Кунгуров, видимо, названные фамилии произвели на него впечатление, — а ваша помощь. Вы меня неверно поняли.

— Помощь — другое дело, — сразу остыл Сибирцев. — Еще коньяку?

— С удовольствием, — буркнул Кунгуров, — только, с вашего позволения, не такими лошадиными дозами.

— Это как желаете, — рассмеялся Сибирцев. — Но я, знаете ли, предпочитаю именно ударную дозу. Привычка, Николя. Еще с германской. А позже у адмирала, мы, как ни старались, не смогли себя приучить к благословенному домашнему быту, неспешным беседам и тонким винам.

Он откупорил новую бутылку и, налив себе полфужера, подвинул бутылку Кунгурову. Поднял свой фужер и, вертя его за ножку, стал рассматривать коньяк на свет.

— Вы бы не торопились, Мишель, — сказал Кунгуров, чувствуя, что Сибирцев может опьянеть.

— Нализаться? — усмехнулся Сибирцев. — А что еще прикажете делать, Николя?

— Вернемся к нашему разговору.

— Сухой вы человек, ротмистр, — вздохнул Сибирцев и отставил фужер. — Ну, слушаю вас.

— Мне нужно, чтобы вы вспомнили, где и когда встречались с Сивачевым и о чем могли говорить. Иными словами, какие сведения, если таковые были, мог он почерпнуть из ваших разговоров.

— Боюсь, что помощь моя будет невелика, — помолчав, сказал Сибирцев. — Ну, во-первых, я его, честно говоря, никак не вспомню... Хотя... Надо увидеть. А во-вторых... Что я мог выболтать? А черт его знает?.. Полагаю, ничего достойного внимания. Мы ведь с вами, Николя, принадлежим к тому поколению, которое научили держать язык за зубами. Правда, при моем общительном характере... Нет, не думаю.

— Я мог бы вам предъявить этого Сивачева. Может быть, вспомните?

— Делайте, как считаете нужным.

— Тогда поедemте.

— Может быть, выпьем?

— Если можно, позже.

И они поехали в контрразведку.

Комната, куда они вошли с Кунгуровым, была полутемной, низкой и сырой. Свет, казалось, с трудом просачивался в узкое, забранное решеткой окно. Кунгуров повернул выключатель, и под потолком вспыхнула пыльная тусклая лампочка без абажура.

— Садитесь, Мишель. — Кунгуров показал на широкую скамью у стены. — Сейчас его приведут, и я вас оставлю на минутку. Постарайтесь вспомнить.

Посреди комнаты стояла привинченная к полу табуретка. На нее, вероятно, должен был сесть Яков. Обитая железом дверь с волчком. Оттуда Кунгуров будет наблюдать за ними. Удобная позиция. Поэтому ни одного лишнего слова, ни одного неосторожного движения, ни одного жеста.

Послышались тяжелые шаги. Тягуче заскрипела дверь, и двое солдат ввели человека в истерзанной, окровавленной рубашке. Он сел на табуретку, держа руки за спиной. Солдаты вышли, закрыв за собой дверь.

Наступила тягостная, до звона в ушах, тишина. Скрипнула табуретка. Сибирцев услышал тяжелое, прерывистое дыхание арестованного. Ничто в нем не напоминало Якова. Спутанные грязные волосы, опухшее от кровоподтеков лицо.

Двумя руками оттолкнувшись от скамьи, Сибирцев поднялся, шагнул ближе. Арестованный медленно поднял голову, и Сибирцев чуть не вскрикнул: он увидел почерневшие от боли Яшины глаза. В них было только тупое, покорное, животное равнодушие, и больше ничего. Никаких чувств. Яков бессмысленно посмотрел на Сибирцева, и голова его поникла. Сибирцев постоял еще мгновение и повернулся к двери. Она тотчас отворилась, и вошли солдаты. Один из них взял Якова за плечо, он послушно поднялся и, с трудом передвигая ноги, пошел из комнаты, не оборачиваясь и не поднимая головы.

Вошел Кунгуров, пытливо взглянул на Сибирцева:

— Узнали, Мишель?

— Ну и поработали вы... — Сибирцев сглотнул комок в горле. — Конечно, узнал.

— Служба, — пожал плечами Кунгуров. — Что скажете?

— Может быть, не здесь? — Сибирцев брезгливо огляделся.

— Не возражаю, — охотно подхватил контрразведчик. — Поднимемся ко мне.

В кабинете Кунгурова, беззвукно обставленном пышной мебелью, Сибирцев позволил себе слегка расслабиться. Слегка, ибо понимал, что сейчас начнется второй допрос. Он развалился, закинув ногу на ногу, в широком и низком кресле и, после разрешающего кивка хозяина кабинета, закурил. Кунгуров и сам вставил в угол рта папиросу, но не зажег ее, а подвинул пепельницу Сибирцеву.

— Дайте чего-нибудь выпить, — небрежно бросил Сибирцев.

Кунгуров тут же сделал какое-то непонятное движение рукой, и в кабинет вошел солдат. Кунгуров молча кивнул ему, и тот достал из шкафа точно такую же, как у Сибирцева, бутылку «Мартея» и, откупорив ее, поставил на край широкого письменного стола вместе с двумя небольшими серебряными рюмочками. Кунгуров снова кивнул, и солдат вышел.

Сибирцев курил, пуская дым в лепной потолок.

— Прошу, Мишель, — пригласил Кунгуров, но тут же словно спохватился: — Виноват, виноват...

Он подошел к шкафу и достал из него фужер, взглянул на свет: чистый ли? Поставил рядом с рюмками, налил наполовину.

— Хозяин должен помнить привычки гостя, — и капнул себе в рюмку. — Прошу.

Выпили. Сибирцев молчал, так же рассматривая потолок и чувствуя нетерпение контрразведчика.

— Кажется, я могу вам кое в чем помочь, — наконец сказал Сибирцев. — Не уверен, что это то, что вам нужно, но... кто знает?.. Помните, в прошлом декабре... нет, уже в январе, когда примчался этот наш сумасшедший Скипетров, Григорий Михайлович готовил иркутскую акцию? Вы помните, по поводу нашего несчастного адмирала... Так вот. Я зашел к шифровальщикам и, если не ошибаюсь, говорил с ним, с Сивачевым, о скором наступлении... Он мне, кстати, казался вполне приличным человеком.

Сибирцев рассказывал контрразведчику об одной из секретных акций по спасению Колчака из Иркутской губернии. Она готовилась в строжайшей тайне, но именно поэтому была известна даже нижним чинам, никакого отношения к штабу не имеющим.

— Так вот, если Сивачев оттуда, — Сибирцев пальцем показал под свое кресло, — то я теперь понимаю, почему это дело с треском провалилось.

Кунгуров внимательно смотрел на Сибирцева и сообра-

жал, правду он говорит или валяет дурака. Но Сибирцев был серьезен и даже заметно удручен.

— Но почему именно с ним возник этот разговор? — спросил контрразведчик.

— Ах, Николя, — Сибирцев слабо махнул ладонью. — Вы же понимаете... Видимо, я что-то сказал об адмирале. Сивачев посочувствовал. Вы прекрасно знаете о моем отношении к Александру Васильевичу... Я сказал — он посочувствовал. Сочувствие в наше время — единственное, что осталось из всех естественных человеческих проявлений. Падки мы на него. Думаю, поэтому. Впрочем, не помню. Хотя разговор такой, если не ошибаюсь, был.

Сибирцев достал из внутреннего кармана выигранные вчера у ротмистра часы и, щелкнув крышкой, посмотрел время.

— А что, — сказал он, пряча часы обратно, — не закатиться ли нам куда-нибудь позавтракать? Если вы, разумеется, свободны?

Кунгуров проследил за его движением.

— Вы с ним говорили о чем-нибудь?

— Я же сказал, — удивился Сибирцев.

— Нет, сейчас.

— Помилуйте, о чем?.. Я даже не уверен, узнал ли он меня, так вы его обработали...

— Между прочим, — помедлив, словно решился Кунгуров, — это его часы.

— Как?!

— Да-да, его, — губы Кунгурова зло скривились. — Взяты при обыске.

Сибирцев непонимающе уставился ему в глаза. Потом достал часы, несколько раз машинально щелкнул крышкой.

— Вы хотите сказать?..

— Нет, успокойтесь, — ротмистр невинно усмехнулся. — Они ему больше уже не понадобятся.

— Николя... — Сибирцев осуждающе покачал головой. — Да если б я знал...

— Вы же сами заметили, что в нашей жизни мало человеческих ценностей, — цинично бросил контрразведчик. — Ценностей, достойных внимания. Конечно, я мог бы и не играть на них. Но что поделаешь? — вздохнул он. — Игра... азарт...

— Ну, — после паузы сказал Сибирцев, — я полагаю, вы не собираетесь выставлять их в качестве улики? Впрочем, — добавил он тут же, — вы можете их у меня выкупить. —

И, заметив, как окаменело лицо Кунгурова, закончил: — Хотя, не скрою, они остались бы приятной памятью о нашем с вами знакомстве.

— Сделанного не воротишь, — махнул рукой Кунгуров. Он, возможно, уже осуждал себя за откровенность.

— Но я так и не понял вас. Что же, улики против этого несчастного так серьезны?

— Не скрою, да.

— Жаль, — пробормотал Сибирцев. — Всегда неприятно разочаровываться в людях. Даже если их почти не знаешь.

— Почти не знаешь, — со значением повторил Кунгуров. — Так куда вы меня повезете завтракать?

«Проиграл ты, Кунгуров, — подумал Сибирцев. — И твой многозначительный тон тебе не поможет...»

В тот же день он совершил непростительную ошибку. Напив Кунгурова до бессознательного состояния, Сибирцев отвез его домой, а сам помчался в управление Китайско-Восточной железной дороги, где после расформирования отряда «орловцев» в качестве помощника самого Путилова подвизался Володька Михеев. Это был единственный адрес, по которому Сибирцев не должен был никогда, ни при каких обстоятельствах появляться. Но вызывать Михеева на связь и ждать его Сибирцев не мог: перед ним стояли глаза Яши Сивачева. И он представлял себе, что эти мерзавцы из контрразведки сделали с дядькой Федорчуком.

Разговор состоялся короткий, но очень неприятный. Сибирцев потом краснел, вспоминая о нем: как мог он допустить такое вызывающее мальчишество и поддаться панике. Однако ведь речь шла о жизни человека, которого кунгуровские садисты могли замучить с минуты на минуту. Розовощекий, всегда веселый Михеев был на этот раз, казалось, вне себя от ярости. Понимая побуждения Сибирцева, он тем не менее высказал ему все, что думал по поводу такого поразительного нарушения конспирации. В конце он рассказал о страшной судьбе арестованного машиниста Федорчука, буквально растерзанного палачами, и о том, что уже дважды предпринимались попытки извлечь арестованных из контрразведки. Но обе попытки окончились трагически. Первый, шедший с крупной суммой денег для подкупа охраны, погиб в неожиданно вспыхнувшей перестрелке, а второй попросту угодил в лапы Кунгурова. И с тех пор о нем ничего не известно.

Михеев предупредил также, что Сибирцеву надо быть

готовым к исчезновению. Приказ из Центра мог последовать в любую минуту. И действительно, такой приказ пришел через полтора месяца, в середине апреля. Сибирцеву было предложено выехать в район Читы, где разгорелись серьезные бои, для инспекции, и там он, что называется, пропал без вести. Он ушел, хотя ему казалось, что интерес контрразведки к нему уже начал ослабевать. Порой Сибирцев думал, что столь скорое и безоговорочное решение Центра было в какой-то мере связано и с его явным нарушением требований конспирации...

Но это было уже потом. А в те февральские дни Кунгуров цепко держал его под своим наблюдением. И то, что после посещения им Михеева не последовало никаких акций, можно было объяснить лишь чистой случайностью. Может быть, даже тем, что в тот вечер Кунгуров был мертвецки пьян.

Через несколько дней после очной ставки с Сивачевым Кунгуров, якобы случайно встретившись в штабе с Сибирцевым, взял его за рукав и, отведя в угол, доверительно сообщил:

— Пришлось пустить в расход.

— Кого? — не понял Сибирцев.

— Ну, этого нашего Сивачева. Никакого от него толку, — контрразведчик впился в Сибирцева глазами. — А то его чуть было не выкрали у нас. Даже деньги хорошие предлагали. Видно, кому-то он был еще нужен...

Сибирцев равнодушно пожал плечами.

— Это ваша работа, — и, не попрощавшись, отвернулся, чтоб идти по своим делам. — Да, кстати, — сказал он уже от двери, — тут полковник все интересовался: отдали вы долг или нет. Я сказал, что отдали.

Вечером, запершись в своем номере, Сибирцев достал Яшин «Мозер» и долго, прижав к груди, покачивал цепочкой, словно хотел согреть своим теплом холодный металл.

11

Перед рассветом Нырков с Баулиным вышли на галерею подышать свежим воздухом. Бессонная ночь и напряженное ожидание бандитского налета отложили отпечаток на их почерневших небритых лицах.

— Малышев бы не заснул, — Илья кивнул на темный силуэт колокольни. — Самый сон сейчас, о-хо-хо! — Он, широко и сладко причмокнув, зевнул.

— Не, не заснет, — тут же зевнул Баулин и улыбнулся: — Заразил ты меня, Илья Иванович. С ним там Матвей. Железный мужик... Тихо что-то...

— Вот и жди беды, — потирая слезящиеся глаза, буркнул Нырков. — Слышь, Баулин, а ты сосновских кого знаешь?

— Не так чтобы... бывал там. А что?

— Я вот думаю, не шибко мы с тобой сообразили.

— Это почему же?

— Есть там такой Маркел? Он вроде в Совете работает.

— Маркел? Дай вспомнить... А кем он там?

— Не знаю.

— Может, секретарем состоит? Нет, секретарь у них — баба. А, есть, вспомнил! Это который транспортом ведает. Точно, Маркелом его зовут. Он еще нам подводы выделял. Заметный мужик, высокий, чернявый. А чего он тебе, Илья Иванович?

— Свояк он попу-то нашему, вот что.

— Ну да?.. — недоверчиво протянул Баулин. — Выходит, тоже контра? А может, нет?

— Я так думаю, что если он пользуется в Совете влиянием, помощи от сосновских нам не ждать. Только зря нарочного погнажи.

— Не, не согласен я, Илья Иванович, народ там крепкий, наш.

— Поглядим, — Нырков задумчиво побарабанил пальцами по перилам. — Однако надо быть готовым ко всему... Мужики-то собрались?

— Там они, — Баулин кивнул на храм. — За церковной оградой. Ну, а которые по домам. Но тоже наготове. По первому выстрелу.

— Светает... Давай, Баулин, буди ребят. Чует сердце, с минуты на минуту ждать гостей... Постой! — Нырков заметил неясные еще фигуры нескольких людей, что двигались по улице к площади, прижимаясь к плетню. — Гляди, быстро! — шепотом подозвал Баулина. — Наши или нет?

Баулин поправил очки, присмотрелся, а Нырков выхватил наган.

— Кажись, они, Илья Иванович, — прошептал Баулин. — Гости.

И сейчас же хлопнул выстрел. Пуля впиалась в деревянную колонну галереи рядом с головой Ныркова. Он присел.

— Проспал Малышев, сукин сын! — выругался он и метнулся в дверь. — В ружье! — крикнул сорвавшимся

голосом. — Где же твой дозор, Баулин, чтоб тебя!..

Зазвенели разбитые стекла. На площадь махом с дикими криками и визгом вынесло десятка три всадников, беспорядочно стрелявших по окнам сонных домов.

— Малышев!.. — застонал в бессильной ярости Нырков, и в ту же минуту с колокольни по площади ударила длинная пулеметная очередь.

Всадники закрутились, завертелись, ринулись в разные стороны, оставив на площади добрый десяток лошадиных трупов. От них, как тараканы, расползались спешенные бандиты. Только теперь осознал Нырков, что бой уже идет, но он никак не мог ухватить и понять его общую картину и потому злился. По ползущим фигурам били из-за ограды, стреляли из пустых оконных проемов сельсовета чекисты и Баулин со своими продармейцами.

— Молодец, Малышев! — тяжело выдохнул Нырков. — В самый раз врезал... Стрелять прицельно! — обозленный собственной растерянностью, крикнул он, поднимая наган и наводя его на уползающего бандита. Наган дернулся от выстрела, и бандит замер.

Выстрелы скоро прекратились.

Посреди площади била передними копытами и пронзительно ржала упавшая на круп лошадь. Одиночный выстрел из-за ограды прекратил ее ржание. Стало тихо.

Помещение затянуло кислым пороховым дымом.

— Все целы? — оглядываясь, спросил Нырков.

— Все, Илья Иванович! — весело отозвался Баулин.

— Нечего скалиться! — огрызнулся Нырков. — Давай занимай круговую оборону, это только начало... За мной, на чердак!

Они поднялись на чердак и через слуховое окно выбрались на крышу. Железные листы были холодные и мокрые от росы. «Обзор хороший», — подумал Нырков, распластываясь за слуховым окном.

Небо стало розоветь. Видимость улучшилась. Теперь только внимательно глядеть по сторонам, не прозевать.

— Ползут, товарищ Нырков... — услышал он сдержанный шепот.

— Где? — Нырков обернулся.

— Вон, — показал продармеец, худенький белобрысый парнишка, — с огородов подбираются. Сзаду.

— Дай винтарь, — Нырков забрал у него винтовку.

Он увидел, как заколыхались заросли конопли, на миг показалась голова и спряталась. Он прицелился и, просле-

див движение ползущего бандита, нажал на курок. Громко вскрикнул и застонал раненый.

— Держи, — отдал винтовку хозяину. — Выцеливай спокойно и не зевай. Понял?

Продармеец, громыхая по крыше тяжелыми ботинками, уполз на другой ее скат, выходящий во двор.

Новой атаки пришлось ждать недолго. Как и в первый раз, но теперь уже с двух сторон на площадь вынеслись казаки. Их было больше, однако дружная стрельба засевших за оградой мужиков и пулемет на колокольне сдержали и этот напор. Примерно половина верховых устремилась к церкви, чтобы приступом взять ворота, но их скоро отогнали. Остальные же ринулись к сельсовету, и им, несмотря на сильный заградительный огонь, удалось прорваться к самому дому. Укрытые галереей и дворовыми пристройками, они оказались недосыгаемыми для осажденных в доме и на крыше. Кроме того, бандиты ворвались в соседние дома и повели оттуда нечастый, но прицельный огонь. По железной крыше защелкали пули.

«Пора отсюда убираться, — подумал Нырков. — Похоже, они уже поняли, что на испуг нас не возьмешь. Могут перестрелять, как воробьев».

И вовремя. Едва подумал, как услышал удары и треск разламываемых досок. Видимо, бандиты хотели прорваться в лабаз на нижнем этаже. Если ворвутся, их оттуда трудно будет выкурить.

— Сергеев! — негромко окликнул он лежащего неподалеку чекиста. — Давай всех с крыши в дом. И приготовить гранаты.

Скрип отдираемой доски полоснул его словно ножом. Он отцепил от пояса гранату и, подобравшись ползком к самому краю крыши, с хеканьем швырнул ее вниз. Громыхнул взрыв, захлебнулся матерной бранью крик внизу. Но тут же сильный удар чуть не сбросил его с крыши. В запальчивости Илья успел нырнуть в слуховое окно и только теперь сообразил, что не чувствует левую руку. Обжигающая боль опалила локоть, на мгновение пошла кругом голова. Нырков с трудом спустился по лестнице в дом и носом к носу столкнулся с Баулиным.

— Ну? — хрипло дыша, спросил он. — Потери есть?

— Одного моего наповал, — хмуро ответил Баулин. — Да двое легко ранены. Стой! Что с тобой? — Он подхватил покачнувшегося Ныркова.

— В руку, — засипел Илья. — Помоги...

Он стащил куртку. Левый рукав гимнастерки побурел от крови. Баулин с треском разорвал его пополам, обнажив пробитую навыворот руку Ильи. Кровь толчками выбивалась из раны выше локтя.

— Сейчас, сейчас, погоди... — твердил Баулин, перетягивая раненую руку у плеча.

Илья застонал:

— Полегче ты...

— Сейчас, ничего, это мы быстро.

Баулин забинтовал рану куском плотной белой материи и помог просунуть руку в рукав куртки.

— Прикажи ребятам гранатами их... И пусть не высываются — подстрелят.

Баулин убежал. Вскоре ударило несколько взрывов подряд, и снова стихло.

В комнате собирались осажденные. Негромко переговаривались, осторожно ступая по хрустящим стеклам и опасаясь приближаться к окнам. Оттуда время от времени влетали пули, чмокая, впивались в бревна.

Принесли убитого продармейца, положили на пол в углу. Нырков узнал его: это у него он брал винтовку. Пуля вошла ему в глаз, разворотив сзади череп. Илья вздохнул и отвернулся к окну.

— Никак, горим? — сказал кто-то, сильно окая. — Конечно, горим! — добавил уже с удивлением.

Нырков приняхался: тянуло дымом, но не кислым пороховым, а самым настоящим, пожаром. Что-то действительно горело.

— Быстро проверить, что горит! — приказал он, но вбежал испуганный Баулин.

— Худо, Илья Иваныч! — с порога крикнул он. — Те бандюки, что с огородов подобрались, подожгли пристройки. Дерево-то сухое, сразу занялось. Как перекинется на крышу — хана нам тут всем!

От сараев повалили клубы дыма.

— Стой! Без паники! — Нырков встал. — Слушай, чего скажу! Делаем так: выводим коней, закладываем бричку. Раненые где? Бежать могут?

— Можем! — откликнулось несколько голосов.

— Которые не могут, тех — в бричку. Его, — Илья показал на убитого, — тоже в бричку. После похороним... — Он поморщился от боли. — Всем собраться внизу. По команде раскрываем ворота — и пулей к церкви. Стрелять

всем, и патронов не жалеть, чтоб грому больше. Порвемся... Пусть бы только дыму погуще...

Оставшись вдвоем с Баулиным, Нырков сказал:

— Если бы Малышев догадался сейчас прикрыть нас, а, Баулин? Площадь-то невелика. Насквозь простреливают, гады... Ну, пойдем вниз.

Сараи уже полыхали вовсю. Ржали и дыбились кони, которых с трудом, навалившись всем скопом, загоняли в упряжь.

Порывом ветра огонь перекинулся на крышу сельсовета, лизнул бревенчатые стены и мгновенно проник внутрь дома. Густым дымом заволокло двор, потянуло на площадь. Сперло дыхание, люди кашляли, прикрываясь руками от подступающего жара.

— Еще малость, еще... — шептал себе Нырков, сжимая наган и плача от едкого дыма.

И будто отвечая его просьбе, гулко и тяжело ударил колокол на колокольне. Низкий, стонущий звук поплыл над селом, колокол гудел, бросая в небо удар за ударом.

— Сообразил! Ах, молодец! — вскрикнул Илья. — Открывай ворота! Вперед!

Громыхая по булыжнику, бричка рванулась через площадь к церковным воротам, за ней, паля в разные стороны, вынеслись трое верхами, а за ними, петляя и припадая к земле, кинулись все остальные.

Миг — и вот уже середина площади. Зацокали по камням пули. Кто-то вскрикнул. Нырков обернулся и увидел падающего Сергеева. Подхватил его здоровой рукой и волоком потащил дальше. «Какой же ты, Петька, тяжелый... — билось в голове. — Маленький, а тяжелый... Нет, не брошу, дотащу... Все равно дотащу, чтоб вас всех...»

У самых ворот Сергеева у него перехватили двое продармейцев, рванули за руку и его самого. Теряя сознание от боли, Илья поскользнулся и рухнул наземь. И уже не чувствовал, как его, тоже волоком, втащили в открытые ворота.

Он очнулся в темноте. Открыл глаза и подумал, что наступила ночь. Было прохладно и сыро. Знобило. Попробовал привстать и оглядеться. Постепенно глаза привыкали, и тогда Нырков понял, что ошибся. Но не сразу сообразил, где находится. Слух различил чьи-то всхлипывания, тонкий детский плач. Память вернула последние ощущение

ния: сумасшедший бег через раскаленную площадь, дым, забивший глотку, тяжесть хрупкого Петьки Сергеева и, наконец, обжигающую боль в левой руке.

Нырков машинально тронул ее и почувствовал, что она накрепко прибинтована к телу. И боль уже не горячая, она ушла внутрь и напоминала о себе только при резких, неосторожных движениях.

Послышались легкие шлепающие шаги, и высокий старческий голос произнес:

— Ну, ить проснулся, милай!..

Из-за темной колонны показался старик в рясе. Он был освещен падающими откуда-то сверху лучами солнца и был похож на замшелый болотный пенек.

Еще ни о чем не думая, Нырков, словно заново рожденный, вбирал в себя новые ощущения. Дед какой-то странный, и вообще, где он, что с ним?

— Проснулся... — снова повторил дед. — Она, лекарства-та, мертвого лечить. Ну-к, а теперя выпей ету вот, выпей, не бойся.

Он протянул Ныркову кружку. Илья, не задумываясь, взял ее и вылил в рот. Обожгло, перехватило дух.

— Самогонка, что ли?

— Она, милай, она сама. На травках. Сплошная польза.

Нырков вытер рукавом рот и поднялся на ноги. Теперь он осознал, что находится в церкви, в темном ее притворе. Оттого и казалось, что ночь и прохладно так. Нетвердо вышел на свет, снова огляделся. Увидев сбившихся в кучу женщин и детей, сидящих на узлах среди каких-то тряпок и мешков.

— Сей момент Матвея кликну, — сообщил дед и странным скоком заспешил в глубь церкви.

Вскоре пришли, гулко ступая по каменному полу, Баулин с кузнецом.

— Держимся, Илья Иваныч! — еще издали громко сказал Баулин и подтянул брюки. Лицо его было серым от дыма и гари, только очки сверкали воинственно.

— Плохо помню... — Нырков потер ладонью лысину. — Как мы выбрались-то?

— Это вот пусть Матвей Захарыч расскажет, — засмеялся Баулин, не понимая недоуменного взгляда Ныркова.

— Да чего ж тут... — замялся кузнец. — Как дым-то повалил, мы и поняли, что подобрались бандюки. Ну а коли пожар, выход один — сюды, к нам...

Нырков слушал, плохо поначалу схватывая, о чем го-

ворил кузнец. Но вскоре и для него картина прояснилась...

Оставив Зубкова внизу с мужиками, Матвей поднялся к Малышеву на колокольню. Там и встретили рассвет. Бандитов они заметили, едва те показались на улице — с колокольни-то далеко видать. Но затаились, решили подпустить ближе, чтоб уж бить наверняка.

Ну а когда пошли конные, раздумывать было нечего. Одна была забота: захватить их побольше да положить.

— Парень-то твой молодец. Крепкий, — говорил кузнец. — Подтверждаю как бывший батарец.

Потом занялся огонь, и Матвей сказал Малышеву, что засевшие в сельсовете с часу на час будут пробиваться к церкви. А потому ворота надо отпереть и по первому сигналу растворять. Он, Матвей, для этого ударит в колокол. Посреди боя колокольный звон наверняка хоть на миг отвлечет внимание бандитов, чай, все же православные. Ну, а тем временем свои проскочат. Малышев же прикроет их огнем из пулемета. Выждав маленько, чтоб дыму на площадь подтянуло, так и сделали. За беглецами ринулись было с десятков верховых, но Малышев их отсек и рассеял. Вот и все.

— Другая теперь забота, — продолжал кузнец. — Бандиты, вишь ты, попов дом заняли, а с него, почитай, полдвора церковного простреливается. Носа высунуть нельзя. Храм-то, он крепкий, каку хошь осаду выдержит, дак ведь сидишь-то как мышь в западне. Главный вход мы закрыли. Через боковой выползаем.

— А это что за дед? — кивнул Нырков в сторону ушедшего старика.

— Егорка-то? — усмехнулся кузнец и показал головой. — Сторож он тутошний. Тоже пострадал, бедолага. Сгорела его халупа. Может, огонь принесло — сушь ведь, а может, кто из бандитов запалил. Всего и спас-то бутылъ самогона да мазь, что вас вот лечил... Как рука-то, Илья Иваныч?

— Полегче. Это меня, видать, за нее дернули, когда тащили сюда. А так терпеть можно. Ты мне вот что скажи, Баулин, много наших погибло? Чего с Сергеевым?

Баулин опустил голову.

— Наповал его, Илья Иваныч, мертвого уже тащили. И у меня двоих положили насмерть. Это там, на площади. И достать-то не успели. Тут тоже потери. Но больше раненые. Убило всего троих.

— И дозорные, — напомнил Илья.

— И они, видать, тоже, — вздохнул Баулин.

— А раненые где?

— Да вот же! — Баулин показал на женщин.

Нырков сразу все понял. То, что ему показалось мешками, на самом деле были прикрытые дерюжками раненые мужики, за которыми ухаживали женщины.

«Сколько же их?» — покачал головой Илья.

— Я ведь говорил, Илья Иваныч, солдаты они в большинстве никудышные. Таких, как говорится, пуля сама находит.

— Может, и никудышные, — возразил кузнец, — однако сколько атак-то отбили! Не говори... Мужик — он крепкий.

Нырков нащупал в кармане наган и сказал:

— Ну пошли на колокольню. Глянем, чего делается. Там и поговорим...

Малышев лежал на охапке сена, изредка осторожно выглядывая из-за пулеметного щитка. Спина его была белой от известковой пыли. Услышав шаги, он перевернулся на бок, и Нырков увидел его потное, в грязных кирпичных подтеках утомленное лицо. Солнце стояло в зените и пекло неимоверно.

— Живы, товарищ Нырков! — радостно воскликнул он и снова перевернулся на живот.

Нырков заметил рядом, на соломе, неразлучный малышевский маузер с приставленной к нему в виде приклада кобурой.

— Ух, и давлю я их, товарищ Нырков, — снова заговорил Малышев, — как клопов. Где «максимкой», а то — этой пушкой, — он кивнул на маузер. Носа не кажут... Только вы не выглядывайте, они тоже без конца пуляют.

Нырков уже обратил внимание на глубокие щербины в стенах колокольни. Чумазое лицо Малышева, его взгляд теплом разлились по сердцу Ныркова.

— И много надавил? — улыбнулся он.

— А я не считаю. Давлю, и все, — его рука потянулась к маузеру. — Отойдите в сторонку, сейчас они снова озвереют.

Он долго целился и наконец нажал на курок. В ответ мгновенно запели, застучали, отскакивая от камня, пули, звонко цокнули по колоколу.

— Я ж говорил, озвереют, — довольно заметил Малышев. — Жаль, у попа их не достать. Обзора нет. Никакой приличной видимости. — Он отполз к середине площадки и на карачках подобрался к лестнице, встал, вытирая пот ладонью. — Чего-то помощи не видать, товарищ Нырков?

Все четверо переглянулись. Их уже давно мучили эти вопросы: где остальные баулинские продармейцы, почему молчит Сосновка? То есть, почему Сосновка молчит, Нырков с Баулиным уже примерно знали. Но где остальные — из Глуховки, Рождественского? Перехватили, весть не дошла?

Осторожно выглянув наружу, Нырков увидел сгоревший сельсовет. Пламени уже не было, только дым поднимался из черной каменной коробки, над которой нелепо возвышалась такая же черная, закопченная печь с полуразрушенной трубой. Благо, стоял дом чуть на отшибе. Другие пламенем не задело, а то полыхнуло бы все село. Тесно стоят усадьбы.

— А что бандиты предпринимают? — не оборачиваясь, спросил Нырков.

— Ультиматум выдвигали, — нехотя отозвался Баулин.

— Так что ж ты, понимаешь, молчишь? — возмутился Нырков.

— А чего говорить-то? Ультиматум известный. Выдавайте большевиков и продотрядовцев. Их повесим, остальных — простим.

— И все? — поинтересовался Нырков.

— Все. Чего еще? Известное дело.

— Мало. Плохо у них, значит, с пропагандой дело обстоит. Белогвардейский лозунг. Эсеры поумнее. Они уже поняли: на такой примитив мужики не клюнут... А оттуда, — Нырков кивнул в сторону далекой усадьбы, — ничего?

— Ничего, — вздохнул Баулин.

«Тоже плохо, — подумал Нырков. — Надо искать какую-нибудь возможность связаться с Михаилом... Но какую?.. Кого послать и как?»

— Послушайте, мужики, — вдруг мелькнула у него мысль, — а дед этот ваш, как его?

— Егорка... Егор Федосеевич, — поправился кузнец, заметив, что Нырков нахмурился.

— Он давно тут служит?

— Да, почитай, всю жизнь, — снова отозвался кузнец.

— Пошлите-ка его ко мне... Или нет, лучше я сам к нему спущусь.

Мысль-то мелькнула, но Нырков пока не знал, в какие действия ее облечь. Тем не менее с дедом надо переговорить. Что сейчас требуется в первую очередь? Выйти за ограду. Церковный сторож, как никто лучше, знает, каким путем можно уйти. Дальше... Передавать что-то Сибирцеву

напрямую нельзя. Это исключено. Но ведь есть девушка. Маша. Можно передать ей, а она сама догадается, для кого весточка... Почему же, скажем, тот же дед не может этого сделать? Согласится ли — другой вопрос. Но ведь попробовать можно. Дед — он, видимо, ничейный, хотя и служит у попа. То, что рассказал о нем Сибирцев, говорит, скорее, в его пользу, нежели во вред. И ждать больше нельзя.

— Пойдем к деду, — решительно сказал Нырков.

12

Когда Якова Сивачева пригласили в контрразведку, он решил, что это обычная, всем давно осточертевшая проверка, какие нередко затевал Кунгуров. Серия провалов семеновских операций, в число которых входили даже такие крупные, как взятие Иркутска и освобождение Колчака, естественно, не могла не вызвать паники среди высшего руководства. Обеспокоенные и раздраженные, японцы настаивали на своей помощи — это знал Сивачев из шифровок. Семеновская контрразведка развила бурную деятельность, словно стремилась доказать, что не зря получает жирные куски от союзников.

И хотя вызов в контрразведку не предвещал ничего приятного, но и бить тревогу пока было рано. Сивачев тщательно проверил себя — ничего компрометирующего не было. По требованию Федорчука он никогда не держал никаких, могущих бросить тень, бумаг. Никаких документов. С тем и вышел из штабного вагона, стоявшего на запасных путях на станции Маньчжурия. Вышел, чтоб уже никогда не вернуться.

Сперва разговор шел об обычных вещах: нет ли каких-либо подозрений, как хранятся секретные документы и так далее. Сивачев отвечал спокойно, обдумывая каждый свой ответ. Доверительный тон Кунгурова конечно же не мог его обмануть.

А затем произошло совершенно непредвиденное, и Яков сразу понял, что провалился.

Кунгуров предъявил шифровку, которую готовил сам Сивачев, и никто другой. Речь в ней шла о секретной карательной экспедиции против Тунгузского партизанского отряда. Причем с указанием сроков ее проведения, сил и дислокации семеновских войск. Весьма шаткие слухи о

подобной операции уже имелись, и поэтому Яков счел необходимым познакомить с ней Федорчука.

И вот теперь эта шифровка лежала на столе перед Сивачевым, а Кунгуров, ехидно кривя сухие губы, подробно рассказал, как готовилась в контрразведке эта фальшивка, как совершенно случайно был убит в перестрелке переходивший границу старик охотник и у него была найдена бутылка спирта, заткнутая пробкой из свернутой газеты, внутри которой оказалась эта шифровка. О шифровке же знал весьма узкий круг людей. Стечение роковых обстоятельств...

Яков молчал. Молчал и тогда, когда Кунгуров кликнул своего подручного бурята Ерофея, один вид которого внушал ужас и отвращение... Молчал, скрипя зубами от невыносимой боли, валяясь на нарах в вагоне смертников, следующем в харбинскую тюрьму.

А потом был сплошной провал в памяти: только дни и ночи нечеловеческих мук, бесконечных допросов и изощренных пыток. И в какую-то бессчетную из ночей он назвал, а может быть, ему только показалось, имя Федорчука. Мету своего предательства он вскоре увидел собственными глазами. Кунгуров привел его на допрос машиниста, и Яков не узнал своего бывшего хозяина. Это был окровавленный кусок мяса, из нутра которого изредка доносилось что-то похожее на клочкотание. Кошмар, испытанный Сивачевым, сломил его. Он стал по крохам, оправдывая себя ужасом перед невообразимыми мучениями, выдавать то, что знал. Но знал он немного, возможно, на свое счастье. Он рассказал, как Федорчук склонил его передавать копии отдельных шифровок, а куда отправлял их потом — этого уже Яков не знал. Он рассказал обо всех документах, копии которых передал Федорчуку, а их было немало, но какую-либо собственную связь с подпольем отрицал категорически. Его подловили, а потом он боялся отказаться, ему угрожали, обещали убить, если он откажется служить дальше. И он служил, но только из страха...

Видимо, Яков уже отыграл свою роль и больше интереса для Кунгурова не представлял. Вероятнее всего, Кунгуров действительно понял, с кем имеет дело. Однажды — Яков помнит: было уже по-весеннему тепло, слепило солнце после темноты камеры — Кунгуров вызвал его к себе и брезгливо заявил, что больше в услугах Сивачева не нуждается. Он так и сказал: в услугах...

Все, понял Яков, это конец. Скорее бы.

Но его попросту вышвырнули на улицу. Он не знал тог-

да, зачем так поступил контрразведчик. Скорее всего, он ждал, куда пойдет Сивачев, с кем попытается найти связь?

Грязный, избитый и оборванный, заросший до звериного облика, Яков забился в какую-то нору и долгое время вел животный образ жизни. Ни к кому он, естественно, не мог обратиться за помощью, понимая, что первым будет вопрос: за что его выпустил Кунгуров? Этот мерзавец не из тех, кому ведомы человеческие чувства и слабости. И Яков боялся вопросов, боялся встреч, даже случайных, со знакомыми ему людьми.

В пыли и жаре пришло харбинское лето. На что мог рассчитывать Сивачев? Только на случай. И он подвернулся в одном из притонов, где пьяный штабс-капитан с упоением рассказывал о том, какие дела разворачиваются на Дону. Терять Сивачеву было нечего: прошлое его никого не интересовало, будущего он и сам не видел. Формировался отряд для похода через Туркестан к Деникину на какие-то темные деньги, что его ожидало — никто толком не знал. Это было какое-то умопомешательство: никто ничем не интересовался. Спросили только, где служил, ответил: у Колчака. О своем пребывании в контрразведке умолчал, да и вряд ли кого это удивило бы. Его сотоварищи, сами такие же опустившиеся, бывшие защитники отечества, бывшие и не раз битые в харбинских ночлежках, бредили кровавым отмщением, золотом, еще черт знает чем. И Сивачев понял, что и он сам ничем от них уже не отличается. Поход на Дон он представлял себе, прежде всего, как расставание с проклятой памятью. Он хотел зачеркнуть прожитое, чтобы никогда больше к нему не возвращаться.

Отряд штабс-капитана оказался по существу самой оголтелой бандой, действующей под флагом какого-то мифического генерала, финансировавшего предприятие. И в Маньчжурии, и в долгом пути через Туркестан отряд занимался разбоем и грабежами. Имевший еще хоть мизерное представление об обычной человеческой порядочности — так он сам себя порой убеждал, — Сивачев скоро растерял и эти остатки. Надо было жить, а следовательно — добывать себе корм, убивать. И он жил...

Под осень с великими трудами добрались до Каспия и там уж окончательно разбежались — кто куда. Сивачев отправился на Дон, надеясь когда-нибудь каким-нибудь образом попасть в родные края. Навестить родительские могилы. И может быть, этим вымолить прощение за содеянное предательство. Возникло однажды такое желание—

и больше не проходило. Ему казалось, что он сможет вымолить прощение. Но из огня, как говорится, попал в полымя. Атаман Вакулин из Усть-Медведицкой станицы нарисовал ему картину, вмиг разрушившую все его благие помыслы. Времена давно изменились. Тамбов, Саратов, Воронеж выступили против Советов. Долой своеволие комиссаров, долой грабеж крестьянства! Мужики поднялись, крестьяне, весь народ. И борьба теперь идет не на жизнь, а на смерть. И снова обстоятельства оказались сильнее Сивачева. Возглавив сотню, — а опыт такой уже был в Туркестанском походе, — Сивачев решил, что вернется в родные края победителем.

А дальше — известное дело. То он бил красных, то его гоняли и били красные. Такова жизнь... Да, он был жесток. Но разве рок не был жестоким по отношению к нему? Да, на нем немало крови. Но ведь не только чужой — собственной крови! Да, он был слаб, он предал, но ведь не каждому удалось вырваться живым из контрразведки. В конце концов война есть война, и прав ты или виноват — частенько от тебя не зависит. Обстоятельства...

Да... Обстоятельства...

Слушал Сибирцев исповедь Якова Сивачева, а перед глазами его вставали Паша Творогов, растерзанный колчаковцами, Алеша Сотников, шедший с ним до самого своего смертного часа, Володька Михеев — розовощекий адъютант, показавший в том же Харбине чудеса храбрости и выдержки. Сколько лет им было?.. Кто помоложе, кто чуть постарше Сивачева, а в общем, ровесники...

Вспомнился Федорчук... Добрый старый дядька Федорчук. Погиб, но никого не выдал. Ни единого слова не сказал...

— Знаешь, как погиб Федорчук? — спросил он, но, не заметив никакой реакции, продолжил: — Его вывели в поле, в снег, раздели догола и, содрав со спины кожу, натерли солью. Он полз за своими палачами и криком умолял пристрелить его... А они, уходя, смеялись...

— Зачем ты мне это говоришь, Сибирцев? — Яков поднял воспаленные глаза. — Зачем говоришь?! Ты же не знаешь, что они со мной делали!..

— Догадываюсь. Но это тебя не оправдывает, предатель Сивачев. Бандит Сивачев. Нет тебе прощения за твоё предательство.

— А чего тебе меня прощать? — зло выкрикнул Сивачев. — Какое тебе дано право прощать меня? А? Вы там сидели, господа офицеры, водку жрали, картишками баловались. А за все расплачивались мелкие сошки, вроде меня. Это нас пытали, убивали, вешали! А-а-а!.. — у Сивачева вдруг припадочно округлились глаза. — Я знаю! Ты тоже из этих... Федорчуков? Да? Жа-аль, что я раньше-то не знал! Я б и тебя продал Кунгурову! И тебя! Проклинаю вас! Ненавижу! Убью! Всех убью!..

На губах у Сивачева выступила пена, глаза его иступленно сверкали, он кричал, захлебываясь собственным криком, и вдруг смолк, уронив голову. Только грудь его тяжело вздымалась и побелели костяшки пальцев, сжатых в кулаки. Он сполз со стула.

— Какой же ты мерзавец, Сивачев, — тихо и печально сказал Сибирцев. — Какой ты гнусный мерзавец! Нет, тебя нельзя судить принародно. Люди узнают, какие бывают мерзавцы, а это страшно. Это выше сил моих. Этот кошмар падет на головы твоей матери и сестры, и они не вынесут такого позора, Сивачев. Нельзя тебе больше жить...

В глубине коридора, за кухней, послышался стук в дверь.

— Встать! — резко приказал Сибирцев. — Сядь на стул, Сивачев. И запомни: я — полковник Сибирцев из Главсибштаба. Понял? Лишнее слово, лишний жест — стреляю. Думай о сестре и матери.

Сивачев медленно поднялся с пола и сел на стул.

— Надеть портупею!

Он так же послушно надел и затянул ремни.

Сибирцев прислушался. Узнал высокий говорок деда Егора. Старуха сварливо разговаривала с ним, но слов Сибирцев не разобрал, понял, что он кого-то вызывает. Наконец Дуняшка громко крикнула:

— Марья! К тебе Ягорий зачем-то!

На лестнице показалась Маша, спустилась и медленно пошла на кухню. Вернулась короткое время спустя и, обведя присутствующих невидящими глазами, протянула Сибирцеву мятую бумажку:

— Вам. Я могу уйти? Маме совсем плохо.

— Минуту, Маша. — Он развернул и прочитал записку. Задумался. Посмотрел на Сивачева, на Машу. — Позовите, пожалуйста, сюда Егора Федосеевича.

Вошедший дед Егор оторопел, увидев мирно сидящих за столом Сибирцева и Сивачева.

— И-эх! — он боязливо перекрестился. — Никак, Яков Григорич?.. Помилуй... свят...

— Нет, — резко оборвал Сибирцев. — Это — атаман. Егор Федосеевич, сделай доброе дело, найди любого казака и скажи ему, что атаман требует... Как зовут твоего помощника? — строго бросил он Сивачеву.

— Власенко, — мрачно ответил Сивачев. — Подхорунжий Власенко.

— Скажи, что атаман требует передать подхорунжему Власенко немедленно явиться сюда. Понял, Егор Федосеевич?

Дед испуганно закивал.

— Давай, Егор Федосеевич, скорей, а то беда большая будет. И сам далеко не уходи. Может, кликну потом.

Дед по-прежнему кивал, глядя на Сивачева, но с места не двигался.

— Ну что же ты? — повысил голос Сибирцев. — Или боишься?

Дед затряс головой и поспешно удалился.

13

Власенко еще с ночи понял, что все пошло наперекосяк. Едва увидел дом, куда они пробрались через сад вместе с атаманом, услышал бабий голос, сразу догадался, что неспроста вел сюда сотню атаман. И дом знакомый, и баба-барынька. Кто она ему — жена, невеста, любовница? — теперь уже без разницы. Коли тут замешана баба, никакой пользы делу. И потому, обозлясь, решил махом покончить с селом. Дружный отпор, которым его встретили, только разъярил подхорунжего. Полнота власти, данная ему атаманом на эту ночь, оказалась слепой пустышкой. Поначалу дело вроде разворачивалось неплохо: из мужика, оказавшего ему сопротивление в одной из хат, он без особого труда выколотил все интересующие его сведения. Дело казалось простым: обложить сельсовет и одновременно ударить по засевающим в церкви. Сельсоветчики, конечно, не сдадутся — им терять нечего, будут драться до последнего. Но если их выкурить, те, что у храма, сами поднимут лапы кверху. Так бывало не раз, так — не сомневался Власенко — будет и теперь. Немного не рассчитал подхорунжий, не учел пулемета. И вот, оказывается, сорвалось.

После двух неудачных атак казаки ринулись по домам —

грабить. В другое время и в иной ситуации Власенко не стал бы их сдерживать, однако в нынешней никак нельзя было дать им рассеяться по селу. По этой причине уже упустили сельсоветчиков, и бой грозил перейти в затяжную бесполезную перестрелку. Пора было принимать какое-то окончательное решение. От атамана, видать, никакого проку... А на ультиматум, который прокричал Власенко, с колокольни ответили длинной пулеметной очередью.

— Игнат! — позвал Власенко. Он слегка отодвинул тяжелую штору на окне и наблюдал за площадью. Глаза его равнодушно скользили по трупам казаков и лошадей и упирались в железные ворота ограды. Каменный поповский дом был отличным наблюдательным пунктом: огонь с колокольни сюда не достигал, а церковный двор неплохо простреливался с чердака дома. — Игнат! — сердито повторил Власенко. — Где тебя черт носит?

Вошел огромный, заросший до глаз черной бородищей Игнат, засопел, топчась на месте, оценил раздражение подхорунжего и, сочтя его результатом ранения, предложил:

— Може, бинт сменить? Тут у них чистый есть, а, Петрович?

Власенко скрипнул зубами: только ведь сказал — и сразу засвербило вчерашнюю рану.

— После, Игнат... Много хлопцев уложили?

— Много, Петрович, почитай, под три десятка. Пулемет, сука, чтоб его... Хитрый, гаденыш, носу ж не кажется, а косит. И как его достать, ума не приложу.

— А мужики что?

— Мужики-то? А ничего. Мы кое-чего подобрали. Коням есть. Себя тож не забыли.

Власенко удивленно обернулся, услышав что-то похожее на утробное урчание, потом сообразил, что это Игнат смеется.

— Они-то, — продолжал Игнат, — все готовы отдать, чтоб хаты пожалели, не тронули. Петуха не пустили.

— Все, говоришь? — задумался Власенко. — Поглядим... Пригони-ка их сюда, Игнат. Которые побогаче. Погута-рим, чего они готовы отдать. Да чтоб их те, с колокольни-то, не накрыли... И скажи хозяйке, пусть жрать подает. Обедать хочу...

Ел с аппетитом. Выхлебал две глубокие миски наваристого борща, обильно запивая самогонкой. Грыз чеснок, сплевывая на пол шелуху. Рукояткой нагана расколотил на скатерти толстую кость и со всхлипом высасывал мозг,

Хозяйка, пышная попадья, несмотря на неоднократные приглашения подхорунжего, участия в трапезе не приняла, стояла, подперев дверной косяк и сложив полные руки на высокой груди, с непризнью наблюдая за Власенко. А он пьянел и, бросая искоса хмельной взгляд на попадью, хмыкал и мотал потным чубом.

Вошли мужики, степенно и испуганно перекрестились на иконы, стояли у двери, как бы ожидая решения своей судьбы, боязливо посматривая в сторону попадьи.

Власенко поднял от стола тяжелый взгляд, покачал головой.

— Сидай, Игнат, — ласково позвал он. — Эй, хозяйка, налей борща казаку. Бери ложку, Игнат... Ну, что будем делать, мужики?

Стоящий впереди всех пожилой, с густой сединой в бороде, медленно, с достоинством опустился на колени.

— Господин офицер, окажи божескую милость, не губи! — сдавленно прохрипел он. — Матушка, Варвара Дмитриевна, заступись за чады свои!

— Заступись?! — взорвался Власенко. Он вскочил, опрокинув стул, и рванул штору. — А это кто лежит на площади? — крикнул, указывая наганом на окно. — Как встретили? О чем раньше думали, а?

Игнат, молча глядя на мужиков, налил полный стакан самогонки и единым духом проглотил его. Снова взялся за ложку.

— Да не мы ж это, ваше благородие! Мы разве что? — загомонили у двери. — Мы-то со всей душой, не погуби деток, ваше благородие, господин офицер!

Мягко ступая по чистым половикам, Власенко прошелся мимо мужиков, пронзительно глядя в глаза каждому.

— Провиант давайте! — отрывисто скомандовал он. — С каждого двора. А тех, которые там, — он кивнул на церковь, — тех непременно пожгем.

— Помилуй, ваше благородие! — завопили мужики. — Сушь ведь какая! Все село прахом пойдет!

— Пойдет, — спокойно согласился Власенко. Он сейчас упивался своей властью над этими бородачами. Но власть-то властью, а какой от нее толк, если на улицу носа не высунешь. Вроде как медведя за хвост схватил: и держать — сил нету, и отпустить нельзя — задерет. Он может приказывать запалить село со всех концов, может перепороть или даже перестрелять всех этих мерзавцев. Да что пользы? Жратва нужна, деньги, оружие. Свежие кони. Помнил

Власенко, как сбивали со следа ночную погоню красных. Понимал и атамана, что уходить надо быстро, того и гляди — снова нагрянут. Эти-то, что в храме заперлись, наверняка за подмогой послали, вот и жди ее с часу на час.

Устал он. Выпитый самогон тянул ко сну. Хотелось плюнуть на все и раскинуться на широкой пуховой перине. Да хозяйку под бок... Но знал, что расслабляться нельзя, это — смерть.

Он сграбастал в кулак сивую бороду стоящего впереди других мужика и рывком подтянул его к себе.

— Даю полчаса сроку, — жестко, глядя в глаза, сказал Власенко. — Чтоб провиант, все оружие, какое есть, и кони были тут, во дворе. — Он помолчал и добавил: — И тыщу рублей. Не то — запалю. Понял, борода?

Мужики заволновались.

— Я все сказал, — Власенко отпустил «бороду» и прошел к столу, плеснул в стакан самогонки. — Ступайте! Терпенья моя кончилась.

Из передней донесся тяжелый топот сапог, и в комнату, растолкав мужиков, быстро вошел казак. Огляделся, увидел Власенко, шагнул к нему, бряцая шашкой, и наклонился над ухом.

— Петрович, тебя атаман требует, — с одышкой прошептал он. — Дюже сердит.

— А-а! — Власенко грохнул кулаком по столу, встал, слегка пошатываясь, оглянулся на мужиков. — Чего стоите? — заорал он. — Даю полчаса, а после... Сами пеняйте! Игнат, гляди за ними!

Подхорунжий громко хлопнул дверью и, отвязав от перил крыльца повод, навалившись грудью, взобрался в седло.

— Ты задами, Петрович! — крикнул казак. — Не то достанут.

— Знаю! — яростно бросил Власенко и вонзил шпоры в бока коню.

Мужики толпой вывалили на крыльцо.

— Чего делать-то, Миней Силыч? — спросил невысокий щербатый мужик сивобородого.

Тот сошел на землю, обернулся, оглаживая бороду, будто приставляя ее на место.

— Придется, мужики, раскошелиться, — мрачно заявил он. — Сердитый господин их благородие. Как есть запалит. Нет на ем, видать, хреста.

— Да где ж таки деньги-то взять? — все возмущенно загалдели. — Это сказать — тыщу рублей!.. Да коней ему! Правиянту!.. Грабеж, православные! Истый грабеж!..

На крыльце показался страховидный Игнат, послушал их, прищурился на солнце.

— А ну, геть по хатам! Сполняй приказанию! — он пере-дернул затвор винтовки.

Мужики, склонив головы, покорно заспешили вон с усадьбы. Но, обогнув дом и выйдя к площади, остановились гуртом.

— Что ж это выходить, мужики? — снова задал вопрос щербатый. — Мы, значица, выворачивай карман, плати свои кровные, — он всхлипнул, — а те, что в божьем храме, и стыда не имуть? Где жа справедливость?! Гореть всем, а спасай, выходить, я? Не согласный!

— Айда в храм! — поддержали его голоса. — Пущай всем миром выкуп!.. Эй, православные! Не стреляй! Депутация!

Они повалили к церкви, старательно обходя трупы, но чем ближе подходили к воротам, тем более сдержанными и робкими были их шаги. Застучали в ворота.

— Депутация к вам! Не стреляйте!

По ним никто не стрелял.

— Чего надо? — открыв калитку, сердито спросил Зубков.

— Впусти, председатель, — выступил вперед щербатый. — Миром совет держать надо.

— Оружие есть?

— Да какое оружие? Откель?

— Тогда проходи по одному, — он впустил мужиков и снова запер калитку.

Со скрипом распахнулись церковные двери, в глубине показались Нырков с Матвеем, но на паперть не вышли.

— Ну, — крикнул Нырков, — кто тут такой храбрый? Дуйте бегом, не то подстрелят!

Поддерживая портки, мужики кинулись к паперти. Щелкнуло несколько выстрелов, вскрикнул раненый, но его подхватили под руки и втащили в церковь. Двери затворились.

— Ну что, отцы? — с сарказмом спросил Нырков, когда все успокоились. — Поди, прижали вам хвост? С чем пришли?

Мужики разом загомонили, закрестились, и Нырков

вскоре понял, в чем дело. Он переглянулся с Матвеем и поднял руку, наводя тишину.

— А теперь слушай, чего я скажу... Вас всех упреждали, что банда никого не помилует. Было такое? Было. Вам предлагали оружие, чтоб защитить свои дома и семьи. Было? Тоже было. Когда бандиты жгли сельсовет, когда требовали выдать коммунистов и продармейцев на скорую расправу, вы молчали? Так. А теперь сюда припожаловали? И чего, спрашивается? Деньги собирать для бандитов? Нет у нас для них денег. Оружие вот есть, чтоб прогнать их, стереть начисто с земли. А денег нет. Ошибка у вас вышла, отцы, так-то.

Мужики молчали, подавленно переминались с ноги на ногу.

— Другое могу вам сказать. С минуты на минуту ждем подмоги. Соседи уже знают про бандитский налет и спешат на помощь. И Красная Армия с другой стороны по пятам за ними гонится. Тоже, ожидай, скоро прибудет. И когда мы все разом ударим, останется от тех бандитов мокрое место. И вот тогда, отцы, мы разберемся, кто чего делал. И отдельных граждан, истину говорю, будем рассматривать как сознательных пособников бандитизму.

— Так чего делать-то? — выкрикнул отчаянный голос.

— А ты, Минейка, — вмешался кузнец, — вместо того, чтоб бандюков обедом угощать, дал бы своим сынам по винтарю. Вишь, они у тебя какие! Да вжарили бы бандюкам по мягкому месту... А ты, Еремей, тожа... Вот и был бы порядок на селе... А то вы все мошну считаете, а об других у вас голова не болит.

— Ну вот что, мужики, — подвел итог Нырков, — коли не хотите, чтоб село сгорело, беритесь за оружие... Матвей Захарович, спорить поздно, скажи Зубкову, пусть выдаст им всем винтовки. Которым не хватит, пускай у раненых возьмут. А вы расползайтесь, стало быть, по своим избам, и по команде открывайте огонь. И чтоб ни одного бандита не упустить. Против целого села у них сил не хватит. А командой будет удар в колокол. Матвей ударит... Матвей Захарович, — шепотом сказал он кузнецу, — покажи им дедов лаз в стене, чтоб они могли выйти наружу... И смотрите мне, мужики, — добавил громко, — ежели который из вас наведет сюда бандитов, никакой пощады не жди. А прогоним их, тогда и разберемся, кто кому чего должен.

Матвей увел мужиков в боковой притвор, а Нырков ус-

тало опустился на соломенную подстилку. Никакой реальной помощи со стороны он теперь не ждал, несмотря на бодрый тон, и все его мысли сводились лишь к одной: что с Сибирцевым? Сумеет ли он отозвать бандитов, снять осаду? Или хотя бы собрать их в кучу, чтоб можно было сделать вылазку из этой мышеловки...

Поднимаясь по ступенькам террасы, Власенко услышал мужские голоса и насторожился, но тут же быстро и решительно шагнул в дом. В полутемной комнате, куда свет проникал только через одно выбитое окно и тянуло сквозняком, напротив атамана сидел, развалясь на стуле, незнакомый Власенко человек в офицерской гимнастерке, перетянутый ремнями. Вид у атамана был убитый и отрешенный. Он поднял хмурый взгляд на Власенко и хрипло сказал:

— Это — полковник Сибирцев. Из Омска, из военного отдела Главсибштаба... Следует к Антонову. Догнали нас, Власенко, как видишь... никуда не скроешься... от своих. Слушай приказ полковника... — атаман снова опустил голову, как бы передавая власть Сибирцеву.

— Как же, Григорич? — вскинулся Власенко.

— У вас что, воинская часть или воровская шайка? — резко перебил полковник.

Власенко сник.

— Садитесь, подхорунжий! — приказал Сибирцев. Власенко послушно сел на стул. — Хотя ваш уход от основных сил в момент боя на военном языке называется... вы, конечно, знаете, как называется, попробуем оправдать его чрезвычайными обстоятельствами. Вы ранены?

— Задело, — поморщился Власенко и почувствовал, как снова заныла простреленная рука.

— Сколько у вас в наличии сабель?

— Семь десятков... А може, и шесть. По всему селу трудно сосчитать.

— Командир должен твердо знать наличие своих людей, — наставительно сказал Сибирцев. — Какие предприняли действия?

Власенко стал подробно докладывать о захлебнувшихся атаках, о том, как оседлали церковь, где заперлись осажденные, упомянул про пулемет. В конце рассказал, какой отдал приказ собранным у попа мужикам, только про деньги промолчал.

Во время доклада атаман несколько раз поднимал голову, словно бы желая оправдаться, — так понимал Власенко, — но под суровым взглядом полковника снова опускал ее.

Сибирцев внимательно слушал, пренебрежительно кривил губы и наконец сказал:

— Ну что ж, подведем итоги. Ваши действия, подхорунжий, и, разумеется, ваши, сотник, следует рассматривать как деяния раннего Александра Степановича Антонова. Именно за них, по нашим сведениям, его так ненавидит местное население. Сжег — убил — ограбил. Типичный бандитизм, без какой-либо идейной подоплеки. Но мы, высшее руководство российским восстанием, не позволим вам опорочить святую идею освобождения крестьянства. По моим данным, сюда следует крупная воинская часть красных. Посему приказываю: немедленно прекратить всяческие грабежи и собрать казаков.

— У меня люди двое суток не жрали! — возмутился Власенко.

— В этом смысле мы готовы оправдать вашу контрибуцию, наложенную на местное население, исключительно военной необходимостью. Но никаких пожаров и убийств! Отвечаете лично, подхорунжий. Где предполагаете собрать казаков?

— Да где ж, можно и тут, можно и у попа. Двор большой, закрытый.

— Вот там и собирайте. Мы прибудем туда. Все, подхорунжий, вы свободны, выполняйте приказание.

Власенко вопросительно взглянул на атамана. Кашлянул. Тот поднял голову и медленно кивнул:

— Выполняй приказ...

Власенко, с остервенением хлестнув себя плеткой по сапогу, вышел. «Ишь ты, теперь полковник явился, черт его принес, — размышлял он, гоня аллюром своего коня. — Все они одним миром мазаны... Контрибуция, военная необходимость — слова-то все какие круглые... Послать бы их обоих к едреной матери!.. А почто не послать? — мелькнувшая мысль застряла занозой. — Коли красные близко, не врет полковник, самая пора ноги в руки... И тыщу рублей я все равно сдеру! Со шкурой!..»

Пока скакал, в него пару раз пальнули из-за плетней. Но промазали. Власенко припал к шее коня и надал ходу. Вихрем ворвался в ворота поповской усадьбы, спрыгнул, тяжело дыша.

Двое казаков, сидя на ступеньках, дымили длинными папиросами.

— Эт-та что такое? Где взяли? — накинулся на них Власенко.

— Та ить, Петрович, — смущенно замялся один казак, — ты звиняй, у хате у попа малость пошарили. Ось, па-ка, — он вытащил из кармана шаровар коробку папирос.

— Как пошарили? — взъярился Власенко. — Где Игнат, где мужики?

— Мужики-тась? — протянул второй казак, пряча за спину папиросу. — Оне как ушли, так и не приходили... А Игнат, — он широко осклабился, — Игнат, значица, с бабой.

Власенко словно подбросило.

— С какой бабой?

— А с етой, с попадьей, значица. Только ты, Петрович, ускакал, а он к ей подался. Заломил бабу, как ведмедь тую телку, и лакомиться. Свиреп Игнашка до бабы. Истый ведмедь... Она поначалу-тась все кричала, а теперя смолкла. Пондравилось, вишь...

Власенко ворвался в дом и носом к носу столкнулся с Игнатом, медленно спускающимся по лестнице. Рубаха на нем была разорвана до пупа, и шаровары он придерживал руками.

— Игнат! — зарычал подхорунжий.

— Погодь трошки, Петрович... — Игнат осоловелыми глазами посмотрел на него.

Оглушающий грохот, казалось, подбросил Игната и швырнул его на Власенко, едва не сбив с ног. Глаза, все лицо забрызгало чем-то липким и мокрым. Власенко машинально отер лицо ладонью и увидел, что она вся в крови. И в тот же миг он разглядел вверху, в проеме двери, темный человеческий силуэт. Не раздумывая, подхорунжий выпустил в него полбарабана пуль и услышал пронзительно-тонкий женский вскрик. Перепрыгнув через Игната, Власенко взбежал по лестнице. Поперек порога, загораживая вход в светелку, навзничь лежала, разметав разорванные одежды, попадья. Живот и грудь ее были покрыты ссадинами и кровоподтеками. Власенко наклонился над ней, увидел: мертва. Сбоку валялось охотничье ружье, и от него тянуло кислым духом.

Минуто, скрипя зубами от бессильной ярости, Власенко смотрел на большое белое тело, словно раздавленное у его ног, а затем, перешагнув через него, быстрым, безум-

ным взглядом окинул комнату. Распоротая перина свисала с кровати, вывалив на пол, будто кишки, груды перьев, перевернутые стулья отброшены в углы, и всюду — под сапогами и на разодранной перине, подушках, на столе и комодѣ — осколки зеркала, фарфоровых фигурок, битого стекла. Комод! Власенко дернул за ручку — заперто. Дудлом нагана взломал ящик, заглянул внутрь. Увидел кольца, перстни, золотой крест, жемчужные нитки. Все сгреб единым махом и сунул в карман шаровар. Еще раз обернулся на лежащую женщину. Хороша была... Ах, Игнат, скотина, такую бабу порешили... Подошел вплотную, опустился на колени, а потом рывком выдернул из ушей покойной серьги с зелеными камнями и, сжав зубы, содрал с пальца большой перстень вместе с обручальным кольцом.

Ударил колокол. Власенко вздрогнул и, снова переступив через женщину, сбежал по лестнице, споткнулся об Игната. Голова его была размозжена до полной неузнаваемости. Почти в упор била попадья...

На улице поднялась пальба. Увидев окровавленного Власенко, казаки отшатнулись в испуге.

— Всех сюда! — закричал он. — Всех до единого! Мигом!

Казак с маху вскочил в седло и ринулся на улицу.

Власенко снова зашел в дом, пошарил в углах и обнаружил большую бутылку керосина. Он выволок ее на середину комнаты, где только что обедал, и рукоятью нагана разбил ее, опрокинул, залив белые скобленные половицы, забранные чистыми половиками. На столе увидел бутылку самогона, налил стакан и в два глотка осушил его. Огляделся, нашел коробок спичек на буфете...

Пламя ударило фонтаном, опалив брови и усы...

Отстреливаясь, во двор влетали казаки, с изумлением взирали на окровавленного подхорунжего, стоящего на крыльце. Из-за двери за его спиной, из окон валил дым. С крыши прыгнул во двор и покатился кубарем казак. Привстав на корточки, крикнул, что по Сосновскому тракту пыль клубится, похоже, верховые скачут.

— По коням! — скомандовал Власенко и, перевалившись в седло, подъехал к воротам. Но оттуда, прямо с площади, ударила, расщепляя доски высокого забора, пулеметная очередь.

— Задами, огородами надо! — завопили казаки, разворачивая коней. Вспыхнула паника. Но уже через несколько минут, взломав ограду, уносились бандиты к реке, к

дороге, по которой вчера ночью входили они в село в надежде передохнуть и подкормиться. А вслед им неслись громоподобные удары колокола и пули разом поднявшегося Мишарина.

«Ушли», — отрешенно подумал Власенко, и это была его последняя мысль. Следующая пуля подсекла коня, и он грохнулся через голову, подмяв под себя уже мертвого всадника.

14

После ухода Власенко в доме воцарилась долгая, гнетущая тишина. Позже Сибирцев различил негромкие голоса на кухне и, словно вспомнив, очнулся.

— Егор Федосеевич, — позвал он.

Семенящей, робкой походкой приблизился дед. Но стоило только ему взглянуть на Сивачева, как на лице его отразился все тот же суеверный страх.

— Последняя просьба к тебе, Егор Федосеевич, — мягко заговорил Сибирцев. — Можешь обратно в храм проникнуть? Тогда скажи Матвею, Баулину, Ныркову — кого встретишь первым, что казаки сейчас соберутся во дворе у Павла Родионовича. Только эти слова, Егор Федосеевич, и больше ничего. Сможешь?.. Иначе село не спасем. Ступай, Егор Федосеевич, вся надежда на тебя. Ступай... А об том, что ты видел здесь, молчи. Забудь...

И снова тишина. Только слышно, как почему-то сами по себе потрескивают давно рассохшиеся половицы, скрипит на сквозняке разбитая рама окна, шелестит листьями ветерок в саду.

Вот сейчас услышит Сибирцев тяжелые, грузные шаги Елены Алексеевны... Нет, она в беспамятстве. Маша сказала: ей совсем плохо. Напротив, сгорбившись на стуле, застыл Яков, утопив в ладонях лицо. А время идет...

Отдельные выстрелы, доносившиеся из села, стали перерастать в плотную, густую перестрелку. Вот снова заговорил пулемет. И вдруг, все перекрыв своим мощным гулом, в который раз сегодня ударил колокол. Пальба усилилась.

«Пора! — сказал сам себе Сибирцев. — Больше рисковать нельзя. Чем обернется бой, неизвестно, а ждать уже поздно. Сивачев все понял, и рисковать преступно. Значит, пора... Ах, Маша, Маша, поймешь ли ты?..»

— Вставай, Сивачев, — твердо сказал он и поднялся. — Пойдем.

— Сибирцев... — вырвалось у Якова. — Я же все сделал, что ты мне велел...

— Я людей спасаю, Сивачев, село, а не тебя — бандита.

Сибирцев махнул наганом на дверь, и Сивачев встал. На его заросшем сером лице не было теперь ничего, кроме безмерной усталости и отчаяния. Медленно шагнул он к выходу на террасу, задержался в дверном проеме, безразличными глазами окинул комнату и хрипло спросил:

— Где ты меня?..

— Иди, Сивачев.

Сцепив пальцы за спиной, Яков, пошатываясь, словно пьяный, стал спускаться по ступенькам в сад.

— С матерью дай хоть проститься... — сказал, не поворачивая головы.

— Убить ее хочешь?

Понутив голову и ускоряя шаги, Сивачев пошел по заросшей дорожке сада.

Сирень уже отцвела, осыпалась вишня, побурели в густой траве ее лепестки, еще вчера казавшиеся снежной метелью. Но настоящий жаркий аромат, духота притихшего сада кружили голову...

Казалось, они вступили в царство умирания, и теперь медленно спускались к реке вечности. Где-то далеко, словно за тридевять земель, стреляли, убивая друг друга, люди, однако там была жизнь, жестокая, но все-таки жизнь. А здесь, на склоне к речке, заросшем густой крапивой, стояла поразительная тишина, в которой глохли все живые звуки.

«Трава, цветы, растения, — вспомнил Сибирцев услышанное когда-то, — перед смертью пахнут особенно сильно. Будто хотят отдать все, что не успели при жизни, все свои последние силы, свою кровь, свой нерастраченный дух».

— Послушай, Яков, — сказал Сибирцев и увидел, что Сивачев вздрогнул. — Мы одни с тобой, Яков. Кончим мы твою банду. Все... Ты был когда-то офицером. На, возьми, — Сибирцев за ствол протянул Сивачеву его наган.

Он в последний раз взглянул в запавшие, глубокие глаза Якова, увидел его тяжеловатый и раздвоенный, как у Маши, упрямый подбородок и кивнул.

Повернулся и медленно пошел вверх по склону. Кем бы ни был Яков, он был братом Маши...

Громкий металлический щелчок прервал его мысли,

Сибирцев резко обернулся: Яков двумя руками держал направленный ему в спину револьвер.

— А-а-а! — закричал Сивачев и ринулся сквозь крапиву вниз к реке.

— Зачем же ты так, Сивачев?

Он, словно нехотя, достал свой наган, взвел курок и нажал на собачку.

«Какой же ты дурак, Сибирцев, — как о постороннем, подумал он, — о какой чести может идти речь?..»

Через сад он прошел к дому и увидел Машу. Она стояла на террасе, обняв деревянный столбик и прижавшись к нему щекой, и остановившимся взглядом наблюдала за Сибирцевым.

— Мама умерла, — негромко сказала Маша. Сибирцев поднял голову, словно прислушиваясь к ее словам. — Когда ударил колокол, она открыла глаза и сказала мне: «Знаешь, Машенька, а ведь Яша сейчас умер».

Сибирцев начал подниматься, не спуская с нее глаз.

— Она умерла тихо, как уснула... Там сейчас Дуняшка плачет. А я не могу... Яша правда умер?

— Его давно нет, — ответил Сибирцев. — Он умер давным-давно. Когда мы с ним были совсем молодыми. Это было очень давно, Маша...

— Я знаю, — устало сказала она. — Сегодня ночью я слышала весь ваш разговор...

Над селом неистовствовал колокол...

Отец Павел, привстав на козлах, хлестал кнутом коней, гнал бричку. Он слышал колокольный звон и видел густой дым, встающий над Мишарином. Сердце предвещало беду. Уже на подъезде к селу он вдруг понял, что горит его дом. И это открытие его сразило. Он упал на сиденье, и кони, сами замедлив бег, выкатили тарахтящую окованными колесами бричку на середину булыжной площади.

Дом бушевал в огне, горели и бросали длинные языки пламени столетние липы на усадьбе, заворачивалось от жара кровельное железо на крыше, раскаленные добела листы его падали, разбрызгивая искры на улицу.

Павел Родионович, сойдя на ватных ногах на землю, безумными глазами оглядел пожар и кинулся к дому. Его перехватили толпящиеся на площади мужики и бабы. Вовремя сдержали. От жара едва не занялась, но пошла дымными курчавами поповская борода.

— Господь с тобой, батюшка! — завывали старухи. — Куда ты в геенну огненную-то?.. Отошла Варвара Митревна, царствие ей небесное, прими, господь, отошла, батюшка... Помолись за нее, усопшую!..

Он позволил подвести себя к бричке. Кто-то помог прилечь на сиденье, чья-то рука положила на лоб холодную мокрую тряпицу. Сознание как будто покинуло его, но в горячечном, пылающем мозгу бились слова Маркела: «Бог милостив, Паша, даст атаман прикурить твоим антихристам... А мы им не поможем, нет, хучь все коленки изъелозияют... Наша пора идет, Паша». Потом Павел Родионович услышал чей-то знакомый громкий голос: «Чего стоишь, дура, беги в кузню, багры тащи! Да ведра давайте! Огонь сдержать надо!»

Он открыл глаза и застонал от ослепительного солнца. Наконец разглядел. Это кузнец Матвей командовал мужиками.

— Водой заливай! Соседей, говорю, заливай, перекинется огонь-то! Ну, чего рот раззявил? Полезай на крышу да ведро подхватывай! Эй, бабы, еще воды тащите!

Кузнец подошел к бричке, хмуро взглянул на попа:

— Прикатил, значица, Павел Родионыч? Ну-ну... Грех говорить, да чую, сам ты беду накликал. Ну да господь те судья... Не у одного у тебя горе-то нынче. Эвон сколько мужиков бандюки положили. Загляни в храм-то — увидишь... А в доме твоём они самые вместе с атаманом своим пировали, стало быть. Вот так, святой отец! — кузнец в сердцах махнул рукой и отошел к мужикам.

«Сам накликал, — колоколом бились в мозгу слова кузнеца. — Надо ехать! — сверкнула мысль. — Бежать!.. Но куда, куда теперь бежать?.. Варя! Куда от нее? И где она? Нет... У престола господнего...»

Павел Родионович услышал конский топот и с трудом повернул голову. На площадь влетела бричка с пулеметом на задке. Из нее выбрались двое. Одного он знал — злыдень Баулин. Другого — в кожаной тужурке и фуражке — видел впервые. Приехавшие размяли ноги и пошли к нему, о чем-то переговариваясь.

— Гражданин Кишкин будете? — строго спросил незнакомый. — Настоятель местный?

Павел Родионович слабо кивнул, прикрыв глаза ладонью.

— Вы арестованы, как злостный пособник бандитов, —

продолжал незнакомец. — Ордер на арест предъявлю в Козлове, в чека.

— Господи! — испуганно запротестовал Павел Родионович. — Да какой же пособник? У меня у самого горе... Жена моя, Варюшка... Дом вот...

— А про то нам ваш свояк Маркел расскажет, — неумолимо заявил незнакомец. — Баулин, запри его куда-нибудь... А, черт, куда его запереть?! Все равно запри и своего пристава, и чтоб глаз не спускал.

«Все! — понял Павел Родионович, услышав от чекиста имя Маркела. — Теперь конец...» И ему стало все равно.

В воротах церковной ограды, куда повел его продармеец, приставленный Баулиным, он вдруг увидел Егора, стоящего посреди двора в полной растерянности.

— Батюшка, — всхлипнул старик, утирая слезы рукавом рясы, — погорели мы с тобой, осиротели... И-эх! Бяда, милай!.. Мою-то пристроечку тоже сожгли враги. Сироты мы теперь...

— Ну что ты, Егорий? — отец Павел горько усмехнулся и потрепал его по плечу. — Несть числа человеческим страданиям. А ты — пристроечка...

— Варвару-то Митарьну, — захлебываясь слезами, продолжал старик, — бандюки сильничали... Марфушка твоя сказывала, она сбязжала, умом тронулася. Сильничали, а посла сожгли... Уж так кричала, батюшка...

Отец Павел окаменел.

— А ето вот я у атамана в кармане взял. На выгоне он, батюшка, конем придавленный насмерть.

Старик протянул отцу Павлу его золотой наперстный крест, кольца и сережки жены... Сережки с изумрудами! Они были в багровых пятнах засохшей крови. И крест, и кольца!.. Ее обручальное кольцо...

Павел Родионович ничего не сказал, он повернулся и молча, на ощупь, словно слепой, поднялся на паперть.

— Возьми, батюшка! — крикнул вдогонку старик.

Но он молча вошел в церковь и сел в темном углу притвора, опустив лицо в колени.

...А ночью, воспользовавшись тем, что охрана заснула, он неслышно поднялся на колокольную и, обратясь к мерцающим внизу, чадающим углям сгоревшего своего дома, прошептал:

— Иду к тебе, Варюшка, иду, матушка... Прими душу мою...

Можно было подумать, что это ветер осторожно тронул

высохший древесный лист и плавно кинул его с высоты на натянутый ползучей травкой церковный двор.

Играя плеткой и вытирая лысину клетчатым платком, Нырков бодро вошел в калитку и заспешил к террасе. Сибирцев сидел на нижней ступеньке, сжав виски ладонями.

— Ну, Миша! — восторженно закричал Илья. — Отбились! Хана банде! Почти всех положили. Остальных доловим.

Сибирцев предостерегающе поднял руку и с трудом встал.

— Ты чего? — удивился Илья. — Что тут случилось?

— Тише, Илья, — сказал Сибирцев и взял его под руку. — Пойдем-ка, брат, отсюда.

Они вышли на дорогу и спустились к речке. Сели на выбеленный солнцем корявый ствол старой ивы, опрокинутый недалеко от брода.

— Вот здесь Баулин наших, которые в засаде были, отыскал, — сокрушенно заговорил Нырков. — Зарезали их. У Федьки моего так сигарка в руках и осталась. По ней-то, видать, их и обнаружили... А говорил ведь им, чтоб ни-ни, никакого движения! Ножам их, промеж лопаток. Знать, и охнуть не успели.

Нырков стал подробно рассказывать, как отбивались в сельсовете, как потом в церкви пришла ему мысль послать в усадьбу старика в качестве связного. Бравый оказался дедка, в самый раз появился с весточкой от Сибирцева и здорово облегчил задачу. Бандиты сами в мышеловку попали — в поповскую усадьбу, да и у мужиков иного выхода не оставалось: поневоле взялись за оружие, даже те, кто хотел бы отсидеться, мол, моя хата с краю... А когда пулемет поставили на бричку и так чесанули, что щепки полетели, тут и вовсе среди бандитов паника поднялась. Ринулись кто куда. Многих положили, в плен взяли. Тот же дедка помог опознать среди убитых «атамана». Валялся он на выгоне, придавленный насмерть конем.

В церкви теперь — как военный бивуак. Тут тебе и пленные, и раненые, и покойников сложили, и лазарет, и охрана. Все тут. Даже арестантская. А пленные сейчас роют братскую могилу на площади перед сгоревшим сельсоветом. Надо мужиков хоронить. Двенадцать человек насчитали. Бабы воют, да что поделаешь? Могло быть хуже...

— Кабы не ты, Миша, запалили бы село. Как есть за-

палили бы! — Нырков с участием посмотрел на молчащего Сибирцева. — А, была не была, угости, что ли, папироской-то!

Сибирцев протянул коробку «Дюбека». Илья закурил папиросу, закашлялся, отмахнулся ладонью от дыма.

— Ну, чего ты молчишь? Дело ведь какое сделали!.. А без жертв, сам знаешь, не бывает.

— Видишь ли, Илья, — Сибирцев тоже закурил и после паузы сказал: — Не знаю, как тебе объяснить... В общем, слушай... Тот, кого вы на выгоне нашли, он — не атаман. Правая его рука. Подхорунжий Власенко. А атаман всю ночь со мной был. И фамилия его, Илья, знаешь какая? Сивачев.

— погоди, — Нырков затоптал каблуком папиросу. — Какой Сивачев?.. Так ведь эта усадьба... Нет, постой, ты чьи часы передавал?

— Все верно. Сивачева. С которым мы вместе там были. Якова Сивачева. Сына Елены Алексеевны и Машиного брата... А он видишь где оказался?..

— И что? — растерянно спросил Нырков.

— Убил я его, Илья... А мать умерла.

— Умерла... — повторил Нырков. — Ты что же, Миша, прямо... при ней?

— Господь с тобой, — нахмурился Сибирцев, — там, у речки...

— Да он же бандит! Да за это знаешь?!

— То-то и оно, что знаю, Илья. Только это он для нас с тобой бандит, а для Елены Алексеевны — сын. Видишь теперь, как все обернулось? Тут, Илья, разобраться — одной головы мало.

— Так... — протянул Нырков. — Чего же делать?

— Почему я знаю, Илья?.. — Сибирцев помолчал и перевел разговор на другое. — Поп-то не появлялся?

— Прикатил, как же! Забыл сказать тебе, — Илья по-мрачнел, махнул рукой. — Дом его казаки подожгли, говорят, вместе с женой его. Надругались над ней и убили, а после уж, видать, запалили... Одна коробка теперь осталась, все выгорело... А попа мы взяли. Под стражей он. Я как сказал ему про Маркела, так он и скис. В Козлов его заберем, там уж и размотаем.

Сибирцев задумчиво покачал головой.

— И у него, значит, тоже... — сказал как бы самому себе.

— Постой, Миша, — вспомнил Нырков. — Так чего с бандитом-то твоим?

— А ничего, — устало пожал плечами Сибирцев. — Попроси от моего имени Матвея, чтоб вырыли на кладбище две могилы. У них, у Сивачевых, там вроде бы свое место есть. Ограда, что ли?..

— Может, его, как бандита, вместе со всеми? Мужики собрались их за кладбищем, тоже в одну могилу... Все ж, как говорится, православные.

— Не надо, Илья. Это ведь не для нас с тобой. Для Маши прошу. Все же он последний мужчина в их роду... Как там Малышев?

— Заговоренный, чертенок! — усмехнулся Илья. — Пулемет у него — как игрушка. И когда успел выучиться, гимназер?..

— Ты бы дал мне его, Илья. И еще пару мужиков, из тех, что не местные. Баулинские. Гробы надо сколотить, отвезти. Один не осилю.

— А я на что? — обиделся Нырков. — Бандита вот только... душу воротит.

— Ну вот, видишь?.. Да и людей лишних, чтобы разговоры потом шли, тоже не надо.

— Ладно, Миша, — Илья рубанул ладонью по коленке. — Все сделаем, и разговоров не будет. Раз ты считаешь, что так надо, значит, так и сделаем. Я тебе, Миша, по-честному скажу: другому бы — нипочем, а для тебя — все! Мужик ты, Миша, правильный, я это еще вон когда понял.

Сибирцев с непонятым удивлением выслушал разгоряченные слова Ныркова и печально улыбнулся.

— Спасибо, Илья. Только никакой я не правильный. Дал я Сивачеву наган, хотел, чтоб он сам себя... Должны же были сохраниться в нем хоть остатки чести? А он мне в спину. Патрон вот перекосило, потому и сижу тут с тобой. Вот, брат, какие дела...

— Да ты что? — изумился Нырков. — Ты в своем уме? Да тебя за такие штуки, знаешь?

— Знаю, Илья, сам себя казню... Завтра хороним? Сибирцев поднялся.

— Завтра, Миша.

— И едем...

— Едем, Миша. Все поедem. Все вместе.

Сибирцев неопределенно кивнул и, пожав Ныркову руку, пошел к калитке. Нырков продолжал сидеть, глядя ему вслед печальным, понимающим взглядом.

И вот наступил последний день. С утра Дуняшка, бегавшая к церкви, принесла весть, что батюшка, отец Павел, ночью выбросился с колокольни. «Грех-то какой!.. Нешто можно руки-то на себя накладывать?..»

«Можно», — думал Сибирцев. Уж кто-кто, а он-то мог понять Павла Родионовича. Видя в нем откровенного врага, Сибирцев в глубине собственной души, куда не только чужому, но и самому себе, казалось, пути не было, сочувствовал и жалел этого человека.

Потом продармейцы вместе с Малышевым, сквозь напускную печаль которого все время прорывалась ужасная гордость самим собой, привезли два гроба. Сказали, что могилы готовы и можно двигать на кладбище. Погода жаркая, и, вопреки всем законам и обычаям, в селе решено не ждать три дня, а хоронить нынче. И так уж дух стоит тяжелый.

Ритуал, если таковой можно было еще соблюдать, вероятно, совершала Дуняшка, проявившая поистине невероятную энергию. Эта энергия невольно захватила и Машу. Она ни минуты не сидела на месте: куда-то ходила, что-то делала. И все это с нарочитым спокойствием и молчаливым достоинством умудренного жизнью человека. Сибирцев ничего в похоронных делах не смыслил и положился на Дуняшкину активность и знание очередности действий. Он словно бы раздвоился. С одной стороны, был как бы свидетелем и необходимым участником всего происходящего, но на самом же деле, по существу, ни к чему не прикасался. Так уж получилось, что тело Сивачева, едва свечерело, принесли продармейцы. Обо всем остальном позаботился Нырков.

Сибирцев выходил на террасу, курил без конца, снова возвращался в дом и слонялся из угла в угол, ничего не делая и чувствуя себя лишним.

Солнце поднималось в зенит и снова палило неимоверно. Ветер кружил над дорогой столбы пыли, раскачивал липы в саду, срывая с ветвей рано побуревшие, засохшие листья. Сирень отцвела и обуглилась в одну ночь. И теперь ее кисти были ржавыми и неопрятными на вид.

Сибирцев курил, облокотясь на перила террасы. Смерть, пришедшая в дом, казалось ему, захватила своим крылом и сад. Было в этом что-то мистическое, потустороннее, чего никак не принимал умом Сибирцев, однако же... было.

Всего каких-то три, даже два дня назад, — а кажется, будто целая жизнь прошла — все было в цвету. Все сияло и светилось от радости, от ощущения бесконечного счастья. А теперь и на могилу-то веточки не сыщешь...

— Пора бы везти, товарищ Сибирцев, — услышал он за своей спиной, обернулся и увидел Малышева.

— Да-да, — спохватился он. — Надо бы Маше сказать...

Малышев кивнул и ушел в дом. Там задвигали стульями, что-то загремело, и тут же продармейцы с Малышевым вынесли закрытый гроб. Сибирцев хотел помочь им, подхватил, чтобы снести по ступеням, но Малышев просипел с натугой:

— Вы не надо, мы сами.

И он опять остался не у дел. Вошел в комнату. Маша сидела на стуле у изголовья матери. Гроб стоял на том столе, у которого Сибирцев провел ночь с Яковом. Лицо Елены Алексеевны было спокойным, плоским, и на глазах лежали медные монетки. Маша молчала, не поднимая головы.

Возвратились продармейцы, помялись у входа. Маша поднялась, на миг прижалась лбом к материнской руке и отошла в сторону. Тогда они закрыли гроб крышкой и заколотили ее гвоздями. Подняли и, сгибаясь под тяжестью, понесли к выходу, к калитке, где ждала телега. Маша пошла следом.

...На кладбище было безлюдно. Весь народ собрался на площади. И когда уже опускали гробы в одну большую могилу — не было нужды, видимо, рыть две, места за оградой хватало, — от площади донесся троекратный ружейный залп. Там хоронили погибших от рук бандитов. Продармейцы споро взялись за лопаты, а Сибирцев, кинув горсть земли, отошел в сторону и сел на плоский камень, лежащий между могилами.

Трава выгорела от солнца, и камень был горячим. Кладбище казалось заброшенным, серые кресты на могилах перекосились, и от всего, окружающего сейчас Сибирцева, несло тоской и запустением.

Ударил колокол, и звук его был тягучим и заунывным.

Маша стояла, опершись спиной на ограду. Ее поддерживала под руку Дуняшка. У обеих головы были покрыты черными платками, и две их фигуры, вроде бы слившиеся в одну, казались отстраненными и одинокими, каждая сама по себе, со своим горем, со своей ненужностью.

Когда продармейцы стали, прилепывая лопатами, ров-

нять холмик, на кладбище появились Матвей Захарович и дед Егор. Они несли тяжелый железный крест, склепанный из широких полос, на концах его были приварены завитушки из гнутой проволоки. Они установили крест в ногах, вогнали его в рыхлую землю и закрепили. Дед, увидев Сибирцева, подбирая рясу, подсунул к нему.

— Тама Матвейка-то исделал все, Михал Ляксаныч, — согнувшись, тонко прошептал он. — И написал, что-де с миром покоица Елена Ляксевна и сын ейнай Яшенька. А я, милый, не сказал про него-то, ни-ни. А пошто? Ей-та, Машеньке-голубице, тады всю жизнь хрест от людей нести... И-эх! Хоть и бяду они исделали, ей-та пошто?

— Правильно, Егор Федосеевич, — сказал Сибирцев, вставая. — Видишь, как все получилось-то? — И не спасла твоя Варвара-великомученица.

— И-эх, милай друг! — махнул рукой дед. — Варвара-то сама, вишь ты, в огне сгорела. А ить светлой души была, красавица...

— Пойдем, Егор Федосеевич, может, найдем, чем помянуть.

Машу вели под руки Дуняшка и дед Егор. Кузнец пожал руку Сибирцеву, кивнул и молча ушел. Ушли, закончив дело, и продармейцы с Малышевым. Сибирцев еще постоял у ограды, окинул взглядом многочисленную родню Сивачевых, навсегда успокоившуюся здесь, вздохнул и отправился следом.

Возле церкви встретили Ныркова. Он подошел и, сняв фуражку, вытер лысину клетчатым платком, неловко сунул его в карман.

— Мария Григорьевна, — сказал он, глядя на Сибирцева. — Мы с Мишей... с Михаилом Александровичем считаем, что вам надо бы ехать с нами. Зачем вам тут оставаться? А там, у нас, и дело найдется, и вообще...

— Да... — подтвердил Сибирцев и закашлялся. — Разумеется, надо ехать Маше.

Она долгим, немигающим взглядом посмотрела Сибирцеву прямо в глаза и опустила голову.

— Спасибо, я подумаю.

— Подумайте, ага, — заторопился Нырков. — Скоро и тронемся. Вот закончим дела и поедем. Нынче и поедем. — Он ободряюще кивнул Сибирцеву и надел фуражку. — Я заеду за вами.

Дед и Дуняшка пошли вперед, о чем-то быстро разговаривая и, похоже, ссорясь.

— Постой, Илья, еще два слова. Извините, Машенька... — Он отошел с Ныrkовым в сторону. — Как же это у тебя с попом-то получилось? Как не уследил?

— Ей-богу, Миша, хоть убей — не пойму, — виновато забормотал Илья. — И охрану приставил, и глаз не спускать велел... Подозреваю, что это твой дедка помог ему. Век себе не прощу, такую птицу упустил.

— Ну, если честно, Илья, что за птица был этот поп, нам теперь все равно. А самоубийство его, как я понимаю, вполне логично.

— Это почему же?

— Очень просто. Ты вот и не знал его вовсе, а я с ним целый вечер провел. Он, понимаешь ли, привык жить широко и вкусно. И Варвара его, покойница, была ему, видать, большой в этом деле поддержкой. А тут вдруг с маху всего лишиться: и дома, и жены, да еще ты ему про Маркела сказал. Все вмиг и рухнуло. Какой же выход? Соображаешь? Так что ты не переживай, думаю, если не здесь, то у тебя в Козлове он все равно пришел бы к тому же концу. Характер такой, понимаешь?..

— Ты, Миша, утешаешь, а у меня кошки скребут.

— Теперь уж поздно. Давай дальше думать, Илья. Давай рассуждать логично. Предположим, наш поп был действительно одним из руководителей подполья здесь, в Моршанском уезде. Правда, против этого у меня имеются свои возражения. Чую, не того он полета. Но ведь с его смертью организация, о которой он с такой легкостью проговорился мне, вовсе не перестала существовать. Так?

— Ну, так.

— И оружие — помнишь? — много оружия, оно ведь тоже где-то лежит — хорошо смазанное и приготовленное для действия... Вот и ответ, Илья, только без всех этих твоих: боязно, штаны снимут, — скажи, можем ли мы, имеем ли право остановиться теперь на полпути?

— К чему ты клонишь? — нахмурился Ныrkов.

— А ты все никак не поймешь? — засмеялся Сибирцев, чем привел Ныrkова в совсем скверное состояние духа. — Да ты ж на три хода все вперед видишь!

— Вижу. А еще вижу, что опять авантюра затевается. Скажешь, не так?

— Отвечу, Илья, — посуровел Сибирцев. — Только ты сейчас не кипятись и выслушай меня внимательно. Я ведь не с бухты-барахты, все время об этом думаю. Давай сопоставим факты. Медведев твой для отца Павла был не-

малой фигурой, так? И арест его был расценен им как крупный провал. Он мне прямо сказал: «Боюсь, как бы это не было началом». Понимаешь? Идем дальше. Маркел — личность, судя по всему, серьезная. К тому же в его руках власть. Судя по словам деда, он в Совете состоит. А значит, что же? Прямая связь между Медведевым и Маркелом. Понимаешь теперь, Илья? В руках врага — Советская власть в Сосновке. И я уверен, отказ сосновских в помощи нам — исключительно его рук дело. У него и должно находиться поповское оружие. А изъять его будет непросто. — Сибирцев закурил, задумчивым взглядом посмотрел на Машу, облокотившуюся на кладбищенскую ограду, и продолжил: — Так что, Илья, ты себя не казни и пойми, что, помимо твоего Козлова, у нас возникают и другие заботы.

— Да это я понимаю, Миша, — тягостно вздохнул Нырков. — Только ж и ты...

— Вот и договорились. — Сибирцев отшвырнул папиросу. — Значит, будем решать так. Что мы с тобой прошляпили, то прошляпили. Остается в запасе Маркел. Он сегодня самая реальная из всех фигур. Я полагаю, мне надо, не теряя времени, подаваться к нему. Больше чем уверен, что поп с ним обо мне говорил. И Маркел наверняка меня ждет. Кем я перед ним появлюсь, надо крепко подумать. На это как раз время имеется. Ну, Баулин и Матвей — люди кремневые, однако ты их еще раз предупредишь. Для Зубкова я — беляк недобитый, неизвестно почему оставленный в живых. Вот деда Егора я, наверное, возьму с собой. Рискну. Полагаю, что мы с ним найдем общий язык. Попробую его так накачать, чтобы Маркел, а он наверняка устроит проверку, получил только те сведения, которые важны нам. А для всех остальных тут я, в общем, — никто. Потому мне сейчас самая дорога к Маркелу. Мол, еле ноги унес. И все такое прочее.

— А потом что, Миша? — Нырков слушал внимательно, но упорно смотрел себе под ноги.

— Потом? Ты пока Маркела не трогай, но со мной связь обеспечь. Начнем мы, Илья, копать вглубь.

— А им-то я что сообщу?

Сибирцев понял, о ком сказал Нырков. Он положил Илье ладонь на плечо, дружески потрепал.

— Знаешь, семь бед — один ответ. Не расстраивайся. Ну, всыпят. Так все-таки за дело же! Ты в Центр передай, что снова ухожу на задание. Обещаю выполнить и не по-

гибнуть. Расскажи о нашей обстановке, там все поймут правильно. Нет у нас сейчас другого выхода. Так что не забудь, сразу передай, Илья.

— Эх, Миша, тебе бы маленько прийти в себя...

— Я в норме. А Машеньку ты возьмишь с собой. Так надо. Ничего, у нас еще все впереди...

Сибирцев подошел к Маше, взял ее за руку. Почувствовал, как она вздрогнула.

— Машенька, — сказал он после долгой паузы, глядя себе под ноги, — я хочу вам сказать... — Он замолчал.

— Я долго думала, Михаил Александрович, — заговорила она, — последние дни я только и делала, что думала, думала, думала... Я никогда столько не думала, сколько... вчера. И я должна, обязана вам сказать, Михаил Александрович, что никогда в жизни, понимаете, никогда не напмню... об этой ночи... И еще... Мне стыдно говорить, но я, Михаил Александрович... я вас люблю.

— Машенька...

— А сейчас мне очень хочется плакать, Михаил Александрович... — И она прижалась лбом к его груди.

Мимо прошли две старухи, видно, тоже с кладбища.

— Так снесли-та кого, Катярина, ась?

— Я ж те баила: Сивачеву, оттеля, с усадьбы. И сына ейнова.

— А че с им-та?

— Вроде бы ранетай, болел усе, болел, да, видать, и помер.

— Ну, тады прими их души...

— Истин так.

СЛЕДОВАТЕЛЬ ОСОБОГО ОТДЕЛА

1

Осторожный стук в закрытую ставню — три раза, пауза и еще три раза — разбудил Анну. Она уже несколько дней ждала этого условного сигнала, вслушивалась и вглядывалась в тревожные ночи, заполненные громом медленно удаляющейся на запад артиллерийской канонады, лязганьем танковых гусениц, приглушенным ворчанием моторов, грозными окриками и пугающе близкими выстрелами. Она чувствовала, что заболевает от обессилевающего ожидания, мутится разум, раскалывается голова от постоянного грохота за окном, и надо все равно ждать и считать, считать до бесконечности.

Днем движение за окнами стихало — войска накапливались ночами, и эти временные передышки еще больше обостряли напряжение ожидания и страха, который внушала лавина военной техники и эти пыльно-серые, идущие на запад войска.

Она боялась, что каждую минуту могут застонать под тяжелыми сапогами ступени крыльца и злые от долготерпения солдаты требовательно застучат в дверь. И придется впускать их, стараться изобразить на лице улыбку, низко кланяться и благодарить освободителей, поскорее стелить на стол хрусткую праздничную скатерть, доставать самогон, варить картошку, резать сало, а они станут похозяйски оглядывать ее, ощупывать голодными глазами.

Теперь снова их власть, они сильнее и вправе требовать свое по закону войны.

Но потом из тоскливой опустошенности, из постоянного страха, словно росток в пепле, пробивалась ярость, и тогда хотелось, разорвав в истошном вопле рот, швырять им всем, всем под ноги гранаты, стрелять в них, упиваясь ненавистью... О, мой бог! Когда же это все кончится!..

На исходе пятых суток Анна поняла, что действительно заболевает. Она увидела себя в зеркале и долго, с пристальным удивлением рассматривала и не узнавала собст-

венное отражение: жесткие, нечесанные волосы, провалившиеся, горящие лихорадочным блеском глаза и — морщины... морщины! Вот они, у рта, и у глаз, и на лбу! И это она — Анна, совсем еще молодая женщина, сорок два только, красавица, роскошь, мечта, как совсем недавно, месяца не прошло, уверял ее суровый и надменный Бергер, зарываясь лицом в ее золотисто-нежные ромашковые локоны. Где он теперь? Забыл, бросил, как бросают надоевшую шлюху, отшвырнул, словно грязную тряпку...

Бергер... Он вспомнился так живо, словно это было вчера. Недовольно покрикивая на молчаливого исполнительного Ганса, когда тот неаккуратно отдирает от подрамников холсты картин и закатывает их в толстый рулон, Карл убеждал Анну, что все это ненадолго, это — не уход, а временное запланированное выравнивание, или, говоря военным языком, спрямление линии фронта. Но губы его брезгливо кривились. Под большим секретом он сообщил Анне, что в районе Курска уже началась одна из мощнейших наступательных операций, которая должна наконец принести победу фюреру. Именно поэтому, в силу стратегической необходимости, требуется абсолютная координация передвижения всех воинских частей. В данном случае большая стратегия диктует временный отход полевых дивизий вермахта к укреплениям Восточного вала, а это непрерывная, шестисоткилометровая полоса неприступных инженерных оборонительных сооружений до полутора сотен километров в глубину, гигантская система противотанковых рвов, надолб, траншей, бронированных огневых точек, сплошные минные поля и проволочные заграждения. Но если Бергер сам верил в это, тогда почему торопливое, воровское, постыдное бегство, эти ящики, рулоны? Словно понимая, что его слова не убеждают Анну, Бергер заговорил о долге перед Германией. Все они — и он и Анна — солдаты фюрера, и каждому предопределено свое место в великой битве тысячелетнего рейха. Ему, Карлу Бергеру, приказано срочно передислоцироваться со своей командой под Смоленск, а Анне надлежало оставаться здесь, вернуться, разумеется ненадолго, к прежнему образу жизни и — ждать. По твердому убеждению Бергера, она ничем особенным не скомпрометирована перед Советами, ее имя не фигурировало ни в одном донесении — об этом он сам позаботился, — и поэтому риск исключен полностью...

Условный стук повторился. Теперь стучали в дверь. Ан-

на словно очнулась, набросила на голову черный старушечий платок и на цыпочках подошла к двери. На крыльце сдержанно и хрипло покашлял мужчина.

— Кто? — едва слышно спросила Анна.

— Я это, я, Анна, — заторопился осипший голос. — Гриша...

Навалясь всем телом на дверь, Анна отодвинула тяжелый засов, сбросила крюк и приоткрыла заскрипевшую дверь.

Григорий боком протиснулся в сени и быстро захлопнул дверь. Потом повернулся к Анне, выдохнул прямо в лицо:

— Добрался, слава те... Боялся, не дождусь, все прут и прут, конца им не видно...

Лицо его было неразлично во тьме, но Анна сразу представила себе обросшую грязной бородой опухшую физиономию, почти звериный оскал крупных желтых зубов, и ей стало до омерзения, до рвоты противно. И это Гриша... Раскудрявый весельчак, забубенная головушка с цыганскими влажными глазами. Мерзкое, вонючее животное...

Григорий отодвинул Анну и, обдав ее прокисшим, тяжелым запахом пота, плесени и печного угара, прошел в комнату, где грузно опустился на стул.

— Свет не зажигай, — прохрипел он. — Воды дай, помыться... ага, и белье достань. А то уже чесотка пошла...

Он встал и, шаркая, побрел на кухню, зазвякал там посудой.

— Горячего есть чего пожрать?

Оцепенев, стояла она по-прежнему в дверях и ощущала снова накатывающую волну дикой смертной тоски. Ждала и вот — дождалась.

— Дрова где? — негромко донеслось с кухни. — Да не бойся ты, я немного, только воды согреть, совсем запаршивел в своей берлоге...

— За печкой, — словно в полусне отозвалась Анна.

— Ладно, — он загремел поленьями. — Ты не ходи сюда. Я сам. Пожрать бы чего-нибудь горячего... Кишки сводит от сухомятки...

Спустя час он сидел босой, в чистых бязевых кальсонах и нижней рубаше и встряхивал мокрой головой, чтобы отогнать наваливающийся сон. Анна плотно зашторила кухонное окно и зажгла керосиновую лампу. На раскаленных углях в печи шипела картошка с салом. От запаха у Григория мутилось в голове.

Он ел жадно, обжигаясь, ложкой зачерпывал растоп-

ленное сало, макал в сковородку краюху хлеба, хрустел луковицей, и нижняя челюсть его двигалась мощно и равномерно, как шатун паровоза. Он выпил стакан самогона, и глаза его осоловели, а движения стали вялыми.

— Еще глоток дай, а то сильно в сон кидает, — пробурчал он, не поднимая головы и даже не удостоив Анну взглядом.

Она механически налила еще стакан. Григорий медленно выцедил его, подобрал остатки со сковороды, откинулся и сыто икнул.

— Ну, все, — выдохнул утомленно. Похлопал себя по широко расставленным коленям, почесал пяткой о пятку. Показал Анне на кучу грязного белья у печки. — Ты это потом сожги или выбрось подальше куда. Стирать не надо. Там, поди, и вошь есть. О-ох! — он широко зевнул. — Соснуть бы часок по-людски... А, Ань?

Она молча ушла в комнату, сдернула с кровати покрывало и швырнула его на спинку. Он подошел сзади, положил ей на плечо жесткую ладонь.

— Одеяло, подушка... А я, Ань, — Григорий больно сжал ее плечо, — в разрушенных домах прячусь, по подвалам, прям дикий зверь какой... — Он рукой примял перину, зло засмеялся: — Мягко ему было тут, поди? Любил он мягонькое да пышное, а?

Анна рывком освободила плечо.

— Перестань! Побрился бы, что ли? На кого похож...

— А-а, — Григорий отмахнулся. — Меньше узнавать будут... Что я тебе скажу, Ань: кранты твоему Бергеру, полный капут. Я из берлоги своей много всего насчитал! Танки, пушки, пехота... Тут вот битый час сидел, все ждал, когда колонна пройдет. Во! — он ткнул пальцем в окно, где снова звонко задребезжали стекла. — Слышишь? Опять покатались... Думаю, не устоять уже немцу, нет. — Он вдруг ехидно засмеялся: — Ох, да за те сведения, что я сейчас имею, Бергер твой мне по гроб жизни был бы обязан, да вот ему — фига!

— Что ты все «твой» да «твой»? Надоело!

— А что он, мой? Это ж ты меня ему продала, — Григорий язвительно хмыкнул, — как собаку. Только сам он — распоследняя сука, твой Бергер. Чего ж это он тебя с собой не прихватил, а? Я — что? Я — пешка, мне из-под этого гада теперь до смерти не выбраться. А ты? Знаешь, зачем ты ему нужна была? Вот для этого! — он показал на кровать. — А драпать легче одному... Э-эх, Аня, Аня, появ-

заны мы с тобой теперь одной веревочкой, на ней и висеть будем... Ладно, вздремну часок, а ты до света разбуди.

Он навзничь завалился на кровать. Анна опустошенно глядела на темное пятно его головы, а в висках колотилось: «Бросил... как собаку... собака...» Григорий вдруг заворочался, приподнялся на локте.

— Ты чего, Ань?..

Он неожиданно цепко схватил ее за руку и рывком притянул к себе. Она упала на него, охнула, пытаясь отстраниться, но он подмял ее под себя и, обдирая тело грубыми, как наждак, ладонями, яростно навалился на грудь.

— Озверел я, совсем озверел, — прохрипел он ей в лицо короткое время спустя, словно оправдывался. Она прерывисто застонала. — Да ладно, прости, Ань... Соскучился я по тебе. Ты не реви, я так думаю, что и для нас с тобой не все потеряно... Уходить нам нужно, уходить туда, где ни меня, ни тебя никто не знает. Нынче же... А этот Бергер, он не вернется, Ань, сволочь он, слышишь?.. Эх, баба, не разбираешься ты в людях... — Он отвалился на спину и скоро тяжело захрапел...

В окне стало синеть, и Анна испуганно вскочила. Неужто уже утро! Она стала будить Григория, но тот мычал только и чмокал толстыми губами. Наконец протер глаза кулаком, сел на кровати. Посмотрел на светящийся циферблат своих часов — подарок Бергера — и окончательно проснулся.

— Утро, — зло прошипела Анна. — Может, ты тут жить собрался?

Григорий встряхивал головой.

— Уйду, уйду, чего ты, ей-богу!.. Поди, глянь, в шкафу ничего уже не осталось? Все, что ли, износил? — и добавил примирительно: — Ладно, не бушуй, старое надену...

Своего барахла Григорий практически не имел. Сперва он донашивал костюмы Петра Баринова, покойного мужа Анны, которые были ему как раз впору, потом Анна сама ему покупала, вот он и привык, что в ее платяном шкафу всегда имелось что-то из одежды и для него. Выходит, больше нет, кончилось... Придется снова лезть в задубелые, словно чертова кожа, штаны.

Анна ушла на кухню, прибрала там все, завязала в узелок большой кусок сала и десятка полтора вареных картофелин, затолкала под печь грязное белье, чтоб вы-

нести утром, и погасила забытую лампу. Григорий уже оделся. Она отдала ему узелок.

— Спасибо, Аня, — он вздохнул. — Опять эта сухомятка... Ну, это еще переживу. Вот с другим питанием совсем хреново. Батарейки сели. Ни черта не слышно.

— У тебя же запасные были! — сердито отозвалась Анна.

— Были! — передразнил Григорий. — Да сплыли. Заваляло их в прошлом подвале, и нет теперь туда хода. Там саперы пришли мины выковыривать. Я сидел, носа не высывал. А в прошлый вторник в двенадцать вышел в эфир, настроился, только начал, а тут как рванет! Прямо над головой! На меня кирпичи — по башке, по рукам, по рации! Не выскочил бы — хана.

— Что ж ты сразу о самом главном не сказал? — расшвыривала Анна. — Несешь тут всякую чушь, черт-те чем занимаешься!..

— Ну уж, ну уж... Ты брось эти дела, будто я насильник какой, а ты у нас невинная девица. Это вот Бергер твой...

— Я запрещаю тебе говорить о нем! Ты — ничтожество по сравнению с ним, понял? Вот и помалкивай.

— Да ладно, Ань, брось ты, — он потянулся к ее плечу, но она резко отбросила его руку.

— Тебя там никто не видел?

— Откуда я знаю? Кто мог увидеть, того убило. Он на мину напоролся. А мне что, я знаю, где эти мины. Вот и пришлось в другой подвал перебазироваться... Ха-а, не поверишь, в свой собственный! Все, что от моего дома осталось... Рацию, конечно, помяло, но только корпус пострадал, а так вроде работает. Вчера, как положено, снова вышел на связь, да только и смог передать, что питание кончилось и рацию покурочило. Пусть теперь сами думают... А у тебя разве запаса нет?

— Откуда же? — Анна была и возмущена, и растеряна.

— Ну, значит, будем ждать, когда новые пришлют. А как они пришлют? Я, Ань, вообще-то не уверен, слышали они меня или нет. Батарейки совсем подсели. И вот что я думаю, Аня: нечего нам тут дожидаться. Бергер сюда все равно не вернется. Это ты дома сидишь, ничего не знаешь, а я все вижу. Таковую силищу не сдержать немцу. А потому уходить нам с тобой отсюда надо. И побыстрей. Ты отнесись серьезно. Я чувствую, что вокруг меня будто петля сжимается, как зверя обкладывают. Слышь, Ань, а мо-

жет, прямо сейчас и двинем? Нынче затеряться — пара пустяков. Скажемся беженцами, и ищи-свищи... Пусть Бергер у себя в Берлине приказывает. Плевал я на него...

— Никуда ты не пойдешь! — истерически взвизгнула Анна. — И я никуда отсюда не пойду. Понял? Это — приказ.

— Да будет тебе... Приказ... Ты не ори на меня. Смутно мне что-то, Аня... Ладно, я завтра приду, а ты все-таки решай. — Григорий притянул к себе ее голову, обнял. — Э-эх! Мать честна! Горячая какая! Слышь, Ань, ты не заболей гляди, нам теперь болеть никак нельзя... — Он чутко прислушался: — Ну, вроде тихо. Открывай помаленьку.

Она неслышно сдвинула засов, приоткрыла дверь, выглянула. Глаза, привыкшие к темноте, обшарили часть улицы перед палисадником. Было все спокойно, никакого движения...

— Иди, — прошептала через силу. — Только не на улицу, а вдоль забора, где темней.

— Что я, не знаю? — он выскользнул за дверь, а она тут же накинула крюк, чтобы не греметь засовом, и подошла к окну. С минуту было тихо, потом раздался громкий окрик:

— Стой, кто идет? Документ! Подходи!

Тут же грохнул выстрел, за ним второй, третий... Ударил автоматная очередь. Выстрелы и крики стали удаляться. Анна бессильно привалилась к стене, замерла. Снова слышался топот бегущих, крики:

— Откуда он вылез, гад?

— Да вроде из этой хаты!

— Савчук! Обыщи кругом, может, там еще кто прячется! Быстро!

Топот сапог приближался. Вот уже на крыльце. В дверь ожесточенно забарабанили.

— Открывай! Живо! Кто тут есть?

Анна бросилась к кровати, взбила перину, накинула на голову платок и на ватных ногах пошла к сотрясаемой двери. Открыла. Ее ослепил луч карманного фонаря.

— Кто такая? — услышала крик. — В доме есть кто? Был? Отвечай!

Она заслонила глаза ладонью, простонала:

— Одна я живу, ничего не знаю...

— Поглядим! — грозно бросил солдат. Бряцая подковками и высвечивая углы фонариком, с автоматом навскидку он быстро обыскал весь дом. Длинной плащ-палаткой за-

дел и опрокинул легкий венский стул, чертыхнулся. Заглянул за печь, залез под кровать, наконец выбрался, отряхивая колени, и вышел на крыльцо.

— Слышь, сержант? В хате никого! Бабка одна! Старая!..

— Ладно! — слышалось с улицы. — Двигай в следующую!

Солдат убежал. Анна последним усилием воли задвинула засов и тут же в беспамятстве повалилась на пол.

2

После длительной полосы неудач это утро наконец принесло майору Дзукаеву первую находку. Дело в том, что вчера, уже в третий раз, заговорил вражеский передатчик. С понедельника молчал и вот заговорил. Но передача была такой же короткой, как и предыдущая, да еще и слабой, поэтому не успели засечь радиста. Примерная же территория, откуда она велась, была большой, по сути, это — огромный городской район, превращенный фашистами при отступлении в сплошные руины. Ко всему прочему, развалины были заминированными. Один из жителей, вернувшийся к остаткам своего жилища, подорвался, но, несмотря на запрещающие трафареты, люди по-прежнему лезли и лезли на это адское кладбище.

Вместе с приданным ему отделением бойцов и саперами Дзукаев ползал среди развалин, прочесывая вслед за саперами метр за метром. Но разве ж можно за считанные дни отыскать что-то путное, когда бесчисленным погребам и подвалам, захороненным под пепелищем, нет конца и края? Гитлеровцы действовали планомерно, уничтожая дом за домом, квартал за кварталом, все превращая в дымящуюся пустыню. А дома здесь раньше были крепкие, первые этажи, как правило, каменные, да такой кладки, что не с ходу и взломаешь.

И вот в одном из разрушенных подвалов обнаружили пачку совершенно новых батареек для рации. Скорее всего, они и принадлежали тому самому радисту, которого искал майор.

Когда Дзукаев, оставив вместо себя старшего лейтенанта Виктора Дубинского, срочно прибыл с найденными вещами в отдел, ему тут же передали, что его ждет начальник особого отдела корпуса полковник Федоров.

Дзукаев быстро, но тщательно побрился, вычистил стоявшую коробом от пота и пыли гимнастерку, словом, привел себя в надлежащий вид и, прихватив найденное в развалинах, отправился к полковнику.

Алексей Владимирович Федоров, заложив руки за спину, стоял у забранного толстой решеткой окна и задумчиво разглядывал затененный высокими липами двор. Скамейки-лавочки, маленький бетонный фонтанчик — каким-то все это было нереальным, словно пришедшим издалека, из давно забытых довоенных дней. Тишина, не бомбят, не стреляют. Как он соскучился по этой мирной тишине...

Услышав быстрые шаги в коридоре, полковник медленно обернулся к двери и вдруг будто по-иному увидел свой большой кабинет таким, каким он был, когда Федоров в первый раз вошел в него буквально через сутки после ухода фашистов. Этот массивный, лежавший на боку письменный стол с расколотыми лапами был похож на гробницу. Искромсанные и выпотрошенные с торчащими пружинами кожаные кресла валялись посреди комнаты. Кто здесь находился во время оккупации, Федорова особенно не интересовало, кажется, заместитель коменданта, ценивший во всем монументальность и тяжеловесность. Удирая, не смог увезти с собой ни стола-гробницы, ни кресел этих неподъемных, но уж испортить, изгадить, изувечить брошенное постарался, сукин сын, как мог. Не кабинет был, а хлев, свалка. А ведь наверняка считал себя цивилизованным человеком, вон и картины на стене держал, от них еще гвозди с обрывками веревок остались. Дубовый фигурный паркет взломали, в углу костер развели, уничтожали документы, жгли мебель старинную, с золочеными ножками. «Хорошо, наши подросли вовремя, загасили пожар, — подумал Алексей Владимирович. — Прямо какое-то звериное, первобытное варварство. Впрочем, не первобытное, нет, наоборот, жестокое, обдуманное». Не он ли, этот бывший любитель монументальности, приказал построить в центре города, напротив райсовета, виселицу — не самоделку, не два столба с перекладиной, а целое сооружение? Местные жители говорят, что за два года оккупации ни разу не пустовали семь кованых крюков этой виселицы. Семерка — символическая цифра, основа фашистской свастики. Можно подумать, что они еще во что-то верят, в магию цифр, например.

— Здравствуй, Иван Исмаилович, — хмуро кивнул полковник. — Ну, что там у тебя, докладывай.

Федоров оглядел осунувшееся лицо майора, удовлетворенно отметил про себя характерную опрятность своего подчиненного, и короткая улыбка тронула краешек его губ. «Молодец, — подумал, — работяга, в самое пекло залезет, а вид, как у тамады на пиру».

Дзукаев положил на стол завернутый в портянку сверток. Аккуратно размотал материю.

— Вот, товарищ полковник, — сказал он глубоким гор-
ташным голосом с заметным кавказским акцентом, за что
его в добрую минуту и звали «тамадой». — Разрешите до-
ложить?

— Да я уж разрешил, — Федоров обрадованно хмык-
нул. — Нашли, что ли, наконец?

— К сожалению, это все, товарищ полковник. Больше
ничего. Ни рации, ни радиста. Ушел.

— Как это ушел? — полковник гневно свел брови к пе-
реносице.

— Еще до нас ушел. Разрешите по порядку? Эти бата-
рейки совсем новые, ими никто не пользовался. Упаковка
не сорвана. Там, в подвале, где мы их нашли, произошел
небольшой обвал, и, похоже, недавно. Камень свежий,
тронешь — песок сыплется. Этот сверток в углу был при-
давлен. А медная проволока — вот эта — из печной трубы
торчала, другой конец в подвал выходил. Я о чем подумал,
товарищ полковник? Если радист был, тогда почему ушел?
Зачем батарейки бросил? Совсем ведь новые батарейки.
Стал я думать, и такая картина нарисовалась.

— Ну-ну, — оживился полковник. — Да ты садись.

— Первый вопрос: почему ушел? — Дзукаев устало сел
на стул. — Думаю, что-то помешало или испугало. Что?
Если на тебя камень станет валиться, испугаешься? А как
же! Конечно... Думаю дальше: почему камни стали падать?
Сами по себе? Не исключено, все кругом разрушено, на
соплях, извините, держится. Еще почему? Что-нибудь
встряхнуло развалины. Что? Может быть, взрыв? Посмот-
рели — точно, был взрыв. Снаружи прямо над головой —
воронка от взрыва. Мой сапер сказал: «Наверное, это здесь
на той неделе человек на mine подорвался». — «Откуда, —
говорю, — знаешь?» — «Говорили, кричал долго, пока са-
перы пришли, тут мин, как картошки». Велел ему обяза-
тельно вспомнить, от кого слышал. Теперь ставлю себя на
место этого радиста: сижу в подвале, в полной безопаснос-
ти — там следы костра есть, кости, тряпки есть — вдруг
взрыв над головой, и на меня камень падает! Конечно, ис-

пугаюсь, все брошу, убегу... Поэтому и передача была короткая.

— Похоже, так, — задумчиво сказал полковник. — Но рацию он успел унести. Проволока — конечно, антенна. И с этой своей рацией он вчера в эфир вышел. В третий раз уже... — Алексей Владимирович достал из ящика стопку чистой бумаги и толстый синий карандаш. Нарисовал две жирные стрелки координат, потом сектор между ними заполнил параллельными и перпендикулярными линиями и начал затушевывать через один получившиеся квадратики. При этом крупное лицо его с выпуклым лбом и высокими залысинами словно окаменело. Рассматривая получившуюся «шахматную доску» и наклоняя голову то вправо, то влево, как художник на этюдах, Алексей Владимирович тщательно анализировал рассказ майора.

— Тут другой вопрос, товарищ полковник, — продолжал между тем Дзукаев. — Может, кто видел того радиста? Из тех, которые раненого вытаскивали? Или сам раненый, если жив, конечно.

Полковник молчал. Раненый, пожалуй, не мог быть радистом. Иначе нашли бы рацию или ее остатки. Держать двух радистов — слишком жирно для фрицев. Да и третья — последняя передача была тоже короткой и очень слабой, похоже, батареи садились. Значит, радист других уже не имел... Пока все сходилось.

— Понимаете, взрыв, на меня камни валятся, и раненый наверху кричит. На крик, товарищ полковник, обязательно люди прибегут. Значит, мне тем более удирать надо!

— Что ж, — полковник отложил карандаш, — ты считаешь, наш радист знал, где мины стоят?

— Получается, знал. Но система пока не проглядывается. Мы смотрели. Напихано в расчете на случай. Торопились фашисты.

— А может, он сам и расставил мины? Смотри: ходит ведь среди них без опаски, передачи ведет. Похоже, он с вами в прятки играет.

— Там, где мы прошли, его нет. Патрули держим.

— Иван Исмайлович, мы с тобой люди военные и знаем, что взорвавшаяся мина уже не опасна. Пронесло, значит. Ты, к примеру, стал бы ставить мину у себя над головой?

— Что я — сумасшедший, товарищ полковник? Только дурак поставит...

— Вот именно. Давай-ка еще раз проиграем твой вари-

ант. Итак, взрыв. Валяются камни. Они что, весь подвал завалили? Далеко не весь. Вы ж забрались и даже батареи нашли... Значит, если радист опрометью кинулся бежать, его к этому действию могли подтолкнуть два обстоятельства: взрыв неучтенной — понимаешь? — неучтенной им мины, во-первых, и темнота подвала, в котором он находился, во-вторых. Темнота его и подвела, в темноте все страшнее.

Полковник встал, прошелся по кабинету, сцепив пальцы за спиной. Его беспокоила мысль, которая, казалось, лежала на поверхности, где-то рядом, близко. Она еще не сформировалась, но вот-вот должна была высветиться.

Дзукаев тоже поднялся, но Федоров ладонью махнул ему: сиди! Взгляд Алексея Владимировича упал на «шахматную доску», и сейчас же все стало на свои места...

— Говоришь, много там подвалов?

— Так много, товарищ полковник, что не только радиста, батальон фрицев упрятать можно.

— А мины какие?

— Самые разные. Противотанковые, противопехотные — фугасы, «лягушки», даже противотранспортные есть в здоровых таких деревянных ящиках. У них и донные и торцевые взрыватели. Сперва мы хотели их разоружать, но столько времени уходит, что плюнули и стали отмечать флажками. Эти бандуры не каждый и разминировать-то возьмется. А больше всего артиллерийских снарядов со всякими хитрыми взрывателями.

— Понятно. Ну-ка, Иван Исмайлович, возьми карандаш, изобрази мне свой район и как ты ведешь поиск.

— У меня план есть, товарищ полковник, только старый совсем, случайно раздобыли, — Дзукаев достал из кожаного планшета выцветшую, нечеткую синьку — план города, разложил на столе, пригладил ладонями и карандашом очертил район поиска. — Вот. Тут все разрушено, идем с двух сторон, отсюда и отсюда. Здесь — бойцы оцепления. Мышь не проскочит, товарищ полковник. Проверили примерно до сих пор.

— Сколько же вам времени еще потребуется?

— Два дня, как минимум.

— Долго. Надо ускорить.

— Как, товарищ полковник? — Дзукаев сокрушенно бросил карандаш на карту. — Вспомните, первая передача зарегистрирована в тот понедельник. Вторая — та самая, короткая, — на следующий день, во вторник. Планомерный

поиск мы начали только в среду. Сегодня понедельник. Выходит, мы уже почти неделю в развалинах. И ночью ведь работаем, с фонарями. Спешим, но и опасность вдвое, втрое увеличивается. Людей жалко.

— Тебе на месте, конечно, видней, но я вот что думаю. Кем бы там ни был этот радист, систему минирования он, пожалуй, знает лишь в общих чертах. Иначе говоря, помнит, где можно ходить, а где нельзя. Взрыв уже выбил его из колен. Как заставить его вылезть из новой щели, в которую он теперь спрятался? Способ я вижу только один: мины не разоружать, не терять дорогого времени, а подрывать. Причем подрывать, путая по возможности и эту кажущуюся бессистемность. Неуклонно и быстро приближающиеся взрывы подскажут радисту только один выход: снова бежать. Надо поторопить его, быстрота продвижения саперов должна ввергнуть его в панику. А он и так пуганый. Понял?

— Понял, — сразу ответил Дзукаев, пристально разглядывая свой план. — Так мы и до ночи пройти сможем...

— То-то и оно... Ты когда-нибудь слышал о дзю-до?

Дзукаев с любопытством посмотрел на полковника, но не ответил и ждал продолжения. Он знал, что Алексей Владимирович в свое время работал военным советником в Китае и нередко употреблял такие слова и выражения, о которых сотрудники особого отдела и не слыхали.

— Так вот, — наставительно продолжал полковник, — это японская борьба. Ее главный принцип — сделать силу противника его слабостью. Если он считает свою новую щель силой, защитой, мы должны еще раз посильнее встряхнуть его, чтоб снова камни посыпались, понимаешь?

— Понимаю, товарищ полковник.

— Вот и отлично, продолжай поиск по двум направлениям. Ты — в развалинах, а Дубинскому поручи или Рогову — кому, тебе виднее, найти того раненого и людей, что его спасали. И последнее. Вынужден сделать замечание, майор. Мы стали плохо работать. Сам говоришь, почти неделя прошла. Медленно ищем. Факт трех сеансов радиосвязи давно известен наверху, и там к ним отнеслись весьма серьезно. Положение на фронте таково, что наше промедление больше непозволительно. Фронт готовится к большому наступлению, и наш долг коммунистов и чекистов — обеспечить его полную секретность. Надеюсь, и это тебе понятно...

Полковник мог ничего не объяснять Дзукаеву. В принципе, даже мало посвященному человеку было видно, что

такая масса техники и людской силы накапливается для крупного наступления. Впереди лежали города Смоленской области и сам Смоленск, превращенные гитлеровцами в мощные узлы сопротивления, последние опорные пункты их обороны, закрывающей ворота в Белоруссию. Третий год войны принес большие победы советским войскам. Сокрушительный разгром фашистов под Сталинградом как бы ознаменовал начало года. Теперь развернувшееся на Орловском, Белгородском и Харьковском направлениях грандиозное сражение, в котором принимают участие сразу пять фронтов, должно привести к разгрому крупных вражеских группировок. В штабе армии имелись сведения о поистине небывалой танковой битве у деревни Прохоровки, где-то у Курска. Однако сопротивление гитлеровцев было еще слишком сильно. И подготовка к операции по освобождению Смоленщины, естественно, требовала полнейшего сохранения тайны. А тут свободно работающий вражеский передатчик. В данной ситуации любое промедление действительно было преступным.

— Понятно, товарищ полковник. Как не понять?..

— Тогда не теряй времени, наваливайся на радиста и достань мне его хоть из-под земли... — Полковник вдруг улыбнулся: — Именно из-под земли, но обязательно живым. Срок? Срока уже нет. Сверху жмут, приказано докладывать дважды в день. Боюсь, и нам придется с часу на час трогаться дальше, на запад. Все, ты свободен. Эти «игрушки» оставь у меня, — полковник собрал портянку за уголки и сдвинул сверток на край стола. — Опять придется вызывать из Москвы эксперта-криминалиста. Вечная история, — вздохнул он, — по каждому поводу гонца посылать... Пока все только обещают дать нам своего эксперта...

— Разрешите вопрос, товарищ полковник?

— Давай, поскорей, — Федоров недовольно поморщился.

— Передачи расшифровали?

— Нет.

— А если им предложить такой ход? — загорелся майор. — Последняя передача была совсем короткой. И слабой. Это известно. Думаю, батареи у него сели, вот отчего. Новые ведь в подвале остались, а возвращаться за ними он боялся. Какой вывод сам напрашивается? «СОС» он давал, товарищ полковник, паниковал, что питания для рации нет. Если тут ключ искать, наверное, что-нибудь может получиться. Вот отсюда бы и скакать нашим джигитам, а, товарищ полковник?

— Любопытно! Молодец, майор! Обязательно скажу им. Желаю успеха!.. Да! Постой, с этим радистом, будь он не ладен, чуть не забыл... Вот еще одно сообщение. Полагаю, может иметь к тебе самое непосредственное отношение. Сегодня ночью, перед рассветом, патруль прозевал, не сумел задержать явного диверсанта. — Полковник достал из папки рапорт. — Было это... на Красноармейской улице, в два часа тридцать минут утра. Покажи свой план?.. Где она?.. Вот, где-то тут, совсем недалеко от твоего района. Отстреливаясь, враг ушел. Похоже, в направлении развалин. Один боец убит. Так что имей в виду, если это был твой радист, он хорошо вооружен и без боя не сдастся. Дома в районе происшествия проверены, но я уверен, недостаточно, второпях. Придется и там повозиться. Теперь все. Иди.

Перескакивая через две ступени, Дзукаев выбежал на улицу, прыгнул, словно в седло, на переднее сиденье «виллиса» и скомандовал шоферу:

— Рысью к нашим! Одна нога здесь — другая там, дорогой Петя!

Шофер ухмыльнулся и врубил скорость...

3

Увидев пробирающуюся между развалинами машину майора, старший лейтенант Дубинский спрыгнул с обломка стены и пошел навстречу.

— Ну, что? — издалека крикнул он.

Дзукаев нетерпеливо махнул ему рукой.

— Садись, — приказал он подбежавшему следователю. — Нашли еще что-нибудь?

Дубинский обиженно развел руками, вытер тряпкой черные от сажи ладони.

— Напихали они тут своих игрушек. Вот такую кучу уже обезвредили, — он показал рукой, какая получилась куча разряженных мин, — конца все не видно.

— Слушай, Петя! — кивнул Дзукаев шоферу. — Собери сюда Рогова и Бурко. Большой совет держать будем.

И пока шофер бегал за сотрудниками Особого отдела, Дзукаев познакомил следователя с планом начальника. Дубинский с ходу оценил прямую выгоду такого поиска.

— Только с народом трудно, — пожаловался старший лейтенант, — не успеваем следить за ними, так по пятам и

лезут в развалины. Прослышали, что мы разминируем. «Мой, говорит, тут дом был. Может, осталось чего...» Объясняем, не пускаем, на мины показываем, все равно лезут. Бойцов не хватает гнать их.

— Всех проверяем?

— А как же, самым тщательным образом, только это, в основном, старики да дети. Жалко их, товарищ майор... Кстати, тут один любопытный малец объявился. «Хочу, говорит, начальника видеть, по секретному делу». Я ему говорю: «Я — начальник». — «У тебя, дяденька, звездочки маленькие, а мне надо, чтоб большая была». Ну, что ты скажешь, от горшка два вершка, нашей новой формы отродясь не видывал, а туда же, не такая ему звездочка на погоне. Ну, я и говорю: «Тогда жди». Может, побеседуете потом, товарищ майор?

— Поговорим, — улыбнулся Дзукаев, — попозже... Эй, джигиты! Долго вас ждем.

Офицеры подошли, отдали честь, поздоровались, отряхнулись от пыли и окружили майора. Дзукаев показал на разостланный на сиденье план района.

— Докладывайте, где проверено?

Выслушав неутешительные сообщения следователей, Дзукаев предложил новый вариант поиска. Тут же обмозговали детали: как производить взрывы, где ставить охранение, словом, еще раз продумали всю операцию, чтобы завершить ее до вечера. Покончив с этим делом, Дзукаев дал каждому задание. Лейтенант Рогов отправлялся на поиски раненого и тех, кто его спасал. Для этой цели майор отдал ему «виллис». Капитан Бурко продолжал работу с саперами и осмотр погребов и подвалов. Дубинскому поручалось собрать здесь всех, кто пришел на свое пепелище. С ними Дзукаев хотел поговорить сам.

— Ну, джигиты, по коням!

Вскоре гулко ахнули первые взрывы...

Дзукаев присел на расщепленный, опрокинутый ствол тополя и нетерпеливо поглядывал, как робко собираются погорельцы. Пришло десятка два человек. Майор их всех пытливо рассматривал, прикидывал, кто из них мог бы оказаться разыскиваемым радистом. Нет, нужного или, скажем, похожего на такого человека среди этих несчастных, лишенных крова людей не находилось.

Изможденные и покорные, все эти глубокие старики и старухи, молчаливая ребятня вызывали в нем не жалость, а острую, до зубного скрежета ненависть к тем, кто пре-

вратил людей в шатающиеся тени, а их жилье в дым и пепел.

Дзукаев встал, одернул гимнастерку и снял фуражку.

— Здравствуйте, дорогие мои, — сказал он и широко обвел рукой руины. — Вот что сделал фашист с нашей жизнью! Вот с чем пришел он на нашу землю, чтобы раздавить советское государство, уничтожить наш народ. Но Красная Армия набрала силы, и больше ее никто и ничто не остановит. И теперь мы раздавим Гитлера в его собственном логове!.. Но, убегая, фашист продолжает совершать преступления. Он заминировал даже эти развалины, чтобы вернувшиеся сюда обездоленные люди нашли смерть. Слышите, грохочут взрывы? Это наши герои-саперы, рискуя жизнью, спасают вас. Чтобы вы остались живы, не подорвались на вражеской mine, как тот человек, который пришел сюда неделю назад. Дело у них очень опасное, им нельзя ошибиться, а вы им, дорогие мои, сами мешаете, прямо под руку толкаете. Разве же так можно? И другое скажу. Немцы оставили в городе своих пособников — подлых предателей, шпионов, убийц. Они вредят нам, где только могут. Они хотят снова поставить в городе виселицы, расстреливать людей, закапывать их живыми в землю. Думаю, вы их даже знаете, видели этих мерзавцев. Ведь вы здесь жили, трудились, знакомы друг с другом. Подумайте, вспомните, может, видели здесь кого-нибудь из тех, кто сотрудничал с немцами, всяких подозрительных людей, которые боятся солнца и сегодня скрываются, прячутся в погребках и развалинах? Если видели, пожалуйста, очень прошу, сообщайте нам. Вот этот старший лейтенант, его зовут Виктор Александрович, будет здесь все время. Сразу ему говорите. — Дзукаев показал на Дубинского. — А в развалины сейчас не ходите. Подождите совсем немного, мы обезвредим мины, и тогда ищите свои жилища. И помните, Советская власть вернулась навсегда, и она не бросит вас, не оставит в беде. Будут на этом месте стоять новые, хорошие, очень красивые дома, и вокруг них будет много цветов. Так я думаю. А теперь спасибо вам, дорогие, что выслушали и приняли к сердцу нашу просьбу.

Дзукаев поклонился и надел фуражку. Люди не расходились, они не стали задавать вопросов, однако никто из них не полез и в развалины, тем более что там отпугивающе рвались мины. Майор хотел уже идти к своим, когда услышал негромкий детский голос: «Дяденька начальник...» — и почувствовал, что его тронули за локоть. Обер-

нулся. Перед ним стоял босой, вытянувшийся не по годам, чумазый, со спутанными светлыми волосами подросток, похожий на девочку. Не будь на нем старых, обтрепанных, залатанных брюк и слишком широкого, явно отцовского пиджака, — точно девочка. Но голос у него по-мальчишески ломался от того, что ему очень хотелось выглядеть взрослым, солидно и независимо.

— Слушай, это ты тот мальчик, который ищет начальника? — догадался Дзукаев и, добро улыбнувшись, положил ладонь на плечо подростка. — Мне уже доложили, и я готов слушать тебя, дорогой. Сколько тебе лет?

— Четырнадцать.

— Да ну! — удивился майор и польстил маленькому собеседнику: — А я думал, тебе, наверное, пятнадцать, такой большой.

Мальчик между тем, вытянув шею, внимательно разглядывал зеленый с красной окантовкой погон Дзукаева. Более крупная, чем у Дубинского, звездочка посреди двух красных просветов убедила его, что перед ним достаточно высокий начальник.

— Меня зовут Иван Исмаилович, или просто дядя Ваня. А как тебя?

— Коля я. Мы с бабушкой живем, там, на Пироговской, — Коля показал рукой вдоль улицы, пересекающей развалины. — В землянке. Раньше у нас дом был, но его тоже...

— Слушай, Коля, не горюй, будет и у вас с бабушкой новый дом. Ну, о чем ты хотел рассказать?

— Я давно хотел, дядя Ваня, — мальчик вдруг заволовновался, возбужденно заговорил свистящим шепотом, — только не знал кому... Вы сейчас, дядя Ваня, про фашистов говорили и про тех, кто был с ними. И я вам скажу про одного. Он тут живет, напротив нас с бабушкой. Его Тарантаем дразнят. Страшный такой, здоровый, как медведь. Я видел, он раньше к немцам ходил, в комендатуру. А потом он, наверно, убежал вместе с ними и его не было, а теперь опять появился. Мы с бабушкой видели.

— Когда ты его видел в последний раз, вспомни, дорогой? — осторожно, чтобы не спугнуть удачу, спросил Дзукаев.

— Мы его вчера видели. Поздно уже, совсем стемнело. Он из земли вылез, где его дом был, и долго оглядывался, а потом ушел куда-то.

— Он вернулся, не знаешь? Не видел?

— Не видел, дядя Ваня, — сокрушенно вздохнул мальчик. — Но я знаю, что он фашистам помогал и сам — фашист! — зло выкрикнул он.

— Ты можешь показать место, где видел Тарантая?

— Я покажу, — мальчик привстал, готовый бежать, ловить и изобличать немецкого шпиона.

Дзукаев ласково остановил его:

— Подожди, молодой орел, сейчас мы пойдем. Не торопись. Я думаю, никуда он от нас теперь не убежит, мы поймаем его. Слушай, ты не заметил при нем какого-нибудь чемодана, мешка или большого свертка?

— Не заметил, дядя Ваня, — вздохнул Коля с сожалением.

— Коновалов! — крикнул Дзукаев одному из бойцов охраны, находившемуся неподалеку. — Пойдешь со мной. Ну, что, Коля дорогой, в путь?

Дзукаев шел первым, внимательно глядя под ноги. Саперы здесь уже были, но мало ли что? Коля, подчиняясь строгому приказу майора, пробирался за ним, след в след. Замыкал Коновалов с автоматом на изготовку...

Колина бабушка, милая робкая старушка, была очень похожа на тетушку Ануси, соседку майора из родного Бакатикау, мирного осетинского селения под нависающим кавказским хребтом. Она поначалу даже немного испугалась, когда пришел Дзукаев. Видно, боялась, что ее с внуком могут прогнать из их землянки, приспособленной под жилье из старого погреба. Потемневшее от усталости лицо майора с черным вихром над высоким лбом напоминало нахохлившегося ворона, а блестящие, чуть навывкате глаза смотрели остро и страшновато. Чего же было ждать от такого строгого начальника? Но майор белозубо улыбнулся, и бабушка тут же успокоилась.

Она с затаенной болью посмотрела на внука и сказала, чтоб он пошел немного погулять, но только, боже упаси, не шастал в развалинах. И едва Коля с большой неохотой отошел от них, она повернулась к майору и беззвучно заплакала. Дзукаев понимал, что надо ей дать выплакаться за все долгие месяцы мучений и неволи, успокоиться и поведать свою историю.

Колиного отца, ее сына, стала наконец рассказывать бабушка, не взяли в армию по причине застарелой болезни желудка. Был он слабым от рождения, долго лечили его у разных докторов, но лечение, видно, не шло впрок. И тогда он, махнув рукой на врачей, устроился работать в лесни-

чество. И там, в лесу, не то чтобы вылечился, но как-то заглохла его болезнь, окреп он маленько, с утра до поздней ночи находясь на кордоне. Был он добрым и очень отзывчивым человеком, всякую букашку жалел, с соседями не ссорился. Под стать ему и невестка была, Настя. Люди души в ней не чаяли, ласковая, обходительная. Она в цветоводстве работала, можно сказать, весь город своими цветами убрала, аккуратная такая, певунья. А как война пришла, отец, Николай-старший, сразу в партизаны подался, это когда комиссия в военкомате ему начисто отказала. Лес свой знал, как дом родной. Командир у них был боевой, Антоном его звали. Фашисты на заборах бумажки про него писали, деньги обещали, однако предателей не нашлось. Но вот ранней весной сорок второго года понаехали сюда каратели, на машинах и с пушками, что ни день, кругом облавы, хватали людей без разбору, стреляли, вешали, в подвалы кидали на старом консервном заводе, где лагерь сделали и тюрьму, и там людей до смерти пытали и мучили.

После соседи рассказывали тайком, был, говорили, в лесах большой бой, крепко досталось карателям и полицаям, многие и партизаны погибли, но не сумели фашисты справиться с ними, ушли главные силы из окружения, прорвали кольцо карателей, отбились и ушли. Тогда вовсе озверел фашист. Привезли тела погибших партизан, на площади покидали и стали народ сгонять, чтоб смотрели и узнавали своих и знакомых, мол, пусть забирают убитых и сами хоронят. Только народ сразу понял подлую хитрость врага: это они родных тех погибших искали, кто им помогал, хотели узнать.

Молча шел народ через площадь, а вдоль всей дороги автоматчики стояли с собаками злыми и все подталкивали прикладами идущих — скорей! скорей!

«Думала, упаду, ноги откажут, — говорила бабушка, прикрывая глаза высохшей ладонью, — когда Колю, сына своего, увидела. Лежал он как живой, только одежда на нем была вся изорвана и в крови. Глянула на Настю, а на ней лица нет, на сырой снег валится. Откуда сила взялась, подхватила невестку да так, обмершую, на себе и вынесла с площади».

Неделю спустя, утром — Коля-внучек убежал куда-то, а бабушка к соседям зашла, оттуда и увидела: приехали на грузовике полицаи и привел их Тарантаев, Гришка — подлая душа. Вытащили они Настеньку на снег в одной рубашке, ногами били, волоком поволокли за косу к грузо-

вику, в кузов закинули и, уходя, дом подожгли. Хороший был дом, перед самой войной ставили, свежей сосной дышал, лесом. Кинулась было она к Настеньке, но соседи схватили ее, старую, и спрятали в подполе, а затемно выпустили. Пришла она на пепелище, а там только снег черный да печная труба обгорелая...

Поняла она тогда, почему после гибели мужа, ночью, все повторяла Настенька, все себя винила, что не смогла пройти фашистские заслоны, Колю предупредить о карателях. Видать, связной была невестка у партизан, недаром она и раньше, и даже после гибели мужа то на день, то на два исчезала и все тайком, молчком, свекрови своей и то ни слова о партизанах не говорила, только о сыне — Колюшке болела, повторяла, как же он выживет без родителей.

Вот так все произошло. И остались они вдвоем, прятались у соседей в погребе, боялись на глаза этому Тарантаеву попасться. Соседи — добрые люди, подкармливали чем могли, и они — старуха да дите малое — только под вечер на волю выбирались, чтоб хоть заходящего солнышка глотнуть, согреться.

О судьбе Насти никто толком не знал. Говорили люди, что уже по осени фашисты вроде партизанское подполье разгромили, похватали патриотов, и даже опознал кто-то того самого Антона, их командира. Мучили его люто, а когда его с другими схваченными подпольщиками везли на казнь, будто бы налетели партизаны, большой бой завязали и некоторых успели отбить у фашистов, спасли. Было ли это или люди, чтоб себя одобрить, выдумали, кто знает?..

Про Гришку же Тарантаева бабушка рассказала не очень много. Поселился он на этой улице лет за пять до войны, домик себе небольшой купил, как раз напротив Савеловых — это была фамилия Колиной семьи, но жил в своем доме редко. И хотя народ на улице все про всех знал, считай, та же деревня, только побольше, вместе гуляли, женились на соседках, стариков хоронили, Григорий этот не сходил с соседями. Был он молчаливым, неласковым каким-то, иногда видели его и выпившим. Говорили, что служил он в сельпо, вроде бы по снабжению. Во всяком случае, денежки у него водились. Одевался он в дорогую шевиотовую пару, шелковую рубашку с вышитым воротом и крепкие тяжелые сапоги. Кудрявым черным волосом и быстрыми черными глазами был чем-то схож с цы-

ганом. Нет, недолюбливали его на улице и даже, что греха таить, побаивались. Здоров был мужик, кулак — что пудовая гиря. Таким же он остался и когда немцы пришли. А на людей глядел, будто они козявки какие, недостойные его внимания.

А перед самым освобождением, когда под городом бой шел, он исчез, убежал, наверно, с фашистами, но вот, вишь ты, вернулся и в развалинах своего разрушенного дома спрятался. Вчера, когда стало уже темнеть, видели его и узнали, хоть с бородой он был. Страшный он человек, не-людь какой-то, ведьмак-шатун...

По мере рассказа у майора складывалось убеждение, что Тарантаев — если не сам разыскиваемый радист, то уж наверняка с ним связан.

Уходя, Дзукаев велел Коновалову принести Аграфене Павловне Савеловой пару банок тушенки, хлеба и сахару и попросил ее не отпускать мальчика от себя ни на шаг. Во-первых, сейчас в развалинах очень опасно, можно зацепить мину, а во-вторых, вполне вероятно, к ним придется еще обратиться за помощью, когда удастся изловить этого Тарантаева. И вообще, раз они знают его, а он — их, лучше пока на глаза этому Гришке не попадаться. Ему ведь ничего не стоит убрать опасных для него свидетелей. Пришедший Коля запротестовал было, уверяя, что его помощь при поимке шпиона просто необходима, поскольку он врага знает в лицо, но майор строго велел исполнять его приказание. И, самое главное, молчать обо всем, что знает. Коля ведь уже взрослый мужчина и должен отличать просьбу от боевого приказа. Так вот, это — приказ. На том они и расстались.

В конце дня Дзукаев был в Особом отделе и докладывал Федорову о проделанной работе. Радиста не обнаружили, хотя удалось пройти с саперами практически весь район. Развалины дома Тарантаева саперы обошли, обезвредив пару противопехотных мин, но не подрывая их по распоряжению майора. К сожалению, снаружи никаких следов, указывающих на пребывание здесь человека, или отверстий среди руин, похожих на вход в подземелье, обнаружить не удалось. Осторожен был Тарантаев, видно, опытен в таких делах. И если он все-таки прятался где-то здесь, в развалинах, то наверняка в течение ночи должен выбраться наружу, чтобы посмотреть, куда девались саперы и снято ли оцепление. Так возник план засады среди развалин вокруг бывшего тарантаевского дома.

Анна открыла глаза и испугалась. Она лежала в помещении с высоким лепным потолком на кровати под грубым серым одеялом. Сильно пахнущее дезинфекцией постельное белье было не намного светлее одеяла. Сплошные ряды коек с лежащими на них больными убеждали, что она, скорее всего, в госпитале. Но почему? Что произошло и как она очутилась здесь?.. Стараясь не привлекать внимания, Анна огляделась. Что-то знакомое показалось ей в этом помещении: высокие, в виде арок, окна, за ними — разбитая балюстрада балкона и капители толстых колонн... Да, похоже, здесь она когда-то бывала. Может, это Дом культуры или райисполком? Все помещение тесно заставлено рядами коек, на которых лежали забинтованные куклы. Видимо, эти были тяжелобольные. Значит, и она тоже тяжело больна?

Анна почувствовала, как на нее накатывается огромный, набухающий ком, и закрыла глаза. Но и с плотно зажмуренными веками она видела, как плывет и качается высокий лепной потолок. Наконец до нее долетели глухие, будто через слой ваты, звуки: натужные стоны, вздохи, неясный говорок где-то в противоположном углу. Хотелось спать, полной тишины и... пить. Но попросить воды она боялась.

Из тайников памяти проклюнулись обрывочные видения: она выходит из дома, солнце неимоверно печет голову, накрытую черным платком... Над ней склоняется солдат в пилотке, под затылком, на шее у нее мокро, она видит кровь на пальцах солдата... Ее кидает из стороны в сторону, она плывет; впереди покачивается широкая спина в выбеленной гимнастерке, с вещевым мешком... Тот же солдат, но теперь она видит его ноги в обмотках; похожие на лопаты, твердые ладони поднимают ее и несут куда-то, потом все обрывается и — темнота.

Мысли сбились, лихорадочными молоточками заколотили в виски, губы сами выдохнули: «Пи-ить...»

Почти сразу отозвался старческий певучий голос:

— Проснулась, голубушка Анна Ивановна!.. Ну и слава те, господи, пришла наконец в себя, теперь на поправку пойдешь, милая...

Анну словно ледяной водой окатило. Ладони стали мокрыми, сорвалось и ухнуло, перехватив дыхание, сердце.

— Как же ты, голубушка, умудрилась удариться-то эдак?.. Лежи, лежи...

К губам прикоснулось холодное железо, и по щекам потекла вода. Анна, не открывая глаз, стала судорожно глотать.

Наконец она разлепила веки и увидела заботливо склонившуюся над ней с алюминиевой кружкой Прасковью Васильевну, их уборщицу, работавшую до войны в сельпо. Время, казалось, не задело ее: та же прозрачная седина, такие же выцветшие, приветливые глаза в густой паутине морщин, носик пуговкой, родинка на щеке с торчащими из нее седыми волосками.

— Прасковья... Васильевна... — выдавила Анна. — Что со мной?

— Ах, милая, — защebetала старушка, — солдатики тебя принесли, родимые. Упала, говорят, на улице и лежит без движения. Там и подобрали. Сюда, в больницу, принесли. Голову ты, падая, поранила, и жар у тебя сильный был. Доктор лекарства растолок и выпить тебя заставил, вот жар-то и спал. Теперь, знамо дело, на поправку пойдешь. Болит головка-то, дочка?

Таким далеким вдруг повеяло от этих ласковых слов на Анну, что захотелось плакать. Но тело тут же напряглось, словно готовясь к прыжку, к побегу. Усилием воли Анна заставила себя успокоиться и постараться трезво оценить обстановку.

Разумеется, ни о каком немедленном побеге и речи идти не могло, сил для этого не было. Страшило другое, знает ли кто-нибудь о ней? Может быть, ее уже ищут?

— Прасковья Васильевна, — будто в забытии прошептала Анна, — меня никто не спрашивал?.. Давно я здесь?

В любом случае, решила она, казаться сейчас более слабой и больной, чем она есть на самом деле, и лучше и спокойнее. Пока, конечно, не появится возможность незаметно исчезнуть. Она была совершенно уверена, что ее ищут. Если они не убили Григория, а взяли его живым, он не выдержит их допроса и все расскажет... А может быть, вспомнит о прошлом, ведь она его любила, и он знает это. Неужели предаст?.. А она сама что сделала? Это же она отдала его Бергеру... Григорий так и сказал: «Как собаку»...

Но почему она уверена, что Григория поймали? Ведь были же выстрелы, значит, либо он ушел, либо его убили... И что тогда искал в ее доме тот солдат? Нет, наверно, ушел Гриша... Он, конечно же, зол на нее, однако ведь

сколько раз и она выручала его, заступалась за него перед Бергером, спасала от участия в карательных операциях. Это он сам, по своей дурости, лез на рожон, какую-то партизанку ловил. Она помнит, что он даже награду просил у Бергера. Мой бог, опять этот Бергер!..

— Никто, милая, никто, голубушка, — словно причитая, говорила нараспев Прасковья Васильевна. — Да и кому в такое время до нас, баб, дело?.. Тебя, милая, как утречком принесли солдатики, так уж день, считай, прошел. Да ты лежи, лежи, я скажу, если кто спросит, не беспокойся...

— Не надо! Не смейте! — Анне показалось, что она в страхе истошно выкрикнула эти слова, и вдруг поняла, что смертельно, до ужаса ненавидит эту болтливую старуху, которая сейчас пойдет и все испортит.

Но Прасковья Васильевна, понимая пожимая, ласково погладила ее вытянутую вдоль тела руку и засеменила к другой больной.

«Значит, я тут уже целый день, — как-то отстраненно подумала Анна и вдруг успокоилась. — И никто, ни одна живая душа, кроме этой проклятой бабки, не знает, где я... Да и кому в такое время придет в голову искать меня в госпитале?.. Ни одна душа... Но ведь бабка знает, она-то наверняка сказала врачам, кто я, иначе они не положили бы кого ни попадя вместе с ранеными...»

Волной накатило тошнотное головокружение. Анна заставила себя не забыть спросить у Прасковьи Васильевны, говорила ли она о ней с врачами. И еще успела подумать, что в любом случае этот госпиталь в настоящий момент — лучший способ скрыться, затеряться, исчезнуть на время от преследователей... Если Гришу взяли...

Анна зажмурила глаза, и снова перед ней поплыли, закружились лепные розетки на потолке и фигурные карнизы...

Она проснулась среди ночи. Жар, вероятно, прошел, потому что тело казалось легким, почти невесомым. Однако руки, словно ватные, плохо подчинялись, не было сил даже приподняться и осмотреть помещение, в котором она находилась. В дальнем углу светилась лампа, слышались приглушенные торопливые голоса, по стенам и потолку метались огромные тени.

Попробовала повернуться на бок, не сразу, но удалось. Соседи спали. Забинтованные головы, руки, торчащие из-под одеял ноги... Не узнаешь, кто тут лежит — мужчины или женщины. Какое-то кладбище искореженных тел. Ан-

на дотянулась пальцами до собственной головы, ощупала толстую плотную повязку — догадалась, почему так плохо было слышно — голова вся перебинтована. А где же волосы?! Их не было. Неужели срезали, сбрили?.. Сердце ухнуло, Анна рванулась, чтобы закричать, забиться в истерике, в отчаянье, но силы оставили ее. А через мгновение внутренний холодный голос будто произнес с усмешкой: «Ну вот, и это к лучшему. Никто тебя не узнает... Такой...»

«Бог мой!.. — метнулась горячая мысль. — Как же меня Бергер увидит?.. — А вторая, холодная, бесстрастная, словно возразила: — Какой Бергер? О ком ты сейчас думаешь?.. Нету твоего Карла Бергера, ушел, бросил тебя... как собаку... как собаку...»

Анна бессильно откинулась на спину и вдруг отчетливо увидела, узнала это помещение. Да, именно здесь, в здании райисполкома она впервые увидела Бергера... Когда это было?..

Их встреча произошла в такие же горячие июльские дни ровно два года назад. Накануне оставления города Красной Армией.

Ее срочно вызвали в райисполком, и она ждала в приемной председателя. Шло экстренное заседание эвакуационной комиссии: немцы были уже близко. И когда велели зайти Бариновой, и Анна встала, она прямо-таки физически ощутила заинтересованный взгляд моложавого подтянутого капитана интендантской службы, напряженно-прямо сидевшего на стуле, возле окна, и также ожидавшего вызова. В руке у него была белая струганая палка, на которую он опирался.

У самой двери Анна невольно обернулась и поймала на себе самоуверенный прямой взгляд светлых, слегка прищуренных глаз капитана. В этом нарочито вызывающем прищуре Анна вдруг ощутила легкую, непонятную ей усмешку. Что означала эта усмешка: сознание собственного превосходства или что-то иное, она сразу не сообразила, но почувствовала нечто похожее на укол ее самолюбию. Анна была яркой привлекательной женщиной и знала это. Знала и цену мужским взглядам. И, уходя в кабинет, подумала: «Симпатичный. Очевидно, был серьезно ранен, а держится молодцом». Почему-то ее царапнула легкая жалость к этому капитану. Анна представляла, что должно ожидать и его и ему подобных в самом недалеком будущем.

Председатель правления сельпо Лещенко был болен, а может, хитрил, и замещавшая его Анна прихватила с со-

бой всю необходимую документацию, чтобы суметь ответить на интересующие районные власти вопросы.

Народу в кабинете было немного, почти все были Анне знакомы. Как она и предполагала, речь сразу пошла о продовольствии. Анна постаралась сжато, учитывая скудость отпущенного времени, изложить существо дел, бойко перечислила адреса складов по району и количество запасов, представила накладные: сколько, кому и когда отпущено, сослалась на отсутствие транспорта и толковых кадров, еще в июне призванных в действующую армию. Словом, нарисовала довольно подробную картину деятельности районной потребкооперации за месяц войны. Если быть справедливым, то почти точную, так как Анна не считала большим грехом несколько занижить количество полученных товаров и завысить — отпущенных, однако же и не настолько, чтобы они могли вызвать подозрение или, не дай бог, необходимость строгой ревизии. Ни о какой серьезной ревизии не могло быть и речи, но, чем черт не шутит, за сознательное укрывательство товара могли ведь и арестовать, а то и к стенке поставить. Поэтому лучше от греха подальше.

Седоватый, стриженный ежиком хмурый председатель исполкома райсовета Смольков коротко кивал и, казалось, невнимательно слушал Анну. Он глядел через распахнутое окно, стекла которого были заклеены марлевыми крестами, на небо, на плавающее солнце и постукивал тупым концом карандаша по раскрытому блокноту с заметками. Потом вдруг повернулся на резко заскрипевшем стуле в ее сторону и, не поднимая глаз от блокнота, спросил отрывисто: сколько имеется в наличии теплой обуви, валенок, шапок, шуб и полушубков. Вопрос был настолько неожиданным, что Анна невольно сбилась и только смущенно улыбнулась в ответ, обмахиваясь, точно веером, склотыми бумагами.

— Вам вопрос понятен? — Смольков уставился на нее немигающим взглядом. Его слегка выпученные глаза, похоже, не видели Анну, смотрели сквозь нее, как сквозь стену, отчего Анне стало страшновато.

— Вопрос понятен, — Анна почувствовала, как по спине потянуло холодком. — Но я не совсем понимаю, почему в такое время? — она несмело кивнула на окно.

— Что вы знаете о времени! — с неожиданной горечью вырвалось у Смолькова.

— Сейчас, сейчас... — Анна заторопилась, лихорадочно

роясь в своих документах. — Сию минуту найду. У меня все должно быть...

— Товарищ Елецкий, — обратился Смольков к сидевшему у торца стола худощавому, средних лет человеку, явно не из районного начальства, иначе Анна его знала бы, — давайте-ка займитесь этим сами. — Он вырвал из блокнота чистый листок и что-то быстро написал на нем. — Здесь то, что вас интересует.

— Слушаюсь, — по-военному четко ответил Елецкий.

— Все, не теряйте дорогого времени! — Смольков прихлопнул тяжелой ладонью блокнот. — Забирайте товарищ Баринову... — При этих словах Анна замерла, но председатель мельком глянул в свой блокнот и добавил: — Анну Ивановну, и там, в приемной, выясняйте. Зовите капитана Архипова!

Елецкий не спеша поднялся, подошел к двери, приоткрыл ее и остановился, прислонившись плечом к дверному косяку в ожидании Анны. Задержка Анны в кабинете начальства была вполне естественной. Она собирала разложенные по столу бумаги, копии накладных и аккуратно, одну за другой, складывала их в папку. Смольков снова посмотрел на Анну, но так, будто увидел ее впервые — белокурую, изящную, в легком летнем платье и спросил:

— А вы когда собираетесь эвакуироваться, Анна Ивановна?

К этому вопросу Анна была готова.

— Вот... закончу дела... Вы же понимаете, я совершенно одна, а район наш — сами знаете...

— Да, да, — устало подтвердил Смольков и ободряюще улыбнулся. — Это нам известно... Вы свободны, Анна Ивановна.

Анна продолжала собирать свои бумажки и, конечно, не обратила внимания на вошедшего капитана. Слышала только легкий стук палки, слышала, как капитан представился, сел на предложенный стул.

— Как себя чувствуете после госпиталя? — спросил Смольков.

Капитан коротко ответил, что чувствует себя вполне прилично, однако по категорическому заключению врачей годен пока только к нестроевой службе, чем, разумеется, весьма недоволен.

— Вот тут все написано, — капитан приподнялся, опираясь на палку, и протянул свои документы, справку из госпиталя.

Смольков все внимательно просмотрел и вернул капитану.

— Когда вас выписали?

— Три дня назад. И я тут же пошел с ходатайством к коменданту. Но он велел ждать.

— Да, да, — подтвердил Смольков. — Беспартийный?

— Так получилось...

— Значит, вы в недавнем прошлом архитектор?.. Ну, что ж, как раз кстати. У нас тут объявилось одно неотложное дело по вашей части. Речь идет о некоторых ценностях, которые... — Смольков нетерпеливо кашлянул, и Анна почувствовала на себе его требовательный взгляд.

Образовалась короткая пауза. Анна сгребла оставшиеся документы и, кивнув всем присутствующим, поспешила оставить кабинет. Члены комиссии пожелали ей успехов, а начальник райотдела милиции Свиридов дружески подмигнул и помахал чуть приподнятой ладонью. В дверях ее дожидался Антон Ильич. Проходя мимо него, Анна ощутила почти неуловимый горьковатый запах дорогого, наверно, одеколона.

В приемной Елецкий нашел место на широком подоконнике заколоченного фанерой окна, придвинул стулья и пригласил Анну присесть.

За какие-нибудь пятнадцать минут он выяснил у нее все относительно складов, наличия товаров, документации. При этом поразил Анну своей вьедливостью опытного ревизора и дотошным знанием местной обстановки. Заметив некоторое несоответствие в цифрах, имеющихся в документах и только что доложенных Анной в кабинете председателя, он испытующе посмотрел на нее и укоризненно покачал головой, но, увидев искреннюю растерянность Анны, наверняка отнес ее промах за счет волнения и сложности обстановки.

Елецкий поинтересовался, кто из служащих еще оставался при исполнении обязанностей, и, выслушав ответ, отошел к столу секретаря. Там по телефону связался с каким-то Кузьмой Егоровичем и быстро договорился о транспорте и людях. Голос у Елецкого был глуховатый, и по телефону он говорил отрывисто и кратко. Будучи человеком рослым, он высоко держал телефонную трубку, рукав его серого пиджака сполз и обнажил на правой руке глубокий шрам до самого локтя. Заметив взгляд Анны, небрежно одернул рукав, повесил трубку и, потирая ладонью выбритую щеку, сказал, что Анна свободна и может за-

ниматься своими служебными делами, ее помощь пока не потребуется. Впрочем, он готов подбросить ее на машине, если есть в том нужда. Анна отказалась: контора сельпо, где ее, в случае необходимости, всегда можно найти, напротив райсовета. Она отметила про себя явное несоответствие командирской выправки Елецкого, его синих диагональных галифе и начищенных сапог с этой легкомысленной теннисной под широким немодным пиджаком, тонкий запах незнакомого одеколона.

С облегчением выйдя из здания исполкома, Анна устроилась неподалеку от входа, на скамейке, в тени большого куста давно отцветшей сирени. Рядом, посреди истоптанной клумбы, высилась огромная бетонная ваза с выгоревшими «анютиными глазками». Кирпичная пыль, жара, вот и поливать их больше некому. Да и зачем теперь «анютины глазки»? Немцы уже в Смоленске, и там, говорят, идет настоящая мясорубка. Каждый день теперь бомбят этот городок — железнодорожный вокзал, центр... В воздухе прочно утвердились запахи пожарищ — горелого дерева, бумаги и бензиновой гари.

Анна продолжала размышлять о том, откуда мог появиться в городе этот Елецкий и почему вдруг именно сейчас возникла нужда в зимней одежде и обуви. Неожиданно всплыло имя Кузьмы Егоровича. Так ведь это же скорее всего секретарь соседнего, Борского райкома... Или кто-то другой? Анна отметила для себя не забыть выяснить, какие машины придут за грузами и куда они потом уедут, а заодно и прозондировать, кто такой Елецкий.

Год спустя, после неудачной акции по захвату некоего Антона, Бергер прикажет размножить и развесить по городу листовки с приметами этого неуловимого партизанского главаря и обещанием крупной награды тому, кто укажет его местонахождение. Вот тогда Анна и вспомнит Елецкого, своего случайного собеседника в исполкоме, вспомнит его шрам на правой руке и расскажет обо всем Бергеру. Но это уже будет в сорок втором году.

А сейчас ее очень интересовал моложавый капитан интендантской службы: интенданты всегда в курсе всех дел.

Заметно прихрамывая, Архипов вышел из райисполкома и остановился в тени от портика над входом. Медленно оглядывая площадь, стал закуривать. Увидел Анну, внимательно, как ей показалось, посмотрел на нее, а затем, припадая на правую ногу, но по-прежнему держа палку под мышкой, направился прямо к ней.

— Представляться, думаю, нет нужды, — сказал капитан, с видимым интересом рассматривая Анну. — Нас уже невольно познакомили, — он кивнул через плечо в сторону исполкома, — там... Разрешите присесть?

— Пожалуйста, — хмыкнула Анна и машинально подвинулась, хотя места на скамейке было достаточно.

Капитан сел, вытянув негнущуюся левую ногу в заношенном солдатском сапоге.

— В госпитале выдали, — он с сожалением вздохнул и легонько стукнул по сапогу палкой. — Что было, то и выдали. Где он теперь, этот госпиталь?.. Залатать успели, и на том спасибо.

— Вы лежали в школе? На Дорогобужской? — спросила Анна.

— Кажется, в ней. В школе... Да, действительно, это была Дорогобужская улица... А вы хорошо знаете свой город?

Анна неопределенно пожала плечами. Она знала другое: три дня назад госпиталь на Дорогобужской был вдребезги разбит и сожжен во время налета немецкой авиации.

— Вам повезло, — сочувственно заметила она. — Задержись вы там еще на день...

— Да, повезло, — капитан искоса посмотрел на нее, словно прикидывал, с чего начать наступление. — Вас зовут Анной Ивановной?

— Можно просто Анной, — пошла она ему навстречу. Он утвердительно кивнул.

— Хорошо. Я нечаянно услышал вопрос: когда вы едете в эвакуацию? А вы ничего определенного не ответили. Почему?

Анна удивленно пожала плечами. Потом, помолчав, ответила назидательно, как бы объясняя неразумному ученику:

— У каждого из нас есть свое дело. Главное, понимаете? Вот когда мы с этими делами покончим, тогда можно хоть на край света.

По губам капитана скользнула усмешка: он оценил и тон и суть ответа Анны.

— У вас в разговоре чувствуется небольшой акцент, Анна. Вы жили в Прибалтике?

— Помилуйте! — засмеялась она. — Откуда же быть у меня акценту? Вот новость!..

— Значит, мне показалось, — вскользь заметил капитан.

— Вот уж никогда бы не подумала... — Анна, как недав-

но в исполкоме, снова напряглась. Конечно, нельзя было исключать то обстоятельство, что в этом городке кто-то мог и знать о ее немецком происхождении. Но она всегда умело уходила от этих вопросов. Двадцать лет живя в России, она старалась вытравить из памяти всех знакомых, что она немка. Двадцать лет постоянно воспитывала, заставляла себя, вопреки своей природе, быть до абсурда по-русски гостеприимной и услужливой, старалась, чтобы ни одно пятнышко подозрения не коснулось ее. Анна жила в Брянске, затем в Москве, снова вернулась в Брянск, где похоронила мужа. Потом работала в Смоленске, а теперь вот тут, в небольшом районном городке, куда ей было приказано перебраться. Она и здесь уже успела сменить место жительства. Она была Анной Ивановной Бариновой, хорошенькой вдовой, она казалась себе предельно русской.

В начальство старалась не лезть и охотно работала простым инспектором, проводя большую часть времени в командировках по району. Председатель правления Лещенко, мужик тертый и самонадеянный, давно подъезжал к Анне со всякого рода предложениями, хотел даже сделать своим заместителем, но, не встретив взаимности, поначалу обозлился и решил было, что у него есть более удачливый соперник. Однако время показало, что Анна по-прежнему со всеми ровна, приветлива, к вышестоящему руководству в доверие не втирается, и Лещенко поостыл, успокоился, поняв ее нежелание подниматься по служебной лестнице как следствие незрелого бабьего ума. Такое положение вещей вполне устраивало и Анну. Вот и теперь, когда из-за болезни председателя на нее свалилось множество административных забот и она вынуждена была постоянно вращаться в сфере районных руководителей, — все это, вместе взятое, совершенно неожиданно пошло ей на пользу. Ведь если вдуматься, она давно прижилась здесь, для многих стала своим человеком, испытанным кадровым работником. Но самое главное — никому не приходило в голову лезть в ее прошлое.

— Вот уж действительно никогда бы не подумала, — после короткой паузы повторила Анна и, кокетливо передернув плечами, небрежно добавила: — А вот вы, между прочим, говорите с акцентом. И я это сразу уловила еще там, в кабинете.

Капитан медленно повернулся к ней всем корпусом и вдруг рассмеялся.

— Ну вот мы и квиты! Конечно, как же не быть у меня

акценту, если я родом из Прибалтики. Из Риги. Бывали там?

— Нет, не приходилось, — улыbnулась в ответ Анна. Ей показался смех интенданта несколько наигранным, натуженным, что ли. Видно, она задела-таки его с акцентом. Но почему задела? Что за этим кроется? И решила слегка придавить интенданта. — Смотрите, капитан, такой акцент, как у вас, опасен. У нас постоянно твердят о диверсантах, переодетых в форму красных командиров. — И она шутливо погрозила пальцем.

Если этот капитан действительно из Прибалтики, подумала она, и война занесла его сюда случайно, он мог бы оказаться полезным. Тем более что Смольков обмолвился о каких-то ценностях. И в партии этот капитан не состоит, значит, в НКВД работать не может. Да и вряд ли сейчас, в такое время, НКВД стало бы кружить вокруг нее. Забрали бы и — точка. Нет, не поэтому он прилип к ней. Ему, конечно, что-то требуется, в этом Анна была уверена. Ну, самое примитивное, например, — нужна женщина, чтобы провести ночь. И если он уже уверен, что с Анной это получится, что ж, разочаровывать его пока преждевременно.

Анна заметила некоторую растерянность, промелькнувшую во взгляде капитана после ее слов о диверсантах, и, чтобы не отпугнуть окончательно, добавила:

— Когда я выходила из кабинета, у вас у всех были та-кие таинственные физиономии, умереть можно от любопытства!.. — Анна в дурашливом испуге округлила глаза. — Ой, мне так интересно, о каких великих ценностях, да еще в нашем занюханном райцентре, говорил этот ужасно строгий Смольков? — она легко провела кончиком мизинца по малиновой шпале в петлице капитана, словно смахнула с нее пыль. — Ну, пожалуйста, ну, капитан, удовлетворите мое женское любопытство. Конечно, — она снова округлила глаза, — если это не кошмарная государственная тайна!

Капитан словно бы успокоился. Он зажег потухшую папиросу, откинулся на спинку скамьи и скрестил вытянутые ноги.

— Ну, а если все-таки тайна? И я, советский командир, разглашу первому встречному эту тайну... Знаете, что со мной будет?

— Полагаю, накажут, — искренне засмеялась Анна. — Но только в том случае, если вашу тайну этот первый встречный использует во вред государству. Только, я ду-

маю, если у нас тут и есть какая тайна, то ее весь город давно знает... Впрочем, действительно, — она словно потеряла интерес, — что мне за дело до ваших разговоров... Бог с ними. — Анна вздохнула. — Своих неприятностей пруд пруди... Так что вы хотели мне сказать, капитан?

— Я? — удивился Архипов.

— Ну, не я же подошла к вам первая.

— Готов поклясться, я не имел никаких задних мыслей. Просто увидел: сидит в одиночестве красивая молодая женщина... Наверно, скучает. Может быть, я помогу развеять вашу скуку?

— Каким же образом? — удивилась Анна.

— Ну... Мы могли бы погулять по этому городу, которого я совсем не знаю. Здесь, наверное, есть что-нибудь интересное... Красивый собор или музей... Предложите еще что-то. Я действительно имею немного свободного времени... И не люблю, когда много народа...

Анна с откровенной насмешкой посмотрела ему в глаза.

— Вы, наверно, хотите, капитан, чтобы я пригласила вас к себе домой. Но я этого не сделаю. Я не приглашаю мужчин. Поэтому давайте уж посидим тут. Пожалею вашу раненую ногу.

— Да... — капитан в крайнем смущении покачал головой. — Но вы ко мне не справедливы, Анна... Бог свидетель, я так не думал... Просто иногда во мне просыпается моя прежняя мирная профессия. Я ведь люблю красоту. Ну, хорошо, если хотите, я удовлетворю ваше любопытство, Анна. Меня пригласили, как эксперта, как специалиста, разбирающегося в искусстве. Я должен спасти художественные ценности, которые могут бесследно исчезнуть в круговороте времени и военных действий.

— Да что вы говорите? — удивилась Анна. — Откуда же у нас в районе могут оказаться ценности? В городском банке?

— Ну-у... — покровительственно протянул капитан. — Почему же обязательно банк? Оказаться могут везде. В городах Белоруссии и Смоленской области есть музеи, церкви, старые коллекции, библиотеки. Музеи — это картины, скульптуры, старинное оружие, фарфор, монеты, редкие книги. В церквях — великолепные иконы, золотая и серебряная утварь, шитье. А в совокупности — миллионные ценности. Собственно, речь у нас шла о том, что здесь на вокзальных путях застряли вагоны с художественными произведениями, эвакуированными из других музеев. Кое-

что там, видимо, пострадало от бомбежки. Надо разобрать сохранившееся и выявить наиболее важное для отправки дальше, в тыл. Этим делом я и займусь в самые ближайшие часы. Но вы понимаете, Анна, что сведения об этом не должны никуда просочиться? Вот та «кошмарная» тайна, о которой я не должен был вам говорить. Но что делать? Слаб человек!.. Вы смеетесь? Зря. Спасением шедевров мировой культуры сейчас обязаны заниматься все здравомыслящие люди. Но вернемся к главному, Анна. Насколько мне, как военному человеку, понятно, обстановка на фронте такова, что со дня на день в городе может сложиться критическая ситуация. Я знаком с вами недолго, но и за короткое время вы произвели на меня сильное впечатление. Я солдат, но за этой броней, — капитан прижал ладони к груди, — бьется сердце рыцаря. Верьте мне, Анна. Я хотел бы знать, где смогу найти вас в случае... эвакуации?

— Вы так хотите помочь мне? — Анна очень естественно показала, насколько польщена его предложением.

— Слово солдата, Анна!

— В таком случае, вы всегда найдете меня во-он в том здании. Видите? — она показала мизинцем на приземистое желтое двухэтажное строение, углом выходящее на площадь. — Парадная дверь у нас всегда заколочена. Вход со двора. Там и помещается моя контора. На втором этаже.

— Но я думаю, вы же не ночуете в этой конторе? Здесь опасно, город бомбят.

— Мой милый рыцарь! — Анна беспечно поднялась, небрежно сунула папку под мышку и пригладила ладонями платье. — Где теперь безопасно? Я и так сказала вам больше, чем следует. — Она кокетливо махнула ему согнутой ладошкой. — Заходите, мне будет приятно еще раз встретиться с вами...

Минут через пять, подойдя к заляпанному засохшей старой известкой окну в кабинете председателя правления сельпо, Анна разглядела все еще сидящего на скамейке капитана. Потом она увидела, как он встал и, опираясь на палку, отправился к вокзалу.

«Придешь... — убежденно хмыкнула Анна. — Никуда не денешься...» И она сняла телефонную трубку, чтобы звонить в Борское сельпо.

Анна не могла и предположить, насколько ей повезло в этот раз. Познакомившись с ней, капитан интендантской службы Архипов, он же Карл Бергер, круто изменил свое решение по поводу ее судьбы.

Кончался июль. Иссущающая жара к вечеру спадала, и ночами уже чувствовалось прохладное дыхание осени. Дзукаев лежал на подостланной шинели за обвалившейся, почернелой трубой, одиноко торчащей среди обугленных бревен и щебня. Под левой рукой был наготове фонарь с далеко бьющим узким лучом, в правой — пистолет «ТТ» со снятым предохранителем. В горле першило от проглоченной пыли и гари, тянуло громко, во всю силу легких выкашляться, но надо было буквально не дыша лежать на остывающих камнях, ничем не выдавая своего присутствия. Справа и слева, в пределах видимости, затаились бойцы охранения — Коновалов и Одинцов. Им майор приказал не шевелиться и быть готовыми прийти на помощь лишь в критическую минуту. Диверсанта надо было брать живым, стрелять в крайнем случае и только по ногам...

Дзукаев зорко, не поворачивая головы и стараясь не шевелиться, оглядывал сантиметр за сантиметром слабо освещенные тающей луной камни, пристально следил, не шелохнется ли где какая тень, затаив дыхание, вслушивался, не скрипнет ли под тяжестью сапога сухое дерево, не зашуршит ли покотившийся от неосторожного движения камешек. Но было тихо. Относительно, конечно. Потому что с запада приносило гул артиллерийской перестрелки. На противоположной стороне небосклона, у самого горизонта, беззвучно вспыхивали редкие зарницы — отблески далеких и высоких гроз. Никакой связи между громом на западе и отдаленными сполохами на востоке, разумеется, не существовало, но майору вдруг до щемящей боли в сердце захотелось, чтобы первое стало действительно следствием второго, чтобы никакой войны не было и в помине, и плечи тяжелели от оседающей росы, и пахло густыми зрелыми травами, а не этим, убивающим все запахи земли, смердящим духом тления.

Деревенели от напряжения мускулы. Чтобы тело хоть ненадолго расслабилось, отдохнуло перед броском, Дзукаев вызывал в памяти родные места. И вот уже не дымные развалины щебня виделись ему, а узкие теснины гор с клубящимся в низине холодным туманом, розоватые отблески на снежных шапках — первые искорки восходящего солнца, редкие золотистые облачка — предвестники долгого жаркого дня. Он прямо-таки наяву, физически ощутил на миг неуловимый запах лошадиного пота от ладоней и кис-

ловатый — от старого отцовского ружья. И не в силах был перебить их сейчас бензиновый угар, пропитавший шинель. Майор чутко слушал уходящую ночь, и ему казалось, что где-то неподалеку успокаивающе журчит, прыгая с камня на камень, подсыхающая летом маленькая, как ручеек, речка Ляхва, шуршит каменная осыпь в горах. Недоставало только заполошного крика проспавшего рассвет петуха и далеко разносимого эхом овечьего блеяния... Родина, дорогая... Деревянный отцовский домик на склоне горы... Сладкий стручок гороха в замурзанном мальчишеском кулаке...

Сдвинулся камень. Майор это отчетливо увидел, потому что в упор смотрел на него. Снова пошевелился и глухо застучал, покотившись вниз. Правая ладонь непроизвольно сжала рукоять «ТТ». Колени сами подтянулись к животу, приготовив тело к прыжку.

В провале между двумя каменными горбами появилась голова человека. Вот показалась рука, осторожно потянулась вверх, и из-под земли медленно, будто во сне, выросла согнутая человеческая фигура.

— Руки вверх! — негромко приказал Дзукаев. — Не двигаться!

Человек дернулся и присел. Дзукаев отвел левую руку в сторону и включил фонарь. Сильный луч выхватил из тьмы близко, в десятке шагов, заросшую физиономию, блеснули белки глаз.

— Руки! Брось оружие! — повысил голос майор, и тут же, больно вырвав из его ладони фонарь, ударил выстрел.

«Метко бьет, мерзавец! Но сейчас он еще ослеплен и не успеет... Лишь бы ребята удержались, не выдали себя!»

Дзукаев приглушенно застонал, и опять треснул выстрел, пуля цокнула по кирпичной трубе выше головы, осыпав лицо крошками.

«Подойди, подойди... — торопил майор, изображая с трудом сдерживаемый мучительный стон. — Тебе же нужны мои документы, нужно добить меня, я ведь один, ты видишь...» Неизвестный не стрелял больше, решал, что делать. Неподвижный силуэт его ничем не отличался от груды камней. Дзукаев снова призывно застонал, но в ответ — тишина... «Надо, чтобы он приблизился, а так не достать, не допрыгнуть...» Ноги нашли, нащупали жесткий упор, тело сжалось в пружину, но неожиданно справа ударила автоматная очередь, пули звонко застучали по камням. Это сдали нервы у Коновалова, черт его побери!

— Встать! Руки вверх! — пронзительно закричал Одинцов слева.

Больше ждать не было ни времени, ни смысла. Сильно, руками и ногами оттолкнувшись от камней, майор ринулся навстречу пистолетным вспышкам. Он немного не рассчитал. Желая рывком сбить неизвестного с ног, он забыл про живые камни, сапог увяз, зацепился за что-то, и, роняя «ТТ», майор с размаху грохнулся наземь, буквально в одном шагу от врага. Это и спасло. Вероятно, неизвестный решил, что убил нападавшего, и немедленно перенес свое внимание на автоматчиков справа и слева. На миг оглохнув от удара, Дзукаев разлепил глаза и увидел прямо перед собой надвигающуюся согнутую спину ползущего на карачках человека. Пальцы ухватили крупный обломок кирпича, майор вскочил и изо всех сил врезал им между лопатками. Неизвестный сдавленно, утробно крикнул. Ударом сапога майор выбил у него оружие и, заламывая ему руки за спину, навалился на неожиданно мощное — где уж одному справиться! — тело врага. Еще мгновение — и неизвестный, как танк, попросту раздавил бы Дзукаева, но майор мертвой хваткой вцепился в вывернутые запястья и закричал:

— Сюда! Не стрелять! На помощь!

Подбежавшие запыхавшиеся бойцы осветили их фонарями и наставили в упор автоматы. Неизвестный сразу ослаб, подчинился. Майор достал из брючного кармана обрывок толстой веревки и стянул его запястья жестким узлом. Поднялся сам, тяжело выдохнул:

— Сидеть... Одинцов, дай свой фонарь!.. Ну, кого мы задержали? — он осветил обросшее густой бородой лицо неизвестного и сразу узнал Тарантаева, каким его описала бабушка Савелова. — Так... теперь понятно... Слушай, Коновалов, поищи его оружие! — Сам Дзукаев быстро обнаружил свой «ТТ», спокойно обтер его ладонью, спрятал найденный тарантаевский «вальтер» в карман и приказал: — Вставай! Одинцов, помоги ему подняться и обыщи.

— Вот еще, товарищ майор, — минуту спустя сказал Одинцов и протянул второй «вальтер». — В пиджаке у него был.

— За что? — тонким, обиженным голосом вдруг завопил Тарантаев. — Схватили, избили! За что? Ничего не знаю!

— Успеем поговорить, и за что, и про что... — отдышался наконец Дзукаев. — Ну, показывай давай, где ты тут прятался?

— Ничего не знаю, — как заведенная машина, быстро заговорил Тарантаев, — ничего не знаю, напали, избили...

Посвечивая фонариком Одинцова, майор легко отыскал раскрытый лаз в подземелье, спустился по кирпичным ступенькам в удушливо воняющий сыростью и прелью погреб и внимательно огляделся. В углу, в куче тряпья, он увидел солдатский вещевой мешок с большой квадратной коробкой внутри. «Неужели рация?» — мелькнула отчаянная мысль. Пригнув голову, чтобы не задеть низкое перекрытие, майор поставил тяжелый вещмешок на фанерный ящик с жирной кляксой расплавленной свечи, развязал его, и перед ним оказалась зеленоватая металлическая коробка с помятой крышкой и замками-защелками. Майор с трудом отбросил помятую крышку и узнал немецкий радиопередатчик.

«Не может быть, — подумал вдруг без всякого удовлетворения, просто отметил свершившийся факт. — Наши».

Он даже удивился своему спокойствию, тому, как все в конце концов оказалось просто. Если, конечно, не считать недели поисков, этой перестрелки, ушибленной ладони. Он посветил фонариком и увидел, что ладонь вся в крови. «Задело, что ли? А-а, это когда я упал. Разодрал обо что-то... — Он достал носовой платок, прижал его к ране у большого пальца и удивился, почему раньше не чувствовал боли. — А может, это от разбитого пульей фонаря? Жаль, совсем хороший был фонарик, штурманский, где другой такой возьмешь?..»

Майор захлопнул крышку передатчика, затянул петель горло мешка и, взяв его на плечо, выбрался наружу.

Близился рассвет. Небо на востоке побледнело, тянуло свежим ветерком. Коновалов погасил свой фонарик, потому что все и так было видно. Мрачно и отрешенно, словно степная каменная баба, застыл Тарантаев. Даже сильно ссутулившись, он был на голову выше бойцов. «Экземпляр, — хмыкнул Дзукаев, — намучаешься с таким...» Он даже не подозревал сейчас, насколько был близок к истине...

Тарантаева доставили в Особый отдел. Майор вызвал Виктора Дубинского и поручил ему обыскать арестованного, а потом запереть его в пустой подвальной клетушке, бывшей кладовке без окон. Сам же отправился на доклад к полковнику.

Узнав об удачной операции, Федоров возбужденно расхаживал по кабинету.

— Молодец, Иван Исмайлович! — не скрывая удовольствия, повторял он. — Молодец, ну просто замечательный молодец!..

Только здесь, в кабинете, Дзукаев наконец понял, что смертельно устал и похвалы полковника слушает вполуха, да не нужны они сейчас, а лучше бы поспать часок, не больше...

— Вот что, — словно услышал его мысли Федоров. — Иди-ка теперь отдыхать, а с утра начнем допрос. Иди, иди, ты сейчас не работник. И про руку не забудь, кстати, что с ней? Серьезно?

— Пустяки, товарищ полковник, — махнул зажатым в кулаке платком майор.

Но Федоров увидел, что платок в крови. Он отворил дверь и крикнул дежурному, сидевшему в коридоре возле телефонного аппарата:

— Санитара сюда, живо! — и, отходя от двери, пробормотал осуждающе: — Как мальчишки, честное слово...

Прибежала Татьяна, худенькая девушка-санинструктор с сумкой через плечо, усадила Дзукаева на стул, раскрыла его ладонь и, убрав жесткий от потемневшей крови платок, покачала головой.

— Тут осколки какие-то, сейчас промоем, почистим... Потерпите, товарищ майор, сожмите ладонь, пошевелите пальцами... Нет, нервы не задеты... Сейчас, потерпите, миленький...

— Это он мой фонарь пулей разбил, — сонно улыбнулся полковнику Дзукаев. — Метко бьет, стервец, профессионально...

И, откинувшись на спинку стула, Дзукаев закрыл глаза. Когда санитарка закончила работу и забинтовала ладонь, майор уже крепко спал.

— Во дает! — восхитилась она и тут же смущенно добавила: — Извините, товарищ полковник, в первый раз такое вижу.

— Не шуми, — тихо и строго приказал Федоров. — Давай-ка его на диван.

Они осторожно подняли и перевели так и не проснувшегося майора на жесткий учрежденческий диван в углу кабинета. На нем, работая по ночам, отдыхал полковник. Дзукаева уложили, и полковник прикрыл его своей шинелью...

Он проснулся сразу, будто по звонку. Удивленно сел, оглядел пустой кабинет, лежащую на полу полковничью шинель, машинально отметил полнейшую тишину. Часы на забинтованной руке показывали десять минут восьмого. Но в кабинете был полумрак, и Дзукаев не сразу сообразил: утро это или вечер. Он повесил шинель на вешалку и выглянул в коридор. Встретился глазами с дежурным.

— Сейчас что, утро? Вечер?

— Чего? — даже привстал сержант. — Утро, товарищ майор, извините.

Дзукаев помотал головой, стряхивая с себя сонную одурь.

— А сам где?

— У начальства. Приказал вас не будить.

«Как же это я? — Дзукаев даже растерялся. — Неужели отключился? Ничего не помню... Хотя уже неделя без отдыха, на одних таблетках, вполне могло случиться...»

— Слушай, сержант, когда придет полковник, сразу доложи. Я у себя буду ждать.

В комнате, занимаемой следователями, сизыми волокнами плавал дым. Курильщики чертовы! Они радостно встретили Дзукаева.

— А говорили, ты, друже, к начальству переселился! — обрадовался смешливый капитан Бурко, низкорослый толстячок с туго перепоясанным, выпирающим животиком. — Полковничий диван обживаешь? Добре, своих не забыл!

— Сильно задело, Иван? — участливо спросил Дубинский.

— Да пустяки.

— Поздравляю, Иван Исмайлович, — серьезно сказал лейтенант Саша Рогов, младший по званию, но опытный и скорый на ногу сыщик. — Ловко вышли в цвет, — он улыбнулся.

— Слушай, Сандро, дорогой! — притворно рассердился Дзукаев. — Когда ты наконец забудешь свою воровскую музыку, а?

— Да какая же она воровская, товарищ майор! — рассмеялся Рогов. — Это еще знаете с каких времен? Рассказать?

— Ну, расскажи, — Дзукаев не смог сдержать улыбку. Ему нравились рассказы Саши Рогова, да и время пока

было — одна из тех нечастных пауз, когда следователи Особого отдела могли позволить себе немного расслабиться, пошутить, забыть о своей изнурительной, бессонной работе.

В жизни Рогова было два события, которые запомнились ему как самые яркие, тем более что произошли они в начале его служебной деятельности. Первое — это присяга на Красной площади после окончания Центральной высшей школы милиции. Вместе с товарищами Саша восторженно и четко повторял ее слова вслед за командующим парадом, и вся дальнейшая служба виделась ему в радужных и романтических тонах. А второе — это то, что его приняли в Московский уголовный розыск, причем в самое боевое и почетное его отделение. Опытные сыщики считали, что это просто великая честь для новичка. Отделение было действительно почетно и славно своими традициями, а имена его руководителей вписаны в историю московской милиции.

Саша Рогов с головой окунулся в новую работу, хотел узнать и понять все сразу и обязательно отличиться. Он изучал «воровскую музыку», особый язык преступника — чудовищную смесь цыганской, венгерской и еще черт знает какой речи, особые способы татуировки, стремился в совершенстве овладеть всевозможными видами оружия, изучал воровские «традиции», словом, вникал, как он считал, в душу преступника. Его речь запестрела жаргонными словечками, он усвоил особую манеру курить, длинно сплевывая при этом. И «отличился». Однажды его вызвал Георгий Федорович Тыльнер, человек-легенда, глубоко уважаемый не только сыщиками, но и ворами «в законе». Он долго расспрашивал Сашу о работе, планах на будущее, поинтересовался, какие книги читает. А потом вдруг, как бы между прочим, вспомнил слова Калинина, что милиция — это зеркало Советской власти. Слышал ли об этом Рогов? А если слышал, то не кажется ли ему, что сам он очень напоминает «кривое зеркало» с этими своими увлечениями, манерами и прочим? Саша опешил. Но Тыльнер продолжал, словно не замечая его крайнего смущения. Он говорил, что стол, за которым сидит следователь, это — баррикада, разделяющая его и преступника, и об этом надо всегда помнить и не уподобляться уголовному миру. Он прицепился к случайно вырвавшемуся тогда у Рогова выражению «выйти в цвет». Саша и не знал, что бытовало оно уже много лет и пришло из царской охраны, туда переко-

чевало из охотничьей терминологии. Так охотник по каплям крови выходил на подраненную дичь, «выходил в цвет». В охранке же у этого выражения появился иной смысл — охота на человека. Недавно, рассказывал Тыльнер, он читал очерки известного американского писателя Хемингуэя, напечатанные в журнале «Эсквайр». Так вот этот талантливый американец тоже писал, как затягивает, как ожесточает душу охота на человека, особенно если тот вооружен. С большой силой написал. А вот у Ленина тоже есть по этому поводу мудрое замечание о том, что война, дав людям в руки оружие, многих искалечила.

Серьезным оказался этот разговор для Рогова, по сей день помнил о нем. Изменились и его взгляды на окружающих его товарищей, он стал замечать их сдержанность и рыцарское благородство по отношению к другим. И если раньше некоторые их поступки невольно вызывали у него усмешку, теперь возникло желание в чем-то подражать им: особой строгой манере разговора с преступником, поведению при задержании, при обыске и так далее.

И когда началась война, Рогов, уже опытный муровец, с честью носивший это звание, в числе первых работников Московского уголовного розыска подал заявление с просьбой о зачислении его в формирующуюся Коммунистическую дивизию московской милиции. Ядро этой воинской части составил батальон уголовного розыска.

В октябрьских боях под Москвой в сорок первом году дивизия понесла тяжелые потери, геройски погиб и комвзвода, один из бывших Сашиных начальников, Игорь Спиридонов — еще из тех, настоящих асов МУРа. Сам Рогов был ранен. Только через год, после длительного лечения, снова добился отправки на фронт. И попал в Особый отдел корпуса к полковнику Федорову. А тот направил его следователем в отделение Дзукаева. Вот уже скоро год, как они работают рука об руку, и Рогову нравилось служить под началом майора. Дзукаев никогда не давил, предоставлял полную самостоятельность в поиске и даже поощрял «сыщицкие» наклонности Саши. Только вот за старые грешки, за «жаргончик», что нет-нет да прорывался, иногда попадало от него. Но не зло, а с шуткой, по-доброму.

Рогов закончил рассказ о давнем теперь уже разговоре с Тыльнером и неспешно закурил.

— Да-а... — протянул назидательно Дзукаев. — Совсем хорошо, когда человек много знает... — И сменил тему: —

Задержанного видел, Сандро? Настоящий бык... бугай. Наверно, уголовник какой-нибудь, по твоей части...

— Думаю, что не уголовник, — возразил Саша.

— Почему так думаешь? — поинтересовался майор.

— А я татуировку его видел.

— Он подошел к концу обыска, когда этот тип уже одевался, — заметил Дубинский.

— Ну и что татуировка? — майор рукой остановил Виктора. — Давай, Сандро, что она тебе показала?

— Да ничего особенного, — Рогов пожал плечами. — Я его спросил: «Где вышивался?» А он смотрит, как баран на новые ворота, и молчит. Значения этого слова, видно, не знает. А «вышивка», между прочим, бывает разная и может много рассказать. Где сидел, например, за что и так далее. У «мокрушников» — убийц я видел на внутренней стороне локтя такую татуировку: цветок — лилия там или роза, проткнутая кинжалом. Или еще уголовная «вышивка» — это когда на пальцах четыре буквы: «слон». Расшифровывается просто: смерть легавым от ножа. Бывает еще у тех, кто срок имел, на плече такая картинка: черт с мешком, а на мешке заплатка в виде решетки. Это значит: было счастье, да черти унесли. Много есть всякого. А вот у нашего бугая простая наколка: «Не забуду мать родную». Это — детдомовская. Поэтому, думаю, не уголовник он. В том смысле, что не сидел... И еще одно соображение. У воров тоже есть своя, прямо скажем, своеобразная этика. Они, к примеру, не могут менять специфики своей «работы» без разрешения «схода». Я уже говорил, что у них есть свои «авторитеты», — воры «в законе». Так вот, с началом войны многие эти «авторитеты» заявили, что сейчас воровать — подлость, и даже в армию ушли. Осталась, как они говорят, «шобла», мелочь. Мелочовкой же этот бугай заниматься вряд ли будет. Хотя всякое случалось. Тут другое, он может быть завязан на немцах. В полиции, в карательных органах. Там такой зверюга вполне пригоден. И свидетели по этой части наверняка найдутся. Стоит поискать. А искать его связи среди уголовников, считаю, просто трата времени. «Вышивка»-то примитив. — Саша щелчком выбросил в окно замысловато изогнутый окурок.

— Видали? — Дзукаев поднял кверху указательный палец. — Большая наука. Совсем замечательно с ученым человеком дело иметь.

Все рассмеялись.

— Слушай, тамаданаш родненький, ты ж на сторону



не отвлекайся! Такую удачу зараз отметить надо! — Бурко округлил рот и залихватски защелкал себя пальцем по кадыку, издавая звуки наполняемого стакана.

— Вах, Вася, у тебя один сплошной праздник в душе! Такой похожий звук показал. Ладно, джигиты, праздник от нас не уйдет. А пока давайте вернемся к делу. С тебя и начнем, Сандро, — Дзукаев повернулся к Рогову. — Докладывай.

Рогов вынул из своей полевой сумки несколько мелко исписанных листков бумаги.

— Раненого нашел, товарищ майор, — начал он. — В очень тяжелом состоянии. Много крови потерял. Вот, читаю: «Смиренко Иван Трофимович, восемьдесят седьмого года, беспартийный, местный», — далее адрес, это его разрушенного дома... — одинокий, дочь с двумя детьми в эвакуации, работал в железнодорожных мастерских. Слесарем. Не мог дожидаться, когда фашист уйдет. Думал найти хоть что-то из домашнего скарба, обменять на еду, жить-то надо. Никого не видел. Ногой, говорит, отбросил камень — и взрыв. Как в госпитале оказался, может только догадываться. Дай бог, чтоб повезло, обе ноги ампутированы до колен, осколочные ранения рук и груди. Собственных часов не имеет, но, по его мнению, взрыв был где-то около полудня. Подвал был у Смиренко под ногами, но он и не предполагал, что там все цело да еще кто-то мог бы прятаться.

Рогов перевернул лист, отложил в сторону.

— Пошли дальше. Младший лейтенант медицинской службы Зыкова Татьяна Григорьевна, моя землячка, москвичка... Вот бы с ней после войны встретиться, — вздохнул неожиданно Саша. — Вся биография и характер на лице. Умница, прелесть девушка. Она на месте первую помощь оказывала, жгуты там, перевязка. Запомнила двоих саперов, назвала своих санитаров — Ниязова и Стишкина, и был еще один неизвестный. Первые четверо ничего существенного не добавили, товарищ майор. Посторонних не видели. Протоколы — тут, — Рогов слегка прихлопнул по листам бумаги и взял самый нижний из них. — Теперь неизвестный. С этим пришлось потрудиться. В смысле — побегать. Итак, — он оглядел всех и стал скороговоркой читать: — «Червинский Илья Станиславович, шестьдесят три года, беспартийный, в прошлом — управляющий городской аптекой, в недавнем прошлом — врач в партизанском от-

ряде «За Родину!», командиром которого был Антон Ильич Елецкий, или просто товарищ Антон...»

«Антон, — отметил про себя Дзукаев, — знакомое имя... А-а, это бабушка Савелова упоминала о нем. Партизанский командир... Вот откуда знаю».

— Комиссар — Александр Серафимович Завгородний, сейчас он секретарь райкома здесь, в городе. Так... Старик награжден партизанской медалью. И вот теперь самое главное: видел, товарищ майор, убегающего человека, минуты три-четыре спустя после взрыва. Червинский оказался случайным свидетелем, просто проходил мимо. Неизвестный... читаю: «Выскочил откуда-то из-под земли и убегал, оглядываясь, в глубь развалин, бежал, несмотря на мой крик: «Куда? Там же мины!» Был он крупный, видимо, высокого роста, в пиджаке и сапогах. Бородатый». Все. Когда появились саперы, Червинский пошел за ними следом, считая, что сумеет оказать посильную помощь. Раненый уже не кричал. Он вообще не кричал. Только после взрыва. Помощь раненому оказана через двадцать минут, то есть в двенадцать тридцать. Время совпадает. И последнее, у Червинского сильная дальнозоркость. Того, кто убегал в развалины, он не знает, но при встрече узнать сможет. Тут его адрес и все прочее.

Дзукаев восхищенно посмотрел на Рогова и прищелкнул языком.

— Орел! Настоящий горный орел! В награду мы женим тебя на прекрасной Татьяне Зыковой! Как, джигиты? Ведь нашел, а?

В дверь постучали. Появился сержант, козырнул.

— Майора Дзукаева к полковнику Федорову.

— Бегу! Оставайтесь тут! Умница, Сандро!

Полковник сидел за столом, углубившись в чтение документов. Он рукой показал майору садиться и продолжал читать. Наконец перевернул последний лист, откинулся на спинку стула и потер ладонями виски.

— Отдохнул? Все, за работу... — он сделал короткую паузу. — Итак, рация у нас. Радиста ты взял или кого другого, надо выяснять и доказывать. В любом случае тебе приказано объявить благодарность. Что я и делаю. — Полковник встал и пожал тоже поднявшемуся Дзукаеву руку, кивнул на левую: — Болит?

— Пустяки, уже забыл.

— Отлично. Садись. По твоей удачной подсказке радиопередачи расшифрованы. Первая — о передвижении наших

войск с указанием ряда частей, количества техники. Из чего можно сделать вывод, что сведения собирал человек не случайный. Позывные радиста — РТ, похоже, радист Тарантаев или что-то иное. Вторая, самая короткая передача — только вызов и позывные радиста. Больше ничего не успел передать. Прервался.

— На корпусе рации, товарищ полковник, небольшие вмятины от ударов камней. По свидетельству пострадавшего от мины, взрыв произошел около полудня. Это совпадает с временем передачи.

— Вот так, — Федоров многозначительно посмотрел на майора. — А третья — ты оказался прав — об отсутствии питания и неисправности рации... Дальше. Сегодня ночью, в час сорок, в районе Селихова, это в тридцати километрах восточнее, наши засекли и сбили «Юнкерс-52». Самолет упал и сгорел вместе с экипажем. Но... машина, как ты понимаешь, транспортная, поэтому предполагается выброска парашютистов. Этим вопросом уже занимаются. С раннего утра дано указание войскам НКВД прочесать селиховский лесной массив. Пока мы не знаем, кто выброшен: обычная диверсионная группа или связник к радисту. Поиск покажет. А теперь рассказывай о раненом.

— Раненый, товарищ полковник, пустой номер. Но Рогов — настоящий ас. Нашел свидетеля. Это партизанский врач Червинский, который видел в развалинах сразу после взрыва бегущего человека, похожего по описанию на Тарантаева.

— Тогда так. Ты начинай сам с этим Тарантаевым. Дубинский тебе в помощь, а Рогова немедленно на поиск парашютистов. Бурко пока не трогаем, пусть готовится к переезду. Не возражаешь?

— К какому переезду, товарищ полковник? — встревожился Дзукаев.

— Жду приказа о передислокации. Все понятно? Вот почему и времени у тебя нет. Свободен.

— Слушаюсь, товарищ полковник.

7

Дзукаев готовился к первому допросу. Он послал Коновалова за бабушкой и внуком Савеловыми, а Одинцова — за Червинским и сержантом Водолагиным, старшим патруля, упустившего позапрошлой ночью диверсанта. Это бы-

ли те люди, которые могли опознать Тарантаева. Задержанный, конечно, станет все отрицать, он не дурак и прекрасно понимает, чем грозит ему убийство патрульного, найденный в подвале радиопередатчик и сотрудничество с фашистами. По Указу Президиума Верховного Совета СССР, что был опубликован в апреле нынешнего, сорок третьего, года, немецким карателям и пособникам дорога одна — казнь через повешение. Менее активным — двадцать лет. Это теперь всем известно. Впрочем, ни трибунал, ни военно-полевой суд не примут во внимание предположений следователя, им подавай конкретные доказательства вины. А Тарантаев скажет: передатчик не мой, нашел, или еще что-нибудь выдумает. Наличие двух «вальтеров», отобраанных при задержании, объяснит и того проще: их валяется сколько угодно, только подбирай, фрицы, драпая, пушки бросали, не то что пистолеты. Почему оказал сопротивление? Испугался. Почему при обыске не оказалось никаких документов? Потерял, война же. Поди узнай, кто он на самом деле. Ни в какого патрульного не стрелял, темно было, не пойман — не вор...

В ожидании свидетелей Дзукаев набросал план допроса, понимая, что в самом задержании, к сожалению, нет прямого доказательства вины Тарантаева. Потребуется санкция на арест, а военный прокурор Прохоров — Дзукаев достаточно хорошо его знал — не даст ее без весомых доказательств. В общем, работка предстоит немалая, нервная.

Дубинский принес весьма своевременное известие, что прибывший из Москвы криминалист уже сделал заключение по поводу радиопередатчика, батарей к нему, а также обоих «вальтеров» и наручных часов задержанного. Все отпечатки пальцев на них были идентичными. Оставалось сличить их с отпечатками самого Тарантаева. Принес Виктор и вещи. Их разложили на столе.

Дзукаев тщательно вымыл стакан и поставил его вместе с графином на видное место. Обратил внимание на часы: водонепроницаемые, швейцарской фирмы «Омега», такие он уже видел у пленных немецких офицеров.

Наконец прибыли первые свидетели — Коля с бабушкой Аграфеной Павловной. Дзукаев усадил их и рассказал о том, как ночью, в развалинах указанного ими дома, был задержан неизвестный человек, и теперь надо его опознать, выяснить, кто он такой. Вероятно, предположил майор, им не захочется, тяжело встречаться с этим человеком,

тогда можно устроить дело так, чтобы они неизвестного смогли увидеть, а он их — нет. Коля возразил, что готов сию минуту встретиться и уличить фашистского гада, что он его ненавидит и вовсе не боится. Аграфена Павловна молчала, и Дзукаев понимал ее состояние: страх еще, видимо, пересиливал ненависть.

— Пожалуйста, — заключил он, — решайте, Аграфена Павловна, а пока пройдите в соседнюю комнату и посидите. Дверь будет открыта, и вы услышите, как мы со следователем Виктором Александровичем, — майор представил Дубинского, — будем вести допрос.

После этого Дзукаев приказал привести задержанного.

Тарантаев вошел, держа руки за спиной, сел на качнувшуюся под его грузным телом табуретку посреди комнаты, напротив окна. Дзукаев сидел спиной к окну, Дубинский — сбоку, приготовился вести протокол.

— Фамилия, имя, отчество? — сухо спросил Дзукаев.

Задержанный молча разглядывал свои коричневые, в ссадинах, пальцы, цепко обхватившие колени.

— Будем отвечать? — не повышая голоса, продолжал Дзукаев и, не дождавшись ответа, добавил: — Предупреждаю, что за дачу ложных показаний вы несете ответственность по части второй статьи девяносто пятой Уголовного кодекса РСФСР. Вы взяты с оружием в руках, покушались на убийство советского офицера. А это статья тридцать седьмая через статью девятнадцатую Уголовного кодекса. Кроме того, мы имеем строжайший циркуляр наркомата юстиции о беспощадности по отношению к изменникам Родины. Время военное, вы сами должны понимать, будет ли по вашему делу заседать военно-полевой суд или мы передадим его в военный трибунал, результат может сказаться для вас весьма плачевным. Советую это понять и отвечать. Назовитесь, кто вы?

— Какая разница? — поднял звероватые глаза Тарантаев. — Зовите, как хотите. Ну, Сидоров... Сидор Иванович.

— Вас действительно так зовут? Документов при вас нет. Где документы?

— Потерял, — небрежно ответил Тарантаев.

— Ладно, — усмехнулся Дзукаев. — Пусть Сидоров. Вы, гражданин Сидоров, задержаны ночью среди заминированных развалин и, вопреки моему требованию, открыли огонь и произвели четыре выстрела из пистолета системы «вальтер». Вот из этого. Второй обнаружен у вас в пиджачном кармане при обыске. Как объясните этот факт?

— Оружие нашел, его много валяется. Там и винтовки даже есть, могу показать... А стрелял? Чего стрелял — от испуга. Ночь темная, а тут: «Стой!», «Руки вверх!» Поневолe стрельнешь.

— Что вы делали в развалинах?

— Искал себе нору. Разрушено все, а жить где-то надо.

— Давно живете в этой норе?

— Первую ночь всего.

— Раньше где жили?

— Где придется. Дома-то своего нет. Немцы сожгли.

— Ваш дом был в тех развалинах?

— Нет, я не местный.

— А откуда вы?

— Какая разница откуда? Где был — там нет. В России я живу — и весь сказ.

— Как попали в этот город? Когда?

— А вместе с наступающей Красной Армией.

— Значит, вы — военнослужащий?

— Нет.

— А кто же?

— Никто. Живу сам по себе. Справка была из военкомата, потерял вместе с документами. Разрешите попить, начальник?

Дзукаев кивнул Дубинскому, и тот налил полстакана воды. Тарантаев поднялся, болезненно охая и опираясь ладонями о колени, подошел к столу, выпил воду и поставил стакан. Снова косолапо, на подгибающихся ногах вернулся к табуретке. «Показывает, какие больные у него ноги», — понял Дзукаев. Дубинский между тем вышел с пустым стаканом.

— У вас в «норе» найден немецкий радиопередатчик. Что можете сказать про него?

— Он там уже до меня был... Я ж говорю, случайно нору обнаружил... А мне он ни к чему, я и не знал, что это передатчик... — Тарантаев говорил медленно, с долгими паузами, явно тянул время.

— А вещмешок чей?

— Вещмешок? Какой? Этот? Не, не мой. Он тоже там был. Кто-то оставил. Я ни при чем.

Вошел Дубинский и утвердительно кивнул Дзукаеву.

— Ответьте, гражданин... Сидоров, как могли на передатчике, закрытом чехлом, оказаться отпечатки ваших пальцев? Специалист только что исследовал ваши отпечатки на стакане с водой... — Тарантаев при этих словах испод-

лобья метнул взгляд к графину, но стакана не обнаружил. — Да, да, — повторил Дзукаев, отметив этот взгляд, — на стакане. И установил их идентичность с теми, что обнаружены на передатчике, вот этих «вальтерах» и ваших часах. Вам надо объяснять, как это делается?.. Не надо? Тогда каким образом это могло произойти?

— Может, когда я дотрагивался до него. Любопытно было, что за штуковина.

— И до наушников?

— Может, и до них.

— А где они?

— Наверно, там где-нибудь, в подвале валяются.

— Вы прекрасно знаете, что они находятся в этом гнезде, смотрите, — Дзукаев открыл металлическую крышку коробки передатчика. — Видите? Значит, вы открывали рацию и все, что было в ящике, трогали пальцами? И даже не догадывались, что это передатчик?

— Там темно было. За что брался, не помню. И что это такое — не знаю.

— Ладно. В этом городе вы никогда раньше не жили и никого не знаете?

— Нет.

— А часы у вас откуда?

— С убитого снял.

— Совсем отлично! — Дзукаев увидел стоящего в дверях Колю, который делал ему какие-то знаки. — Товарищ следователь, — кивнул Дубинскому, — продолжайте допрос. — И вышел в соседнюю комнату, прикрыв за собой дверь.

— Что, Коля?

— Он это, дядя Ваня, — горячим шепотом быстро заговорил мальчик. — Он, когда пил, боком повернулся, и я его сразу узнал. Тарантай это. Вот и бабушка скажет.

— Узнали, Аграфена Павловна? — обернулся Дзукаев.

— Он, кровопиец, изверг проклятый... Я только голос услышала, поняла: он, мучитель... — она всхлипнула.

— Успокойтесь, не надо плакать. Видите, как нам с врагами приходится вежливо разговаривать? Надо всю правду выяснить, все узнать. Я бы и сам пристрелил его на месте, но не имею никакого права. От того, скажет он правду или нет, зависит жизнь многих наших бойцов, советских людей. Успокойтесь, а я вас потом позову.

Дзукаев вернулся и подошел к окну. Дубинский задал очередной вопрос:

— Значит, вы утверждаете, что только в этой «норе» ночевали, а других у вас не было?

— Нет, не было.

— Скажите, Сидоров, — спросил Дзукаев, — как вы считаете, в этом городе нет никого, кто мог бы подтвердить, что вы являетесь именно тем самым Сидоровым Сидором Ивановичем, за которого себя выдаете и уже целый час врете нам?

Тарантаев, отметил майор, после этих слов слегка изменился в лице. Глаза его забегали, он даже привстать хотел, обернуться, но расслабился и буркнул под нос:

— Раз вы не верите, ничего больше не скажу.

— И не говорите, — участливо вздохнул Дзукаев. — Военный трибунал тоже долго спрашивать не будет. Рацию у вас обнаружили, в советского офицера, это в меня, — он показал забинтованную левую руку, — стреляли, чего еще надо? Как считаете, товарищ следователь, — Дзукаев обернулся к Дубинскому, — достаточно?

— Думаю, вполне, товарищ старший следователь.

— Не имеете права! — хрипло выкрикнул Тарантаев. — Нет у вас никаких доказательств! Нарочно все выдумали, чтоб меня к стенке подвести!

Дзукаев кивнул Дубинскому на дверь, и тот вышел.

— А что же нам остается делать? Вы не хотите себя назвать правильно? — он увидел вошедших Дубинского и Колю. — Обернитесь, Сидоров, или как вас там, и посмотрите! Вы знакомы с этим мальчиком?

Тарантаев резко повернул голову, минуту пристально глядел на Колю, потом словно обмяк.

— Не знаю, никогда не видел.

— А ты что скажешь, мальчик?

Коля стороной обошел Тарантаева и вплотную приблизился к майору, как бы ища защиты. Сказал спокойным звонким голосом:

— Это наш сосед. Он жил напротив нашего дома и прислуживал немцам. Тарантай его зовут.

Тарантаев крикнул и возмущенно помотал головой.

— Врет все. В первый раз его вижу!

— Сядь, мальчик, — Дзукаев показал на стул возле стены. — Свидетель Савелова, войдите сюда!

Бабушка вошла робким семенящим шагом, так же, как и Коля, по стенке обошла Тарантаева, не сводя с него гневного взгляда.

— Вы обязаны говорить нам только правду, товарищ

Савелова. Ответьте, знаете ли вы этого сидящего человека и если знаете, то как его фамилия, имя, чем он занимался до войны и во время оккупации, где работал, где жил? Садитесь рядом с мальчиком.

Бабушка опустила на стул, сложив сухие ладошки на коленях, помолчала. Потом подняла на майора умоляющие глаза.

— Знаю я его, — сказала шепотом.

— Громче, пожалуйста.

— Это Тарантаев, Гришка, — голос Савеловой окреп. — Сосед наш бывший. Через улицу.

— Во! — вскинулся Тарантаев. — Гришка! А я вовсе и не Гришка!

— Гришка, — зло повторила бабушка. — И за бородой своей не скроешься, паразит! И жил ты на Пироговской, дом семь, который теперь тоже разрушен. А до войны в сельпо работал, а при немцах — им прислуживал, изверг про-оклятый! Настеньку мою... — она заплакала, закрыв лицо концами черного платка.

— Спасибо, Аграфена Павловна. Вы с Колей свободны, только подпишите, пожалуйста, показания... Товарищ следователь, проводите этих свидетелей, — майор подчеркнул «этих», от чего Тарантаев заметно вздрогнул. — И готовьте следующих. Сейчас вызовем.

Дубинский вывел бабушку с внуком.

— Ну, что, — сказал Дзукаев, садясь, — начнем сначала, Тарантаев? Каратели — это статья пятьдесят восьмая, часть первая «б». Поясняю: по этой статье следует, как у вас говорят, к стенке прислонить.

— А за что прислонять? Какая разница, Сидоров я или Тарантаев? — при этом он как-то странно посучил ногами. — Доказательств у вас все равно нету... А эти свидетели — одна из ума от старости выжила, другой — сопляк, я на них — тьфу! Врут они! Не знаю я их, — он явно наглед. — Никогда не видел!

— Есть разница, Тарантаев... Что, ноги болят?

— С чего вы взяли? — и спохватился. — Болят! А тут издеваются над безвинным человеком! Избили! Ночь заперти держали! Зовите старшего начальника, жаловаться буду!

— Начальника мы позовем, а вы сапоги-то снимите, Тарантаев, — совершенно неожиданно для себя предложил Дзукаев. — Разрешаю вам босиком посидеть.

— Вот еще! — фыркнул он. — С какой это стати я буду

свои сапоги снимать? — Тарантаев даже ноги поджал, словно хотел спрятать их под табуретку от глаз следователя.

— Сапоги проверяли? — спросил Дзукаев вошедшего Дубинского.

— А как же?

— Хорошо проверяли?

Дубинский даже слегла обиделся, развел руками.

— Хорошо, говоришь? А сапоги совсем целые. Плохо проверяли! Позови двух бойцов!

Пришли Коновалов с Одинцовым.

— Ваше задание выполнили, товарищ майор, — доложил Одинцов.

— Очень хорошо, — почти весело ответил Дзукаев, — а теперь помогите этому гражданину снять сапоги.

Тарантаев вскочил, но бойцы, ухватив его за руки, заломили их за спину, согнули его в дугу и прижали к табуретке. Дубинский с усилием сорвал с ноги отчаянно сопротивляющегося Тарантаева один сапог, а следом, с не меньшим трудом, и другой.

— Отпустите, — приказал Дзукаев. — Ну-ка, Виктор, режь сапог!

Бойцы отпустили Тарантаева и встали за его спиной.

Дубинский острой, как бритва, финкой вспорол голенище, вмиг распотрошил сапог и вытащил из-под набойки завернутую в целлулоидную обертку небольшую полоску бумаги с немецким текстом, отпечатанным на машинке, с печатью и подписью.

— Переводи! — сказал Дзукаев.

— Тут написано, что владелец данного документа имеет право свободного передвижения не только на оккупированной германскими войсками территории, но и в самой Германии. Выдано командованием двадцать седьмого армейского корпуса. Место дислокации не указано. Подпись неразборчива. Вот здесь, в углу справа, две буквы написаны, по-моему, несмываемой тушью: «КБ». Все. Даты тоже нет нигде.

— Вон как! — Дзукаев слегка присвистнул. — Оказывается, у вас, Тарантаев, в сапоге секретный архив, а вы не догадывались? Любопытно... А тебя, Виктор, драть надо за такую промашку. Обыскал, называется. Режь второй сапог.

Но в нем ничего не было. Тарантаев молчал.

— Зря молчите. Что означают буквы «КБ»? Тоже не знаете? Ладно. Пригласите свидетеля Червинского.

Вошел невысокий и сутулый пожилой человек в круглых очках с небольшой, клинышком, бородкой — типичный деревенский доктор чеховских времен.

— Здравствуйте, товарищ Червинский, прошу вас, пройдите сюда, ко мне, и внимательно посмотрите на этого человека. Тарантаев, встаньте!

Доктор обошел поднявшегося Тарантаева по кругу, остановился у него за спиной, по-птичьи повертел головой, наконец приблизился к Дзукаеву и заговорил тонким, почти детским голосом:

— Вы знаете, товарищ майор, я, конечно, не могу утверждать со всей уверенностью, но мне кажется, что я его видел в тот злополучный день, когда был ранен человек среди развалин... Да, он определенно похож на того, который убежал, вместо того чтобы помочь раненому. Я помню, что был глубоко возмущен, ведь он же был рядом и не захотел помочь... Нет, это выше моего понимания, поверьте!

— Было что-нибудь в руках у этого человека?

— А как же! Было! Такой, ну, как его... — он оглянулся в поисках подходящего сравнения и увидел на столе пустой вещевой мешок. — Вот! Как этот рюкзак. Он висел у него на одной лямке.

— Значит, вы можете утверждать, что этот гражданин похож...

— Да-да, борода, рост и это... — Червинский низко сутулился. — Он бежал так и оглядывался, когда я кричал ему: «Куда вы? Там мины!»

— Простите, значит, этот гражданин похож на того, которого вы двадцатого июля, во вторник, видели среди развалин сразу после взрыва?

— Да-да, это было именно двадцатого. Вы абсолютно правы.

— И на плече у того гражданина был вещевой мешок?

— Да, рюкзак, вот такой, его почему-то военные «сидором» зовут. Почему? И в нем было такое, квадратное. Очень неудобное, потому что он поправлял. Вот так, — Червинский подергал согнутым локтем.

— Ну-ка, помоги, — Дзукаев закрыл рацию и с помощью Дубинского засунул ее в вещевой мешок. Поднял за лямку и надел на плечо. — Так?

— Так! — обрадовался Червинский. — Именно так.

— Спасибо, Илья Stanisлавович, дорогой, — Дзукаев сердечно пожал ему руку, — вы свободны. Показания подпишите...

Сержант Водолагин вошел строевым шагом, громко стуча каблуками, и отдал честь. На груди его серебряно звякнули две медали «За отвагу».

— Товарищ майор, сержант Водолагин для опознания прибыл!

— Вои, Водолагин, взгляните на этого гражданина и скажите, встречали вы его когда-нибудь?

Сержант, повинувшись кивку майора, четко повернулся налево кругом и сразу как-то подобрался, словно для прыжка. Короткие, пышные усы его по-кошачьи встопорщились.

— Ах ты, гад ползучий! — закричал он и, сжав кулаки, шагнул к Тарантаеву. — Поймали тебя! Не ушел! От наших не уйдешь, пес фашистский, гитлерюга паскудный!

— Сержант! — строго прикрикнул Дзукаев. — Вы узнаете?

— Да как же его не узнать, товарищ майор? Он же Кольку убил!.. Виноват, товарищ майор, застрелил гвардии рядового Прошина Николая при несении патрульной службы.

— Как это произошло и когда? — Дзукаев пристально наблюдал за растерявшимся Тарантаевым.

— Позавчерашней ночью были мы в наряде на Красноармейской улице. Там танки шли и... ну, в общем, порядок чтоб был. В половине третьего утра, я еще на часы тогда поглядел, долго ли еще ходить, как раз все стихло, рассветать начало и небольшой туман — там река недалеко. Он, значит, вдоль забора крался, где темнее. Николай его первый увидел и меня толкнул: гляди, говорит. Ну я как положено: «Стой! Кто идет? Документы!» Все говорю как положено. А Колька вперед на два шага вышел, вот так, передо мной, вроде как меня прикрыл. И он в него дважды, считай, в упор, шагов с шести... А сам в дыру в заборе. Мы с Савчуком за ним, стреляли, но он ушел, видать, хорошо ориентировался на местности. Там кустарник густой, пока продрались, его уже и не было. Вернулись, глядим, а Колька... Николай, то есть, уже не дышит. Я приказал Савчуку проверить дома, что рядом, может, следы какие есть. Ничего, товарищ майор, не было. Старухи одни, никого не видели, говорят. А вы поймали, значит?.. Он это, зверюга. Успел я его запомнить, он.

— Как же ты, сержант, такой боевой человек и упустил врага?

— Виноват, товарищ майор, — сержант понуро опустил голову. — Дыра ж там, в заборе...

— Все, сержант, подпиши протокол — и ты свободен. — Дзукаев подошел к Тарантаеву. — Ну, Тарантаев, теперь все ясно или надо объяснять?.. Будем говорить?

— Ничего не знаю, — словно помешанный, забормотал Тарантаев. — Не был я нигде, не убивал никого.

— Ну, это теперь ни к чему. Только полное признание, я думаю, может еще как-то повлиять на вашу судьбу, на решение трибунала. Увести!

Бойцы вывели босого Тарантаева.

Дзукаев посмотрел ему вслед и укоризненно вздохнул:

— Такая промашка... Просто стыдно! Ну, ладно, пусть теперь он немного пошевелит мозгами.

— Мне кажется, он уже сообразил, что в клещах. Сник ведь под конец-то, — Дубинский, чувствуя свою вину, хотел как-то оправдаться.

— Сник-то сник... Посмотрим. Иди, Виктор, к полковнику и проси оформить ордер на арест. Он сам с Прохоровым свяжется. Думаю, этого будет достаточно?

— Вполне.

— Рогов где? Узнай в отделе, где он и что слышно о парашютистах? Закончишь у полковника, сразу займись Красноармейской улицей. Понимаешь? Просей, процеди ее всю насквозь, а про сапоги не забывай... Понимаешь, какая связь получается? Партизаны — подполье — связная — Тарантаев — гестапо. Прямая связь, если все так и было... Может, у партизан найдутся какие-нибудь следы Тарантаева...

8

Секретарь райкома партии принял Дзукаева без промедления.

Он выглядел бы совсем молодым человеком, если бы не седые виски и серебряный проблеск в черных смоляных кудрях.

— Здравствуйте. Контрразведка просто так попить чайку не заходит, — приветливо встретил секретарь и поднялся из-за стола с дружески протянутой рукой. — Чем могу служить? Впрочем, чайку мы все-таки сумеем сообразить, время обеденное. Не возражаете? Как вас по батюшке?

— Иван Исмайлович.

— Наташа! — крикнул секретарь за дверь. — Два стакана чайку, пожалуйста, и не тревожь нас, мы заняты. — Он

обернулся. — В жару помогает, вы — южный человек, знаете. Да и нечем другим угостить. Вот оперимся, придем в себя, тогда приезжайте, угостим по-смоленски, щедро. — Секретарь сел за приставной узкий столик напротив Дзукаева и сцепил сильные пальцы в замок. — Слушаю вас.

Дзукаев коротко рассказал о событиях последних дней, описал внешность Тарантаева, упомянул о Червинском.

Секретарь внимательно, насупив густые брови и глядя на свои переплетенные пальцы, слушал и не перебивал вопросами. Только благодарно улыбнулся совсем молодой девушке, принесшей чай: «Спасибо, Наташа!» — подвинул Дзукаеву стакан с кусочком сахара на блюдечке, позвенел ложкой в своем. Вдохнул:

— Задача... Собственно, я здесь секретарь молодой. До войны, за год примерно, избрали секретарем райкома комсомола. Потом отряд, в общем, хватало всякого, как говорится, якова. Тарантаев, значит... Нет, не помню. Вы говорите, он мог работать в нашем сельпо? Это можно проверить. Где-нибудь в архивах наверняка сохранилось. Правда, с этим вопросом у нас, прямо скажу, неважно. Много вывезли, что не смогли, уничтожили. Но посмотрим, я дам команду... Значит, Тарантаев...

— Александр Серафимович, меня вот что интересует, — Дзукаев вынул из планшета потрепанный блокнот и карандаш. — Вы позволите?

— О чем речь? Конечно.

— Мы еще вернемся к Тарантаеву. А теперь, если можно, вспомните тех, кто был в подполье, в партизанском отряде, о командире, которого звали Антон, где он и что с ним? Хотелось бы знать про историю с подпольем, ваши предположения о причинах провала, ну, а потом вернемся к Тарантаеву. Никуда он не денется, у нас сидит.

— Боюсь, что история эта не будет короткой, — задумчиво сказал секретарь. — Но я ценю ваше время и постараюсь уложиться... — Он взглянул на свои часы. — Дел, знаете ли, непроворот... Да вы пейте, пейте чай... С чего же начать?

— Если можно, с начала, — усмехнулся Дзукаев.

— Ну, что ж, давайте с самого начала, — вздохнул Завгородний. — Ситуация в нашем городе и районе с первых дней оккупации сложилась прямо-таки критическая. Похоже было, что гитлеровцы уже с первых дней имели у себя полный список районной парторганизации, всего руководящего состава и не только здесь, но и в Борском, Зна-

менском и других соседних районах. Списки комсомольцев, активистов, даже их родных и знакомых. Буквально через короткое время повальные обыски и аресты. Брали целыми семьями, включая детей. На бывшем консервном заводе в подвалах оборудовали тюрьму и свозили туда людей сотнями. Это был какой-то кошмар.

Ядро партизанского отряда, который действовал на территории трех наших соседних районов, мы сформировали еще до прихода фашистов. А возглавлял его очень опытный товарищ. Он из Москвы прибыл. В короткий срок была создана сеть тайных складов продовольствия, оружия и зимней одежды для партизан, продумана система связи, организованы городские явки. Словом, людей готовили тщательно, учитывая, конечно, полное отсутствие времени. Немцы ведь появились здесь уже в июле, сами понимаете. Да, времени не было. Но мы не могли тогда предположить, насколько фашисты оказались осведомлены о нашей деятельности. В первые же недели практически все городские явки были провалены. Сейчас-то ясно, что на стороне фашистов действовал кто-то очень информированный. Хватали и расстреливали наших людей ежедневно, каждую ночь. Увозили в загородную рощу. Там нынче работает чрезвычайная комиссия, вскрывают рвы, куда сбрасывались тела убитых. Этого не рассказать, надо увидеть самому. И в таких вот условиях наш партизанский отряд провел несколько довольно серьезных операций. Самой крупной была диверсия на железнодорожном узле. Наши ребята сожгли два эшелона с горючкой, взорвали стрелки, словом, устроили немцам фейерверк. Движение поездов было полностью парализовано на несколько суток. И это в самый-то разгар немецкого наступления на Москву. Паника была неслыханная. Но и репрессии удвоились. Если не утроились... Вот так... Ну, а наш командир...

— Я уже слышал о нем от местных жителей, — сказал Дзукаев.

— Да, Антон Ильич Елецкий, или товарищ Антон, как мы его звали, был человеком прямо-таки удивительной храбрости, ума и выдержки. После гибели Кузьмы Егоровича, борского секретаря, комиссаром отряда назначили меня. Но это случилось позже. Если вас интересует, я расскажу. Главной нашей «заботой», если можно так выразиться, были транспортные магистрали. Что это значило в ту пору, вы можете себе представить. Август, сентябрь, октябрь — самые тяжелые месяцы наступления на Москву. Самые

трудные для всех нас. Если коротко говорить, мы объявили фашистам минную войну. Рвали составы с техникой и солдатами, минировали шоссе, даже лесные дороги. Словом, туго пришлось фрицам на нашей земле. Сперва нам мины забрасывали из Москвы, самолетом. А позже, когда отряд обложили со всех сторон, блокировали и связь прервалась, командир организовал небольшую техническую группу, и мы стали сами делать эти «игрушки». Опасное, конечно, дело, но и другого выхода не было. Каких только мин, извините, не насобачились производить. Большой умелец был наш Антон... Но техническая сторона дела — одно. Другое, главное, — наш командир оказался отличным организатором. Конечно, от провалов никто из нас не был застрахован, немцы воевать умеют, и гестапо у них работает как железная метла. Тем не менее где-то к весне сорок второго года под нашим контролем находилось около двух десятков поселков и деревень в Борском и Знаменском районах. Целый партизанский округ, куда фрицы боялись нос совать. До поры до времени, конечно.

И тут возникла новая проблема. Отряд стал расти. Если раньше мы были достаточно мобильными и довольно легко, особенно на первых порах, уходили от преследования, то теперь начали быстро пополняться за счет местных жителей, окруженцев и бежавших из концлагерей военнопленных. Стали менее поворотливыми. Вот тогда и появилась необходимость значительную часть боеспособного населения переправить через линию фронта для службы в Красной Армии. У нас ведь собрались танкисты без танков, летчики без самолетов, много молодежи, у которой подошел призывной возраст. Переправкой народа занимался Кузьма Егорович. Лично. Великолепный был мужик, скажу вам. Родом он из Борска, отчаянный охотник, а лет, между прочим, ему было немало, уже к шестидесяти подходило, леса наши знал вдоль и поперек. Он здесь был секретарем больше десяти лет, его каждый в лицо знал. И уважали. Потому что справедливый был человек, никогда ничего для себя. Люди это и ценили. Вот он и увел в рейд нашу молодежь. Всех вывел, а сам не дошел... И как его не уберегли! Прямо у линии фронта погиб. Командование подготовило прорыв через немецкую оборону, танки бросили, а наши — навстречу. И прошли, около полутора тысяч человек. Считай, два полных батальона. Вот так-то... — Секретарь опустил голову и стал вяло помешивать ложечкой свой остывший чай.

— Простите, Александр Серафимович, — Дзукаев прервал затянувшуюся паузу. — Время, понимаете, торопит.

— Да-да, — спохватился Завгородний. — Я помню, вас интересовало подполье. Те, кто были в городе. Ну, а собственно, что в городе? Катастрофа под Москвой заставила гитлеровцев с новой отчаянной силой навалиться на наш активно действующий у них под боком отряд. Новые облавы прошли и по городу. Гестапо хватало людей без разбора и без всякого подозрения, усилило слежку, постоянно меняло системы пропусков. Словом, город оказался как бы на осадном положении. У нас прервалась связь даже с теми немногими своими людьми, что служили на железной дороге. Ну, а без них, как вы понимаете, мы не могли провести ни одной стоящей операции на транспорте. Вот тогда мы и стали, что называется, «подскребать» все наши прошлые связи, да рассчитывая порой в какой-то мере даже и на случай. И такой случай нашелся. Я имею в виду Червинского...

Илья Stanisлавович Червинский оказался в партизанском отряде, как он сам говорил, исключительно по причине собственной вспыльчивости. А началось все в один из последних дней накануне отступления советских войск.

После полуночи на единственные, еще не пострадавшие от фашистских бомб и снарядов железнодорожные пути подали состав для эвакуируемых. В числе уезжавших была многочисленная семья Червинских — он сам, жена, четверо детей, теща и больная сестра жены. Уезжали «всем кагалом», как с рассудительной печалью заявил немногим оставшимся работникам аптеки Илья Stanisлавович. Бросали свое насиженное место, домик с яблоневым садом и кустами жасмина, оставляли все нажитое долгим и усердным трудом, ехали с тем немногим, что вмещала ручная кладь.

Паровоз стоял уже под парами. Предотъездная суeta и беготня, вопли прощания достигли своего апогея, когда на станцию накатилась волна бомбардировщиков. Две зенитки не могли отбиться от пикирующих стервятников. Все вокруг рвалось, горело. Огромным ревущим факелом пылала цистерна с нефтью.

В момент краткого затишья после первой волны налета, когда поезд должен уже вот-вот тронуться, Червинский, сам не зная зачем, выбрался из вагона и подошел к вы-

битому окну, за которым виделись ему, освещенные сполохами огня, испуганные лица родни и вечно всем раздраженной супруги. Ее и теперь, сию минуту, волновал не ужас, творящийся вокруг, а совсем другое: почему так мало взяли с собой и почему, конечно, взяли совсем не то, и что будет с домом и брошенным добром?..

Спотыкаясь об искореженные рельсы, камни и валяющиеся в беспорядке шпалы, Червинский медленно брел вдоль вагонов, оглядывая в последний раз — он был твердо в этом уверен — и полуразрушенный вокзал, и рваные силуэты пристанционных построек, и высокие кроны тополей. Он вдыхал насыщенный дымом и гарью воздух родного города, в котором родился, вырос, стал уважаемым человеком, и сердце его разрывалось от боли и затянувшегося прощания со всем прошлым, с прожитой жизнью.

Вдруг он услышал голос жены, звавшей его. Он вернулся к окну.

— Илья, ну что ты все ходишь без дела, как последний идиот? — возмущенно кричала она. — Пока мы еще стоим, ты вполне мог бы сбегать домой и взять курицу! Старый идиот, ты курицу что, немцу нарочно оставил?

Илью Станиславовича словно колом по голове ударило. «Какая курица?! Ночь, бомбежка, жуткий ад вокруг и — курица?!» Он стоял, пытаюсь понять, откуда это, почему? И вдруг неведомая сила подбросила его к вагонному окну, он вцепился рукой в щербатый его край и с маху влепил собственной супруге пощечину.

Падая, он подвернул ногу, вскрикнул и, не слушая больше криков жены, прихрамывая, заспешил в хвост состава, за пакгаузы, обратно в город. Раскаивался ли Илья Станиславович в содеянном? Нет, он просто раз и навсегда вычеркнул из памяти этот эпизод. А на следующее утро явился в райком партии и предложил свои услуги. В чем конкретно они должны были выражаться, он не знал. Там, разумеется, удивились, но ничего определенного старому человеку предложить не смогли. Не брать же его с собой, в леса, где и без него забот должно было хватать с лихвой. Единственное, что посоветовали, видя его настойчивое желание помочь в борьбе против фашистов, это затаиться и ждать, когда в нем появится нужда. Словом, договорились, что придет человек от Антона, условились о пароле и постарались отодвинуть этот случайный эпизод в самый отдаленный уголок памяти. Так, на всякий случай. Мало ли что может произойти?..

Однажды, уже в январе сорок второго года, незадолго до комендантского часа в маленький домик Ильи Станиславовича постучала молодая женщина. Аптеку, разумеется, фашисты давно прикрыли, а все, что в ней было, вывезли в свой госпиталь. Пожилой возраст, благообразная внешность Червинского, его происхождение — из давно обрусевших поляков, а также безупречная с их точки зрения довоенная репутация — в партии не состоял, политикой никогда не интересовался, родственников, служащих в Красной Армии, не имел — позволили немцам на первых порах не трогать его, и Илья Станиславович, чтобы как-то существовать, обучился у своего соседа, такого же старика, как и он сам, нехитрому делу — подшивать валенки, с грехом пополам ремонтировать прохудившуюся обувь. Тем и жил.

Пришедшая женщина передала Илье Станиславовичу горячий привет от его старого друга Антона.

— Господи, наконец-то! — радости Червинского, казалось, не было предела. Он засуетился, собирая на стол нехитрую снедь, раздувая в печке огонь, чтобы гостя согрелась с мороза. Но женщина торопилась успеть домой до комендантского часа и поэтому коротко передала Илье Станиславовичу, чтобы он в ближайшие дни ожидал гостя от Антона, а до тех пор подумал, нет ли у него кого-либо знакомых, работающих в городской управе, и нельзя ли добыть что-нибудь из медикаментов. Пойдет все — бинты, вата, спирт, йод, любые лекарства. Женщина уже давно ушла, а Червинский все никак не мог прийти в себя от душевного волнения. «Наконец-то! Вот и он понадобился, пригодился...» С этой минуты Илья Станиславович старался никуда не выходить из дома, боясь пропустить связного. Ему было чем помочь партизанам, но как это сделать, он пока не знал. Дело в том, что в бывшей аптеке расположилась какая-то немецкая контора, чем там занимались немногочисленные служащие, никто не ведал. Но в одном из подвалов дома, под кучей старого хлама, битых пробирок, бутылей и ломаных ящиков, Илья Станиславович еще до прихода фашистов запрятал довольно приличный запас медикаментов, необходимых для оказания неотложной помощи, дезинфицирующих материалов, марли, спирта и прочих лекарств. Однако изъять этот клад теперь было довольно трудно, не говоря уж о том, что абсолютной уверенности в сохранности спрятанного у Червинского также не было. Самому проникнуть в подвал не представлялось возможным. Оставалось рассчитывать на помощь старика-

соседа, когда-то работавшего в той же аптеке сторожем.

В ожидании гостей из леса Илья Станиславович зазвал к себе соседа и попросту, по-стариковски, за скудным чайком заговорил о жизни, о добром мирном прошлом, о судьбе взрослой внучки соседа, работавшей в городской управе. Два старика вскоре нашли общий язык, да и как его было не найти, если их связывали соседские дружеские отношения больше полувека. Матвей Иванович обещал помочь. Связной появился в середине дня в воскресенье, когда на городской базар немногие состоятельные «хозяева» из окрестных сел с разрешения немецких властей привозили подмороженную картошку, а под ней прятали и мучицу, и самогон, и обменивали свой товар на одежду, обувь, а то и невесть каким образом сохраненные золотые вещицы. Бородатый мужик степенно вошел в дом, огляделся и негромко передал Червинскому все тот же горячий привет от Антона. Час спустя Илья Станиславович сводил связного к бывшей аптеке, показал заколоченный черный ход, объяснил, где и как найти спрятанный запас, если он, конечно, сохранился. А ближе к вечеру познакомил связного с Матвеем Ивановичем. Старик был убежден, что на его внучку можно положиться. Сама мается, что на немца работать приходится, но это единственная возможность избежать отправки в проклятую Германию...

В отряде рассудили так, что операция по изъятию лекарств вряд ли пройдет бесшумно и тайно. Даже если удастся избежать перестрелки, то налет на бывшую аптеку все равно на следующий же день станет известным в гестапо. Там, естественно, начнут расследование и тут же выйдут на Червинского. С кого же, как не с бывшего управляющего, и спрашивать, зачем партизанам понадобились его подвалы? Поэтому было сразу решено из города Червинского убрать. Как-никак в медицине он человек сведущий; свой, отрядный врач обморозился, и помощи от него скоро ожидать не приходилось. А помощь нужна, поскольку отряд растет, народ прибывает и прибывает. Одним словом, Червинского надо доставить в отряд, а потом, при первой же возможности, переправить на Большую землю. Подлинной находкой могла оказаться и внучка Матвея Ивановича.

На следующую ночь партизаны вскрыли черный ход аптеки, быстро разыскали драгоценный клад Червинского и, забрав с собой Илью Станиславовича, еще до рассвета прибыли на свою базу. Так Червинский наконец оказался

в отряде. Он быстро свыкся с партизанским бытом, и его все полюбили, а его своеобразный мудрый юмор постоянно согревал людей в самые трудные дни. Ни на какую Большую землю Червинский так и не отбыл, остался в отряде и прошел с ним весь боевой путь вплоть до освобождения города Красной Армией.

Нападение на бывшую аптеку не прошло незамеченным. Гестапо учинило обыск в доме Червинского, с неделю держало там засаду, а потом, так ничего не дождавшись, попросту сожгли дом. Об этом рассказал партизанам Матвей Иванович. Его день продержали в гестапо, допрашивали, но он ничего не знал, с пропавшим соседом никаких дел не вел, знакомства не поддерживал. Спасло и то, что внучка его верно служила великой Германии. Внучка же до конца оккупации помогала партизанам: с ее помощью они смогли получать образцы различных документов и, что самое главное, следить за постоянно меняющимися пропусками. А в домике Матвея Ивановича партизанские группы нередко ночевали перед очередными операциями.

— Вот вам, Иван Исмайлович, коротенько история нашего Ильи Станиславовича. Вообще я вам должен сказать со всей ответственностью, что бойцы нашего отряда, в абсолютном большинстве совершенно не военные люди, открылись лично для меня с новой, неожиданной стороны... Вы интересовались нашей связной, но что я могу рассказать, если почти не видел ее? Появлялась она нечасто, контакты у нее были только с Елецким и Кузьмой Егоровичем. Знаю, что муж ее находился у нас в отряде и погиб во время мартовской блокады. Это когда фашисты обложили нас со всех сторон, но мы вышли из кольца, правда, с немалыми потерями. А жена его, наша связная, пропала позже, это было уже после встречи Елецкого с «Цыганом».

— А это что за личность? — настороженно вскинул голову Дзукаев.

— Если нужно, расскажу. Был такой полицай у нас, Цыган.

— Тем более расскажите. В нашем деле каждая мелочь может оказаться едва ли не решающей. Ничего, к сожалению, упускать нельзя, дорогой товарищ секретарь, — вздохнул Дзукаев.

— Ну, хорошо, — усмехнулся Завгородний. — В этой истории я сам был участником. Поэтому сведения получите,

что называется, из первых рук. В марте сорок второго, как я уже говорил, после тяжелых боев с карателями, наша связная принесла известие, что с руководителем партизан ищет встречи полицейский. Елецкий считал, что упускать такую возможность нельзя. Однако следовало обеспечить безопасность тех товарищей, которые пойдут на встречу с полицаем. По словам связной, этот человек категорически отказался сам прийти в отряд или встретиться где-то вне города, боялся, естественно. Требовал встречи только в своем доме, при этом за безопасность партизанского командира ручался собственной головой. Что ж, полиция можно было понять. Разгром гитлеровцев под Москвой многим прочистил мозги. Подействовала, вероятно, и последняя неудача с карательной операцией, которую фашисты провели против нас. Хотя мы, как я говорил, и понесли серьезные потери, карателям досталось куда больше. Главные наши силы сумели пробиться через заслоны нескольких батальонов эсэсовцев, поддержанных танками и авиацией. А спустя короткое время снова до нас дошли слухи о спешной подготовке фашистами новой, еще более крупной карательной экспедиции, в которой должны были принять участие войсковые соединения, прибывающие в город для отправки на фронт. Надо было, естественно, узнать, какими сведениями располагал этот полицай. И еще один вопрос заботил: каким образом полицейский вышел на нашу связную? Но та успокоила, сказав, что это их сосед, и если он уже догадался, кто она такая, то давно мог бы арестовать ее.

На встречу мы отправились впятером: Елецкий со своим адъютантом Петром Романенко и я с двумя бойцами, как группа прикрытия.

Потом уж мы выяснили, что Цыган, видимо, был убежден: партизаны обязательно клюнут на него, и поэтому допустил оплошность, досконально не согласовав со своими хозяевами всех деталей по захвату товарища Антона.

Предвидя и такой вполне возможный вариант, мы пришли в город за сутки до назначенного срока и успели убедиться в худшем своем предположении: для нас готовилась засада. Но даже и в этой ситуации Елецкий решил все-таки прийти к Цыгану. Однако несколько раньше назначенного срока, чтобы застать его врасплох.

Мы втроем, с ручным пулеметом и гранатами, расположились на чердаке сарая на заднем дворе, предварительно наметив пути отхода. Оттуда и наблюдали, как фашисты

скапливаются в соседних домах. Едва стемнело, Елецкий и Романенко пошли в дом Цыгана. Короткое время спустя там раздался грохот взрыва, потом — выстрелы, брызнули наружу стекла и обломки оконных рам. Мы с ходу открыли дружный огонь по метнувшимся к дому фашистским солдатам, забросали их гранатами и отсекали пулеметным огнем от выскочивших из разбитого окна командира и его адъютанта. Ушли хорошо. Никого даже не царапнуло, если не считать разодранных от колена до паха ватных брюк Романенко: это он зацепился, прыгая в окно. Фрицы не сразу пришли в себя, а потом было уже поздно. Дом Цыгана находился на окраине, на спуске к реке, где за высокими сугробами и густым тальником мы заранее подготовили запряженных в сани лошадей. Фашисты ринулись вдогонку и напоролись на два хитро заложенных нами заряда. Их в буквальном смысле разметало. Романенко был тогда уверен, что успели пристрелить и предателя и обоих немецких офицеров, находившихся в доме. Однако вскоре на всех заборах запестрели листовки с описанием примет нашего командира. Значит, сумел-таки кто-то из них остаться в живых и запомнить внешность Елецкого. Но худшее ожидало нас на базе. Вопреки приказу Антона, связная, беспокоясь о своем оставленном в городе ребенке, ушла из отряда. Посланные вдогонку партизаны ее не нашли. Так и пропала... Наверно, немцы ее все-таки выследили. Ну, а уж из гестапо живым человек не выходил. За редчайшим исключением.

О Цыгане тоже больше ничего не было известно: убит он был в доме или остался жив. Возможно, его только ранило, ведь приметы Антона кто-то запомнил. Но это уже догадки, фактов у меня нет.

— Вспомните, Александр Серафимович, фамилия связной — не Савелова?

— Не могу сказать, — Завгородний сделал глоток остывшего чая. — Я ведь, честно говоря, и имени-то ее не знаю. Но попробуем проверить по фамилии ее мужа. Списки наших бойцов сохранились.

— А фамилия Цыгана случайно не Тарантаев?

— Вот тут уж вообще ничего сказать не могу, — секретарь задумался. — А откуда возникло у вас такое предположение?

— Извините, но у меня ощущение, что это хороший след. Тарантаев был соседом Савеловых, дом напротив, через улицу. Он же, по словам свекрови, участвовал в ар-

сте Насти Савеловой. Считает она также, что Тарантаев служил в полиции. А где происходила встреча Елецкого с Цыганом, помните? В каком доме? На улице Пирогова?

— Нет, что вы! Пироговская — это, считайте, центр. Хотя и оттуда до околицы рукой подать. Дом Цыгана был на Подгорной. Это совсем в другом конце города, хотя тоже у реки. Она вокруг города с юга большую петлю делает. Мальчишками, бывало, садились в лодку, полдня из города плыли, а к вечеру, глядишь, снова дома... Да... Узнать этого предателя вообще-то могли бы только двое: сам Елецкий и Романенко. Связная, по нашим предположениям, погибла. Жаль ее, конечно, героическая была женщина. Романенко где-то воюет, он сразу после освобождения города ушел в действующую армию. Остается Елецкий. Его, наверно, можно найти, мы отправили нашего командира самолетом в Москву. В тяжелом состоянии. Он ведь попал-таки к фашистам в лапы, его опознали, ну и... сами понимаете. Когда партизаны отбили его с несколькими товарищами, что называется, прямо из петли вынули, потребовалась экстренная помощь квалифицированных врачей. Но это уже было... Да, в феврале этого года. Нам удалось связаться с Москвой. Прислали самолет и вывезли на Большую землю наших самых тяжелых раненых. Так что искать его надо, видимо, по вашим каналам, Иван Исмаилович. Если, разумеется, он жив.

— А как же произошло, что Елецкий попал в гестапо?

— Э-э, тут, знаете, тоже много неясного. Гестаповцы устроили облаву по всему городу. Причем похватали только мужчин и без всякой проверки документов привезли в комендатуру, а там — можете себе представить? — его увидела и опознала какая-то женщина, которая, оказывается, запомнила его еще с сорок первого года, с тех, последних дней перед оккупацией. Вот, пожалуй, все, что мне известно. Елецкий ничего рассказать не мог, поскольку был в очень тяжелом состоянии. Ведь больше четырех месяцев из него жилы тянули. Как вообще перенес все это, диву даешься. Видно, закалка была у человека.

— А что за женщина, вы не узнавали? Он не говорил?

— Он вообще почти не говорил. Все время в беспомощности... Тут такая история вышла. Немцы везли их на казнь, а наши напали на машину. Бой был очень коротким. Все-таки налететь белым днем, да посреди города — этого фашисты не ожидали. Но, к сожалению, успели дать очередь по заключенным. Из семи человек только двое живы

остались: Елецкий и еще один партизан. Но Елецкий так, в общем-то, и не пришел в сознание, только все повторял в бреду: «Передайте в Центр...» А чего передать, никто не знает. Наверняка что-то важное. А партизан Алешка Земцов, он во время карательной операции к ним попал, раненым схватили, вот он и рассказал, что Елецкий, уже когда ехали на казнь, говорил ребятам, будто женщина его опознала, она в городе нашем жила и видела его. Даже фамилию вроде назвал. Но Алешка забыл, господская, сказал, какая-то фамилия, черт знает что! Да и его, в общем, понять можно было: на смерть ведь везли их, как тут запомнишь? Не дождался он, бедняга, самолета. Там, в лесу, его и похоронили. А Елецкий выдержал. Я ж говорю, крепости человек необыкновенной.

— Зачем же Елецкий пошел в город, если после этих листовок его там, извините, каждый прохожий узнал бы?

— Да как вам сказать?.. Мы ведь тоже возражали. Но тогда готовили очередную операцию на железнодорожном узле, а он был таким человеком, который всегда самое трудное брал на себя... Я ведь уже сказал вам, что подполья, как активной силы, не было. У нас появилась связь в городской управе, две-три сохранились в железнодорожном депо, но как организации подполья не было.

— Понятно, — вздохнул Дзукаев. — Ну, спасибо, Александр Серафимович, за помощь. Фамилию связной уточните, пожалуйста, очень прошу, и попросите передать нам. А Елецкого мы отыщем. Наверное, без него не обойтись...

Завгородний проводил Дзукаева до двери и, пожимая на прощание руку, сказал:

— Хочу добавить, что с осени сорок первого до середины сорок второго года к нашему отряду прибывались выходившие группами и поодиночке из окружения бежавшие из концлагерей бойцы и командиры Красной Армии. Все они воевали отлично, мужественно и ни в чем таком, сами понимаете, я бы не смог их заподозрить, тем более что многие из них геройски погибли. За все время в отряде был лишь один случай предательства и то, к счастью, сумели вовремя распознать подлеца. У Елецкого был какой-то особый свой нюх на предателей и трусов, и наиболее ответственные дела он поручал только самым проверенным товарищам. Может, поэтому фашисты так и не смогли справиться с нами...

Когда Дзукаев вернулся в отдел, ему доложили, что

уже звонил Завгородний и подтвердил фамилию связной — Савелова.

В Москву был передан запрос на Елецкого. Ответ пришел поразительно быстро: майор Елецкий Антон Ильич находился в госпитале Бурденко и теперь долечивается в подмосковном санатории. Состояние его здоровья улучшилось.

Дзукаев понял, что надо лететь в Москву. Но полковник Федоров распорядился иначе: к Елецкому с фотографией Тарантаева срочно вылетит Бурко. Сегодня же в ночь, с полевого аэродрома под Борском. Его отправку полковник взял на себя. Бывший командир партизанского отряда мог и по фото опознать Цыгана. Кроме того, необходимо было выяснить обстоятельства, при которых Елецкий попал в гестапо, узнать, что за женщина при этом фигурировала, ну и все, связанное с арестом. Дзукаеву же следовало в максимально короткий срок завершить дело о радисте.

Приняв такое решение, Федоров заключил:

— Только что пришел приказ: Особому отделу передислоцироваться в Борск.

— Товарищ полковник! — взмолился Дзукаев. — Ведь дело Тарантаева не закрыто! Наверняка в городе есть еще кто-то, с кем он связан. Хорошо, если Елецкий узнает Тарантаева. А если нет? Или вдруг Тарантаев назовет еще кого-то? Как искать будем? Нельзя нам уезжать!

Федорову были понятны аргументы Дзукаева, однако ведь и приказы начальства обсуждать не положено. И он решил под свою личную ответственность оставить следователей в городе до завершения дела Тарантаева. И срок на это был отпущен минимальный — три дня.

9

Прошла ночь, потом долго тянулся шумный, полный беготни, стонов, бессвязной ругани госпитальный день, Анну никто не тревожил, не спрашивал, и она успокоилась. Изредка появлялась Прасковья Васильевна, давала попить, ласково поглаживала вытянутые поверх одеяла слабые руки Анны и снова исчезала среди тесно поставленных коек — быстрая и ловкая как белая мышка.

Трезво оценив свое положение, Анна решила, что это, пожалуй, пока самый лучший вариант из всех, какие могли

сложиться в последние дни. Она затерялась, и если ее все-таки станут искать, то никому и в голову не придет делать это в госпитале. Значит, надо терпеливо переждать время, казаться более слабой, чем есть на самом деле, а данную удачную ситуацию использовать для подготовки к уходу, выбрав для него наиболее подходящий момент. И такой момент наверняка представится.

Здесь все время происходило какое-то движение: кого-то привозили, других увозили. Помещение огромное, как на вокзале, поэтому и уследить за каждым находящимся здесь было бы попросту невозможно. Оно и к лучшему.

Анна старалась больше спать, чтобы набраться сил, и сон лечил ее, успокаивал. Если бы только не это проклятое, повторяющееся без конца видение. Оно кидало Анну в дрожь, она с ужасом просыпалась и готова была немедленно вскочить и бежать, бежать от пронизывающего ее насквозь взгляда голубоглазого командира с коричневой пропыленной повязкой на худой шее. Он был, этот молодой командир, был давно, словно за чертой времени. И теперь вот снова появился, но уже не реальный, не во плоти, а как навязчивое, фатальное видение.

Холодный рассудок подсказывал Анне, что надо отвлечься, забыть, сознательно вычеркнуть из памяти этот взгляд, вспомнить и — забыть. Запретить себе возвращаться к нему... Но как уйти от прошлого, если все оно в ней? Как приказать себе ничего не помнить?.. Прошное таило в себе смертельную опасность. Значит, сейчас нужно пройти по нему, отсеять все невыгодное для себя и сохранить главную легенду своей жизни...

Для Анны наступали минуты ее торжества, тот миг, ради которого она двадцать лет назад круто изменила свою жизнь...

Кончался июль сорок первого. На ближних подступах к городу развернулись ожесточенные бои. Немцы стремились взять его в клещи, бомбили и расстреливали из дальнобойных орудий. Город пустел. Все, что должны были эвакуировать в первую очередь, уже отправили, а на всякие мелочи, вроде кустарных мастерских или там архива сельпо, не хватало ни времени, ни транспорта. Кто хотел и смог уйти, тоже ушел, многие не успели, были и такие, что сами поразбежались, попрятались, запасшись предварительно бесхозным добром из неохраняемых магазинов. Не показы-

валась из своего небольшого дома на восточной городской окраине и Анна. Затаилась, ждала, внутренне готовясь к скорым переменам.

В один из дней, в полдень, громко забарабанили в дверь. На крыльце хрипло разговаривали сразу несколько мужских голосов. Анна метнулась к окну и в щель между ставнями разглядела толпящихся в палисаднике красноармейцев. Их было много.

«Нет, не за мной, — поняла она. — Это те, что уходят...»

Она набросила на голову старый платок и открыла дверь, жмурясь от яркого солнца. Бойцы на крыльце загомонили:

— Что не приветлива, хозяйка?.. Мы уж думали, нет никого... Водички бы, а?..

— Сейчас, сейчас, — подобострастно засуетилась Анна, — сейчас вынесу, родненькие... Больная я, одна живу...

Она принесла из кухни полное ведро воды и кружку. Красноармейцы быстро опорожняли ведро. Последним подошел молодой командир с двумя зелеными кубиками в выгоревших от солнца петлицах. Шея забинтована, окаменевшая повязка густо покрыта слоем коричневой пыли. Он взял у бойца кружку, вылил в нее остатки воды и, с трудом глотая, выпил. Возвращая кружку Анне, окинул ее каким-то непонятным взглядом, от которого она невольно поежилась, и с жесткой болезненной гримасой зло произнес:

— Говоришь, больная? А запоров понаставила, — он кивнул на мощную дверную щеколду, — от кого?.. Гляди у меня, паскуда... Времени нет, я бы тебе прописал лекарство... — он выругался. — Ладно, мы еще вернемся... Мы вернемся! Слышишь, ты?.. Взвод! Стройся!

Бойцы повалили из палисадника на улицу. Следом за ними, не оглядываясь и презрительно стуча по стонущим ступеням сбитыми каблуками, ушел раненый командир. Но Анна запомнила его пронзительно синие глаза, глаза человека, который сразу понял ее страх, ее жалкое бессилие, всю ее до конца. Кружку она выбросила, не могла ее видеть...

Войска шли до вечера, а потом наступила тревожная тишина, которую взломал треск мотоциклетных моторов и выстрелы, оповестившие город о приходе новой власти. На стенах домов, на заборах и столбах появились листовки и приказы населению. В них предписывалось добровольно сдавать немецким властям продукты питания, ценности,

скот, зерно, приказывалось, сохраняя спокойствие и порядок, являться в управу для регистрации и немедленного назначения на работу. Тот, кто саботировал распоряжения немецкого командования, уклонялся от выполнения приказа, подлежал расстрелу. Расстрел грозил также за укрывательство командиров и комиссаров Красной Армии, раненых красноармейцев, евреев, за хранение оружия, порчу германского имущества и за очень многое другое. По ночам мимо окон Анны теперь проносились крытые грузовики в загородную рощу, и оттуда долетали пулеметные и автоматные очереди. Это расстреливали тех, кто не желал соблюдать германский закон.

Анна выжидала. Она ходила в тряпье, которое нашлось в кладовке, повязанная под подбородком черным платком, и ничем не отличалась от десятков других пожилых женщин с ее улицы. С первых же дней оккупации в доме Анны прочно разместилась немецкая команда во главе с вечно заспанным и неряшливым унтер-офицером. Чем они занимались, Анна не интересовалась, к разговорам старалась не прислушиваться, тем более что они сразу выкинули ее в деревянной сарайчик во дворе. Уезжали они рано, приезжали поздно. Вечерами требовали от нее много горячей воды, и она грела ее в ведрах и кастрюлях, а они дружно плескались во дворе, раздевались догола, не стесняясь ее, обливали друг друга, смеялись, но веселье их было тусклым, ненатуральным.

Анна ждала, она чувствовала, что приближается ее час. И потому терпеливо сносила все.

Однажды после полудня, когда Анна принялась растапливать печь, чтобы греть очередную порцию воды, возле дома остановилась закамуфлированная легковая машина. Стройный молодой офицер — Анна еще не научилась разбираться в их званиях — легко поднялся по ступеням в дом и громко, словно здесь были глухие, на ломаном русском языке спросил: не здесь ли живет фрау Баринова?

Анна вышла из кухни, вытирая о подол платья испачканные сажей руки. Она исподлобья, из-под низко надвинутого платка посмотрела на офицера и ответила по-немецки, что она и есть та самая фрау, которую он разыскивает. Офицер удивленно вскинул брови, но тут же лицо его обрело непроницаемое выражение. Он бросил руку ладонью вперед к козырьку фуражки с высокой, щегольски изогнутой тульей и уже по-немецки сообщил, что должен доставить ее к заместителю военного коменданта. Анна, ни слова не

говоря, даже не вымыв рук, пошла к выходу. Соседки, конечно, увидели, что за ней приехали немцы. Они увидят, что ее забрали. Именно забрали, прямо от печки. Зачем это ей нужно теперь, она еще не знала, но, видимо, каким-то внутренним чутьем догадывалась, что может пригодиться. Покорно склонив голову, она вышла на улицу, отметила несколько лиц, показавшихся из-за заборов. Офицер отворил заднюю дверцу машины, а Анна так же покорно забралась в ее раскаленное нутро. Офицер захлопнул дверцу, сел рядом с шофером, и машина тронулась.

Анна не представляла, что делается в городе, и теперь с некоторым страхом смотрела на груды битого камня и обгорелые бревна на месте домов и расщепленные деревья. Люди встречались редко, теснясь бочком ближе к развалинам. На мостовой попадались воронки, и машина медленно их объезжала. Как ни странно, ближе к центру разрушений встречалось меньше. А на Пролетарской — теперь она носила другое, немецкое название, написанное крупными готическими буквами: «Герингштрассе», — где находилось до войны большинство учреждений, развалин почти не было.

Комендатура разместилась в здании бывшего педучилища. Высокий двухэтажный дом с четырьмя колоннами перед входом был выкрашен за год до войны в темно-вишневый цвет. Краска на стенах успела кое-где облупиться, оставив рваные серые пятна. В тени одной из колонн, широко расставив ноги, застыл часовой с автоматом на груди.

Офицер вышел из машины, распахнул заднюю дверцу и жестом предложил Анне выйти и следовать за ним. Он шагал впереди, и Анна, провожаемая равнодушным, сонным взглядом часового, поднялась по широким каменным ступеням и вошла в гулкий прохладный вестибюль, в центре которого группой стояли несколько военных в серых и черных мундирах. Сердце ее учащенно заколотилось, ей показалось, что глаза всех присутствующих в этом зале с высоким сводом сразу обратились к ней и все услышали, как бьется ее сердце. Но через мгновение она поняла, что никому до нее нет дела. Пожилой офицер, к которому подошел ее сопровождающий и что-то тихо доложил, даже не взглянув на нее, небрежно махнул рукой в глубину длинного коридора. Остальные мельком скользнули по ней взглядом и продолжали негромкий разговор. Сопровождающий обернулся к Анне, молча показал рукой, и она послушно пошла за ним дальше по длинному коридору мимо

многочисленных дверей. В самом конце, у старой таблички «Учебная часть», офицер сделал знак стоять, без стука открыл дверь и исчез за нею. Прошло две-три томительных минуты. Наконец дверь отворилась, и офицер приглашающе поманил ее ладонью.

В просторной комнате, обставленной тяжелой кожаной мебелью, он предложил ей сесть в кресло возле широкого полированного письменного стола, у которого вместо ножек были львиные лапы, и велел ждать. А сам вышел, тихо прикрыв за собой дверь.

Анна огляделась. Скрипнула кожа кресла, и Анна вздрогнула от этого звука. Над высокой резной спинкой стула хозяина кабинета в коричневой широкой раме одиноко висел небольшой фотографический портрет Гитлера. Зато на противоположной стене, будто в музее, разместились разных размеров картины — одна над другой, в тяжелых золоченых рамах, с табличками на них. Картины наверняка были старыми, три из них, похожие на большие иконы, были без рам. В левом углу, рядом с полукруглым диванчиком, стоял небольшой овальный стол. В правом — высокая деревянная тумба и на ней, на подставке из темно-красного камня, покоилась мраморная голова лысого мужчины с сурово прочерченными морщинами на лбу, крепко сжатыми узкими губами, мертвыми, застывшими глазами и отбитым кончиком опущенного носа. На подставке какая-то надпись. Анну тянуло подойти и прочесть, но она боялась шевельнуться в скрипучем кресле, сидела прямо, сложив руки на коленях, и глядела в притягивающее и одновременно чем-то отпугивающее лицо мраморного мужчины. Но думала Анна совсем о другом. Она изо всех сил старалась сейчас сохранить внешнее спокойствие, хотя в груди у нее все клокотало от нестерпимого ожидания, от вмиг сброшенного с плеч груза двадцати прожитых здесь лет. Она догадывалась, зачем понадобился этот спектакль, и ждала теперь того, кто, по ее убеждению, должен был войти в комнату. Она даже испытала мгновенное сожаление, что предстанет перед ним не в том виде, в каком хотелось.

За ее спиной слабо стукнула дверь, и Анна резко обернулась. Напряженную улыбку ожидания смыло с ее лица. В дверях стоял капитан Архипов. Да, это действительно был он, но только не в командирской гимнастерке со шпалой в петлице, а в отлично сшитом сером мундире с серебряными погонами. От него не укрылось разочарование, мелькнувшее в глазах Анны. Прижимая к себе локтем мас-

сивную вишневую трость с костяным набалдашником, Архипов спокойно и чуть насмешливо смотрел на Анну. Она машинально потянула за кончик платка, сдернула его с головы и встряхнула волосами, рассыпавшимися по плечам.

— Здравствуйте, Анна, — негромко и тепло сказал Архипов, протягивая ей руку. — Вы чем-то расстроены?

Она поднялась навстречу, протянула ладонь, но тут же, смутившись, стала спокойно и деловито вытирать ее своим платком.

— Не смущайтесь, — мягко добавил Архипов и легко пожал ей руку. — Вы и в этом рубище прекрасны, Анна. Неожиданная встреча, правда?

Она кивнула.

— Мне показалось, что вы предпочли бы увидеть на моем месте кого-то другого?

Она равнодушно пожала плечами.

— Не понимаю вашего вопроса. Кого я могла увидеть здесь?

Он хмыкнул, подошел к столу и нажал на приделанную сбоку кнопку. Несколько секунд спустя дверь отворилась, и вошел солдат. Он вытянулся и щелкнул каблуками.

— Ганс, — сказал по-немецки Архипов, — у нас дама. Что вы предпочитаете, Анна, коньяк, шампанское, легкое вино, кофе, чай? — Он с улыбкой посмотрел на нее и продолжал по-немецки: — Если хотите послушаться моего совета, вам должно понравиться хорошее «мозельское». Идет? — Она кивнула. — Ганс, «мозель» и легкую закуску.

— Слушаюсь, господин обер-лейтенант.

— Будем говорить по-немецки, Анна? — словно между прочим спросил Архипов.

Анна внимательно посмотрела на него. К чему эта игра?.. А может быть, никакой игры нет, и все это пока лишь ее фантазия? Случайное совпадение?..

— С удовольствием. Но я очень давно не говорила. Не с кем. Практики не было.

— Вот как?.. — Архипов вынул из ящика стола коробку папирос, спички, бросил на стол. Заметив взгляд Анны, усмехнулся.

— Видите, тоже приучил себя к папиросам... Вы хотите умыться, Анна? Прошу, — он показал рукой на зашторенную дверь в боковой стене, — там есть все необходимое.

Когда через несколько минут освеженная Анна вернулась в кабинет, овальный стол был уже накрыт. Стояли высокая, с узким горлом бутылка, пара хрустальных массив-

ных бокалов и несколько тарелочек с ветчиной, сыром, хлебом, а также широкая плетеная корзина с розовощеки-ми яблоками.

Архипов жестом пригласил Анну на диванчик, придвинул к другой стороне стола широкое кресло и сел сам. Разлил золотисто-розовое вино в бокалы, один подал Анне.

— За нашу встречу, Анна! — он поднес бокал к губам и тут же отстранил его. — Прошу прощения, я забыл представиться. Карл Бергер к вашим услугам. Просто Карл, Анна, — он привстал, сделал небольшой глоток и опустил-ся в кресло.

Анна учтиво кивнула и тоже немного отпила чуть терпкого сладковатого вина. Потом оглядела стены, глаза ее снова остановились на жестоком, да, именно жестоком взгляде мраморной головы.

— Простите, Карл, мое любопытство, — она привстала. — Мне хочется прочесть, что там написано, — и показала пальцем на скульптуру.

— Ну, Анна, знаете ли?.. — Бергер откинулся в кресле и весело расхохотался. — Чем больше вас вижу, тем больше восхищаюсь, честное слово! Вы, оказывается, понимаете толк в искусстве. Из всей экспозиции сразу отметили самое главное. Самое прекрасное и ценное! А ведь тут, — он взял в руку трость и показал ею, как указкой, — тут есть очень неплохие художники. У них громкие имена, их работы высоко ценятся в цивилизованном обществе. А кстати, автор той головы, на которую вы обратили внимание, — совершенно неизвестный художник. Но... впрочем, подойдите и взгляните сами.

Анна, ничуть не стесняясь своего замусоленного платья, подошла к скульптуре. На темно-красном мраморном кубе было выбито золотыми латинскими буквами: «Римлянин. Одна тысяча до Христа». Значит, этой голове почти три тысячи лет? Вот это возраст!

Она склонила голову набок, рассматривая римлянина, и чувствовала, что Бергер, точно так же, как она — мрамор, разглядывает ее стройные ноги.

Ощущение жестокости, которое поразило ее раньше, теперь, при ближайшем рассмотрении, усилилось. Слегка намеченные резцом скульптора или, возможно, наоборот, стертые временем волосы римлянина плотно облегли его массивный череп. Глаза были не мертвые, нет, они были пустыми, ледяными, они, казалось, пронизывали насквозь, но ничего не выражали, никакого чувства. Страшная, без-



душная целеустремленность... Брезгливо поджатые губы, сухие, впалые щеки, крутая линия подбородка... Чем-то отдаленно и в то же время очень близко этот римлянин напоминал... Бергера. Анна даже поежилась от своего открытия.

— Карл, а ведь он похож на вас, замечали?

— Да-а? — после паузы протянул он. Достал из коробки новую папиросу, постучал мундштуком по столу, неторопливо зажег спичку, прикурил и выдохнул дым, откинув голову. — Вы так считаете, Анна?

— Может быть, не столько внешне... Но что-то в нем — ваше.

— Идеал всех величайших художников, Анна, — титан, равный мощью богам. Мне, конечно, льстит такое сравнение, не скрою, но сейчас речь не обо мне, а о скульптуре. В ней — дух гения, и вы сразу почувствовали его, а ведь проникнуться им дано не каждому. Представьте себе, Анна, сколько народов и эпох прошло перед его глазами за три тысячелетия! Он мог быть разбит, уничтожен, превращен в щебень для мостовой или просто навечно забыт, похороненный в земле. Ему повезло, и вот он здесь со мной. Вы заметили, Анна, что у моего римлянина нордический тип лица? И он, или подобный ему, вполне мог быть моим предком. Не удивительно ли это?

— Вероятно, Карл. Мне нелегко сразу во всем разобраться. Ведь когда вы изучали историю искусств, применительно к расовой теории, я жила здесь, в этой стране, и занималась совершенно другими делами. Поэтому мне трудно судить. Но почему вы говорите «мой» римлянин?

— Я знаю, о чем он думает. Да вы и сами, Анна, сумели разглядеть, что у нас с ним есть нечто общее... во взглядах на этот мир, на людей, вернее, толпу, населяющую этот мир...

Она изобразила на лице выражение глубокого понимания.

— Но ведь если все время об этом думать?..

— Ах, Анна! Война, наверное, зло, но зло необходимое. Это абсолютный закон, давно открытый величайшими умами человечества. Выживают сильные, наиболее приспособленные, я имею в виду — интеллектуально приспособленные, те, кому дано управлять. Вот мы и есть те работники, наши руки по локоть в крови, мы месим грязь, песок, глину, известь, это изнурительно тяжелая работа. Мы готовим строительный материал для будущего величественного собора тысячелетнего Рейха. И когда-нибудь мой римлянин

займет достойное его место в общемировом храме искусств. Но сейчас он со мной и движет моими делами и желаниями...

— А как вы нашли его? Где он был раньше?

— Какое это теперь имеет значение? Важно, что мы наконец встретились с ним, что он спасен от толпы, от варваров. А где он был — в Минске, Витебске или Смоленске — какая, в сущности, разница...

— А эти картины... Они тоже? — наивным голосом спросила Анна.

— Ну, что вы, здесь проще... — словно остыл Бергер. — С римлянином я знаком по старым каталогам. Я твердо знал, где он находится. Был, честно скажу вам, Анна, очень расстроен, когда не застал скульптуры на своем месте. Однако встреча, как видите, все равно состоялась. Как ни странно, римлянин оказался в этом городе, в одном из вагонов, которые подлежали отправке в глубокий тыл Советов. Как, впрочем, и эти картины, и многое другое. Мы высоко ценим искусство и не позволим бесследно исчезнуть мировым шедеврам где-то в пещерах дикой Азии. Но вам, Анна, еще представится возможность познакомиться со многими весьма интересными произведениями искусства. Я покажу вам. Замечу к слову, что на мировом рынке они ценятся очень высоко. А теперь, прошу, садитесь.

Бергер подлил вина в бокалы, поднял свой и, приблизив к Анне лицо, вкрадчиво произнес:

— Скажите, давно вы не были в Москве?

Анна замерла и медленно подняла на Бергера глаза.

— Повторить вопрос, Анна?

— Поездку придется отложить, — сухо ответила она отрыв пароля. — Кто вы?

— Я? — удивился хозяин кабинета. — Я уже имел честь представиться вам. Карл Бергер.

Она продолжала молча смотреть на него. Не могла понять, к чему так долго разыгрывалась эта комедия в кабинете.

— Послушайте, Анна, — прервал наконец паузу Бергер, — никакого маскарада тут нет. Я действительно искал вас и нашел. Когда я увидел вас впервые и услышал вашу фамилию, имя и отчество, я не мог поверить в свою удачу, в то, что все получилось так легко и просто.

— Но если я нужна была вам и вы меня искали, надеюсь, не по собственному капризу, то отчего же вы не назвались сразу или не явились позже? Я не понимаю вас,

обер-лейтенант. Зачем, наконец, теперь эта никому не нужная болтовня о ваших античных предках, когда речь должна идти о деле и только о деле?

Бергера смутила напористая речь Анны.

— Вы меня не совсем верно поняли, Анна. Я действительно искал вас и нашел. Ситуация в городе, как вы помните, была довольно сложная, а я должен был передать вам приказ, исполнение которого было бы для вас связано с весьма определенным риском. Затем мы встретились, побеседовали о всяких пустяках, и я внимательно наблюдал за вами. Помню, был совершенно очарован вашей реакцией по поводу акцента, вашей неподдельной великолепной искренностью, Анна. Да, это была превосходная работа, и нам, многим, во всяком случае, из нас, есть чему у вас поучиться. Далее. Сюда я прилетел, разумеется, не один. Мой радист постоянно находился на связи с командованием. К сожалению, вашего последнего адреса я не имел...

— Но я же... — перебила Анна.

— Теперь это уже не имеет значения. Ваша последняя служба в качестве инспектора сельпо позволяла вам, как было нами предусмотрено, посещать районы и области, близкие к старой границе Советов, к предполагаемой «линии Сталина». Кроме того, в районе Смоленска по нашим сведениям имелись крупные склады продовольствия, оружия и боеприпасов. В частности, в Борском районе, который находился полностью в сфере вашей, Анна, деятельности. Вермахт, а также нашу абверкоманду весьма интересовали эти объекты. Собственно, в мою задачу входило получение сведений о состоянии данных складов и подготовка к их захвату или уничтожению. А все остальное — работа парней из полка «Бранденбург». Они должны были прибыть по моему сигналу. Так вот, все данные по этим объектам должны были представить мне вы, Анна. Поторопись я, и вам предстояла бы опасная командировка на передовую. Однако, к вашему же счастью, все сложилось иначе. Вечером от других агентов командование получило сообщение, что объекты ликвидированы русскими, то есть интересующие нас боеприпасы и продовольствие полностью вывезены. Эвакуированы. Естественно, операция отпала сама собой. Об этом мне сообщил радист, и я решил пока вас не беспокоить во избежание каких-либо нелепых случайностей. Теперь понятно, почему я не пришел к вам ни в тот день, ни на следующий?

— Анна пожала плечами, мол, что ж поделаешь, если так получилось?..

— Ну, — вздохнул Бергер, — а теперь поговорим о настоящем. Вам большой привет, Анна, от Генриха Рихтера. Он желает вам успехов в нашей общей большой работе. Вы помните его?

Анна помнила. Курт Брандвайлер познакомил Анну с Генрихом. Было это еще в середине двадцатых годов. Генрих холодно и, как ей показалось, даже брезгливо взглянул на Анну и, цедя слова, вот так же пожелал ей успехов в общей большой работе. Можно подумать, что других слов он попросту не знает. Нет, активно не понравился тогда Анне Генрих Рихтер, хоть и был он помощником военного атташе. Курт — другое дело. Веселый, рыжий, он был на голову ниже Анны, но ничуть не смущался своего роста, а его кажущаяся полнота на самом деле являлась маскировкой тренированных стальных мышц. Анна хотела спросить о Курте, но решила сделать это позже.

— Итак, Анна, — продолжал Бергер. — Сегодня я пригласил вас для того, чтобы наконец познакомиться. Вы действительно удивительная женщина, Курт был тысячу раз прав. Скажите, где вы собираетесь теперь жить? Мы могли бы вам пока выделить подходящую квартиру, разумеется, со всей необходимой обстановкой. Ну, а остальное, как говорят русские, дело наживное.

— Я должна подумать, господин Бергер.

— О, мой бог! Анна, для вас я только Карл, всегда только Карл. Прошу вас!

— Хорошо, но мне кажется, что пока я должна оставаться в своем доме.

— Вы еще не верите в нашу победу? Поймите, Анна, игра уже сделана. Мы пришли навсегда, и отныне вам некого бояться, не от кого скрывать свои мысли и чувства. Вы наконец свободны... Впрочем, если у вас пока имеются веские причины не менять место жительства, я не возражаю. Но эту похоронную команду прикажу убрать.

— Какая команда? — удивилась Анна.

Бергер рассмеялся, искренне довольный собой.

— Вы думаете, мне легко было отыскать ваш дом? Вы ведь так и не сказали, где живете.

— Да, на Красноармейскую я переехала в начале этого года, а до того жила на Соборной. Последняя связь с Куртом у меня была еще в октябре. Вопрос переезда тогда еще только назревал, но окончательно он ничего знать не мог.

— Вот-вот... И Брандвайлер не указал вашего нового адреса. Собственно, это был поиск иголки в копне, да. Но мы быстро нашли эту иголку и поселили у вас в доме спокойных парней из похоронной команды. Пока мы занимались самыми неотложными делами, они были чем-то вроде вашей охраны. Но теперь мы их уберем.

— Похоронная... — усмехнулась Анна. — Да-а... Послушайте, Карл, оставьте их еще на некоторое время. Так будет лучше... А греть им воду, поверьте, не такой уж тяжелый труд.

— Ваше слово, Анна, для меня приказ... Разрешите еще вопрос?

— Пожалуйста, — Анна досадливо пожала плечами.

— Скажите, группенфюрер Вильгельм Клотш действительно ваш родственник?

— Вилли?.. — Анна мечтательно улыбнулась. — Он все такой же худой и прыщавый? Или потолстел и стал важным? Двадцать лет его не видела. Подумать только!.. Вилли — мой кузен, впрочем, и поездка в Россию — это тоже его сумасшедшая затея. А что, группенфюрер — это большой чин?

— Да-а... — после короткой паузы мягко сказал Бергер. — Я уверен, Анна, господину группенфюреру будет приятно получить привет от своей кузины, а может быть, и встретиться с ней?

— С большим удовольствием, Карл. Но позвольте и мне в свою очередь задать вопрос?

— К вашим услугам, Анна.

— Вы говорили о сведениях других агентов, поступивших к вам. Как это понимать?

— А разве Брандвайлер ничего не объяснял вам? — удивился Бергер. — Охотно расскажу. Мы с вами, Анна, сотрудники абвера. Но помимо нас здесь, на этой территории, действуют агенты службы безопасности — СД, министерства иностранных дел, авиации, флота, иностранного отдела министерства пропаганды, словом, агентура чертовой дюжины различных организаций. Скажу по секрету, Анна, в Европе, например, дело однажды дошло до анекдота: одни наши агенты арестовали других. Мы в абвере считаем, что такой параллелизм вреден, но... Вы же понимаете, даже наш адмирал, к сожалению, не всесилен. Кое-кто в РСХА считает, что чем шире сеть осведомителей, перекрывающих друг друга, тем объективнее поступающая информация. Утешают себя надеждами, что количество однажды

перерастет в качество. Поэтому нет ничего странного в том, что кто-то параллельно с вами собирал те же сведения. Обидно — согласен, но будем великодушны. В конце концов, вы были избавлены от опасностей, и я искренне рад этому.

— И еще вопрос, Карл. Курт Брандвайлер передал меня вам? А сам он здесь появится?

— Видите ли, Анна... — Бергер замялся. — Вы на особом положении. Так, во всяком случае, сказал Брандвайлер... Но мы будем с вами работать рука об руку. Я надеюсь. А Курт появится, да. Он скоро приедет. И последнее. Вы, Анна, истинная немка, и я прошу вас всегда помнить, что отныне вы находитесь под охраной законов Германской империи. Мне поручено выдать вам все необходимые документы, пропуска и, — он достал из кармана визитную карточку, — вот здесь мой адрес. Это буквально в двух шагах отсюда, вы легко найдете. Анна, прошу вас, очень прошу быть сегодня вечером моей дорогой гостьей. О делах, о вашей агентуре и всем прочем будем говорить завтра. Прозит!

10

Саша Рогов взял парашютиста. Известие об этом Дзукаев получил под вечер, во время нового и по-прежнему безуспешного допроса Тарантаева, который либо отмалчивался, либо начисто все отрицал. Свидетельства Червинского и сержанта Водолагина называл злостным и умышленным поклепом. Дескать, все они врут: первый видел бегущего только со спины и на большом расстоянии, а второй — вообще ночью. Отрицал он и показания бабушки и внука Савеловых. Но в основном молчал.

Еще при первом разговоре с Аграфеной Павловной Савеловой майор попросил ее назвать людей, которые могли бы при встрече опознать арестованного. Бабушка перечислила десятка полтора человек. И теперь Дзукаев вызывал их всех по списку, и каждый узнавал Тарантаева и что-то добавлял к тому, что уже в общем было известно, но сведения эти были, к сожалению, малозначительными. Ну, жил, людей не любил, наверно, служил в полиции, дома появлялся редко. Его боялись и старались на глаза ему не попадаться. Тарантаев же, когда речь заходила о его службе в полиции, все отрицал. Себя самого признал, но никого из сообщников не назвал.

Майор пытался объяснить арестованному всю бесполезность его заперательства, но Тарантаев, упрямо набычившись, мотал из стороны в сторону свалывшейся паклей волос и со звериной ненавистью в глазах продолжал отпираться. Допрос застыл на мертвой точке.

Тут и получил майор короткое сообщение от Рогова: «Вышел в цвет».

Дзукаев велел увести и запереть Тарантаева в кладовой и послал бойца к Виктору Дубинскому, который с полудня «прочесывал» дома по Красноармейской улице, узнать, нет ли чего нового.

И Рогов с задержанным, и Дубинский прибыли в отдел почти одновременно.

Уже темнело. Изнуряющая дневная жара сменилась плотной липкой духотой. Похоже, что где-то накапливалась гроза. Дзукаев с надеждой поглядывал на небо, со второй половины дня обложенное желтой периной сгущающихся облаков. «Дождя бы, — тосковал он, — очищающей грозы, грома небесного, чтоб лужи пузырились и вздрагивала кожа от электрического прикосновения ветра...» Тяжело думалось, да и мысли были какими-то куцыми, нечеткими, усталыми. Тянуло в сон.

В комнате следователей было сумеречно и относительно прохладно: помещение с высоким потолком проветривала естественная вентиляция — длинный коридор и выбитые стекла окна создавали ощутимый сквозняк.

— Ну, орлы, — прервал длинную паузу, отведенную на отдых, Дзукаев, — кто первый? — Он посмотрел на задумчивого Дубинского, перевел взгляд на Рогова, который, откинувшись на спинку стула и покачиваясь, сосредоточенно дымил папирсой. — Может, с тебя начнем, Сандро?

— Готов! — Рогов вдруг засмеялся и ответил на недоуменный взгляд Дзукаева: — Неужели забыли? Это же так в Москве, в метро, помощники машинистов поезда отправляют... «Готов!» — Он перестал раскачиваться на стуле, раздавил окурок в железной консервной банке и сразу будто подобрался. — У нас в розыске говорили: «Нужны ноги и ноги, а уже потом все спишется за счет интуиции».

— А про мозги что-нибудь говорили? — усмехнулся Дзукаев.

— А как же? «Коллективный ум всегда успешно противоборствует индивидуальной хитрости». Так вот, нынче у меня сплошная беготня и, кажется, никакой интуиции. Устал как собака. Весь день на ногах. В общем, докладываю...

Получив от Федорова задание включиться в розыск парашютистов, Рогов на «виллисе» махнул в Селихово, к командиру части, которому было приказано организовать поиск диверсантов. В штабе полка ему сообщили, что два батальона и проводники с собаками с раннего утра заняты прочесыванием предполагаемого района выброса. Бойцы уже обнаружили в лесу следы недавнего костра, а поодаль — свежесасыпанную яму, при вскрытии которой найдены два парашюта. Примерно в километре от первой стоянки нашли третий парашют, второпях притопленный в болоте. Собаки уверенно взяли след и вскоре вывели к шоссейной дороге, где находился пост наблюдения. Старший поста доложил, что на рассвете прямо на них вышли из лесу двое одетых в гражданскую одежду людей. Замакированный пост оказался для неизвестных полной неожиданностью. На приказ предъявить документы они метнулись обратно в чащу, завязалась перестрелка, в которой один из нарушителей был убит, а второй ранен. Видя, что ему не уйти, он раскусил ампулу с цианистым калием, защиту в уголок воротника рубашки. При трупах найдены пистолеты системы «парабеллум» и большой запас патронов к ним. В вещевых мешках находились индивидуальные пакеты, крупные суммы советских денег и по пять магнитных мин. По паспортам это были жители Смоленска, имелись также у них справки об освобождении от службы в армии по причине болезни. Ампула была защита и в воротнике убитого. Других сведений пока не имелось.

Значит, третий их спутник успел скрыться, но как и куда? Если двое убитых, судя по экипировке, являлись обыкновенными диверсантами, то задача третьего, вероятно, была иной. Недаром же он где-то ловко оторвался от этих двух, сбил собак со следа и ушел один. А может быть, так и было задумано у них там, еще за линией фронта... Рогов предположил, что этот последний мог оказаться связником, несущим Тарантаеву батарейки для рации, а возможно, шел и с каким-то другим, более серьезным заданием. Рассчитав время, Рогов прикинул расстояние, которое успел бы пройти связник с момента приземления. Получалось, что он уже где-нибудь на подходе к городу.

Далее расчет был несложен. Саша исходил из того, что в переполненном войсками городе связник, конечно, должен искать для встречи места людные, но неопасные. Такими объектами в городе могут быть рынок и железнодорожный вокзал. И Саша кинулся обратно в город.

На вокзале Рогов обошел посты внешней охраны, побывал у железнодорожников в депо, у стрелочников, и всех, кого мог, проинструктировал, что надо делать, если обнаружится неизвестный человек, возможно, он будет с вещмешком. На станцию прибывали исключительно воинские эшелоны, и вольных пассажиров было не так уж много, да и те, в основном, свои, местные. Только после этого Рогов отправился на городской рынок.

По роду прежней службы Саше Рогову нередко приходилось посещать Тишинку, Перово и другие московские и подмосковные рынки. Он, в общем, даже привык к наиболее колоритным их завсегдатаям, мог предугадать ассортимент товаров, предлагаемых из-под полы, знал, куда стекается краденое и с чьей помощью оно реализуется. Словом, довоенные рынки были некоторым образом его стихией. Забывшись, как говорится, он ожидал увидеть нечто подобное и здесь, в только что освобожденном от гитлеровцев городке. Но то, что он встретил, буквально ошеломило его. Здесь продавали, покупали и обменивали не товар, а человеческое горе. Ветхий старичок безуспешно пытался продать фашистский солдатский мундир с оловянными пуговицами и оторванными рукавами, утверждая, что он сойдет и как кацавейка. Молодая, болезненного вида женщина столь же безуспешно пыталась выменять почти новое ситцевое платье с васильками по подолу на буханку хлеба. Крупный, мордастый мужик с выпуклыми наглыми глазами и обвисшими щеками — ну прямо бульдог! — предлагал из-под полы швейные иголки. Цену он называл шепотом и при этом оглядывался. Матерно ругался безногий пьяница с разбитой в кровь физиономией, он все норовил ткнуть прохожих своим коротким костылем, но никто на него не обращал внимания. Босой мальчишка с чумазой мордашкой продавал голубя, который робко выглядывал у него из-за пазухи. И все это невеликое, скорбное людское месиво, которое топталось, кружилось по выбитому пыльному пустырю между двумя поваленными заборами, и называлось рынком. Саша сделал несколько кругов в толпе, приглядываясь к продавцам и покупателям, хотя последних было впятеро, вдесятеро меньше, машинально отметил наиболее яркие личности, больше даже по привычке, чем для дела, и решил, что здесь ему, в принципе, не светит. Зацепиться не за что. И он решил вернуться на вокзал и проверить посты. И, как оказалось, решил вовремя.

— Верите? — рассказывал он. — Вдруг ни с того ни с

сего появилось у меня непонятное томление, вроде куда-то опаздываю. Весь день не было, а тут вдруг появилось. Я — хоп в машину и — Петру: «Ну-ка, подскочим к переезду, помнишь, — говорю, — женщина там такая симпатичная?» Подскочили. А женщина эта, стрелочница, выскакивает из будки мне навстречу и шепотом: «Вон, видишь, лейтенант, мужик на бугре сидит? Так это он и есть, тот твой, кого ищешь! С обеда ждет». Можете себе представить мое изумление? Подходим с Петром. «Предъявите, — говорю, — документы». А он мне: «Если вы ищете парашютиста, то вот он я. Не бойтесь, ампулу я выкинул, а оружие и рация здесь, в мешке», — и подает свой вещмешок. Потом уже, в машине, когда сюда ехали, объяснил, что давно решил сдаться, только не знал, как это лучше сделать. Вышел, говорит, из лесу, сел на бугре возле железной дороги и стал думать: куда идти, кого искать? А тут женщина подходит, интересуется: «Кого это ты, милоч, ожидаешь?» — «Да вот, отвечает, мне бы начальство какое. Заявление сделать». А она ему — ну надо же? — «Это не тебя ли тут лейтенантик с утра ждал-искал?» — «Может, говорит, и меня, кто знает?..» — «Тогда обожди, он скоро за тобой приедет». Вот и весь сказ. Сам явился. Это, конечно, нам подфартило, сократил время. Теперь остается узнать, зачем и к кому он шел. И не хитрость ли это? Бывали у нас случаи в МУРе, когда ворье само являлось с повинной. Но там ясно было почему. Иные действительно новую жизнь начинали. Другие хитрили: сознается в какой-нибудь мелочовке, вроде карманной кражи, и сядет себе, а за ним на самом деле такой хвост тянется, что хоть вышку оформляй.

А чтоб диверсант, прошедший у фрицев серьезную школу, — о таком я что-то не особенно слыхал. Вернее, не сталкивался. Слышать-то слышал, рассказывали, но я что-то не склонен шибко верить. Вот такие пироги, граждане начальники. Что будем делать? Как у нас насчет «коллективного ума»?

— Думать сейчас будем. А пока давай ты, Виктор? — переключил свое внимание на Дубинского Дзукаев. — По-короче и по существу. Времени у нас совсем немного.

— Ну, что ж, — как всегда слишком уж неторопливо, вызывая смутный протест Дзукаева, любившего во всем скорость, начал Дубинский, — я решил, конечно, в первую очередь проверить те дома, в районе которых было совершено убийство патрульного. Если Тарантаев действительно был тем самым убийцей, а лично я ни минуты не сомнева-

юсь, то значит, и ночевал он где-то рядом. Или главное убежище его могло находиться в одном из ближайших домов.

— Молодец, хорошо подумал, — стал поторапливать его Дзукаев, — дальше давай.

— Хорошо, — согласился Дубинский. — Только это еще не все. И я стал размышлять дальше, вернее, поставил перед собой следующую задачу: что конкретно, какие следы я должен обнаружить. Понимаете, мне требовалось ответить для себя на четкий вопрос: если жил Тарантаев в развалинах, где вы его и взяли, а на это указывали, кстати, следы костра, объедки пищи, радиопередатчик, наконец, то зачем он рисковал, ходил в какой-то дом на Красноармейской? Не близкий все-таки свет. Словом, что могло быть в этом главном его убежище? Может быть, одежда, пища или непосредственное начальство, от которого он получал указания.

— А что? — воскликнул Дзукаев. — Смотри, дорогой, как правильно мыслишь! Ведь никакой одежды, кроме той, что была на нем, мы в подвале не нашли.

— Верно, — улыбнулся Дубинский. — А во время обыска — тут снова виноват, что сразу не зафиксировал внимание, — помню, меня удивило явное несоответствие его грязной, заношенной верхней одежды и чистого нижнего белья. Вот и выходит, что у него должно быть что-то вроде базы, где он мог бы переодеться. В общем, когда идея сформулировалась, я уже не стал тратить лишнего времени на поиски вообще, а сосредоточился только на мужской одежде для такого крупного мужчины, как он.

Дзукаев помотал головой и хмыкнул. Подумал, что в чем-то, видимо, недооценивал своего подчиненного. Может, это так раздражающее его спокойствие не от вялости душевной, а наоборот — от основательности и въедливости? Сам Дзукаев терпеть не мог возиться с бумагами, например. Виктор же вершил бумажное дело усидчиво и аккуратно. Поэтому майор с удовольствием переложил на него всю отдельскую канцелярию, полагая, что на большее капитан не способен. К тому же еще слишком свежа была промашка с сапогами Тарантаева. А он, видишь ты, каков?..

— Как оказалось, — продолжал ровным голосом Дубинский, — условия задачи не представляли чрезмерной сложности, поскольку обстоятельства войны, отсутствие мужской части населения и голод, при котором продается или меняется любая лишняя тряпка, говорят сами за себя.

И вот тут мы стали методично, один за другим, обшаривать дома со всеми их пристройками и сараями. Работа облегчалась тем, что живут в них старухи и малышня. Крупные мужские вещи, те, что остались от родителей, у них, как правило, отсутствовали. А то, что имелось, было давно разрезано, перерезано и сто раз перешито. Поэтому никакого интереса для нас не представляло.

— Ну, ну, — невольно заторопился Дзукаев. — Все ты, дорогой Виктор, правильно делаешь, а говоришь, как манную кашу жуешь...

— Почему манную? — опешил Дубинский.

— Потому что противная. А есть заставляют, — махнул рукой Дзукаев. — Не отвлекайся, дорогой. Быстрее давай.

— Хорошо. В третьем по счету доме по Красноармейской улице, он значился под номером девятым, под топкой печи, в углублении, мы обнаружили узелок грязной, но совсем не истлевшей пары мужского белья. Видимо, его собирались сжечь, но по неизвестной причине не успели. Размеры нательной рубахи и кальсон примерно совпадали с тарантаевскими. Ну, мы, конечно, сразу вызвали ночных патрульных, и боец Савчук сообщил, что он уже был в этом доме сразу после убийства товарища. Говорил, что все обыскал, правда, под печь заглянуть не догадался, да и темно тогда было. Он же сообщил, что в доме находилась одна старуха, которой, кстати, при обыске не было. И вообще, честно скажу, этот дом мне как-то сразу показался подозрительным. Во-первых, определенный порядок и явная зажиточность: хорошая мебель, пуховые перины, подушки, обилие постельного белья, добротной и, я бы сказал, даже богатой женской одежды. Шелковые женские сорочки у старухи? В такое время? Всякие там платья, которые к лицу молодой женщине, но уж никак не бабке, как меня уверял Савчук. Одним словом, стали мы перебирать все это белье и нашли в самой глубине шкафа несколько комплектов мужского нижнего белья. И по материалу и по размерам они идентичны тем, что мы обнаружили под печью.

— Так, — нетерпеливо заерзал на стуле Дзукаев, — а соседей догадались спросить?

— Догадались, — улыбнулся Дубинский. — Все в один голос заявили, что этот дом принадлежал Анне Ивановне Бариновой, вовсе не старой и даже, напротив, очень привлекательной сорокалетней женщине, которая до войны была каким-то начальством в сельпо. А сама она вроде бы из немок. Вот так. Но это слухи, точно никто не знает.

И переехала сюда не то из Брянска, не то из Смоленска. Раньше жила где-то в центре города и перед самой войной купила этот дом. Кстати, соседи сказали, что видели ее буквально накануне. Наконец, последнее. При немцах Баринова жила тихо, смирно, нигде не работала, но и не голодала, как все в округе. Достаток в ее доме говорит, скорее, об обратном. Она часто выходила из дома в стареньком платье и старушечьем платке. Может, это и послужило основой для утверждения Савчука. Но куда уходила, к кому, неизвестно. Правда, в первые дни оккупации однажды приехал за ней на машине немецкий офицер и увез с собой. Соседи решили, что ее арестовали, все-таки была она каким-никаким, а начальством. Но в тот же день к вечеру немцы ее отпустили. И потом уже больше за ней не приезжали. Была она одинокой и жила скромно и тихо, ни с кем не общалась, и соседи, по существу, так ничего не смогли толком сообщить о ее жизни. Да, хаживал к ней один мужчина — молодой, рослый такой, кучерявый. Но и это было давно, ничего конкретного никто рассказать о нем не смог. А потом он исчез. И по этому поводу у соседей единого мнения тоже нет: женщина нестарая, видная, у другой бы от женихов отбою не было, а эта, как они сказали, соблюдала себя, да ведь и без мужика иной раз тошно. Вот, пожалуй, и все.

Дзукаев кивнул и задумался. Ну что ж, теперь уже, можно сказать, ясно обозначились три наиболее существенных момента: мужское белье среди женской одежды в шкафу и такое же под печью; Баринова — по предположению соседей — немка, и, наконец, молодой, кучерявый обожатель сорокалетней женщины. Из этих фактов напрашивались далеко идущие выводы...

Опять возникла женщина. Что за таинственная такая личность? Уж не тянется ли ниточка к той, что опознала партизанского командира? Впрочем, ясно одно: необходимо искать эту женщину. Можно предъявить соседям для опознания Тарантаева, предварительно отмыв и побрив его. Установить принадлежность грязного белья Тарантаеву тоже не составляло больших трудностей, любая служебно-розыскная собака справится с этим делом в два счета, а у них эксперт наготове. Но куда же девалась хозяйка? Если существует прямая связь между нею и Тарантаевым и если она была свидетелем перестрелки на ночной улице, тогда все становилось на свои места. Она вряд ли знала, что Тарантаев ушел от патруля: либо его

арестовали, либо убили. Последовавший вслед за этим обыск в доме несомненно спугнул ее, и ей ничего не оставалось, как немедленно уйти. Это в том случае, если она является резидентом, а Тарантаев — всего лишь ее радист.

Немка... Неожиданный новый поворот, и теперь здесь мог оказаться ключ ко всей операции.

— Ну, что, джигиты? — наконец прервал затянувшуюся паузу Дзукаев. — Вперед, да? Давайте сюда нашего парашютиста.

11

— Садитесь, — Дзукаев показал на табурет посреди комнаты и внимательно оглядел парашютиста.

Рослый мужчина, как-то боязливо подергивая головой, мельком оглянулся на конвоира и со вздохом опустился на табурет. Он втянул голову в плечи и исподлобья оглядел следователей. Увидел Рогова, примостившегося в углу, у стола, за которым собирался вести протокол Дубинский, и несколько подобострастно — так показалось Дзукаеву — поклонился ему. Нервные пальцы перебирали сукно на коленях.

— Прошу отметить, — сдавленным голосом произнес он, — что я пришел к вам добровольно. Но я понимаю, конечно, что...

— Хорошо, что понимаете, — перебил Дзукаев. — А теперь давайте знакомиться. Здесь, в комнате, находятся следователи Особого отдела. И мы готовы внимательно выслушать ваши чистосердечные, как я понимаю, признания. Есть возражения?.. Нет, — удовлетворенно отметил словно про себя Дзукаев и, тоже садясь, добавил: — Одинцов, свободен пока... Итак, ваша настоящая фамилия и все прочее. Не стесняйтесь, нам желательно поподробнее.

— Сам я смоленский, — неуверенно начал парашютист. — Фамилия моя — Махотка. Зовут Евсей Саввич. В армию забрали в сороковом. После окончания педучилища. Немца встретил под Барановичами. Потом отступал к Смоленску, к дому родному. А в плену оказался весной сорок второго. В первых числах апреля. Это уже под Вязьмой. Контузило меня. В таком состоянии и попал. Долго в башке гудело, ничего не слышал, говорить не мог. Оказался в лагере, в Смоленске. Опять, значит, рядом с домом, но теперь за проволокой. Как пришел в себя, стал задумы-

ваться, чтобы сбечь. Искал помаленьку, с кем бы сговориться. Однако не успел. Ближе, помню, к осени отобрали они которых поздоровей. А я, сами видите, не из хлипких. Перегнали нашу команду под Рославль. Аэродром строить. Ну, строили. Снова бечь задумал. Народ уже подобрался. Обмозговали, значит, все путем. Только гад один оказался. Раз среди ночи барак подняли. Построили нас на плацу. А немец-комендант, сучья морда лысая, прошелся вдоль шеренги и пальцем ткнул, которые к побегу готовились. Ну, дальше чего? Обрабатывать они умеют. Умеют... Которые после допроса живы остались, отправили в Валгу. Это у них концлагерь такой в Эстонии. Смертники там. Я-то, говорю, покрепче других, а тоже сообразил, что дорожка оттуда одна. В ров с известью. Вот. И стал медленно подыхать. А тут зима наступила...

Дзукаев слушал односложную бесцветную речь Махотки и никак не мог представить, что это говорил бывший учитель, настолько она была невыразительной. Хотя, впрочем, два года плена, каких только смертей не навидался. Да и с кем ему там было особо-то разговаривать?.. Нет, не жалость испытывал сейчас майор к сдавшемуся диверсанту, а непонятное себе самому сожаление, что вот сидит перед ним здоровенный мужик и вроде жалуется на свою судьбу. Да еще и бормочет-то словно не по-людски, а как о постороннем — пришибленно, по-собачьи.

В конце октября сорок второго появился у них в лагере вербовщик. Вызвал он и Махотку. Сесть предложил, дал закурить и начал про Сталинград рассказывать. Говоря об этом, Махотка оживился, будто что-то всколыхнули в нем эти воспоминания.

Сталинград, убеждал его вербовщик, который назвался бывшим командиром Красной Армии, должен был со дня на день пасть, и тогда в войну вступит Япония. Договор, значит, у них такой был, у Германии с Японией, войны на два фронта Россия не выдержит, это и дурак должен понять. Тут надо знать, что после Валги можно было безбоязненно лезть к черту в зубы. А вербовщик предлагал идти в какую-то немецкую школу, которая готовила специалистов для оккупационных областей. Не сразу, конечно, но сумел Махотка усмотреть в его предложении единственную и больше неповторимую возможность бежать к своим. И не просто бежать, а уйти, имея при себе наверняка важные сведения о немецкой школе. Этим и только этим готов был он оправдать свое предательство. Он прямо так и сказал.

«Понимание вины самой вины не снимает, — подумал Дзукаев, — но все-таки...» Он заметил задумчиво-заинтересованный взгляд Рогова и решил, что, вероятно, оба сейчас размышляют об одном и том же: законы войны суровы, и неизвестно, как сложится судьба Махотки. Дай, конечно, бог, чтобы его сведения могли представить интерес для командования.

Махотка вскоре понял, что попал в школу шпионов и диверсантов для заброски в тыл Красной Армии. Выходит, не так уж и удачно складывались дела на фронте и не так скоро предполагали фашисты закончить войну в России.

Первым делом «курсантов», как их теперь называли, стали усиленно кормить. Хотя и отбирали в лагерях народ в основном внешне здоровый, требовалось определенное время, чтобы люди обрели форму и смогли выдержать те серьезные нагрузки, которые им предстояло испытать во время обучения. Большое внимание немцы уделяли физической подготовке «курсантов». Ежедневно — тренировки в стрельбе, нередко — в полной темноте, из разных видов оружия, ориентировка в лесистой местности, хождение на лыжах в дневное и ночное время при любой погоде. Помимо физических упражнений — лекции по топографии, радиоделу, минированию, изучению взрывчатых веществ, устройств для подслушивания телефонных разговоров, методов сбора разведывательных сведений, системы маскировки и конспирации, наконец, немалую долю времени забирало и политическое воспитание, куда входило изучение фашистской геополитики, выступлений Гитлера, Геббельса, Розенберга и других нацистских руководителей. Вместе с тем изучалась структура Красной Армии и различных государственных учреждений, а также правила поведения при проверке документов и после выполнения заданий.

«Ну вот, — отметил Дзукаев, — это уже что-то...»

Несколько раз «курсантов» вывозили на облавы, рассказывал Махотка. Заставляли участвовать в карательных операциях против населения. О последнем Махотка сообщил лишь, что всякий раз старался стрелять выше голов.

«Ну конечно, а разве он мог бы сказать иначе? Вот это, разумеется, ложь, — отметил Дзукаев, — и рассказал-то он об этом, наверно, по инерции, от желания выговориться, никто ж за язык его не тянул. Да и фашисты не были простаками: уж коли повязывали набранных отщепенцев кровью, то делали свое дело профессионально... А Махотка-то

разговорился. Даже речь вроде стала нормальной, а не тускло односложной...»

Немецкая разведшкола находилась в небольшом эстонском местечке, в Вируском уезде, но выход на улицу был напрочь закрыт для «курсантов». Они жили в четырехкомнатных финских домиках, каждый отдельно, и друг с другом предпочитали не общаться, это не поощрялось начальством. Территория школы была обнесена высоким каменным забором, а внутри еще и проволочные ограждения, как им объяснили, от любопытства посторонних. Школой руководил круглый, как колобок, рыжий немец, по имени Курт. Вероятно, он имел крупный чин, потому что другие немцы-преподаватели разговаривали с ним почтительно, хотя сам он предпочитал простоту в обращении и даже изредка позволял себе с «курсантами» некое подобие фамильярности. Звания его и фамилии никто из «курсантов» не знал, обращались просто: господин Курт. Этот немец превосходно говорил по-русски, часто приходил на лекции и даже поправлял переводчиков, не знающих, как точнее перевести то или иное выражение. Еще он любил русские песни и иногда, нет, не заставлял, а именно просил «курсантов» спеть ему какую-нибудь старинную русскую песню, чаще всего о Стеньке Разине. И тогда сам подтягивал мужскому хору. «Курсанты», народ обозленный и потому нелюдимый, не имевшие ни малейшего желания сходить друг с другом, а тем более делиться своими мыслями, принимали такую «общественную» деятельность рыжего Курта отчужденно, как вынужденную меру подчинения. А Курт, чтобы сплотить «коллектив» — он произносил это слово с издевкой и сам же заразительно хохотал над своей шуткой, — даже устроил несколько общих попоек. «Курсанты» быстро и жадно напивались, но и в этом состоянии сохраняли свою мрачную ожесточенность, подлаживаясь к пьяному хору голосов, выводивших «из-за острова на стрежень...»

И снова изнурительные занятия, бессонные ночи, мины, радиопередатчики, стрельба, а в короткие перерывы — участие в допросах пленных и арестованных. Усиленная подготовка длилась до февраля, то есть четыре месяца. Экзамены принимал специально прибывший из Берлина долговязый, болезненного вида немец с холодными, невыразительными глазами и брезгливо отвисшей нижней губой. Он был близким знакомым рыжего Курта, потому что, несмотря на явную разницу в положении, на людях они выказыва-

ли вполне приятельские отношения. Махотка продемонстрировал достаточно высокий уровень знаний, отличное умение в радиоделе, стрельбе, минировании и прочие, необходимые разведчику-диверсанту качества. Рыжий Курт был доволен. Кривая усмешка, долженствующая изображать удовлетворение, скользнула и по отвислой губе немца-экзаменатора.

Прошедший через все круги гитлеровской школы шпионов, Махотка понял — наконец курс занятий окончен и пришла пора оплачивать фашистские счета.

Единственное, что вызывало беспокойство его хозяев, и в первую очередь рыжего Курта, это его кашель. Бывали моменты, когда Махотка едва не падал от слабости, сильно потел, а грудь его буквально раздирал сухой, надрывной кашель. Сам Махотка относил это свое состояние на счет чрезмерных физических перегрузок. Однако однажды, после острого приступа кашля, он обнаружил на платке капельки крови. Боясь, что его сочтут больным и снова, теперь уже окончательно отправят в концлагерь, Махотка скрывал свое состояние от начальства и всех окружающих. И тем не менее немцы обратили внимание и со свойственной им педантичностью решили основательно исследовать его у врачей: не даром ли, как он понял, затрачено на него столько времени и средств.

Его отправили в Таллин и поселили в старой вилле на берегу моря. Было сказано, что здесь ему предстоит отдых после напряженной учебы, а также врачебное освидетельствование. Успешное окончание школы и высокие оценки на экзаменах поставили его в разряд сотрудников, необходимых Германской империи, и теперь долг врачей позаботиться о здоровье своего подопечного.

Комиссия состояла из нескольких пожилых и совсем молодых врачей, под щегольскими, отутюженными халатами которых угадывались эсэсовские мундиры. Махотке пришлось долго и подробно рассказывать о своей жизни в лагерях, о тех, с кем ему приходилось общаться, спать рядом, есть из одной миски. По мере своего рассказа он сам вспомнил, как в Рославле, где они укладывали тяжеленные бетонные плиты на взлетной полосе аэродрома, вместе с ним работал пожилой мужчина, кажется, имя его было Яков, но все его звали Тубиком, потому что у него был туберкулез. Никого эта болезнь не пугала, потому что люди жили и исчисляли свои жизни временем от рассвета до заката солнца. От перенапряжения Яков нередко заходил-

ся в надрывном кашле, после которого на губах его вскипала кровавая слюна. Да, все понимали, что дни Якова сочтены, но особого к нему сожаления не испытывали, поскольку и сами о себе не могли предположить ничего определенного. Постоянный контакт с Яковым, — Махотка, пожалуй, один и жалел его, даже спал с ним рядом, не думая о возможных последствиях, — видимо, не прошел даром и, значит, теперь отрыгнулся. Потом Махотку раздели догола и провели в рентгеновский кабинет, где, освещенные призрачным светом, двое врачей долго вертели его, словно куклу, прижимая к холодному металлу экрана, мяли его грудную клетку, заставляли кашлять, дышать и не дышать, поднимать и опускать руки. Затем препроводили в соседний кабинет, где у него взяли разные анализы, вплоть до плевков, и отправили отдыхать до окончательного решения его судьбы.

Широкое окно комнаты, в которой поселили Махотку, было забрано железной решеткой, а напротив двери, в коридоре, стоял охранник. И Махотка понял: никто с ним церемониться не станет.

Поздно ночью, лежа в постели и испытывая отчаянную слабость, мокрый от пота, Махотка вспоминал отрывистый негромкий разговор немцев в рентгеновском кабинете. Он знал немецкий язык в той степени, чтобы понимать обиходную речь. Но ведь говорили о его жизни, и память сама как бы запечатлевала короткие фразы, даже те, где встречались непонятные медицинские слова. Теперь все это живо всплыло, и Махотка силился понять, что обсуждали врачи. Один, тот кто постарше, сказал, что у пациента туберкулез. Каверна в правом легком. Потом он добавил, что он сторонник паллиативного решения. Следует наложить пневмоторакс. Что это такое, Махотка не знал. Второй же, тот, который был моложе, с презрительной маской на лице и болтающимся на тонком черном шнурке моноклем, настаивал на торопластике. В доказательство своей точки зрения он назвал какого-то доктора Риттеля, готового лично проделать эту операцию. Эксперимент, сказал он, в любом случае оправдывал себя. К чему пришли врачи, Махотка тогда не узнал, потому что его выпроводили из кабинета. Слова вот только запомнились...

— Ну, а кто я был для фашистов? Подопытный кролик. Мышь. Ничто. Получится у этого Риттеля — ладно, не получится — выкинут подыхать. И все...

— Действительно, ситуация... — вздохнул Рогов.

— Ну-ну, — поморщился Дзукаев. Следовательно ни при каких обстоятельствах нельзя вслух выражать свои эмоции. Он бросил в сторону Рогова строгий, укоризненный взгляд и снова перевел внимание на Махотку. — Мы слушаем вас, продолжайте.

Махотка помолчал, словно не решаясь вести свой рассказ, вернее исповедь, дальше. Тоже хрипло вздохнул и продолжил, не поднимая глаз от пола:

— Утром он пришел, этот рыжий Курт. Сел хозяином, развалился вот так в кресле и начал. Здоровье каждого курсанта, говорит, принадлежит не им лично, а Германии. На тебя, говорит, было затрачено столько средств, а потом ты показал такие успехи, что надо думать, как рациональнее получить отдачу. После такого вступления сразу перешел к моему здоровью. Положение, сказал, критическое: начался туберкулез. К счастью, это та стадия, которая лечится. У врачей, говорит, имеется альтернатива: либо использовать метод поддувания, но это долго, хотя и менее болезненно. Ну, а раз долго, то, по его мнению, — неприемлемо. Мы, мол, в армии, а не в благотворительной организации. А второй вариант — операция. Причем немедленная. Хоть и больно, зато быстро. Словом, при операции врачи могут поставить меня на ноги за какие-нибудь три-четыре месяца. И сам он остановился, конечно, на втором варианте, тем более что операцию уже согласился делать известный хирург, который практикует именно такие операции, доктор Риттель. Запомню я его, этого майора Иоахима Риттеля. Мне потом сказали, что он ученик какого-то знаменитого врача Зауэрбруха. Не знаю, может, они и знаменитые, только это все равно фашисты и на человека им наплевать... Хотя какой я для них человек?.. Ну, словом, Курт заявил, что я должен быть благодарен по гроб жизни, а все дальнейшее будет зависеть от моего поведения и той степени отдачи, пользы, которую я смогу показать в работе на благо рейха...

Вот тут уже, рассказывал далее Махотка, он по-настоящему испугался. Попросил дать ему время на размышление, однако сразу понял, что стучится в наглухо запертую дверь: рыжий Курт действительно все давно решил за него, и мнение такой мелкой сошки, как продажная тварь Махотка, его попросту не интересовало.

За Махоткой явились двое дюжих санитаров, и он понял, что всякое сопротивление бесполезно. Фашисты будут делать не то, что лучше, а то, что скорее, что выгоднее им.

Их заботило не здоровье человека, а необходимость быстро поставить на ноги нужного агента. Даже если для этой цели пришлось бы изуродовать человека... И может быть, у пожилого врача, который предлагал пневмоторакс, — теперь-то Махотка сообразил, что означало это слово, — еще сохранились остатки человечности, совести, тогда как у его коллеги, равно как и у рыжего Курта, большого ценителя русских песен, эта самая совесть даже не ночевала.

Очнулся он в больничной палате. Грудь была туго перебинтована и сильно болела, он задыхался от этой боли и невозможности вздохнуть, набрать в легкие воздуха. Боль отпускала, лишь когда вводили морфий. Тогда он словно проваливался в темноту, полную кошмарных сновидений.

В палате были и другие больные. Из их отдельных фраз Махотка понял, что это тоже туберкулезники, главным образом, простые солдаты. Разговоры их были неинтересны и касались лишь давних, часто довоенных домашних дел. Обсуждать положение на фронте или действия своего начальства они остерегались.

Недели через две-три, — Махотка давно потерял счет дням, — его подняли с кровати и, облачив в застиранный серый халат, повели снимать швы. Увидев страшные рубцы у себя на правой стороне груди, Махотка едва не потерял сознание.

А вскоре его посетил рыжий Курт. Махотка стоял в тот день возле пыльного госпитального окна, подставив давно небритое лицо ярким лучам мартовского солнца. Курт накатился веселым коломом и сразу же стал поздравлять с удачной операцией, на все лады расхваливая неподражаемое мастерство хирурга. Довольно потирая короткие и толстые, покрытые коричневыми веснушками пальцы, Курт сообщил, что теперь Махотке не угрожает опасная болезнь, которая очень многих до времени свела в могилу, а кроме того, что является немаловажным в его, Махоткиной, профессии, он будет полностью освобожден от строевой службы в армии. Даже ради одного этого стоило пожертвовать несколькими ребрами. После произведенной операции никому и в голову не придет там, за линией фронта, призвать его в Красную Армию, уж Курту-то во всяком случае известны законы, принятые у Советов.

И словно в насмешку, Курт предложил Махотке кличку «Легкий». Говоря об этом и словно окончательно добывая своего агента, демонстрируя ему свое знание людской

породы и доказывая бесполезность всякого протеста, рыжий Курт достиг тем не менее обратного эффекта. Если раньше у Махотки только теплилась мысль о сдаче в НКВД, то после этого разговора он понял, что никогда не простит фашистам, рыжему Курту своего увечья, и что бы ни грозило ему за предательство Родины, он придет к своим и все расскажет, и будет на коленях умолять дать ему возможность отомстить гитлеровским палачам...

Рогов что-то коротко написал на обрывке бумаги и протянул майору. Дзукаев прочитал: «А что, если повторить его рассказ для Тарантаева?» Он взглянул на Сашу, и тот показал глазами на соседнюю комнату. Дзукаев понял знак по-своему: вызвав Одинцова, он приказал принести задержанному чего-нибудь поесть и предложил сделать для этого короткий перерыв. Оставив Махотку с бойцом, принесшим котелок макарон с мясом, следователи вышли в коридор.

— Думаешь, Сандро, подействует? — усомнился Дзукаев.

— Если он сумеет вот так же все повторить — несомненно! — горячо подтвердил Рогов. — Даже такой, извините, дуб, как Тарантаев... Я серьезно! — воскликнул он потому, что ему показалось, будто Дубинский скептически усмехнулся. — Да, даже непробиваемый дуб не останется спокойным.

Но Виктор Дубинский и не думал насмехаться над горячностью своего младшего коллеги.

— А ведь есть в этом резон, черт возьми, — задумчиво сказал он. — Уж на что мы — тертый народ, битый, я в том смысле, что приходится постоянно рыться во всяком дерьме, и то мне, честно говоря, не по себе... Только тут неясны две позиции: правда ли то, о чем он рассказал? Это, конечно, врачи установят. А во-вторых, пусть вам не покажется странным мое предположение: даже если все рассказанное правда и была действительно операция, то ведь операция-то, простите, была все-таки по делу? Так вот, не игра ли это? Тонкая и точно рассчитанная игра? Мы же его, как уже пострадавшего, казнить не станем, у меня, например, просто рука не повернется... Не могли ли и они продумать такой вариант?

— Задача... — вздохнул Дзукаев. — Ну что ж, давайте сложим наши предположения. Махотка пусть повторит рассказ. Тарантаева посадим в соседней комнате, и ты,

Виктор, не своди с него глаз. А тебе, Сандро, дорогой, такое задание... — Дзукаев посмотрел на часы. — А, черт возьми! Время! Про время совсем забыли! Ночь ведь на дворе!.. Тогда так: задание до утра отменяется, а сейчас допрос продолжаем. Допрос среди ночи будет для Тарантаева очень неприятным. Всякое, понимаешь, полезет в голову. А ты, Виктор, зорко наблюдай. Махотку сразу после допроса — к врачам, и чтоб к утру мы имели о нем полную картину...

12

Ночью Тарантаев не спал. Он чувствовал, что затягивать время становится все труднее. Его обложили, как волка, со всех сторон. Дальше отмалчиваться бесполезно, да и опасно. Как ни крути, с рацией получается хреново, хоть доказательств, что он сам вел передачи, у них, похоже, пока нет. Ну, взят с оружием, стрелял в офицера. Но ведь с испугу. Ночь была. Может пройти. Оpoznан целой улицей. Многие, оказывается, видели, как он с немцами за девкой той приезжал, связной партизанской. Не удержался тогда, дурак, самому отличиться захотелось. А все эта чертова бабка. Жаль, не обращал тогда внимания на нее и сопляка, — были бы они сейчас тут!.. Еще одна мысль стала теперь беспокоить: чего эти-то тянут с ним, чего добиваются? Насчет девки отговорка имеется: немцы силком заставили. А его, Гришкиной, личной вины в ее гибели никакой нет. За такое к стенке не ставят. Ну, срок светит — все не вышка... Что еще? Труп этот? Но тут сержантик прочитался. Не так прост он, Гришка-то, чтоб завязать на себе петлю. Правда, слышал он, что вроде есть какой-то способ: если достать из трупа пулю и чего-то там поварганить, можно узнать, из какого ствола она вылетела. Но кто сейчас будет этим заниматься?.. А кавказец все тянет, все переспрашивает по сто раз одно и то же, ловит его, Гришку. Нет, ничего не выйдет у них. Главное нынче — выжить... Конечно, законы военного времени суровы, но ведь раз следователи тянут, выходит, нет у них ничего. Нет. Главное, чтоб не вышка. А в тюрьме жить можно...

В двери лязгнул ключ. Тарантаев посмотрел на конвоира: цыпленок. Шею одним пальцем перешибить можно. Кабы не автомат. Ишь как он им играет-поигрывает. Сам, поди, боится. Ладно, и это дело надо обдумать, решил про

себя Тарантаев и, повинувшись движению ствола автомата, поднялся с пола.

— Иди давай! — по-петушиному приказал конвоир. — Руки за спину!

Тарантаев покорно сцепил пальцы за спиной и, косо глядя на конвоира, пошел из кладовки. Длинный узкий коридор, лестница, снова коридор. Гришка шел медленно. Понял, что это, наверно, новый допрос. Если б чего окончательно решили, одного бы за ним не прислали. Прикинул: окно возле лестницы. Низко. Если с ходу вышибить, можно уйти. Но — автомат сзади. Полоснет — пополам перепилит. Нет, подождать маленько надо. Ладно, видно будет...

Его ввели в небольшую комнату, рядом с той, где все время допрашивали. Велели сесть. Он сел, поджав под стул босые ступни. Прислушался. Там, за закрытой дверью, шел разговор. Второй следователь, тот, который обыскивал и потом вел протокол, подошел к двери, прислушался и обернулся к Тарантаеву.

— Вы будете сидеть здесь и слушать допрос одного очень вам, Тарантаев, интересного человека. Сидеть молча и не перебивать. А потом будет видно, может, мы устроим вам с ним очную ставку.

Открыв дверь в другую комнату, следователь уселся за столом напротив Гришки. У двери в коридор после его кивка сел на стул этот цыпленок-автоматчик.

— Продолжим нашу беседу, — услышал Тарантаев гор-
танный голос кавказца. — Итак, попрошу еще раз о вашем задании.

Гришка поднял глаза на сидящего напротив. Вспомнил: Дубинский его фамилия. Называл этот кавказец. Крепко ему тогда, наверно, влетело за сапоги-то. Ишь как уставился... «Ничего, многого вы от меня не добьетесь...»

— Задание это было у меня первое, — произнес незнакомый хрипловатый голос в соседней комнате. — Не знаю, может, просто проверяли. Курт приказал доставить рацию и батарейки сюда, в этот город. Адрес такой: Красноармейская, девять. Обратиться к хозяйке дома: «Не сдается ли комната?» Она должна ответить: «Сдается, но без кухни». Вот пока и все. Если она скажет после этого, что ей нужен радист, то я должен вступить в ее подчинение. Она сама укажет, где мне жить. Ну, где прятаться. Если же радист ей не нужен, она просто передаст сведения, которые я обязан взять с собой и вернуться в Смоленск. Переходить

линию фронта велено в районе Борска. Если надо, покажу по карте.

— Да, но это позже, — сказал кавказец. — А как зовут женщину, вы знаете?

— Нет. Только пароль. Она блондинка. Красивая такая женщина.

— Значит, Анну Ивановну Баринову вы в лицо или по фотографии не знаете?

— Почему? Курт мне перед полетом показал ее фото. Действительно, красивая баба. Это чтоб я не спутал, на всякий случай.

Тарантаев вздрогнул и увидел нацеленный в упор взгляд Дубинского. Спohватившись, опустил голову. То, что он услышал сейчас, потрясло его. «Вот же гад, все выложил! И откуда он свалился на голову?..»

— Так, а что же дальше? Возвращаетесь вы в Смоленск и что потом?

— Потом? В Смоленске я должен был подойти к любому немецкому офицеру, предъявить свой документ, вот тот, что у вас на столе, и потребовать немедленно доставить меня к майору Карлу Бергеру из комендатуры. Дальнейшие указания буду получать только от него самого.

— Ну, что ж, — удовлетворенно сказал кавказец, — все правильно. Вот только с Бариновой небольшая накладка. Нет ее дома. Мы там произвели обыск и нашли очень важные улики. Но самой ее нет. Однако не уйдет далеко. Дома ее ждет засада, а в городе отыщем быстро. Она, по нашим данным, в местном сельпо работала, значит, и найти ее будет не трудно.

Тарантаев почувствовал, как спина его стала мокрой. Он подобрался, съежился, боясь поднять глаза на Дубинского, острый взгляд которого сейчас ощущал всей кожей, всем своим существом. «Конец, — билась мысль. — Они все уже знают... А нашли наверняка мои шмотки под печкой... если только Аня их не успела выкинуть... Труба!»

За спиной его заерзал на стуле автоматчик. Этот скрип вернул Тарантаева к реальности.

«Нет, но Анька... Анька-то какова! Ушла! Ведь уговаривал ее, молил: давай убежим, спрячемся, пока не поздно. Отказалась... А теперь, значит, сама бросила меня!.. И шмотки не выкинула... Это уже такая улика, от которой не отвертишься. Был я, значит, в ту ночь у нее дома... Вот где покойничек-патрульный всплывет!..»

— Ну, хорошо, — снова заговорил кавказец, — а теперь

расскажите, пожалуйста, еще раз и, если можно, более подробно о своей болезни и как этот ваш рыжий Курт готовил вам операцию на легкое...

Слушая рассказ связника, Тарантаев чувствовал, что его кидает то в жар, то в холод. Ну, что Бергер — дерьмо, это Тарантаев и раньше видел. Но Курт-то — вот уж извер! Знал ведь его Гришка. И до войны навещал тот Анну, и потом несколько раз приезжал. Они с Бергером одного поля ягоды, но Курт, конечно, поважнее шишка, Бергер его побаивался, картинки свои дарил. А когда тот к Анне подкатывался, аж зеленел весь от злости, но помалкивал. Тарантаев как чувствовал, добром дело не кончится, хотел его в тот, еще довоенный приезд, задушить, да Анна запретила, сказала: приятель первого мужа. Знать бы, какой он приятель, духу бы от него не осталось. Это его, Курта, идея была — сделать из Гришки агента, забрать его в школу, но Анна тогда защитила, отстояла его, а то ходил бы и он, Гришка, с выдранными ребрами. Бандиты они, что Карл, что Курт...

Себя к этим мерзавцам Тарантаев не причислял. Он что? Он лицо подневольное. Влип однажды, вот теперь до смерти и повязан с этой сволочью. Он считал, что грехов за ним все-таки немного, Анна выручала, не давала увязнуть по уши. Ну, партизанскую связную выследил. Но если бы не ушел тогда Антон, вполне возможно, что ее и не тронули бы. Пускай бы шлялась себе в лес и обратно, глядишь, где-нибудь на пулю и нарвалась. С Антоном получилось совсем скверно, в руках был, а ушел. И двух немцев убрать успел. Как Гришка сам уцелел — не помнит. Дубовый стол спас, загородил от осколков гранаты. Пришлось снова бежать к Анне: защиты от Бергера. Защитила. Все на своих же и свалили: вылезли, мол, раньше времени, вот и получили, да еще и операцию сорвали...

Но прямых свидетелей того дела никого не осталось. Был бы жив Антон, тогда само собой — каюк. Но его же нет. Поймали. Узнал его однажды Гришка. Глубокой осенью, уж по снегу, столкнулся в городе чуть не носом к носу. Счастье, что успел отвернуть с дороги. Примчался к Анне, только и крикнул задушенно: «Здесь он!» С час отдышаться не мог, так бежал. А она сразу к Бергеру, и взяли Антона. Надо ж было случиться такому везению!..

Тарантаев в тот раз напомнил Бергеру, что ему вроде бы положена награда, обещанная немцами за поимку партизанского командира. Но Бергер как-то странно посмотрел

на Анну и только хмыкнул. А Гришку вместо награды упекли на три месяца в школу Курта изучать радиодело. Но тут, конечно, сам виноват, видно, не простили ему первую промашку с Антоном. Ему бы не высовываться, не лезть на рожон, смолчать... Черт с ними, с деньгами. Все равно ведь не дали, а деньги большие, наверное, себе, гады, присвоили. Сейчас Гришка даже рад был этой несправедливости — никаких следов не осталось. Немцы ведь народ такой: наградят и обязательно раззвонят на весь белый свет. А теперь, выходит, только двое и знали о его доносе — Бергер и Анна.

Не должен был Тарантаев прощать Анне ее измены, ее ночевки у Бергера, а прощал, потому что любил сильно, хоть и понимал: не для него такой пирог. Дали откусить, и скажи спасибо, отойди в сторонку. Но как же отойти, если его наизнанку выворачивало от ненависти, когда видел, как прихорашивается она вечерами, перед визитом к Бергеру? Схватить бы ее в охапку да уволочить на край света, где нет никаких Бергеров, никаких Куртов... И понимал: все напрасно — немка к немцу законно тянется. Не нужен ей Гришка, так разве, для забавы, минутной услады, побаловаться. Что он ей? Детдомовец, тварь паршивая. Подают милостыню, и за то будь благодарен.

Но сама-то какова! Ничего не сказала, наоборот, запретила уходить, а оказывается, уже приготовилась бросить, продать своего Гришку. Как Бергеру продала. А до того — Курту рыжему, шпионом сделала, бояться людей научила. Знал Григорий, на кого работал и от кого деньги имел, все прекрасно знал. И вот теперь пришла пора расчитываться... Но если Анна смогла поступить с ним как последняя шлюха, почему же он должен молчать про нее? Почему? Его — на вышку, а она — снова в кровать к Бергеру? Нет, не пройдет у нее такой номер!.. Самое время сейчас начать раскалываться, пока они главного не раскопали да на шею не повесили... И, главное, чистосердечно. Они уважают, когда чистосердечно.

13

Анализируя результаты ночной работы, Дзукаев мог наконец сказать себе, что он почти доволен. Почти. Реакция Тарантаева, как они и ожидали, оказалась бурной. То ли он устал, то ли действительно испугался, осознав всю

безнадежность своего положения. Он будто в полуобмороке слушал, какое задание получил связник, адрес, пароль... Его даже пот прошиб от сообщения Дзукаева об Анне Ивановне Бариновой, которая вот уже несколько дней отсутствовала по указанному адресу и в доме которой произведен тщательный обыск, давший важные для следствия улики, и оставлена засада. Но когда арестованный парашютист повторил свой рассказ об операции без наркоза, о рыжем Курте, наживляя его новыми деталями, Тарантаев, по свидетельству Дубинского, был, видимо, окончательно добит. Физиономия его выражала полную растерянность и страх. И вообще вид у него был, как у загнанного зверя. Понял наконец, что кончилась для него игра, и от страха за свою шкуру вылезло естество.

Едва закончили допрос Махотки и увели его из комнаты, Тарантаев заявил, что готов немедленно дать свои показания, если ему пообещают сохранить жизнь. Дзукаев твердо ответил, что этот вопрос решают не они, а трибунал, где, возможно, могут быть учтены чистосердечные признания арестованного. Тогда Тарантаев, словно спохватившись, попросил отложить допрос до утра, чтобы сосредоточиться и собраться с мыслями. Он так и сказал, чем немало удивил следователей, составивших себе совершенно определенное представление об умственных способностях Тарантаева.

Решили позволить ему в последний раз подумать, о чем также прямо и заявили, чтобы у арестованного не возникло и мысли о какой-то слабости позиции следствия, благо до утра времени оставалось не так уж и много.

Тарантаева отправили в кладовку и стали ждать сообщения из госпиталя. Вскоре позвонил начальник госпиталя и подтвердил, что у гражданина, доставленного для экспертизы, была действительно произведена операция на правой стороне груди с удалением нескольких ребер. Для более детального обследования нет соответствующей аппаратуры. Операция произведена недавно, месяца четыре назад, и пациент слишком рано выписан из больницы, ему следовало бы пробывать там еще не менее двух месяцев. Начальник госпиталя был опытным и авторитетным хирургом, и его свидетельства было вполне достаточно...

И снова сели за стол контрразведчики, чтобы обсудить «коллективным умом» итоги сумасшедшего дня. Времени на завершение дела оставалось в обрез, где искать эту Баринову, неизвестно, а рассчитывать еще на какую-либо

счастливую случайность не приходилось. И все-таки у Ивана Исмайловича Дзукаева не проходило ощущение, что они бродят уже где-то совсем рядом, и стоит еще чуть-чуть поднапрячься, подтолкнуть колесо фортуны — и дело раскроется, покатится, загремит, как лавина в горах. Но как это сделать, как напрячься, когда силы и так на пределе, вернее, на фенамине. Следователи глотали таблетки, прогоняя сон, взбадривая себя, но оупляющая одурь быстро накаливалась, готовясь каждый миг отключить утомленный мозг...

Занялись протоколами допроса, документом связника. Он, как и у Тарантаева, был отпечатан на пишущей машинке, а в правом верхнем углу стояли те же самые, написанные тушью, буквы «КБ».

Дзукаев знал, что для обратного перехода линии фронта немцы снабжали свою агентуру паролем, обозначавшим, как правило, имя и фамилию начальника разведоргана или наименование этого самого органа. Значит, буквы «КБ» могут обозначать, скорее всего, инициалы Карла Бергера? Ведь к нему же должен был возвратиться связник.

Был такой в городе во время оккупации. Дзукаев имел о нем некоторые сведения: исполнял должность заместителя коменданта, личного участия в казнях мирного населения не принимал, хотя наверняка был к ним причастен. Возможно, комендатура была лишь крышей другой, основной его деятельности. Работал в «белых перчатках», грязное же дело выполняли за него другие, вроде того же Тарантаева...

Теперь уже Дзукаев начал жалеть, что поспешил с обыском в доме Бариновой. Она, конечно, больше туда не вернется. Из связника, видимо, тоже никакой практической пользы больше извлечь не удастся. А то, что сам явился с повинной, трибунал, наверно, учтет... Волка теперь, что называется, зафлажили, но самого зверя в окладе не оказалось. Похоже, что и время упущено, и неизвестно, каков это зверь. От словесного портрета — высокого роста красивая блондинка — польза невелика. А если она перекрасится или парик наденет?

Но явно выстраивалась еще одна цепочка: Тарантаев — связник — Баринова, а завершал ее Бергер. И значит, речь теперь может идти не просто о фашистских пособниках, а целой шпионской сети. И свила себе гнездо эта публика, во всяком случае, двое уж точно — Тарантаев и Баринова, — в местном сельпо. И, вероятно, не сегодня. Если соседи ут-

верждают, что дом свой Баринава купила еще до войны, то, значит, и связи ее надо искать в том же прошлом. Глубоко копать. Опять же это сельпо. С одной стороны, — контора вроде бы незначительная, действовала главным образом в сельской местности. Но если подумать? Совсем другая картина вырисовывается. Дислокация воинских частей, склады, партийный актив области. Вот на что могла быть нацелена агентура Карла Бергера. Смоленская и Брянская области, можно считать, были приграничные, если иметь в виду, конечно, старую границу, рассуждал Дзукаев. А кто как не сельпо имеет великолепные возможности для обширных знакомств и, следовательно, для сбора самой различной информации? И не подобным ли путем немцы в первые же дни оккупации получили все необходимые сведения о партийных и советских работниках в районе и области? Откуда же тогда все эти непонятные провалы, эта «железная метла»?

Если в местных органах не найдется следов Бариновой, придется идти дальше. Смоленск и Брянск, где могла она жить раньше, находились еще в руках фашистов, хотя освобождение этих городов было уже не за горами. Но ведь и там могли обнаружиться следы пресловутой Бариновой, обрусевшей немки, если верить соседям ее. Вот так. Стоило появиться новому лицу — и сразу новые проблемы. Кто она, эта Баринава? Откуда взялась? Чем занималась? Каковы ее возможные связи с германской разведкой? Чем занималась во время оккупации?.. Сплошные вопросы без ответов.

— Ну, что, друзья, — подвел наконец итог долгим размышлениям Дзукаев, — будем готовить запрос в центральный аппарат? — Он взглянул на явно бодрящихся Рогова и Дубинского и подумал, что «коллективному уму» сегодня, нет, уже вчера, досталось сверх всякой меры и их наигранная бодрость может обернуться против них же самих. Времени до утра, до нового суматошного дня оставалось немного, и майор неожиданно для себя приказал им отправляться спать. Следователи собрались было возразить, но усталость взяла свое, и они, коротко попрощавшись, вышли, в душе благодаря своего начальника.

Дзукаев остался один. Он подошел к разбитому окну, через прутья решетки стал разглядывать постепенно светлеющий училищный двор. Сделал несколько резких приседаний, с силой разводя и сводя руки, и почувствовал льющуюся с улицы прохладу, разгоняющую прокуренную

душную атмосферу комнаты. Потом он выключил тусклую, помаргивающую под потолком лампочку и пристроился на подоконнике.

Значит, утром пойдет в Москву, в Центр, срочная депеша. Там товарищи поднимут архивы, возможно, дадут задания в оккупированные гитлеровцами Брянск и Смоленск, и неизвестные Дзукаеву люди пойдут по следам Анны Ивановны Бариновой, или как там зовут ее на самом деле, пойдут, рискуя жизнью, может быть, даже на смерть, тем более обидную, когда до освобождения остаются считанные дни. И все ради чего? Ради чего...

Ради того, чтобы фашистская погань была с корнем вырвана из нашей земли. Чтобы, уходя дальше с войсками на запад, могли быть уверенными и майор Дзукаев, и его товарищи, и остающиеся в городе секретарь Завгородний, и старый Червинский, и Коля Савелов с бабушкой, что к прошлому возврата нет, что окончательно разминированы не только их жилища, но и души. И ради этого действительно стоит глотать таблетки фенамина, ломать сейчас голову и посылать неизвестных отважных людей в самое пекло...

Дзукаев и сам не заметил, как начался новый день. Просто увидел, что почти без всякого напряжения различает округлый, каллиграфический почерк Дубинского, а затем стремительный, сильно клонящийся вправо — Рогова, заканчивавшего протокол. Он придвинул чистую стопку бумаги.

Теперь с утра Рогов займется архивами милиции и сельпо, если таковые тут сохранились. Сам он с Дубинским — допросом Тарантаева. Бурко уже, видимо, в Москве, и сведения от него могут поступить в течение дня. Полковник должен появиться к шести утра, и Дзукаев стал готовиться к докладу. Отдел сегодня перебирается в Борск, и другая возможность обстоятельно поговорить с начальством скоро не представится. По мнению майора, только теперь, кажется, начали сходиться концы с концами...

Полковника чрезвычайно заинтересовали результаты допроса парашютиста. А когда в ходе рассказа появился рыжий Курт, Алексей Владимирович как-то неожиданно присвистнул и, жестом остановив майора, взял в руки протокол и несколько раз перечитал то место, где речь шла о руководителе шпионской школы в Прибалтике. Потом он попросил продолжать доклад, а сам, внимательно слушая,

о чем-то задумался. Взгляд его сделался несколько рассеянным и отстраненным. Дзукаев не сомневался, что полковник тщательно перерабатывает поступающую от него информацию, ничего не пропускает, ни одной стоящей детали. И вместе с тем голова его занята решением иной, весьма важной для него задачи. Федоров машинально подвинул к себе чистый лист бумаги и начал расчерчивать его параллельными и перпендикулярными стрелками. Похоже, решение где-то близко, отметил про себя Дзукаев, искоса наблюдая за насупленным лицом полковника, его сдвинутыми лохматыми бровями. Наконец Алексей Владимирович решительно бросил карандаш и испытующе, с легкой добродушной хитрецей взглянул на майора.

— Ну, Иван Исмайлович, теперь ты послушай. Первого мая сорокового года был я на Красной площади. Стоял среди гостей, неподалеку от помощника германского военного атташе. Его звали, кажется, Генрих Рихтер, или Риттер, сейчас не помню. А рядом с ним находился голубоглазый, рыжий крепыш. Невысокого роста, в отличном спортивном костюме, в крупную такую клетку. Так вот этого второго деятеля из посольства звали Курт Брандвайлер. Если не ошибаюсь, — а это нетрудно проверить в Москве, — он являлся экономическим советником, давно работал в посольстве и до тридцать девятого года много ездил по нашей стране, в пределах дозволенного, разумеется. Никакой экономикой он не занимался, это, видимо, была его крыша, а сам он кадровый разведчик из ведомства господина Канариса. Ездил много, но в своих путешествиях ни в чем, насколько помню, предосудительном замечен не был. Значит, умел работать. Всего я о нем знать не могу, да и времени уже прошло порядочно. Одним словом, на Баринову ты запрос приготовил? Включи туда и Курта Брандвайлера. Да... Задали мы работку нашим, в Центре... Понимаешь, если он перед войной бывал в Брянске или Смоленске, где, по твоим предположениям, проживала и эта барышня, не исключено, что не Карл Бергер, а именно Курт Брандвайлер и является тем самым «КБ», которого мы ищем. Тогда Баринова, вполне возможно, окажется его агентом. Замечаешь, куда концы уходят? Из Тарантаева и этого парашютиста надо сейчас выжать максимум информации.

Дзукаев с завистью смотрел на полковника. Он вспомнил себя, еще студента Всесоюзной правовой академии, который тогда, в конце тридцатых годов, и не помышлял, что придется работать в органах государственной безопас-

ности. Это случилось позже. С началом войны академию расформировали, а часть студентов зачислили на работу в Центральный аппарат. Принят был и Дзукаев. Но уже в августе он настоял на отправке на фронт. И вот так по сей день, без перерыва и отдыха, круглые сутки. Конечно, он не мог помнить или знать того, что видел и знал полковник. Дзукаев понимал это и все равно огорчался и завидовал обширности знаний и памяти Алексея Владимировича.

— Я сегодня уезжаю, Иван Исмайлович, — вдруг совсем по-отечески заговорил Федоров. — Когда вернется Бурко, сразу пусть едет в Борск. Думаю, он тебе здесь больше не понадобится, втроем справитесь. Оставляю тебе Дубинского и Рогова, сам говоришь — асы. Вот давай-ка и завершай это дело. Особое внимание обрати на следующее. Сведения о шпионском заведении в Вируском уезде нам могут быть крайне важны. У абвера не так уж много подобных школ, и готовит это ведомство своих агентов, судя по программе нашего парашютиста, весьма тщательно. Но сие, сам должен понимать, уже не в нашей с тобой компетенции. Поэтому никаких сведений о Махотке нигде не должно просочиться. Я почти уверен, что на этом дело не кончится... Сколько осталось у тебя времени? Еще два дня? Ну-у, уйма времени!

— Товарищ полковник! — взмолился Дзукаев. — У нас же с этой Бариновой никакой ясности.

— Но я же сказал, что у тебя масса времени. Должен справиться. И помощники лихие, нечего жаловаться. Да я просто уверен в тебе! В чем дело?.. — Полковник помолчал. — А знаешь, что я тебе посоветую? Попробуй поступить так. Ты Тарантаева сегодня не трогай, пусть помучается, перегорит. Дождись известий от Бурко, тогда и вылей все это Тарантаеву на голову, прижми его к стенке. С таким мерзавцем иначе нельзя. Бить только неопровержимым фактом, наповал. Кстати, по поводу фактов. Мне сообщили, что райкомовские ребята, — там фамилия секретаря Завгородний? Я не путаю? Так вот нашли они какие-то старые свои архивы. Ты Дубинского пошли, он мастак по части всяких бумажек, пусть пороется, хотя у меня лично на это надежды мало. Но кто знает? А вдруг, как говорится... Рогову приказываю: пусть весь город перероет, а Баринову найдет. Я тут, правда, немного предвосхитил события, но чтобы вы потом не метались без толку в поисках Прохорова, заготовил и подписал у него ор-

дер на арест этой вашей дамы. Вот, возьми. И еще два слова, Иван Исмаилович. Я знаю, когда говоришь с отпетым негодяем, фашистским шпионом, предателем Родины, рука сама тянется подписать ему высшую меру. Но это не наша с тобой прерогатива. Для этого есть высшая инстанция — суд народа. И мы не имеем права переступить через черту доверенного нам страной, не имеем права нарушить наши советские законы. Какая бы страшная война ни шла и как бы ни кровоточило сердце при виде мерзавца, мы обязаны об этом помнить. Поэтому повторяю и буду повторять: вина каждого должна быть нами доказана полностью. Извини, если тебе мои слова кажутся высокопарными. Иначе нам нельзя. Вот все, что я хотел сказать тебе на прощанье. Займись парашютистом. Я еще до отъезда успею поговорить кое с кем из соседей и сообщу тебе об окончательном решении по этому поводу.

Час спустя после разговора с полковником, когда Дзукаев отправил следователей на новый поиск, а сам приказал привести на допрос Махотку, в комнату вошел молодой сравнительно человек в гражданской одежде, с хитрой лисьей физиономией и гладко зачесанными на пробор светлыми волосами. Он коротко, не протягивая руки, поздоровался, назвался Сергеем, после чего показал Дзукаеву свое удостоверение. Майор внимательно просмотрел его и вернул владельцу. А лейтенант госбезопасности Сергей Петрович Сальников спокойно сел на стул и, встретив непонимающий взгляд майора, удивился и сам.

— Разве вам Алексей Владимирович ничего не сказал? — он небрежно закинул ногу на ногу.

Дзукаев неопределенно пожал плечами. Но тут же раздался зуммер телефона. Майор снял трубку и услышал голос Федорова.

— Иван Исмаилович, мы договорились, что к тебе зайдет Сергей, наш сосед, понял? Пусть поприсутствует. Делай, как мы условились, а он пускай послушает, помоги ему. Еще раз желаю тебе успеха. До встречи.

Дзукаев положил трубку и кивнул Сальникову. «Соседями» Федоров называл разведчиков.

— Звонил. Ну, так что, начнем? Что вас интересует?

— Если позволите, я послушаю. Мешать не буду. Только одна просьба: пусть он поподробнее расскажет о Курте, о школе, о местности, о системе преподавания и трени-

ровках, словом, обо всем, что связано с Брандвайлером.

— И вам он нужен?

— А как же?..

— Понял. Сейчас его приведут.

...Допрос Махотки затянулся. Сперва Сальников только слушал, помечая что-то в своем блокноте. Потом, с разрешения Дзукаева, задал один вопрос, другой, и вскоре майор заметил, что инициатива допроса полностью перешла к Сальникову.

Все, что рассказывал парашютист, Дзукаев, в общем, уже знал. Детали, за которые цеплялся Сальников, майора интересовали мало. А Сальников все спрашивал и переспрашивал, уточнял, ловко ставя, в сущности, одни и те же вопросы, но произнося их с разными интонациями и формулируя по-разному. Майор даже подивился мастерству Сергея, видя, как из ответов Махотки складывается несколько иная, более глубокая картина деятельности Курта Брандвайлера и его школы по подготовке агентуры. Эмоции, которые преобладали в первом допросе парашютиста, теперь как бы сошли на нет, и осталась голая фактура. Дзукаев тщательно вел протокол, но мысли его были далеко.

Майор чувствовал, что зря теряет время. Не здесь ему надо было находиться, а заниматься поиском Бариновой. Дубинский с утра в райкоме. Пока молчит, значит, ничего стоящего не нашел. Рогов рыщет по городу в поисках свидетелей, которые могли бы дать сведения о сотрудниках сельпо. От него тоже никаких известий. И наконец, Бурко, будь он неладен! Совсем, наверно, с ума он там, в Москве, сошел? Неужели не понимает, что здесь каждая минута дорога? Молчит. А время идет... Время уходит.

А ведь прав оказался полковник, неожиданно подумал Дзукаев. Перспективен Махотка. После ночного допроса майору казалось, что из парашютиста они выжали практически все, что могли. И дальнейшая его судьба представлялась совершенно ясной: суд, тюрьма. Отсидит, выйдет. В армию его, конечно, больше не призовут, после такой-то операции. Это понятно. Однако вон как лихо раскручивает Махотку Сальников, «сосед». Видно, всерьез взялся он за шпионскую школу в Эстонии. И Махотка старается вовсю: и про своих «учителей», и про «курсантов» — все выкладывает. А ведь не исключено, что может возникнуть определенная игра с этим шпионским гнездом. Недаром же Федоров приказал нигде не афишировать Ма-

жотку. Да, не исключено... И кто-нибудь из этих ребят-«соседей» пойдет в оккупированную Эстонию, в Вирусский уезд с очень серьезным заданием. Или сам Сальников и отправится. И поэтому он сейчас, дома, должен знать все, и даже больше, чем все...

«Что он за человек? — размышлял Дзукаев. Внешность ведь ничего не говорит о разведчике. Наоборот, чем незаметнее, непритязательнее вид его, тем лучше для дела. Похож на официанта, вот на кого. Наверно, может быть таким угодливым, вертлявым. Сам-то худощавый, но сила чувствуется, жилистый, крепкий, настоящий джигит. Умный — несомненно. Да... И то, что для нас, для следствия, важные или менее значительные детали, факты, на которых мы построим обвинение, для Сальникова — жизнь. И не только возможность выжить, но и до конца выполнить задание. Есть разница...»

Майор не понимал, почему он так устал, хотя только середина дня. Потом вспомнил, что ночь была бессонной. Она началась... А когда она началась? И какая по счету ночь? Засада, потом взяли Тарантаева, потом поспал два часа на диване у полковника и — начались допросы, Саша взял парашютиста, Виктор нашел тряпки Тарантаева, возникла Баринова — вон сколько событий! А какой сегодня день? Вторник или среда? Конечно, среда. Пятница — последний срок, и осталось два дня... Только два дня. Где же Бурко?..

14

Вторая ночь прошла для Анны спокойно. За весь прошедший день Прасковья Васильевна лишь дважды подходила к ней: принесла противную жидкую кашу на завтрак и миску мясного бульона на обед. И все болтала, болтала без умолку о начальнике госпиталя Алексее Дмитриевиче, и какой он добрый, и какой заботливый, и какой строгий — просто ужас. Когда же вечером принесла чай с куском хлеба и ложкой сахарного песка в бумажном кулечке, Анна закрыла глаза и сделала вид, что спит. И старуха, потоптавшись, оставила ужин на табуретке возле койки и ушла. Анна не желала никаких расспросов, боялась, что бывшая уборщица станет интересоваться ее жизнью во время оккупации, но, главное, ее страшило, что глаза могут выдать: так она ненавидела эту проклятую старуху. Только одна

она сейчас связывала Анну с довоенным прошлым, со всем тем, о чем следовало немедленно забыть и постараться вычеркнуть из памяти других. Анна должна была исчезнуть, раствориться, забиться в такую конуру, чтоб никто никогда не отыскал... «Как собака»... Умом понимала, что если Гришку убили или если он ушел, то ей ничто не грозит. Понимала, но интуитивно чувствовала, что угроза уже нависла над ней. А она верила своей интуиции.

Вчера днем, в сопровождении Прасковьи Васильевны, пришел этот хваленый Алексей Дмитриевич, лысый, с лохматыми черными бровями. Он долго осматривал Анну, прослушивал ее, задирал веки и пристально смотрел в зрачки. Молоденькая медсестра после сменила ей повязку на голове. Анна постаралась изобразить сильную слабость, сказала о постоянном головокружении, тошноте. Врач качал головой, поглаживая лысину ладонью, хмурил брови и в конце концов сказал, что у нее скорее всего не воспаление легких, как он предположил вначале, а просто сильная простуда плюс нервное истощение и небольшое сотрясение, вызванное травмой черепа. Во всяком случае, лежать не меньше недели, полный покой и никаких волнений. Прасковья Васильевна, влюбленно глядя на врача, кивал без остановки, поддакивала каждому слову и вообще вела себя так, будто речь шла о ее родной дочери. Боже, как Анна проклинала ее в этот момент!..

Но вот прошла вторая ночь, и Анна успокоилась. Раз считают ее тяжело больной, решила она, пусть так для всех и будет. И теперь она словно заново обретала себя, набиралась сил и чувствовала, что скоро, очень скоро наступит момент, когда она сможет, не привлекая к себе внимания, тихо подняться с кровати и так же тихо исчезнуть навсегда от всех этих заботливых, настырных глаз.

Ночью Анне снилось маленькое круглое озерцо, вырытое среди большой зеленой лужайки. Плавали лебедь с лебедкой, из ближней рощи вышла лань и терлась замшевой мордочкой о ладошку Анны, выпрашивая хлеба. Сон был настолько ясным, что, проснувшись, Анна сразу вспомнила его и узнала. Это было в детстве. Были отец, мама. Был Петр, такой огромный, с красивыми пшеничными усами. Он шутя подбрасывал ее на руках, словно на качелях, и ей хотелось прижаться к его богатырской груди, обвивать руками его бронзовую шею.

Петр был военнопленным. Отец взял его к себе из лагеря в работники, потому что был он очень сильным и вынос-

ливым и к тому же не простым солдатом, а офицером. Отец говорил, что после жестокой многодневной битвы под Танненбаумом — это далеко на севере, в Восточной Пруссии, — доблестная германская армия окружила горсточку израненных и контуженных, однако не бросивших оружия русских офицеров и принудила их сдаться. И даже сам генерал отдал храбрецам честь и велел стрелять в ознаменование их подвига из пушек. Вот какого пленного привез отец. Петр усердно работал на своего хозяина, спал на чердаке коровника, где складывали сено. Это было в пятнадцатом году, и Анне тогда исполнилось четырнадцать лет, совсем еще девчонка.

Она росла своенравной, но не капризной девушкой, охотно занималась домашними работами, доила десятков пышнотелых коров, ухаживала за птицей, и все — легко, со смехом, с веселой шуткой. Она хорошо училась, красиво пела, умела даже рисовать, любила читать толстые романы о приключениях средневековых рыцарей, которые совершали свои подвиги неподалеку от их фольварка, в этих же саксонских землях. Анна и сама не заметила, как выросла, похорошела, нередко засматривалась теперь на Петра Барина, но глазами уже не той наивной девочки, сравнивающей его руки с качелями, а вполне определенно, с ясным и твердым убеждением, что это ее мужчина, что он ей нужен. В семнадцать лет Анна стала уже вполне взрослой, оформившейся женщиной, и вызывала весьма недвусмысленные намеки соседей, некоторые из которых были совсем не прочь ввести ее законной супругой в свои хозяйства. Но у нее не вызывали никакого почтения сытые и довольные бауэры, их тучные коровы и копченые окорока. Ее тянуло к пленному поручику Петру Баринову, могучему, как крепостная стена, сложенная из диких ледниковых валунов. Навязчивый интерес Анны, разумеется, не мог оставить равнодушным и работника, хотя ей казалось порой, что он по-прежнему относится к ней как к девчонке, пусть и довольно рослой для своих лет. Нет, Анна не была неопытной девочкой, в чем ей однажды удалось убедить Петра. С тех пор их встречи стали постоянными. Обычно Анна прибегала к нему во второй половине ночи, чтобы с первыми лучами солнца спрыгнуть с сеновала прямо в коровник и приняться за дойку. Так продолжалось более полугода.

...Ах, как коротка была майская ночь, она показалась Анне промелькнувшим упоительным мигом. Уже солнце высунуло из-за дальней рощи свой огненный край и скворец

замяукал, передразнивая кошек, а они все никак не могли оторваться друг от друга. Анна не слышала, как вышел из дому отец, позвал ее, думая, что она, как обычно, уже в коровнике. Но коровы протяжно мычали в ожидании утренней дойки, и значит, дочери там не было. Конечно, это слабоумный Ганс — скотник, что всегда исподтишка подглядывал за Анной, будто охотник за дичью, показал отцу, где может находиться в такое раннее утро его дочь.

С озорным смехом и легкой печалью вспоминала впоследствии Анна события этого восхитительного утра, ясно представляя себе, как, недовольно ворча под нос, медленно поднимался грузный отец по приставной лестнице на сеновал и вдруг увидел в полумраке заваленного сеном чердака вздернутые босые пятки дочери. Она помнила, как, подхватив юбки, удирала от разъяренного отца и пряталась от его гнева под кроватью у матери. Но дело было сделано, и следовало любыми средствами сохранить хотя бы остатки чести дочери, чести семьи.

Гнев отца обрушился на пленного, и он объявил о немедленной отправке мерзавца обратно в лагерь. Лагерь — это было для Анны очень страшно. Она помнила, каким привез отец работника. Это было обросшее, словно медведь, оборванное и грязное страшилище, к тому же невероятно голодное. На первых порах он попросту поражал соседей и других работников, приходивших на него смотреть, своей угрюмостью и прожорливостью. Только со временем Петр обрел человеческий вид и оказался вполне нормальным мужчиной. Все вроде бы ушло в прошлое, но любое напоминание о лагере снова рисовало Анне портрет чудовища, сошедшего со страниц ужасных книжек о Франкенштейне.

Как ни странно, страсть Анны к военнопленному не вызвала протеста у матери. Поздно вечером, когда отец вышел во двор, чтобы выкурить перед сном свою обычную трубочку, Анна по детской привычке забралась к матери под пышную перину и, обнимая ее костлявые высохшие плечи, зашептала:

— Мамочка, ну что я могу теперь поделать? Он мне так нравится, этот наш Петр.

— Жаль, дочка, — также шепотом ответила ей фрау Марта, рано состарившаяся в домашних трудах, — жаль, что так получилось. Мы с отцом очень хотели выдать тебя замуж за герра Мюллера или герра Либиха. Они очень почтенные и состоятельные люди. Но уж раз этому не суж-

дено случиться, я не против и нашего Питера. Он будет много помогать отцу. Он очень хороший работник.

— Он будет стараться, мамочка, — радостно уверяла Анна. — Он такой сильный, настоящий мужчина! И с отцом никогда спорить не будет.

— Да, дочка, — вздохнула мать, — пусть тебе повезет с ним. И не завянет твоя красота среди этих коров. Я желаю тебе счастья, хотя мечтала совсем о другом. Но знаешь, я вряд ли смогу сама уговорить отца. Ах, если бы кто-нибудь из тех, кого наш отец уважает, сказал ему об этом...

Тут слышались тяжелые шаги возвращающегося со двора отца, и Анна пулей выскочила из-под перины и унеслась в свою комнату.

А на следующее утро произошло событие, на которое Анна уже никак не могла рассчитывать. К ним из Дрездена приехал на несколько дней погостить кузен Вильгельм Клотш. Он, разумеется, был сразу посвящен все еще разгневанным герром Иоганном в суть семейного скандала. Этот высокий и стройный остролицый блондин, затянутый в офицерский мундир, в свои двадцать пять лет был уже важным сотрудником какого-то непонятного тылового военного ведомства и потому пользовался почти непререкаемым авторитетом у старого Иоганна. Старательно пряча плотоядную ухмылку за серьезной миной, Вилли выслушал возмущенного старика и отправился переодеваться для верховой езды, пообещав подумать и найти решение щекотливого вопроса. Выйдя затем во двор, он нашел Анну возле птичника. Девушка занималась своими хозяйственными делами и, увидев Вилли, без всякого смущения кивнула ему, словно приглашая повеселиться над этой нелепой и смешной ситуацией.

— Ну, Анхен, — улыбнулся Вилли, — удивила ты меня. — Он окинул взглядом свою легкомысленную кузину с ног до головы, и откровенная зависть шевельнулась в нем: девушка действительно стала очень хороша. — Может быть, ты покажешь мне своего избранника?

— А вон он сено разгружает. Иди, взгляни, — в больших серых глазах Анны сверкнули бесовские огоньки. — Иди, не бойся. Он смирный, не тронет.

Вилли, похлопывая себя по блестящему голенищу сапога стеком, подошел к Баринову, сгружавшему сено с большого воза, оглядел его, словно барышник племенного жеребца, с усмешкой подумал, что, конечно, с таким атлетом, играющим литыми бронзовыми мышцами, ему самому не

равняться, и в конце концов оценил выбор своей милой кузины. Вернувшись к девушке, он покровительственно полуобнял ее за талию, и она не противилась. Ведь от Вилли сейчас зависела ее судьба. Сумеет ли он убедить отца? — вот единственный вопрос, который ее теперь волновал. А Вилли — ну что ж? — ведь они уже были однажды с ним достаточно близки, чтобы называть вещи своими именами.

— Ладно, Анхен, — подмигнул Вилли и снисходительно-ласково потрепал ее по крутому бедру, — у меня, кажется, есть способ уговорить папашу Иоганна. А что, маляжка, не вспомнить ли нам наши юношеские шалости?

Анна высвободилась из-под его руки.

— Разве это необходимо?

— Ну... я уверен, — засмеялся Вилли, — что очень скоро у нас уже просто не представится такая возможность. Разве я не говорил тебе, что всегда свято чту брачные узы?

— Я подумаю, — Анна встряхнула пышными волосами. — Во всяком случае, я очень на тебя рассчитываю, Вилли...

— И все-таки почему именно этот русский, Анхен? — затаенная ревность промелькнула в вопросе Вилли.

— Видишь ли... — Анна на мгновение задумалась. — Он любит меня. Он не ревнив... С ним надежно, Вилли. А думать и решать я умею сама.

— Может быть, ты и права, моя Анхен... — задумчиво сказал Вилли.

За обедом кузен рассказывал о последних новостях. О развернувшемся на Западном фронте грандиозном наступлении, которое пока, к сожалению, не приносит видимых успехов германской армии. Потом заговорили о заключенном недавно, в марте, в городе Бресте перемирии с Россией, о богатейших и обширнейших землях Украины и Кавказа, которые отошли теперь к Германии. Демонстрируя свою непосредственную причастность к большой политике, Вилли заявил, что только в союзе с Германией у России может быть большое будущее и следует уже сегодня учиться заглядывать далеко вперед. Именно поэтому, сделал неожиданный вывод Вилли, лично он не видит ничего дурного в том, что может состояться брак между Анной и этим русским военнопленным офицером. Более того, он — Вилли — был почти уверен, что и его начальство одобрило бы подобный брак. Ведь самый прямой и тесный союз с русскими — это как раз то, о чем постоянно идут разговоры

в высоких сферах. Последний аргумент, вероятно, оказался наиболее убедительным для папаши Иоганна.

После обеда он уединился с Вилли и долго с ним о чем-то беседовал. А поздно вечером пригласил Анну к себе и сухо объявил, что, вопреки своей воле и своим планам, он, так и быть, готов дать согласие на ее брак с Петром, разумеется, если все будет оформлено по закону и удастся уговорить пастора. Но эту сторону вопроса, сказал старый Иоганн, берет на себя Вильгельм, благороднейший из людей. Потом отец еще долго и всесторонне обсуждал проблемы дальнейшей их жизни, так, словно ничего не изменилось: работник оставался тем же работником, она продолжала заниматься своими коровами, следовало только расширить копильню, а будущей весной посеять больше гороха. При чем даже имени Петра Барина в этом длинном монологе отца не упоминалось, как будто того вовсе и не существовало.

Анна была очень благодарна Вилли. Но ей даже в голову не могло прийти, как далеко в тот майский день смотрел ее заботливый кузен.

Все устроилось как нельзя лучше и довольно скоро. Жениху был сшит фрак, который отлично смотрелся на его крупной фигуре. Под стать была и очаровательная в своей молодости невеста. Кузен Вилли, исполнявший роль шафера, вел себя безукоризненно, хотя и поглядывал на молодоженов с косою усмешкой. Но за торжественным ужином в узком семейном кругу он неожиданно задал Петру вопрос: не скучает ли тот по своей революционной родине?

— Я никогда не интересовался политикой, — ответил Петр, спокойно, словно впервые, разглядывая лицо Вилли. — И на родине, как вы знаете, я не был больше четырех лет. Что там происходит, мне абсолютно неизвестно.

— Как, разве вы, Питер, не знаете, что в России произошла революция? Что теперь там новые порядки?

— Мне это неинтересно. Тем более что я глубоко благодарен герру Иоганну и фрау Марте за столь великодушное, сердечное отношение ко мне. И если будет позволено добавить, то Анна, моя супруга, сегодня сделала меня самым счастливым человеком на земле. Нет, я не хотел бы менять своего нынешнего положения.

— Может быть, у вас остался кто-нибудь на родине? Родители, друзья, знакомые? — продолжал настаивать Вилли. — Те, кому вы хотели бы передать привет. Теперь это можно сделать.

— Меня провожала мать. Но она была совсем старой и больной. Думаю, теперь ее уже нет в живых. К тому же она, наверное, вскоре узнала о моей гибели... Нет, можно сказать, никого не осталось. Мне не о ком жалеть... А потом, вы знаете, герр Вилли, я люблю простую работу, люблю мою Анну, и этого мне вполне достаточно.

Короткий диалог Петра с Вилли, настырно добивающегося от Баринова каких-то признаний, несколько озадачил Анну, но она постаралась не придавать ему особого значения и скоро о нем забыла.

И началась новая, теперь уже семейная жизнь, отличающаяся от прежней лишь тем, что отпала нужда бегать по ночам на сеновал, где пугающе шуршали по углам мыши и шумно вздыхали, пережевывая жвачку, коровы.

Только одно огорчало Анну: у них не было детей. Опытный доктор, рекомендованный все тем же кузеном Вилли, после обстоятельного осмотра сообщил Анне, что она, по всей вероятности, не сможет стать матерью, что, впрочем, никак не отразится на ее дальнейшем здоровье. Возможно, причиной тому была слишком ранняя взрослая жизнь Анны. И она, со свойственным молодости эгоизмом, махнула на будущее рукой и занялась приятным настоящим.

У нее снова, как в детстве, вспыхнула страсть к рисованию, и, покончив с ежедневными заботами, она писала сентиментальные акварельки, где были обязательные островерхие кирхи, белостенные, в темных переплетах дубовых балок дома под красными черепичными крышами, коровы и олени на изумрудном лугу и голубовато-сизые холмы на заднем плане.

Отец был доволен немногословным, работающим зятем: Петр один легко заменял трех работников, а это было немало в разрастающемся хозяйстве. Мечтавшая о внуках фрау Марта была разочарована, но тоже удовлетворилась спокойным счастьем молодых. Лишь кузен Вилли, как оказалось, не оставил своей далеко идущей идеи. В каждый свой приезд он, как бы исподволь, заводил разговор о России, советовал Петру навестить родину и даже предлагал свое содействие в такой поездке. Он говорил, что Россия и Германия — это два великих государства, которые должны жить в постоянном мире и сотрудничестве, приводил в пример времена великого Фридриха, цитировал высказывания на этот счет канцлера Бисмарка, длинно рассуждал на тему, как станут развиваться в дальнейшем связи двух главных держав на европейском континенте. И, ввиду всего

сказанного, делал вывод, что теперь совершенно не важно, где, в конце концов, жить — в России или Германии, важнее чувствовать себя другом и союзником.

Анна не любила этих разговоров и старалась переключить их на что-нибудь конкретное, домашнее. Но оказалось, настойчивые предложения Вилли падали не на бесплодную почву. Петр стал чаще рассказывать Анне о родном Смоленске, приднепровских кручах, тихих, предрассветных омутах, где он ловил в детстве золотых, литых окуней, о пасхальном малиновом звоне в Успенском соборе и волнующем до слез торжественном марше уходящих на фронт смоленских полков. Иногда Петру снилась мать. Воспоминания были грустными, и без того малоразговорчивый Петр в такие минуты замыкался в себе и очень этим беспокоил Анну. Она вовсе не желала каких-либо перемен в своей жизни. Но Вилли, Вилли...

Он, конечно, знал авантюрную жилку в характере своей кузины. Однажды, в конце лета двадцать первого года, сидя в саду под аккуратно побеленной яблоней, наливающейся плодами, он доверительно сообщил ей, что и он сам, и его высокое начальство очень рассчитывают на ее помощь.

— В чем же она должна выражаться, Вилли? — настоярилась Анна. В замужестве она очень похорошела, красота ее расцвела, стала яркой, вызывающей.

Вилли с откровенной завистью посмотрел на нее, и этот взгляд был очень приятен Анне.

— Видишь ли, Анхен, в мае этого года мы заключили договор с Россией. Ну, тонкости нашей политики, вероятно, тебя не должны особенно интересовать. Но если говорить в общих чертах, — в России будущее Германии. И нам очень нужны люди, которые, живя там, оставались бы верными нашим идеалам.

— Я что-то не понимаю тебя. Уж не хочешь ли ты предложить нам с мужем переселиться в эту глушь?

— Я подумал вот о чем. Сейчас многим бывшим военнопленным разрешено вернуться на родину. Но одно дело — просто уехать, как ты говоришь, в глушь, а совсем другое, когда все расходы по переезду, устройству берет на себя государство. Мы, например, могли бы предложить вам хорошую работу в России, большие деньги, самостоятельную и вполне обеспеченную жизнь.

— У нас все это есть дома, Вилли.

— Да, но здесь твой Питер как был, так и останется скотником. А разве тебя, Анхен, при всех твоих достоинст-

вах, не смущают эти косые взгляды соседей? Ведь русский пленный, каким бы он ни был, так до конца им и останется. И отношение к нему изменить у нас все равно невозможно. Ты это прекрасно понимаешь. Но, предположим, если бы вы с ним поехали в Россию, там для вас сразу все изменилось. Детей у вас нет, значит, и это не связывает. Русским языком ты владеешь благодаря Баринову в достаточной степени. Там и для тебя, Анхен, и для твоего мужа можно будет подобрать интересную, уважаемую работу. Нельзя же, в конце концов, всю жизнь возиться с коровами, с навозом. Надо стремиться жить красивой жизнью, знакомиться с новой страной, с новыми людьми, не даватьглохнуть красоте. Впрочем, если коровы — это предел твоих мечтаний... Жаль, я думал о тебе лучше.

— А чем мы должны платить за всю эту твою красоту?

— Ты могла бы не задавать этого вопроса, Анхен, — огорчился Вилли. — Не я ли первый всегда шел навстречу любым твоим капризам? О какой плате может идти речь, если я говорю и думаю прежде всего о тебе, о твоём будущем? Ты, с твоей прекрасной внешностью, с твоей деловой хваткой, с твоим умом, наконец, должна, да и просто обязана занять подобающее тебе место в обществе. Боюсь, что здесь этого достичь будет трудно. Даже, прости меня, невозможно. Но там... Там перед тобой откроются широчайшие перспективы. Я понимаю, что моя аналогия может быть не совсем удачной, но если ты вспомнишь историю, примеров предостаточно. Кем была, скажем, Софья Ангальт-Цербстская? Да самой заштатной принцесской, дочерью мелкого князька. А в России она стала императрицей! Екатериной Великой! Или жена последнего русского императора Николая — тоже ведь по происхождению мало кому известная принцесса из Гессена. Я мог бы продолжить примеры, но к чему, если они тебе не по душе?.. Нет, я не тороплю тебя, Анхен. Но помни, сегодня счастье в твоих руках... А услуги — бог мой — какая чепуха, об этом и говорить-то не стоило бы, если бы ты сама не завела разговор. Думаю, что ничего такого, что противоречило бы твоей совести, делать не надо. Следует просто честно работать с нашими фирмами, помогать им твоим собственным знанием России, русских. Тебе, Анхен, это легче, чем кому-либо другому. Зная своего Петра, ты легко поймешь и его соотечественников. Вот и все.

— А при чем здесь твое начальство, Вилли? Почему оно-то заинтересовано в нашем отъезде в Россию?

— Но я же сказал тебе, Анхен, любой гражданин Германии, где бы он ни находился, останется им до конца своих дней. И верно служит родине, ее интересам. Разве это так непонятно?

— Ладно, Вилли, оставим этот разговор. Я должна хорошенько подумать над твоим предложением. И, разумеется, посоветоваться с мужем.

— Ну, если бы не ты, прекрасная моя кузина, — рассмеялся Вилли, — он бы давно уже убежал в свой Смоленск. Хорошо же ты понимаешь своего Питера!

В глубине души Анна должна была признать, что в этом вопросе Вилли был прав. Петр, особенно в последнее время, как изголодавшийся набрасывался на те немногие русские газеты, которые предусмотрительный Вильгельм всякий раз не забывал захватить с собой из Берлина, где он теперь работал. Ловкий парень этот Вилли, не раз думала Анна, упорно ведет свою какую-то очень хитрую игру. Но в словах его, к сожалению, имелась большая доля разумного. И в этом Вилли также нельзя было отказать.

Когда Анна заговорила с мужем о возможности переехать в Россию, ей стало даже как-то внутренне неловко и обидно от той откровенной радости, которая словно выплеснулась из глаз Петра. И тогда она решилась. Она написала короткое письмо Вильгельму в Берлин и вскоре получила вызов для оформления документов.

Вилли встретил ее, снял для нее уютный номер в маленькой гостинице в районе Панкова, сам отвез в большой серый дом на одной из центральных берлинских улиц и при этом вел себя предельно корректно и предупредительно.

Пожилой сотрудник ведомства, в котором теперь работал Вильгельм Клотш, был также корректно вежлив. Он долго расспрашивал Анну о том, чем она занимается, интересуется, о родителях, наконец о муже, а потом сам заговорил о развивающихся торгово-экономических отношениях с Россией.

— В настоящее время, — сказал он, — ведутся переговоры об организации в России пяти концессий. Но уже через год-другой, когда Германия завоюет русский рынок, откроются десятки концессий. Россия неимоверно богата лесом, нефтью, углем, металлом. Смешно сказать, но уже сегодня выгоднее всего вывозить от русских металлом, которого за годы войн накопилось на полях сражений фантастическое количество. Но и это только начало. Германия создаст в России, на Украине, в Сибири акционерные

общества по производству зерна и продуктов животноводства, по вывозу леса и руды, воздушным и наземным сообщениям... Перспективы прямо-таки захватывающие! Работы предстоят грандиозные! И важнее всего именно теперь, пока Россия слаба и беспомощна и даже пошла на поклон к предпринимателям, объявив это своей новой экономической политикой, насадить в ней торговые и промышленные компании, успеть застолбить основные золотоносные участки. Как вы понимаете, фрау Анна, все, о чем я только что рассказал, открывает перед вами не менее блистательные перспективы. Вам следует поселиться в Москве или Петрограде, а уж мы сделаем все, чтобы вам предоставили в одной из наших фирм работу переводчицы.

— Но я никогда не занималась этим делом. Не знаю, смогу ли так сразу...

— О, это совсем несложно. В наших фирмах работают прекрасные специалисты. Мы попросим одного из них взять над вами руководство. А остальное — дело техники. Он же научит вас всему необходимому для жизни в чужой стране. Но на первых порах торопиться не следует. Для начала вы вместе с мужем посетите его родные места, может быть, даже поселитесь там. Временно. Для этого у вас будут достаточные средства. А потом вы просто опустите в почтовый ящик вот этот конверт. Адрес здесь уже написан, — собеседник протянул Анне пустой конверт с написанным по-русски московским адресом. — Вы только сообщите, что прибыли и устроились. И все. Вас найдут и дальше возьмут все заботы на себя. Беспокоиться ни о чем не надо, но не следует и выказывать нетерпение. Все произойдет как бы само собой. А теперь, фрау Анна, я приглашу вашего кузена, который, как я вижу, совсем не зря проявил столь глубокую заботу о вас. Лично я также чрезвычайно доволен нашей встречей. Герр Клотш проводит вас к чиновнику, который займется оформлением ваших документов. Желаю вам удачи.

Документы вскоре были оформлены, назначен день отъезда. Родители мрачно молчали. С ними долго беседовал Вилли, объясняя отъезд Анны и на этот раз государственной необходимостью. Иоганн и Марта, люди, в общем, простые, привыкли верить умному, обретающемуся в высоких сферах Вильгельму. Им было жалко отпускать хорошего работника и дочь в далекую и малопонятную им землю, но спорить с серьезными доводами не приходилось. Вилли и прежде не раз давал дельные советы.

С тем Бариновы и уехали. Мать Петра действительно умерла еще в пятнадцатом году, не вынеся извещения о гибели сына, а старых знакомых ему искать не хотелось, жизнь давно уже пошла по другому руслу. Так что связи с родным городом у Петра прервались, и семья Бариновых поселилась в Брянске, где Петр без труда устроился в железнодорожные мастерские. Анна, к тому времени уже довольно прилично освоившая русский язык, стала работать в школе учительницей немецкого языка. Купили себе хороший дом с садом, разбили под окнами цветник и стали жить, вполне довольные своим новым положением и друг другом. Устроившись, Анна отправила в Москву письмо. Шло время, ответа не было, и Анна скоро стала забывать о своем послании.

В ноябре двадцать второго года, как раз накануне праздника пятой годовщины Октября, в Брянск пришло письмо. В нем неизвестный тогда Анне советник Курт Брандвайлер сообщал, что при главной конторе смешанного русско-германского общества «Эйзенаусфур Отто Вольф и К^о», представляющей концерн Отто Вольфа, в конце года будет открыто техническое бюро для консультации и доставки в Россию машин и прочих технических материалов, необходимых промышленности. Отто Вольф уже открыл необходимый кредит по договоренности с правительством Советской России, и бюро, учитывая рекомендации компетентных организаций, приглашает Анну Ивановну Баринову на работу в качестве эксперта-переводчика. Ниже сообщалось, что бюро обязуется обеспечить также работой на одном из московских предприятий ее мужа. Квартира предоставлялась.

Анна, конечно, не была настолько наивна, чтобы не понять, какая компетентная организация настойчиво рекомендовала ее германским специалистам. Она не знала тогда только одного: что это письмо навсегда свяжет ее с профессиональным разведчиком. Сперва исподволь, а позже всяма целеустремленно Курт будет учить ее агентурной работе, давать поначалу довольно простые задания, со временем усложнять их. И она станет собирать самые различные сведения об оборонных объектах, дислокации частей Красной Армии, данные на советских и партийных работников, активистов. По указанию Курта, она в течение ряда лет будет честно и добросовестно исполнять должность рядового инспектора потребительской кооперации в райцентрах Брянской и Смоленской областей. И под крышей этой вполне

мирной профессии, находясь в постоянных разъездах, научится тщательно вывязывать из всякого рода отщепенцев, бывших уголовников, кулацких элементов, буржуазных националистов и белобандитов агентурную сеть, скрепляя ее письменными обязательствами и подписками.

Анна оказалась умелой и деятельной ученицей, и Курт испытывал к ней не только те чувства, какие могут проявляться у профессионального разведчика к способному ученику. Между ними завязались близкие отношения. Но, впрочем, и Анна, и Курт оказались достаточно благоразумными, чтобы не осложнять своей, и без того чреватой опасностями, деятельности. И после двух лет московской жизни Бариновы вернулись в Брянск, где был куплен другой дом взамен проданного ранее. Петр снова стал работать на заводе, переоборудованном из бывших железнодорожных мастерских.

Но в двадцать шестом году случилось несчастье — авария, в которой погиб старший мастер Петр Баринов. И раньше, и особенно в последние годы Анна задавала себе вопрос: любит ли она Петра? И вообще, любила ли когда-нибудь? Трезво оценивая свои чувства, она приходила к нелестному для Петра выводу: нет. Сперва было детское изумление, какое-то безоглядное увлечение, позже пришло тщеславное чувство обладания этим могучим диковинным пришельцем из другого мира. Он действительно был и надежным и верным спутником, удобным во всех отношениях. Она увлеклась им, но не более. Пылкость ее воображения, взращенного на рыцарских романах, в какой-то момент словно разбилась о стену его молчаливого обожания. Он любил ее — это бесспорно. Но не было ли это благодарной любовью спасенного к своей спасительнице?.. Уж очень рассудительной казалась ей его любовь, лишенная огня, ревнивой остроты, бурной страсти.

Через год после смерти мужа, провожаемая сердечными напутствиями сослуживцев, Анна переехала в Смоленск. Работала по-прежнему в сельпо, разъезжала по районам, знакомилась с руководителями, и те были рады оказать любую помощь красивой молодой женщине.

Обычно для поездок Анне выделяли пароконную бричку со старичком-кучером. Но однажды старик заболел, а ехать следовало срочно, и Анне предложили молодого конюха — здоровенного черноволосого парня с шальными цыганскими глазами. Анна с некоторой опаской поглядывала на него, но управляющий, сразу оценив ее опасения, рас-

смеялся и заверил, что это у Гришки только внешность такая, а вообще-то смирнее парня на свете не сыщешь. А что здоров он, так вдвойне польза: чем помочь, чего поднести, защитить от дурака какого, да и коней любит. Словом, одна сплошная польза и никаких неожиданностей.

Дорога была неблизкая, и за разговором Анна сумела мягко, по-женски выпытать у Гришки всю его подноготную. Отец его, белый офицер, ушел в двадцатом в Турцию, бросив жену и двенадцатилетнего сына на произвол судьбы. Григорий сбежал от матери, скитался, жил в детском доме, где успел доучиться до шестого класса. Больше к образованию его не тянуло.

Глядя озорными влюбленными глазами на свою спутницу, Гришка разоткровенничался, расплылся, стал вспоминать свои былые похождения, рассказывал о людях, встречавшихся на его не столь долгом жизненном пути.

И Анне чем-то приглянулись и его диковатый характер, и его насмешливость, и точность наблюдений. Она чувствовала, что Гришка уже научился понимать людей, их желания и слабости, и, вероятно, умеет пользоваться своим знанием, полагая, что этого вполне достаточно для безбедной жизни. А если еще разбудить в нем тщеславие, думала Анна, он может далеко пойти. Направляемый опытной рукой, разумеется.

Может быть, именно своей молодостью — ему тогда только исполнилось двадцать, — своей бесшабашной удалью и перспективностью, о которой только зародилась мысль у Анны, и привлек в ту поездку ее внимание Григорий.

Потом он стал как-то само собой ее постоянным кучером. Причем никаких встречных шагов с ее стороны сделано не было. Значит, это уже он сам проявлял инициативу. Анна все понимала и терпеливо посматривала, когда созревший плод сам упадет в руки.

Однажды под осень, в одной из дальних поездок, они попали под проливной дождь. Анна промокла до костей, замерзла и чувствовала, что ее всю колотит. Григорий быстро сумел отыскать подходящую избу в деревне, договорился с хозяином, и вскоре Анну ждала настоящая русская баня с пышущей жаром печью и раскаленным душистым веником. Все это было сделано с такой заботой и поразившей Анну деликатностью, что она не испытала никакого смущения перед парнем. А когда распаренная, чувствуя необыкновенную легкость во всем теле, Анна открыла глаза и увидела

в облаке жара мощную, как у Геркулеса, фигуру Григория, она сама невольно потянулась к нему. И не пожалела об этом.

Григорий, так же как и она, имел склонность к рискованным ситуациям, не боялся ни бога, ни черта, лихо пел, бил чечетку, играл на гитаре, и объятия его были сильны, словно стальные тиски.

Анне удалось-таки разбудить в нем тщеславие, и вскоре Григорий перешел из кучеров-конюхов в практиканты. Она засадила его за книги по бухгалтерскому учету, помогала, делилась опытом. Своей близости они не афишировали. Случалось, Григорий жил у нее день-другой, но потом Анна выставляла его из своего дома, и ему приходилось возвращаться в маленькую комнатку, которую он снимал у одинокой пожилой женщины. На людях Анна была с Григорием холодна и сдержанна, и это еще больше распаляло его, делало их нечастые встречи всегда бурными и желанными для него.

В свои дела Анна не посвящала Григория, понимая, что еще не наступил нужный момент. Иногда она выбиралась в Москву, и там во время хитроумно продуманных свиданий с Куртом передавала собранные ею и поступающие от агентов сведения. Удавалось навещать ее в Брянске, а позже в Смоленске и Курту, который не только инспектировал ее деятельность, но и продолжал обучение тонкостям агентурной работы.

Среди всего прочего особое внимание он постоянно обращал на ее поведение. Хвалил за ровные, ненавязчивые отношения с окружающими. Именно таким и должен быть настоящий разведчик. Нельзя ни в коем случае выказывать свое превосходство, надо научиться понимать людей, быть снисходительным к их слабостям, но при этом твердо верить в свою избранность. Русский народ еще будет служить Германии, и лучше, если он станет это делать не из-под палки, не по принуждению, а так, как служит умному охотнику его верный сеттер. Потом Курт смеялся и уверял, что Анна не должна думать, будто он ее «натаскивает». Нет, тут они на равных, они — охотники, оба они одиноки, и это очень правильно. Любая привязанность обязательно подчиняет одного из двоих. А в их профессии это опасно.

Но в один из приездов Курта чуть не произошла катастрофа. Всегда вольно чувствующий себя в доме Анны, Курт тем не менее был предельно осторожен. Он ничего не знал о ее связи с Григорием — Анна считала преждевре-

менным сообщать ему об этом. Получилось так, что оба потеряли осторожность. И тут неожиданно вернулся из района Григорий. Как он вошел в дом, уму непостижимо. Нет, ничего явно непристойного он не увидел, но, этот рыжий коротышка, развалившийся без пиджака, в подтяжках на Анином диване, мгновенно разъярил Григория. Не помня себя, ослепленный ревностью, Григорий ринулся, опрокидывая стулья, на незнакомца. Коротышка вскочил, ловко увернулся от удара, и Григорий почувствовал сокрушающую боль в животе, а от второго удара в челюсть он рухнул, потеряв сознание.

Нелегко дались Анне объяснения по поводу своего молодого любовника. Но Курт и не требовал подробностей. Просто, уезжая, он посоветовал Анне срочно найти способ привязать к себе этого Гришку окончательно, взяв с него официальную подписку со всеми вытекающими последствиями. Анне не очень хотелось это делать, но совет Курта прозвучал как приказ. Прощание было скомканным, и Анна поняла, что в их отношениях с Куртом, до того дружески прямых и ясных, что-то нарушилось... Может быть, поэтому позже, уже когда началась война, Курт с такой небрежной легкостью передал ее в подчинение Бергеру?..

Когда Гришка пришел в себя, он ужаснулся, настолько его любимая Аня — Анечка была разъяренной. Из всего ушата оскорблений, который вылился на него, он смог уловить лишь то, что это был сослуживец ее покойного мужа, его близкий товарищ, а теперь он обижен до глубины души, и причина тому — Гришка, ничтожество и жалкий подонок. Но постепенно пыл ее угасал, а какое-то время спустя Гришка уже вполне мирно сидел за столом и за обе щеки уписывал обед, оставшийся от «обиженного» им рыжего. Гришка достаточно опьянел, Анна была с ним ласкова, нежна, поэтому он поначалу и не очень обратил внимание на ее слова о какой-то там помощи Германии. Но когда смысл сказанного наконец дошел до него, он был буквально ошарашен. Оказалось, что он уже давно и бесповоротно связан с резидентом германской разведки, помогал, доставал такие сведения, за которые тюрьма — это в лучшем случае — давно обеспечена. Утешало в какой-то степени лишь то обстоятельство, что говорила об этом Анна, которую он обожал, боготворил, ревновал всей своей неприкаянной, одинокой душой, Анна, с которой он бывал по-настоящему счастлив и чувствовал себя всемогущим мужчиной.

В ту ночь он, однако, напился до бесчувствия, а утро

принесло горькое похмелье и понимание того, что выбор сделан помимо его воли и окончательно.

Анна достала из своего потайного сейфа, оборудованного в подвале дома, небольшой листок с отпечатанным типографским способом немецким текстом и стала переводить его Григорию. Но тот слушал плохо, запало в память лишь то, что отныне он добровольно изъявлял желание сотрудничать с германской военной разведкой и в случае отказа от выполнения задания или измены будет нести ответственность по закону германской разведки. Гришке ничего не оставалось, как подписать этот немецкий текст. Бросить Анну он не мог, значит, надо плыть дальше по течению. И все покатилося по-прежнему, с той лишь разницей, что теперь и он почувствовал некоторую власть над Анной и мог сам попробовать диктовать такие-то условия. Анна легко уступала в мелочах, но была категорически жесткой, когда Григорий требовал большего, нежели просто любовная связь. Она решительно отказывалась выйти за него замуж. В конце концов Григорий решил довольствоваться тем, что имел, оставил свои надежды и даже подумал, что так оно, наверно, лучше, никому не в тягость. И со спокойной совестью стал донашивать костюмы своего предшественника.

Начавшаяся война заставила Григория затаиться до особого распоряжения Анны. А когда он наконец смог вылезти на свет божий, уже появился Бергер, который сразу же поставил его в положение слуги и исполнителя самой грязной работы осведомителя и провокатора. Конечно, Анна чувствовала себя виноватой оттого, что не смогла отстоять хоть какую-то, пусть внешнюю самостоятельность и незамазанность Григория в кровавых делах Бергера и его приятеля гестаповца Клямке. Но что она могла сделать, если и сам Гриша, с его непомерно раздутым тщеславием, так и лез на рожон. Может быть, он рассчитывал на то, что какой-нибудь офицерский чин в немецкой армии даст ему большие права на Анну? Все могло быть, думала теперь Анна, но его ведь больше нет... Она вспомнила стрельбу на улице, солдата, обыск, бесцеремонные слова мимоходом: «Бабка старая»...

И вот лежит она одна. Бергер бросил. Гришу убили... И если эта проклятая уборщица ее выдаст... То что случится? А ровным счетом ничего! Нет никого, нет свидетелей. Она ведь действительно никого не убивала и ни в кого не стреляла. А о том, кто она на самом деле, не может знать

ни одна живая душа в городе. Бергер же поклялся, что она не фигурирует ни в одном документе. Карл мог бы сказать — но он далеко. Так далеко, что и не достать.

Поэтому нельзя нервничать, волноваться. Надо успокоиться, взять себя в руки и снова стать прежней Анной, милой, простой, доброжелательной... А интуиция? Ну что ж, разве не смертельно опасно то дело, которым она занимается всю жизнь?..

15

Военный санаторий располагался в двух десятках километров от Москвы, на высоком берегу Москвы-реки, в старинной не то графской, не то княжеской усадьбе. Кто был ее прежним хозяином, Бурко толком не понял, чуть ли не родственник царя. Поэтому он и усадьбу себе строил широко и богато, по-царски, великого по тем временам архитектора пригласил. Так объяснял капитану шофер «эмки», несущейся с довольно приличной скоростью по шоссе мимо безлюдных, словно вымерших подмосковных поселков и деревушек. Шофер уже не раз бывал со своим начальством в санатории и теперь всю живописал роскошный дворец со множеством колонн и мраморных статуй древних героев на террасах и вдоль аккуратных, на заграничный манер аллей.

На родине Бурко, в Камышовичах, в бедном Полесье на границе Черниговской и Гомельской областей, ничего подобного, конечно, быть не могло. Забытые богом хутора, бесконечные леса и болота — вот где прошло детство и началась его трудовая жизнь. Позже, во время учебы в Гомеле, Бурко и сам жил в красивом высоком доме, но он наверняка не годился для сравнения с этим дворцом. Никогда еще не бывал во дворцах Бурко, не имел для этого времени. С середины тридцатых годов в качестве уполномоченного райотделения НКВД Бурко дни и ночи кочевал по району. Это были годы усиленной классовой борьбы в деревне, и Бурко «учитывал», как тогда говорили, торговцев и кулаков, спекулянтов, бывших белогвардейцев. С освобождением западных областей работы прибавилось, к вышеперечисленным враждебным элементом добавилась польская и немецкая агентура.

Начало войны застало Бурко в Минске, где он занимался эвакуацией секретных документов и материальных цен-

ностей, а потом и сам пробивался на восток сквозь огонь и бомбежки, дважды выходил из окружения, участвовал в декабрьском наступлении под Москвой. Сорок третий год встретил в армейской прокуратуре в чине капитана, а затем был переведен в Особый отдел корпуса на должность следователя. Народ в отделе подобрался толковый, умели работать с полной отдачей, до седьмого пота, что особенно ценил крестьянский сын Василий Бурко, однако не забывали и шутку, к которой он был всегда расположен, обладая смешливым и немного авантюрным характером. Правда, за этот свой характер он уже имел несколько, хоть и не очень строгих, нареканий от майора Дзукаева, в общем с пониманием относящегося к юмору, веселому розыгрышу. Бурко так и подмывало скопировать старшего следователя, его кавказскую горячность, своеобразную интонацию гортанного голоса и особенно заметный в минуты раздражения характерный акцент. Дзукаев сердился или делал вид, что сердится, но было видно, что и он дорожит единением своих подчиненных, их дружбой и постоянной готовностью к взаимовыручке.

Вот и теперь, получив задание встретиться с Елецким, Бурко понимал, как важен для ведущегося расследования разговор с бывшим партизанским командиром, и радовался про себя, что все пока так удачно складывается — без особых потерь времени. Но еще большее удовольствие испытывал Бурко, когда представлял себе, как будут довольны его успехом в отделе, он уже словно видел искорки в глазах Дзукаева. И ему было не просто приятно хорошо делать свое профессиональное дело, а делать его именно для своих коллег, неутомимого Саши Рогова, мрачноватого тугодума Виктора Дубинского, постоянно напряженного, словно натянутая струна, всегда первым лезущего в самое пекло Ивана Дзукаева, наконец, для предельно спокойного и собранного, стоящего горой за своих подчиненных полковника Федорова, — вот уж и правда, если кому и хотелось поддразнить, так только ему...

Невольно замедляя шаг и покачивая головой от восхищения, разглядывал Бурко высокие стрельчатые окна старого дворца, красивые завитушки на вершинах колонн, широкие мраморные лестницы и мраморных львов на них, витые стойки перил по краям террас. Он понимал сейчас особую гордость москвича-шофера, расхваливавшего на все лады такую красоту.

Молоденькая медсестра вела капитана тенистой липо-

вой аллеей вдоль кованой чугунной ограды в сторону реки. Они миновали широкую, ровно подстриженную зеленую лужайку, заглянули в санаторный корпус и отправились дальше, к площадке над обрывом.

— Обычно в это время выздоравливающие там, на лавочках, отдыхают, — пояснила словоохотливая девушка. — Сейчас мы найдем вашего приятеля... А вы к нам прямо с фронта? Ну, как там? А здесь тихо, фашисты ведь сюда так и не прошли, ничего не смогли разрушить, хоть и бомбили. А чего тут бомбить, что это — завод? Ведь правда же, видно, что никакой это не военный объект? А бомбили... Красиво тут, вам нравится? Мы ведь только недавно со статуй щиты сняли...

Бурко чувствовал легкие уколы совести. Он объяснил главному врачу, что приехал буквально на несколько часов с фронта навестить своего сослуживца, и теперь думал, как станет представляться Елецкому, чтобы не вызвать подозрения у этой девушки, которая, конечно, обо всем тут же доложит врачу. Дело в том, что главврач сразу запретил ему все разговоры с Елецким на служебные темы. Он уже ознакомился с удостоверением Бурко и примерно представлял, какие воспоминания могут быть у чекистов. Елецкому, строго предупредил он, противопоказаны всяческие тревожения. Знал бы чопорный седой эскулап, — это интересное словечко Бурко подцепил у Саши Рогова, — какие причины привели сюда Бурко и сколько судеб зависит от посещения закрытого военного санатория этим неказистым с виду, смешливым капитаном.

Медсестра подвела Бурко к краю террасы, где, сцепив ладони на рукояти толстой палки и положив на них подбородок, сидел в задумчивости сухопарый, стриженный бобриком мужчина в кремовой полосатой пижаме. Плетеная соломенная шляпа лежала рядом на скамейке.

— Вот, я же знала, пожалуйста, ваш товарищ Антон Ильич, — кивнула девушка и хотела было окликнуть Елецкого, но Бурко остановил ее, тронув за локоть.

— Ага, спасибо, родненькая, — он подмигнул ей, — я его маленько разыграю, а ты иди, спасибо. Доктору скажи, что его приказ — для меня закон.

Бурко проследил, чтобы любопытная медсестра отошла достаточно далеко, и тогда приблизился к Елецкому, опустился на скамью рядом с его шляпой и тоже уставился в заречную даль, затянутую голубовато-сизой дымкой. Елецкий, мельком глянув на него, подвинулся, освобождая

место. Бурко уже отдышался от быстрой ходьбы, успокоился и принял решение, как вести беседу. Он огляделся и, не заметив поблизости других отдыхающих, повернулся к Елецкому.

— Здравствуйте, Антон Ильич, — негромкой скороговоркой начал капитан. — Вам большой привет от ваших друзей Завгороднего и Червинского. Они желают вам доброго и скорого выздоровления, помнят вас и любят.

Елецкий едва заметно вздрогнул и медленно обернулся к Бурко.

— Вы оттуда? — без удивления спросил так, словно продолжал давно начатый разговор.

— Ага, — Бурко назвал город, из которого прибыл, и добавил, протягивая короткопалую сильную ладонь, — разрешите представиться: капитан Бурко Василий Емельянович. Вот мое удостоверение. Это чтоб сразу снять у вас другие вопросы. — Он протянул Елецкому документ, и тот внимательно его прочитал, закрыл и вернул владельцу.

— Чем могу служить, Василий Емельянович? — Елецкий произносил слова как бы с натугой, глуховато, со множеством шипящих звуков. — Какая нужда привела вас ко мне?

— Ежели вы не возражаете, давайте сразу внесем ясность, — Бурко оглянулся и вдруг заразительно засмеялся, но, заметив недоуменный взгляд Елецкого, быстро добавил: — Антон Ильич, извиняйте, улыбнитесь, коли можете, а то меня сейчас отсюда попрут в три шеи и с барабанным боем, как последнего проходимца.

Елецкий усмехнулся, слегка обнажив беззубые голые десны, с интересом взглянул на капитана, и тут же они услышали высокий, с начальственными нотками голос главного врача, подходившего к ним:

— Встретились... однополчане? Так, кажется, вы называетесь?

Бурко вскочил, поднялся и Елецкий, опираясь на палку.

— Как себя чувствуете, Антон Ильич? — главврач властно взял Елецкого за запястье и вынул из жилетного кармана часы на золотой цепочке. Щелкнул крышкой и после небольшой паузы отпустил руку. — В норме... Н-ну-с, — он строго посмотрел на Бурко и погрозил ему пальцем. — Помните, никаких отрицательных эмоций. Если, разумеется, вы ему настоящий товарищ. Отдыхайте... Антон Ильич, перед обедом прошу пожаловать.

— Слушаюсь, Борис Евгеньевич, — Елецкий склонил го-

лову и при этом пытливо, искоса глянул на Бурко, который, словно мальчишка, снизу вверх смотрел на строгого доктора и всем своим видом излучал готовность сию минуту бежать и исполнять его любое, даже самое невозможное желание.

Главврач коротко поклонился и, заложив руки за спину, неспешно направился вдоль мраморной балюстрады к другим больным.

Бурко шумно выдохнул воздух и облегченно плюхнулся на скамейку. Расстегнул воротник мундира и покрутил борцовской шеей. Потом кинул рядом со шляпой Елецкого свою пропыленную, выгоревшую фуражку и вытер ладонью лысину.

— Что, чуть не влипли? — понимающе улыбнулся Елецкий. — Ладно, давайте к делу. Я ведь чувствую, что вы примчались сюда с фронта не только передать мне привет от Саши Завгороднего. Кстати, как он там?

— Секретарствует, — коротко ответил Бурко и, помолчав, добавил: — Добре помогает нам. Но есть несколько вопросов, на которые и он, к сожалению, не может ответить. Вы уж извиняйте, что пришлось заняться таким маскарадом.

— Служба, понимаю, — кивнул Елецкий, садясь так, чтобы обеспечить себе обзор за спиной капитана. — А вы туда смотрите, — он ткнул большим пальцем себе за спину. — У нас тут такие сестрички, что все разведки мира бледнеют.

— Значитца, о деле... Только я вас попрошу, Антон Ильич, вы вправду постарайтесь не шибко переживать. Вопросы ж наверняка будут нелегкими, сами чуете... Извиняйте, у вас тут как, вагон для курящих?

— Сделайте одолжение. Сам бы закурил, да запретили. Категорически... Здесь все — категорически... — он закашлялся, выхватил из пижамного кармана платок и прижал к губам.

Бурко виновато спрятал пачку папирос, но Елецкий протестуяще замахал рукой, сплюнул в платок, нервно смял его и затолкал обратно в карман.

— Да курите вы себе на здоровье, пусть хоть разок здесь здоровым мужиком запахнет... Не возражаете, если мы потихоньку пройдемся?.. Ну, выкладывайте, что там у вас по моей части.

Бурко, стараясь избежать ненужных деталей, пересказал суть событий последних дней, коих был участником, и,

подводя итоги, вынул из бумажника фотографию Тарантаева. Протянул Елецкому.

Антон Ильич двумя пальцами, с заметной брезгливостью взял фото, отодвинул на вытянутую руку, как дальнорядный человек, долго молча рассматривал и, возвращая ее Бурко, коротко сказал, как о постороннем предмете:

— Цыган...

Они медленно шли по пустынной аллее, и Елецкий также медленно, словно подбирая слова, рассказывал о подготовке партизанской базы, формировании отряда. Бурко показалось, что он нарочно оттягивает время, когда придется заговорить об аресте и допросах в гестапо. Понимая, как болезненно должен переживать это событие Елецкий, Бурко не торопил его, не подталкивал вопросами.

Неожиданно Елецкий остановился, чуть запрокинул голову и, глядя прищуренными глазами в белесое, безоблачное небо, сказал как бы с сожалением:

— Хорошо здесь, тихо... А что, Василий Емельянович, здорово почувствовать хоть на короткое время эту тишину?.. Вы уж, поди, забыли, что небо может быть таким прозрачным и мирным?

Бурко сокрушенно покачал головой, продолжая думать о том, что время утекает с немыслимой быстротой, и идентичность Тарантаева с Цыганом — это хоть и нужная, но всего лишь малая деталь в затянувшемся расследовании, а впереди еще великая масса неясностей, и сейчас, пожалуй, только Елецкому можно не торопиться.

Елецкий молча стоял, разглядывая теперь аккуратно посыпанную толченым кирпичом дорожку, обрамленную гранитным полированным бордюром.

— Ну, что, коллега? — улыбнулся Елецкий и испытующе взглянул в глаза капитану. — Хотите, скажу, о чем вы думаете?.. А думаете вы, как бы заставить этого треклятого Антона побыстрее выдать нужную информацию и не томить душу своими воспоминаниями. Так ведь?

Бурко криво усмехнулся и кивнул с глубоким, почти безнадежным вздохом.

Елецкий весело рассмеялся.

— Спасибо за правду... Вы говорили, что вас интересует еще и та женщина, которая, как вы полагаете, выдала меня немцам... Честно говоря, она меня тоже весьма интересует, потому что именно в ней все дело. Дважды я с Анной Ивановной Бариновой, так ее зовут, встречался в жизни. Очень красивая, эффектная женщина...

Елецкий замолчал, сделал несколько шагов и вдруг остановился, словно запнувшись. Потом медленно повернулся к Бурко и уперся невидящим взглядом в его лицо.

Капитан выждал минуту и вкрадчиво спросил:

— Ну, Антон Ильич, нешто догадка какая в голову пришла? Гляжу, вы вроде как не в себе.

— Пришла, пришла, — машинально пробормотал Елецкий и, словно разглядев наконец Бурко, прищурил глаза. — Но знаете, дорогой мой Василий Емельянович, одних догадок тут мало. Я ведь все время об этом размышляю. Мне и самому надо многое понять... Вот вы приехали, задали десяток вопросов, необходимых вашему следствию. И я рад бы на них ответить. А сейчас — знаете как это бывает? — вдруг случайно попробовал соединить несоединимые, казалось бы, вещи, факты, и они соединились. Да как! Нет, капитан, теперь и вы так просто от меня не отделаетесь.

Последняя фраза прозвучала вроде бы шутливо, но Бурко увидел, что Елецкий при этом очень серьезен и даже как-то насторожен.

— Так что вы мне предлагаете? — попробовал тоже взять шутливый тон Бурко.

— Предлагаю, предлагаю... Да, Баринова... Послушайте, капитан, у меня к вам абсолютно деловое предложение. Во-первых, давайте попробуем не обращать внимания на мое здоровье. Борис Евгеньевич, сами слышали, заметил, что все идет нормально. А волнения, воспоминания, — это пусть останется для женщин. Второе: в вашем городе я провел достаточно времени, чтобы понять и запомнить целый ряд людей, которые могли бы хорошо помочь расследованию. Без меня вам это будет сделать весьма трудно, а в некоторых случаях, может быть, даже и невозможно. Вы их просто не знаете, а фамилии, которые я назову, вам ничего не скажут. Наконец, третье. Этого Цыгана мне надо увидеть лично. Конечно, он не звезда первой величины, но, видимо, и не бессловесная жертва фашизма. Тут идет какая-то очень серьезная игра немецкой разведки. Ну, словом, мне необходимо его видеть. Таким образом, дорогой мой Василий Емельянович, напрашивается естественный вывод: я должен поехать или полететь, как угодно, вместе с вами. И это будет правильно и целесообразно со всех точек зрения. А вот как обеспечить мой отъезд, или побег, это уже в вашей компетенции. Что вы обо всем вышеизложенном скажете? — улыбнулся наконец Елецкий.

Бурко оценил предложение Елецкого и мысленно одоб-

рил его: что правильно, то правильно, это — в его духе. Но теперь он соображал, во что может вылиться их самоуправство. Елецкого, конечно, ни под каким видом не выпустят из санатория. Организовать похищение? Взгреют, да еще как!.. А как? Дальше фронта ж не пошлют? А пока станут разбираться, глядишь, можно успеть все сделать и вернуть выздоравливающего, — а не умирающего — в его родные санаторные стены... Заманчиво, черт побери, однако много всяких «но». Удастся ли организовать самолет? Надо ведь максимально заинтересовать Управление, заручиться его поддержкой, обговорить вопрос о Елецком. Может, они там категорически запретят его трогать. Да, все может быть... А времени совсем мало.

— Знаете что, вы попробуйте, — с улыбкой прервал его тягостные мысли Антон Ильич, — использовать классическую литературную схему с похищением. Под покровом ночной темноты... Одежда у меня с собой, а дыра в заборе, как вы понимаете, всегда имеется. Главное, чтоб к утру быть уже на месте, у вас в городе. Погода летная, был бы самолет. На машине, конечно, хуже, может растряссти... А в Управлении вы скажите, что состояние пациента вполне пригодное для транспортировки. Я вам правду говорю. Я себя знаю. Выдержу. И с доктором я сам договарюсь. Постараюсь на вечерок отпроситься в Москву, к друзьям-товарищам. Ну, а там уж как получится. И еще учтите, после отбоя тут запираются все ворота, и никакие доводы на охрану не действуют. Поэтому пойдемте, я покажу вам, на всякий случай, куда нужно будет подъехать ночью. А мне скоро предстоит свидание с Борисом Евгеньевичем. Все врачи мира похожи друг на друга, и для них не существует исключения, вроде нашего с вами...

В половине первого ночи Бурко сидел рядом со сладко посапывающим шофером и до рези в глазах вглядывался в кромешную темноту соснового бора, подступающего к шоссе. Елецкий должен был появиться с минуты на минуту. Бурко взглянул на светящийся циферблат танковых часов, приспособленных умельцем-шофером к приборной доске, и выбрался из машины. Поежился от холодного тумана, наползающего от близкой реки. Все было в полном порядке: ночной пропуск, машина, самолет, вылетающий в Борск в половине второго ночи. Не было пока только Елецкого.

Когда Бурко поделился с товарищами из Управления идеей, выдвинутой Елецким, те с ходу отказались от такой авантюры. Поведение Бурко было подвергнуто решительной и уничтожающей критике. Сам же капитан, по правде говоря, другой реакции не ожидал и потому загодя приготовил ряд, с его точки зрения, неотразимых аргументов. Во-первых, здоровье Елецкого не так уж плохо, это и главный врач говорил. Опять же командировка займет всего лишь день-другой по экстренному делу, которое на контроле в штабе фронта, а может, где и повыше. Нарушение санаторного режима — тоже преступление не бог весть какое, если учитывать обстоятельства дела и условия, сложившиеся на Смоленском направлении: не ему, капитану Бурко, объяснять, что сейчас готовится на их фронте и какая повышенная секретность и оперативность требуются именно теперь от всех служб. Вот Елецкий, кстати, правильно понял его, Бурко. А тут, в родном Управлении... Да был бы только транспорт...

Подмога пришла совсем неожиданно. Полковника, в кабинете которого шел разговор, вызвал генерал. О чем они говорили, Василий Емельянович, конечно, не знал, но вернулся полковник через час совершенно в другом настроении.

Он прошелся по кабинету, потом присел на стул напротив Бурко, хмыкнул своим мыслям и уставился на капитана.

— Ну вот что, сыщик, — покровительственно сказал он, — повезло тебе. Оказывается, твой Федоров еще один срочный запрос прислал. Как, ты говорил, бабу-то эту зовут?

— Бабу? А-а, Баринову, что ль?

— Вот-вот. Значит, говоришь, Елецкий с ней знаком?

— А как же! Встречался. Дважды. Правда, не сказал, при каких обстоятельствах.

— Ну, про обстоятельства нам известно. Дело его смотрел. Да-а... Много там всякого, неясного. Честно скажу тебе, лично я бы не разрешил, но вот генерал рассудил иначе. А рассудил он так, что лететь вам нынче обоим. Похоже, какие-то новые штрихи биографии открылись. Новые обстоятельства. Но, смотри у меня, сыщик, ты мне за этого Елецкого головой отвечаешь. Собственной, понял?.. А теперь давай, вали за ним и — на аэродром. Счастлив твой бог, капитан. Все документы получишь внизу.

Бурко как на крыльях помчался в канцелярию и там узнал, что Управление уже связалось с соответствующими

службами в наркомате обороны и там сообщили, что сегодняшней ночью в Борск вылетает представитель Ставки. Еще несколько телефонных звонков решили этот вопрос, маршал согласился взять с собой двух товарищей из контрразведки...

Где же Елецкий? Бурко нервно курил, навалившись грудью на крыло машины. Самолет ждать не будет. Это ж пахнет катастрофой, если операция закончится провалом из-за какой-нибудь случайности!..

Впереди, в сотне шагов, возле белеющего в ночи каменного цоколя металлической ограды Бурко заметил шевеление. Полминуты спустя он увидел небыстродвигающегося к нему человека, услышал легкое постукивание палки по асфальту. Наконец-то!..

«Эмка» теперь летела, так, во всяком случае, казалось в темноте, к небольшому подмосковному аэродрому, где уже наверняка летчики закончили все приготовления к вылету и с нетерпением ожидали своих пассажиров. Елецкий, удобно развалившийся на широком заднем сиденье, поскрипывающем кожей, неторопливо рассказывал сидевшему к нему вполоборота капитану, и неприятности, о которых думал Бурко, сами по себе отходили на задний план. Нет, этот Антон, ей-богу, оказался своим мужиком, все понял с полуслова, — так размышлял Бурко.

После ухода капитана Елецкий, как и было велено, явился в кабинет к главному врачу и сумел продемонстрировать не только прекрасное самочувствие, но и не вызвать ни малейших подозрений. О посещении веселого фронтового друга рассказывал со вкусом, но и с видимым сожалением, что вот, мол, завтра, волею судьбы и фронтового начальства, встретятся несколько боевых друзей, которых служба на один день свела в столице. Жаль, конечно, что не удастся повидать их всех, да и вряд ли когда придется теперь свидеться, война...

Главный врач был очень известным терапевтом, человеком твердых правил, но вовсе не считал себя суровым пуританином. Он понимал необходимость и даже пользу небольших положительных встрясок, и в искреннем сожалении Елецкого не обнаружил хитрости. Он тщательно просмотрел последние анализы, послушал Елецкого, пользуясь старым своим неразлучным стетоскопом, удовлетворенно кивнул и неожиданно разрешил ему на денек выбраться в город, но с категорическим предупреждением: к вечеру быть в палате. О подобном Елецкий не мог и мечтать. А вопрос

о том, когда отправляться в Москву, — с утра или с ночи, — он уже не считал существенным. Конечно, задержка в городе вызовет грозу с громами и молниями, но это как-нибудь переживется. Главное — есть разрешение, а там — семь бед, один ответ. Итак, в путь!..

Шофер, нюхом чующий ночную дорогу, показал высший пилотаж, доставив своих пассажиров на аэродром раньше представителя Ставки. В самом начале взлетной полосы, у кромки леса, стоял «дуглас», и кто-то, видимо, механик, посвечивая фонариком, ползал под его брюхом. Приехавшие предъявили свои удостоверения, командировочное предписание и, пройдя к самолету, уселись на сухой, отдающей бензином траве в ожидании начальства. Позвякивал металл, негромко переговаривались летчики, и эти тихие звуки словно подчеркивали умиротворенную тишину вокруг.

Бурко выдернул жесткую травинку и стал ее жевать, чувствуя горьковатый привкус...

Интересно, что там успели раскопать ребята? Ведь и запрос на эту Баринову пришел неспроста. Видимо, за два прошедших дня в отделе далеко продвинулись вперед. Так кто же она, эта новая фигура в следствии? Елецкий говорил о ней с каким-то непонятным смыслом...

— Антон Ильич, — негромко окликнул он своего спутника, лежащего на траве с закинутыми под голову руками, — а какая роль в нашем деле Бариновой? Я маленько отстал от следствия, и покуда катался туда-сюда, в Управление от наших поступил на нее запрос.

— Баринова? — задумчиво переспросил Елецкий. Он неторопливо сел, стряхнул со спины и затылка невидимые травинки и, подтянув к подбородку согнутые колени, опустил на них подбородок. — Ну, о ней, Василий Емельянович, у нас еще будет время поговорить. Сейчас-то могу с уверенностью сказать, что она связана с германской разведкой, с абвером. И не один год. А мы, к сожалению, не смогли этого разглядеть. И сделали крупную ошибку, которая позже нам дорого обошлась. Она много знала и очень многих. Думаю, в ней причина массовой гибели наших людей... А мы слишком были уверены в себе и потому так доверчивы. Вот и поплатились. Тысячу раз надо проверять и перепроверять... Знаете, что меня поразило, когда я угодил в абвер? Удивительно, как скоро они научились извлекать для себя пользу из нашей всеобщей ненависти к ним. Они увидели, что подавляющая масса народа их ненавидит и активно не приемлет. Но они поняли также, что не-

ненависть — это очень сильное оружие, объединяющее людей. И тогда они пошли на такой ход, не новый, правда, он стар как мир. С тех пор, как существуют провокации и провокаторы. Вам, Василий Емельянович, надо полагать, еще не раз придется с этим столкнуться. Речь вот о чем. Они пытались создавать свои собственные отряды, под видом партизанских. Из всяких отщепенцев, отбросов, отпетых негодяев. Оказавшиеся в оккупации наши люди зачастую не могут сразу разобраться, кто перед ними: герои или провокаторы. Абверовцы для достижения своих целей никакими приемами, даже самыми низкими, не брезгуют. Они могут под пули такого «партизанского» отряда без зазрения совести кинуть взвод полицаев, да еще своих солдат подбросят. Вот народ к таким-то «героям» и тянется, клюет на удочку и, естественно, становится жертвой... Был, помню, такой случай в самом начале сорок второго. Появился в Селиховском лесу, это на полпути от вас к Борску, примерно в полусотне километров от нашей базы, неизвестный партизанский отряд. Пошли о нем слухи, что, мол, крепко он бьет фашистов и тому подобное. Послали мы к ним на связь своего человека, кстати, кажется, Саша Завгородний и ходил. Возвращается он и докладывает: «Странный какой-то отряд». Человек двадцать их было, вооружены отлично. По окрестным деревням рассказы идут, что провели они несколько боев с полицаями и обратили их в бегство, отогнали. Ну, а потом форменный грабеж пошел и насилие. У людей и без того жевать нечего, так последнее под наведенным автоматом отнимали, женщин для своих «партизанских» нужд силком в лес увозили. Одним словом, не стали мы ждать, взяли их в клещи, думали, анархисты какие-нибудь, самостийники, черт их разберет. А оказалось, абверовская это команда. Специально отряд создали, чтобы скомпрометировать наши действия, отпугнуть от нас население. И промедли мы еще немного, кто знает, чем бы это могло кончиться. Ликвидировали мы эту погань, но предварительно, конечно, суд над ними устроили. Показательный. Вот так... Или еще вариант: побег из концлагеря. Среди десятка действительно вырвавшихся на свободу болтается провокатор, фашистский агент. Поди, распознай его сразу! А времени нет. У нас голова другим занята... Встретили мы однажды в лесу такую группу, совершившую побег из лагеря. Смотреть на людей было страшно, как с того света вырвались. Мой первый комиссар, может, слышали о нем — Кузьма Егорович, погиб он, бедняга, широкой ду-

ши был человек, — так вот он без всякого рассуждения, до крика спорил со мной, доказывал необходимость немедленно принять их всех в отряд. А я стоял на своем: проверить в деле. И не один раз. Создали мы вроде филиала отряда, взвод подрывников, без права доступа на основную базу. И задание им подобрали соответственное: уничтожить охрану и взорвать железнодорожный мост. Сами понимаете, на такую акцию ни один агент не согласится. Если операция пройдет удачно, не сносить ему головы от своих. К великому сожалению, оказался прав я. Нашелся-таки среди них предатель. Остальные показали себя впоследствии отличными бойцами и ни в чем не были виноваты, но ведь увел их из лагеря и к нам привел именно он — этот подлец, провокатор. Не сумел он сбежать, поймали мы его и, конечно, расстреляли. Однако представляете, какой крови мог стоять нам его побег? И операцию в тот раз пришлось отменить... Извините, капитан, кажется, начальство прибыло...

Освещая дорогу фонариком, к самолету направлялась небольшая группа людей. Бурко с Елецким быстро поднялись, отряхнулись и двинулись навстречу. Остановились, не доходя нескольких шагов, и вытянулись. От группы отделился шедший впереди высокий, широкоплечий военный, и они узнали в нем маршала, имя которого в частях проносили с глубоким уважением и почтением. Он казался поистине реальным воплощением «бога войны», этот могучий маршал артиллерии.

Они представились, и маршал, пожав им как-то подомашнему спокойно руки, жестом пригласил садиться в самолет. Сам он еще на несколько минут задержался с провожающими его товарищами в военной форме и обычной гражданской одежде. Заработали моторы. Наконец маршал, низко пригнув голову, поднялся в «дуглас» и быстро прошел вперед. Бортмеханик втянул лестницу и задраил люк. Моторы взревели на полную мощность, и самолет, покачивая крыльями, двинулся по взлетной полосе.

Иллюминаторы были закрыты наглухо, в салоне царил темнота, и лишь впереди, у кабины пилотов, слабо светила лампочка, призрачно обрамлявшая силуэт склонившегося над бумагами маршала. Равномерный гул двигателей успокаивал, тянуло в сон.

Бурко хотелось продолжить начатый разговор, он повернулся было к сидящему рядом Елецкому, но тот лишь огорченно развел в стороны руками, показывая, что ничего

не слышит. Тогда Бурко решил не терять даром времени, отпущенного ему судьбой, он поудобнее устроился на жестком металлическом сиденье и через несколько минут уже крепко спал...

16

Несмотря на то что прошедший день был для Елецкого предельно напряженным и утомительным, сон не шел. Визит капитана вернул его в самые трагические минуты недавнего прошлого. Еще там, в партизанском лесу под Борском, его единственной мыслью, за которую, как за спасение, цеплялось сознание, было успеть передать в Центр, что фашисты не сломили его и умирает он чистым перед Родиной, до конца выполнив свой долг чекиста. Он был тогда абсолютно уверен, что жизни остались считанные мгновенья, но не смерть страшила, а посмертный позор и проклятие товарищей. И поэтому уже в госпитале, едва чуточку пришел в себя и смог взять в руки перо, Елецкий постарался детально изложить в своем рапорте все подробности ареста, четырехмесячных допросов в абвергруппе и полиции безопасности, о перенесенных пытках и приговоре и наконец об отчаянно дерзкой партизанской операции по спасению его вместе с группой других партизан-подпольщиков буквально на пути к виселице. После этого к нему в госпиталь трижды приезжал следователь, уточняя ряд его показаний, и, покидая, всякий раз желал скорого выздоровления. Елецкий понимал, что товарищи просто щадят его, стараются не особенно тревожить ввиду исключительно тяжелого физического состояния. Но тем не менее главный разговор был еще впереди. И он обязан ответить товарищам на все их вопросы. Речь ведь, в сущности, шла не о каком-то там недоверии, хотя, поставив себя на место руководства, Елецкий и сам строго бы спросил: каким образом опытный чекист мог оказаться в подвалах немецкой контрразведки, в гитлеровских застенках? Какая такая нелепая случайность привела тебя туда? Где и когда был совершен промах? Наконец, как удалось врагам узнать, кто ты таков, выследить и схватить тебя, и с какой это стати они занялись твоей перевербовкой вместо того, чтобы просто поставить к стенке или найти любой другой способ отправить на тот свет. Раз человек так дорожит своим именем, своей честью, значит, ему есть чего бояться? Можно

ведь и так вопрос поставить... А вывод? Не явилось ли все это результатом профессиональных ошибок, трусости, или, может быть, признания все-таки были вырваны под пыткой?..

Строго и неліцеприятно спрашивая себя, мысленно споря с самим собой, Елецкий хотел досконально разобраться в случившемся и, пусть и не в первую голову, внутренние оправдать себя.

Этот смешливый капитан из контрразведки своим приездом неожиданно словно бы поставил Елецкого перед выбором: либо ты будешь сидеть и дожидаться, когда до тебя дойдет очередь, либо сам немедленно включайся и помогай следствию. В конце концов, твое здоровье — это твое личное дело. Идет война, время ли сейчас думать о себе? Поэтому, предлагая Бурко посоветоваться в Управлении, Елецкий как бы делал пробный ход: от ответа зависело многое, если не все. И то обстоятельство, что в Центре решили пойти ему навстречу, обрадовало и взбодрило Елецкого. Значит, товарищи по-прежнему верят ему и не считают свершившийся факт решающим в его служебной деятельности. А он, честно признаваясь себе, все-таки побаивался, что его предложение вызовет резко отрицательную реакцию руководства.

Елецкий успокоенно прижался спиной к бьющейся в мелкой дрожи дюралевой обшивке самолета и закрыл глаза, сосредоточивая свою память на событиях, которые едва не стали роковыми в его жизни...

Облавы Елецкий не боялся. Дочь бывшего аптечного сторожа Нина, служившая теперь в городской управе, сработала для него отличный аусвайс. В этом документе значилось, что Павел Петрович Рябинин работает помощником машиниста в депо. Такие профессии, учитывая нарастающую напряженность железнодорожных перевозок, гитлеровцы ценили и без особой нужды старались не оголять транспорт.

Попад за последние недели в несколько облав и благополучно выйдя из них, Елецкий тем не менее не успокоился, не потерял бдительности и, всякий раз появляясь в городе, первым делом справлялся, где в настоящий момент находится его двойник — дома или в рейсе. Если подлинный Павел Петрович был дома, Елецкий чувствовал себя свободно и передвигался по городу без всякого опасения,

если же в рейсе, что полиция могла легко проверить у железнодорожного начальства, Елецкий старался лишний раз не попадаться на глаза патрулям. Такая система конспирации вот уже более года оправдывала себя. Рябинин был ровесником Елецкого, чем-то они даже походили друг на друга, а на фото, вклеенных в документы, казались близнецами. И вообще, за Рябинина Елецкий был спокоен: кадровый рабочий, он хоть и не состоял в партии, но считался честным и глубоко преданным делу большевиков человеком.

Сообщив и в этот раз Рябинину о своем прибытии в город, Елецкий, стараясь все же не привлекать к себе внимания, шел на базар, где у него было назначено свидание с кондуктором поездной бригады, который должен был передать ему сведения о системе охраны городского железнодорожного моста. Кондуктор имел возможность изучить ее, проезжая через этот мост по несколько раз на дню.

Встреча была необходима Елецкому. Приближалась двадцать пятая годовщина Октября, и партизаны собирались отметить ее по-своему. Подходы к мосту усиленно охранялись фашистами, считавшими, и не зря, его одним из важнейших объектов стратегического значения.

С утра было морозно, но базарный пустырь покрывала растоптанная сотнями ног грязная снежная каша.

Встретились возле фанерной будки старика, торговавшего всякой скобяной мелочью. Кондуктор негромкой скороговоркой выложил данные о примерном количестве охраны, времени смены караула, расположении будок, окопов и пулеметных гнезд, когда к рынку с двух сторон подлетели грузовики и из них высыпали солдаты, сразу перекрывшие все выходы с пустыря. Выстроившись в две шеренги, они с автоматами наперевес пошли навстречу друг другу, сжимая и процеживая перепуганную, заматавшуюся в панике толпу. Купив у старьевщика по копеечному совку, Елецкий и кондуктор безбоязненно достали свои аусвайсы и двинулись навстречу шеренге солдат, словно частый гребень прочесывающей толпу. Низенького и толстого кондуктора легко пропустили на выход, лишь мельком взглянув в его документ. Однако на аусвайс Елецкого никто и смотреть не стал. Ни слова не говоря, его тут же крепко схватили за руки, вытащили с рынка и швырнули в крытый кузов грузовика, где, скорчившись на полу под дулами наведенных автоматов, лежали уже несколько мужчин. Последнее, что успел увидеть Елецкий, были испуганные глаза кондуктора, прижавшегося к забору.

Облава длилась недолго. Заполнив грузовики схваченными мужчинами, фашисты доставили арестованных в печально известные подвалы бывшего консервного завода за железнодорожным вокзалом и загнали без всякого разбора и проверки документов в две заранее подготовленные камеры.

Арестованных продолжали привозить весь день и в течение следующей ночи. Камеры были уже переполнены, и люди задыхались от тесноты и смрада.

Елецкому и в голову не могла прийти мысль, что вся эта операция проводилась фашистами с единой целью: поймать партизанского вожака, прибывшего в город для подготовки и проведения очередной акции.

Цель фашистской акции стала ясна ему утром следующего дня, когда началась настоящая проверка. Спустившиеся в подвал полицейские тщательно просматривали документы каждого арестованного, потом приказывали ему раздеться до пояса, словно для медицинского освидетельствования. Как заметил Елецкий, они обращали главным образом внимание на тех мужчин, у кого на руках обнаруживались следы увечий, просто старые шрамы или даже свежие царапины. У таких отбирали документы, а их самих немедленно уводили куда-то под охраной. Не избежал этой участи и Елецкий: глубокий шрам на его правой руке, естественно, сразу привлек к себе внимание. Елецкому приказали одеться, вывели наружу и снова втолкнули в крытый грузовик. Теперь арестованных было в кузове сравнительно немного, около двух десятков человек.

Здание комендатуры Елецкий узнал сразу, едва вывалился из грузовика, сопровождаемый сильным ударом приклада между лопатками. Арестованных отвели внутрь здания и заперли в одной из подвальных комнат без окна, освещенной тусклой, грязной лампочкой под высоким потолком.

Вскоре появились двое офицеров в сопровождении автоматчиков. Арестованным опять приказали раздеться до пояса и встать лицом к стене. Автоматчики застыли у двери, а офицеры медленно пошли вдоль шеренги полураздетых людей.

— Фамилия? — громко по-русски осведомлялся у каждого старший из офицеров, он был в чине майора.

Арестованный называл себя. Тогда второй офицер — совсем молодой обер-лейтенант находил в кипе документов тот, который принадлежал его владельцу, и протягивал майору.

— Повернись лицом ко мне!.. Покажи руки!.. — словно заведенная машина, повторял майор и внимательно изучал очередной аусвайс. Потом возвращал его обер-лейтенанту и переходил к следующему.

Дошла очередь до Елецкого.

— Фамилия? — услышал он вопрос майора и, стараясь не выдать своего волнения, чужим голосом ответил:

— Рябинин. Павел Петрович. Из депо я...

— Лицом ко мне!

Елецкий поднял глаза и увидел, что майор с пристальным интересом рассматривает его. Не поворачиваясь, он протянул руку в сторону, и обер-лейтенант вложил ему в ладонь аусвайс Елецкого.

— Рябинин? — повторил майор и вдруг иронически усмехнулся. — Шрамик-то свой покажите, Антон Ильич... виноват, Павел Петрович. Вон тот, что на правой руке... Благодарю вас, можете опустить... Значит, Рябинин? Очень хорошо... Рихард, — обратился он почти весело к обер-лейтенанту по-немецки, — мы закончили. Эти, — он показал на арестованных, стоящих вдоль стены, — мне больше не нужны. Если они понадобятся Клямке, передайте их ему. А вас, Рябинин, — добавил он снова по-русски, — попрошу пройти со мной. Забирайте свое барахло, там, наверху, не лето, можно простудиться. Прошу, — и он учтиво показал рукой на дверь.

Идя вслед за майором по длинному коридору, Елецкий уже не строил предположений по поводу своего задержания: его словесные портреты еще с марта висели на всех заборах и успели пожелтеть. И этот фашист, конечно, узнал его. Чем-то лицо майора было знакомо Елецкому, но где он его встречал и когда, хоть убей, не вспомнить. Там, в полутемном подвале, он не смог разглядеть немца, а это очень важно, чтобы знать, какой тон принять на допросе и какую выбрать тактику. Не было больше сомнений у Елецкого и относительно того, что его ожидает. Знал твердо лишь одно: предателя фашисты из него не сделают ни при каких обстоятельствах, а следовательно, когда они это поймут, судьба его будет решена окончательно и бесповоротно.

Комната, куда ввели Елецкого, представляла собой нечто среднее между лавкой антиквара и кабинетом коммерсанта, страдающего манией величия. Сам хозяин словно растворился, исчез среди позолоченных багетов картин и слоновобразной мебели.

— Антон Ильич, — обратился майор к Елецкому, но, встретив его непонимающий взгляд, поморщился и махнул рукой. — Слушайте, давайте не будем, как говорят русские, пудрить друг другу мозги. Я прекрасно знаю вас, а вы вспомните и убедитесь, что знакомы со мной, и нечего нам, взрослым и серьезным людям, играть в детский сад... Садитесь, Елецкий, где вам больше нравится, а свой тулуп можете бросить вон на тот диван. Не беспокойтесь, его потом уберут на вешалку... Ну, — сказал он, усевшись в кресле напротив Елецкого и сложив на груди руки, — напомнить, где мы встречались? — он приветливо улыбнулся. — В кабинете председателя райисполкома. Я...

Майор всего лишь на миг опередил Елецкого, назвав свою фамилию, потому что теперь Антон Ильич и сам вспомнил предэвакуационную суету, экстренное заседание у Смолькова и раненого капитана Архипова. Вспомнил и зачем вызывал Смольков этого капитана.

— Ну, так как, Антон Ильич, — проследив за выражением лица своего собеседника, заметил майор, — будем темнить дальше?

— Жаргончик у вас, однако...

— С кем поведешься, Антон Ильич.

— Что вы хотите от меня?

— Вот это другой разговор, — словно обрадовался бывший капитан Архипов. — Прежде всего, я хочу ясности. Двусторонней. Хочу, чтобы вы поняли меня, мои идеи и помогли их осуществлению. Погодите, не перебивайте, выслушайте до конца. И, бога ради, не произносите сейчас высоких слов о совести и чести. Я вам, кстати, еще ничего зазорного не предложил. Поэтому оставьте ваш запал для другого случая, если он, конечно, представится. Извините за неуместную шутку. А теперь давайте знакомиться: Карл Бергер. Моя официальная должность — заместитель здешнего коменданта. Подчеркиваю — официальная. О вас я много слышал, кое-что знаю, кое о чем догадываюсь и уверен, что имею дело с профессионалом высокого класса. Должен вам заметить без ложной скромности, что и себя не отношу к дилетантам. Даже больше — терпеть их не могу, — он вдруг засмеялся. — Никогда не знаешь, чего от них ждать. Верно?.. У вас какое звание, Антон Ильич?

— Это не имеет ни малейшего значения.

— Да? Ну, как хотите... Действительно, истинный профессионализм чинами не определяется, хотя очень немногие это понимают. Мы с вами когда-нибудь обсудим этот

странный парадокс нашего времени... Извините, — Бергер перегнулся через стол и нажал на кнопку. Тут же вошел солдат.

— Вы не будете возражать, Антон Ильич, если я сейчас приглашу сюда одну симпатичную даму?

Елецкий безразлично пожал плечами.

— Ганс, попросите ее войти.

Елецкий был начеку. Он понимал, что Бергер не вел бы себя столь предупредительно, если бы не нуждался в нем. Но в чем была эта заинтересованность? Что хотел получить фашист, видимо, абверовец, от командира партизанского отряда? Он ведь должен прекрасно отдавать себе отчет, что такие люди, как Елецкий, — если, конечно, Бергер действительно знает, с кем имеет дело, — не идут на сговор с врагом ни в малом, ни в большом. Даже если это связано с альтернативой: жить или не жить. И тем не менее Бергер что-то затевает, какую-то игру. Надо узнать, что это за игра, и тогда, быть может, еще не все потеряно, и неизвестно, кому удастся вырвать инициативу.

За спиной Елецкого открылась и тут же хлопнула дверь. Быстро застучали по паркету каблучки. Елецкий невольно обернулся и увидел женщину, но разглядеть ее лица не смог, поскольку она остановилась спиной к затененному листвой окну, а в кабинете царил полумрак.

— Антон Ильич, — вставая, Бергер сделал приглашающий жест, — вы еще не успели забыть эту очаровательную женщину?

Елецкий приподнялся и посмотрел на высокую, без претензий одетую блондинку, вызывающе вскинувшую на него взгляд больших серых, чуть навывкате, глаз. На миг в них мелькнула растерянность. Похоже, эта встреча оказалась для женщины полной неожиданностью. Она даже невольно отступила к окну. И Елецкий узнал ее.

«Невероятно! — заколотилось у него в висках. — Не может быть!.. Но почему не может? — тут же возник вопрос. — А Архипов? Он-то ведь был. И она была там».

Да, он, конечно, узнал Баринову, даже вспомнил, что зовут ее Анной Ивановной. И все это было в один и тот же день — и Баринова, и Архипов... Елецкий постарался взять себя в руки, посмотрел на женщину и сел в кресло.

— Ну, будет вам! — иронически ухмыльнулся Бергер. — Не делайте вид, что вы незнакомы. Впрочем, все это уже в прошлом. Ну, а вы, Анна Ивановна, узнали Антона Ильича? Вижу, вижу, что узнали. Вот и хорошо. Я даже ду-

маю, мы когда-нибудь сможем стать друзьями... А почему бы и нет? Если делать одно общее дело... — Бергер пристально взглянул на Баринову, но она, не отвечая ему, резко отвернулась к окну... — Однако, я вижу, у вас не вызывает радости эта встреча? Жаль... В таком случае, не стану вас задерживать. У нас тут предстоит долгая и важная беседа. И я думал, вам это будет интересно. Ну, а на нет и суда нет, так? Благодарю вас, Анна Ивановна, вы можете быть свободны.

«Кто она? Кто? Кто? — бил молотом вопрос, от которого, казалось Елецкому, зависело теперь все. — Если она честный человек, ее молчание понятно. Хотя это сейчас глупо, ведь Архипов видел нас обоих. А если она — враг, то почему ее испугала наша встреча?»

— Да, Анна Ивановна, простите мою забывчивость, — догнало ее уже у двери восклицание Бергера. — Я ведь просил Рихарда привезти вам из фатерлянда что-нибудь симпатичное. И он, разумеется, выполнил мою просьбу. Кажется, я даже догадываюсь, что он привез, скажу по секрету: отличные французские духи... Вы, Антон Ильич, когда-то тоже любили французский одеколон? Видите, какая у меня память. Так вот, Анна Ивановна, зайдите, пожалуйста, к нему и проверьте, прав я или не прав.

Баринова хмуро свела брови и с каменным выражением на лице, не прощаясь, вышла из кабинета.

«Нет, это не игра со мной, — понял Елецкий. — Они вместе. Но у Бергера, кажется, что-то с ней сорвалось. Не то он что-то сделал. А его последний ход с духами, похоже, мелкая месть. Дешевая отместка за ее вполне естественную реакцию... Но, господи, как же мы могли!.. Какая страшная преступная беспечность! Ведь оба они были в руках... Были... И вот — расплата...»

Проводив Баринову снисходительным взглядом, в котором Елецкий успел заметить тщательно запрятанное злорадство, Бергер выдержал небольшую паузу. Затем вынул из коробки папиросу, слегка размял ее, — совсем по-русски, отметил Елецкий, — и, как бы опомнившись, придвинул коробку к нему, предупредительно протянув через стол зажженную спичку. Но Елецкий отказался.

— Женщины... — философски изрек Бергер, откидываясь к спинке кресла. — Трудно предвидеть их капризы. Особенно таких хорошеньких, как Анна Ивановна. Вы согласны?

И снова Елецкий промолчал, безразлично пожав плечами.

«Ошибаешься, фашист, это не каприз. Это твой промах. Либо ты абсолютно уверен, что со мной уже нет нужды церемониться, либо прокололся — без необходимости вскрыл своего резидента. А резидент, выходит, рассердился. И ты от нее зависишь. Вон и настроение уже испортилось... Иначе тебе было бы в высшей степени наплевать на все ее капризы. А ее понять можно: вдруг я, вопреки логике, жив останусь да предъявлю им свой счет?!»

— Ну, что ж, — Бергер наконец погасил папиросу в широкой бронзовой пепельнице, изображавшей распростертую навзничь женщину, — предлагаю перейти к делу... Мы все, и я в том числе, внимательно следим за действиями возглавляемого вами партизанского отряда. Должен со всей прямоотой сказать, что вы резко отличаетесь от всякого бандитского сброда, занимающегося убийствами из-за угла, мелкими трусливыми наскоками, грабежом и прочими нечистоплотными, не солдатскими делами. Вы действуете как регулярная армейская единица. Следовательно, вам, насколько мне ведомо, не чужды рыцарские правила ведения войны...

Елецкий снисходительно усмехнулся и, достав из кармана мятую коробку папирос, выбрал целую и закурил.

— А вам не кажется, господин Бергер, что ваши комплименты в мой адрес ставят вас, мягко выражаясь, в несколько незавидное положение?

— Почему? — горячо воскликнул Бергер. — Мы умеем уважать достойного противника. Ваш великий царь Петр, как известно, тоже проявлял высокие достоинства рыцаря, когда благодарил своих шведских учителей и пил за их здоровье после знаменитой Полтавской битвы.

— Оказывается, вы читали Пушкина?

— Читал. Но зачем ирония? История подтверждает, что рыцарство было свойственно нашим народам во все века.

— А как же быть тогда с вашим утверждением о неполноценности славянской расы?

— Давайте не будем углубляться в абстрактные рассуждения. Пусть ими занимаются болтуны из министерства пропаганды, а не мы — люди дела.

— Смело говорите... Но что же здесь абстрактного? — возразил Елецкий. — Вы же всерьез намерены уничтожить всех славян, в том числе стереть с лица земли советский народ. Это не мои домыслы, а совершенно конкретные планы Гитлера, Геббельса, Гиммлера, Розенберга и иже с ними. И мы видим, что их слова никак не расходятся с де-

лом, которое вершите вы — «благородные рыцари». Ваши коллеги из охраны концлагерей, например...

— Карательные органы к нам — солдатам — не имеют никакого отношения!

— Слышал. Мне не раз приходилось допрашивать ваших соотечественников, все, как один, отреклись от эсэс и гестапо. Но вам, полагаю, еще предстоит доказывать свою непричастность к массовым убийствам. Так вот ваши коллеги знают, что никакие концлагеря, никакие пытки не уничтожат нашего народа. Бессмысленно об этом мечтать.

— Вы категоричны, как все русские... — в голосе Бергера появилось раздражение. — Я надеюсь, вы знаете о Сталинграде? У вас в отряде есть рация? Так вот, могу и я сообщить самые свежие данные: ваша «крепость на Волге» доживает последние дни.

— Не думаю... Гитлер уже заявлял, что закончит войну в течение нескольких недель.

— В день падения Сталинграда вступит в войну Япония. Битвы на два фронта вам не выдержать. Два таких мощных государства, как Германия и Япония, сотрут вас, раздавят. А Сталинград — это всего лишь символ, не более.

— Вот именно, символ. Но у нас, советских людей, настоящие символы обладают вполне реальной физической силой. Что же касается двух государств — и это уже было. Только не два, а четырнадцать. Вы — человек немолодой, должны помнить. Но победили-то мы, хотя были тогда много слабее. Вот вам и символы. И, кстати, еще ни один захватчик, а их было немало в нашей истории, не взял того города, за которым кончалась бы русская земля. Но это так, к сведению.

— Наш разговор принял иное направление, Елецкий, — сухо заметил Бергер, — и грозит перерасти в бесконечный и пустой спор. Давайте не будем терять драгоценного времени. Когда-нибудь, повторяю, мы сможем вернуться к этой теме...

— Когда-нибудь!.. — хмыкнул Елецкий. — Можно подумать, что мы уже заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

— К этому я и веду наш разговор. Выслушайте меня наконец внимательно. Буду говорить прямо. — Бергер встал, медленно прошелся по кабинету и облокотился на спинку кресла. — Я имею полномочия предложить вам сотрудничество с нами, в данном случае с абвером. Предупреждая ваше возражение, добавлю, хотя я не желал бы

начинать именно с этого: если вы откажетесь, мы имеем много возможностей сообщить вашему руководству в Москве, что вы дали такое согласие. Обратного пути у вас нет.

«Это они могут, мерзавцы, — глухая, давящая тоска навалилась на плечи Елецкого. — Но ведь вся моя жизнь... Нет, товарищи им не поверят, не должны поверить...»

— Впрочем, я уверен, — продолжал между тем Бергер, — что с падением Сталинграда сама необходимость возврата к своим у вас отпадет. Но тогда — увы! — может быть поздно. Вы имеете немного времени обдумать мои слова и принять наиболее выгодное, извините за торгашеский термин, для себя решение... Второе. Вы вправе узнать, какие планы у нас имеются в связи с вашим добровольным сотрудничеством. Пожалуйста. Мы озабочены положением в нашем тылу. Наряду с разрозненными бандитскими шайками, которые вы легкомысленно называете восставшим народом, к сожалению, встречаются и вполне профессионально действующие воинские соединения, типа вашего. В настоящий момент мы лишены возможности направить против них свои регулярные армейские части в том количестве, в каком это необходимо для наведения полного порядка. Разумеется, это явление временное. По мысли фюрера, все боеспособные соединения должны быть брошены по трем стратегическим направлениям: на Сталинград, Ленинград и Москву. Отдельные позиционные неудачи — не в счет. В глобальной войне случается всякое. Да, мы не можем немедленно подавить бандитское движение в нашем тылу и вынуждены быть предельно решительными и жестокими не только с партизанами, но и с мирным населением, помогающим им. Существующее положение не устраивает нас, поскольку отталкивает немалую часть населения, готового стать германским союзником. Лично я вообще противник жестокости и бессмысленных репрессий, если еще остается хотя бы малейшая возможность договориться. Наши коллеги не совсем верно поступали с начала войны. Эти массовые расстрелы, казни... Они вызвали нежелательную реакцию. Среди каждого десятка убежденных врагов наверняка мог быть один сомневающийся, с кем мы сумели бы договориться. Вот и теперь нам нужен умный, опытный и авторитетный человек, который захотел бы понять нас и принял на себя роль посредника.

«Плохи же, однако, ваши дела, — продолжал размышлять Елецкий, слушая Бергера. — И обо мне вы не слишком высокого мнения... Или, может, наоборот? Чересчур

высокого? А этот абверовец, кажется, уверен, что может склонить меня к предательству. Да, для него это был бы шанс...»

Бергер замолчал и вопросительно взглянул на Елецкого, но Антон Ильич только упрямо покачал головой.

— Да поймите, наконец, я не имею ни малейшего желания стать самоубийцей. Первый же встречный влепит мне пулю в лоб и будет абсолютно прав. Наш народ никогда не поднимал руку на парламентариев, но он не щадил предателей... Нет, для этой работы я не подхожу.

— Ну почему же сразу — предательство? — развел руками Бергер. — Зачем такая категоричность, эта варварская терминология? Есть ведь трезвый, реальный взгляд на вещи, на события, на исторические явления, черт побери!.. Вы — русские — странные люди. У вас обязательно: или — или. Без полутонн.

— Мы привыкли смотреть правде в глаза.

Бергер оторвался от кресла и, заложив руки за спину, снова медленно прошелся к окну, где на круглом столике с толстой витой ножкой стоял массивный лакированный «Телефункен». Включил приемник, искал что-то среди пронзительных писков, морзянки и лающих выкриков, и в комнату вплыла негромкая мелодия. Приторный, как патока, вкрадчивый женский голос, словно заведенный, повторял: «Либер, майн либер...» Но зазвонил один из телефонов, и Бергер резко отключил певичку. Снял трубку и, внимательно глядя на Елецкого, выслушал длинное сообщение, изредка вставляя: «Да... да-да...» Потом небрежно положил трубку.

— Ну, хорошо. Если вас не устраивает или просто страшит роль посредника, что я отлично понимаю, мы можем сделать вам другое предложение. Скажем, германское командование готово пойти на то, чтобы создать во главе с вами, но, естественно, под нашим контролем, некий партизанский центр, куда сойдутся все нити и связи от партизанских отрядов. А дальше все будет зависеть от вас, от силы вашего слова, вашего убеждения. Тем, кто примет наши условия, мы гарантируем жизнь и безопасность. А кто не примет, я полагаю, что их останется немного, ярых фанатиков, тех мы будем вынуждены просто ликвидировать.

Елецкий вздохнул.

— У нас говорят: что в лоб, что по лбу. Не предатель, так провокатор. Неужели вы уверены, что я подхожу для этих ролей?

— Ну вот, опять... На вас, знаете ли, не угодишь. Поймите же наконец, мы совершаем гуманный акт, идем вам навстречу, уговариваем, а вы... Даже в абвере далеко не все такие покладистые, как я. Мы можем говорить и иначе. Не люблю повторяться, у нас вполне достаточно сил, чтобы раздавить всех вас.

— В марте этого года мы уже имели возможность убедиться в этом, господин Бергер. Но, как вы помните, карательная экспедиция закончилась полным провалом.

— Да, вам тогда удалось уйти. И отряду и вам лично.

— Жаль, что не удалось убрать заодно и провокатора, этого Цыгана. Мой словесный портрет — его работа?

— Ну, теперь, между нами говоря, этот агент не имеет для меня ни малейшего значения, дело он свое сделал. А вы оказались смелым человеком, решительным. Это мне импонирует. Именно поэтому я и рассчитываю на вашу трезвую оценку обстановки. Учитывая обстоятельства, в которых вы теперь находитесь. Я был уверен, что мы сможем договориться.

— Я очень сожалею...

— Вы понимаете, на что идете, отказываясь от сотрудничества со мной, с великой Германией?

— Вот как? Вы уже — вся Германия? Весь немецкий народ? Родина Шиллера, Гете, Маркса, Тельмана? Господин Бергер, сегодня в мире приведены в движение такие могучие силы, такие человеческие массы, что мы с вами просто пылинки, ничто по сравнению с ними. И неужели вы всерьез думаете, что моя помощь вам — мое предательство, или, наоборот, моя смерть в ваших застенках сможет что-нибудь изменить? Или склонить чашу весов в вашу пользу? Это же абсурдно!

— Абсурдно, если мыслить глобально, но речь в данном случае идет о конкретной вашей жизни. Может, истории в высшей степени наплевать на вас, но сами-то вы — живой человек, и я говорю с человеком, чья плоть может быть растерзана, а кровь выпущена по капельке... Сообщаю вам, что по заведенному порядку каждый захваченный вражеский военный служащий, если он нас интересует, попадает к нам. Затем мы должны передать его для допроса в полицию безопасности. Там тоже имеются высокие профессионалы, но в своем роде. Если арестованный все-таки продолжает интересоваться нас, мы имеем возможность повторить беседу и изменить его судьбу. Если же нет, арестованный обычно передается в полевую жандармерию для вы-

несения приговора и приведение его в исполнение. Таков, повторяю, порядок, и я не в силах что-то в нем изменить. Однако в любой момент, когда у вас появится желание встретиться со мной, вы можете сообщить об этом, и вас доставят сюда. Теперь я хочу завершить нашу беседу следующим. У вас есть еще возможность подумать. Вас отведут в подвал, к сожалению, другого помещения, более удобного для вас, мы не имеем. О своем решении дадите знать через охрану. А я займусь подготовкой информации о вас для Москвы.

«Может, все-таки клюнет?» — подумал вдруг Елецкий, в последний раз затягиваясь и гася окурок меж пышных округлостей бронзовой дамы в пепельнице, и словно бы между прочим спросил:

— Знаете, майор, мне интересно, если, конечно, не секрет, да ведь и вам теперь все равно: как удалось опознать-то меня?

— В принципе, вам это знать ни к чему, тем более после того, как вы сами весьма охотно подписываете свой приговор... Но я могу сказать... — Бергер остановился как бы в раздумье. — Вы были неосторожны и однажды обнаружили заинтересованному в вас человеку, в данном случае Анне Ивановне, свой шрам. Запоминающаяся деталь. И большая ошибка для человека нашей с вами профессии.

«Клюнул», — подумал Елецкий и почувствовал какое-то непонятное, странное облегчение. Вот теперь все действительно становилось на свои места. Значит, Баринова... Теперь только найти возможность сообщить товарищам. Надо найти. А дальше — дальше выдержать до самого конца. Он был уверен, что выдержит...

— Да, кстати, по поводу профессии, Елецкий. Я уже говорил, что внимательно слежу за вашей деятельностью. У вас есть свой почерк. Случайные люди, дилетанты постоянно делают ошибки. Вы их не делали. Кроме последней. Но тут мы оказались предусмотрительнее. Вас увидели в городе и опознали. В свое время Анна Ивановна успела проверить, когда и откуда вы прибыли. Мы знаем, как готовился ваш партизанский отряд, кто у вас был комиссаром. А сопоставить и сделать выводы — это уже техника. Несмотря на то, что вы сумели уйти от Цыгана, он успел запомнить ваши внешние данные. Этого оказалось достаточно, чтобы и Анна вспомнила некоего Антона Ильича Елецкого, которого в свое время видел и я. Так появился ваш словесный портрет. Вы не обижаетесь, что мы уста-

новили за вас плату? Серьезный противник дорого и стоит... Но у меня теперь возник вопрос. Зачем вы взяли фамилию Рябинин? По ассоциации с лесом, в котором вы прячетесь? Ель — рябина, да?

— Нет, фамилия Елецкий происходит от другого слова. В наших реках водится такая рыба — елец. Очень хитрая рыба.

— Но ведь и она попадает на крючок?

— Бывает, попадает...

— А Рябинина мы проверили... Есть такой человек, он действительно помощник машиниста. Сейчас в рейсе, но скоро будет у нас.

— Неужели? Уверяю вас, это простое совпадение. Фамилия выбрана мной случайно, — как можно естественнее заметил Елецкий и понял, что Бергер врет: нет в рейсе Рябинина, значит, его уже успели предупредить и спрятать. И вдруг в Елецком вспыхнуло какое-то мальчишеское упрямство, до боли жгучее желание врезать оплеуху этому самодовольному мерзавцу, унижить его в собственных глазах. Антон Ильич выбрался из кресла, брезгливо поморщился и сказал:

— Ну, ладно, хватит болтовни, вызывайте ваших палачей, и я покину вашу хазу навсегда.

— Что вы имеете в виду? Что это за слово?

— Если помните, Смольков именно вас, как специалиста, просил разобраться и помочь эвакуации наших национальных художественных ценностей? Теперь я вижу, — Елецкий кивнул на стену, — как вы решили эту проблему. Запомните, Бергер, воров презирали и жестоко наказывали во все времена. В Германии, к примеру, им рубили руки. Скоро придет пора, когда вам придется ответить и за это. А «хаза» — на жаргоне преступников — воровской притон, куда воры сносят краденное.

— Ах, Елецкий, Елецкий!.. Речь ведь идет о сохранении культурных ценностей. Сохранении! А не уничтожении их в ваших азиатских пещерах! Рабам, в конце концов, не нужны Рафаэли, они необходимы цивилизованному миру!

— Это вам-то? — Елецкий постарался вложить в свой вопрос максимум презрения.

— Ну, довольно! — Бергер со злостью схватил телефонную трубку и отрывисто приказал: — Клямке, присылайте своих, можете забрать его! — И, припечатав трубку к аппарату, добавил: — Я разочарован в вас, Елецкий, но посмотрим, что вы запоете завтра...

Завтра и все последующие дни, и недели, и месяцы слились в сплошной кровавый кошмар. Оберштурмфюрер Клямке оказался большим специалистом по части развязывания языков, но и он добиться ничего не смог. Не раз и не два Бергер пробовал повторять свои уговоры и убеждения, которые заканчивались угрозами и проклятиями. И снова появлялся Клямке с пустым, водянистым взглядом и мокрыми губами садиста.

Дни кончились, Елецкий давно потерял им счет и забыл, что на дворе — зима или лето? Он видел каких-то окровавленных людей, безучастно слышал их истошные воющие крики, но его память хранила только одно — он ничего не сказал и не скажет. Все остальные ощущения его были пропитаны солью — и вода, и кровь на губах, и невероятный соленый огонь, сжигающий тело...

Однажды ему прочитали приговор, и он отстраненно, как о постороннем, подумал, что мучения кончились. Он уже перешел грань человеческих мук и находился в состоянии прострации, лишь какие-то звуки порой долетали до него. Его тащили, кидали, везли, но и это он, в общем, не помнил и не понимал. Впервые осознал, что он, оказывается, еще жив, в партизанском лагере. Потом был самолет, госпиталь в Москве и обрывки сновидений, которые долго складывались в какую-то давно забытую картину.

И вот теперь все ожило и припомнилось до мельчайших подробностей, вплоть до бронзовой шлюхи на столе у Бергера и его немигающих совиных глаз...

Елецкий возвращался в свое прошлое. Ровно гудели моторы «дугласа», и под его крыльями неслась земля, торопливо затягивающая свои рваные, неразличимые в ночи раны.

17

Про Тарантаева словно забыли.

Время тянулось страшно медленно. Гришка метался по тесной подвальной клетухе, потрясал кулаками, матерился сквозь стиснутые в ярости зубы. Только бы не опоздать, не опоздать...

Неожиданно дверь открылась, и появился солдат. Он сунул в руки Тарантаеву миску с пшенной кашей и кружку теплого чая. И ушел, лязгнув с той стороны дверью. Тарантаев жадно поел и снова стал считать минуты. Они

складывались в часы, вероятно, уже кончался день, а его все не звали на допрос. Слабо подмаргивала лампочка под потолком. Тарантаев устал метаться по камере и сел в углу, подтянув колени к подбородку.

На место злобы и буйной ярости пришла полная опустошенность. Не зовут, значит, с ним все ясно. Парашютист показал достаточно, и его, Гришкины, свидетельства просто никому теперь не нужны. У Клямке из него бы все кишки вытащили, а здесь не будут, нет — к стенке прислонят и скомандуют: «Пли!» И больше не станет Тарантаева.

Гришка вспомнил, как на допросах все ходил вокруг него этот следователь-кавказец, все кружил со своими вопросами, будто затягивал Гришку в воронку, а он стоял на своем: не знаю, не видел, не был. Глупость это, конечно, тут и дураку ясно, что кругом он наследил. Ежели по правде, так и на две вышки хватит. Ну, что сделал, то сделал, другое обидно: сука эта, Анька, лихо его бортанула, сбежала, и теперь, выходит, только ему и держать ответ за все — и за рацию, и за шифровки, и за этого подонка Бергера. Шпионов не прощают, с ними разговор один. Ну, уж нет, на нем, на Гришке, в рай не въедете, вот вам!..

Разбудил его лязг дверного засова. Тарантаев с трудом разогнул затекшую спину и поднялся, не совсем и понимая, где он и что с ним происходит. Вошел все тот же мальчишка-конвоир и приказал:

— А ну, выходи, живо!

Гришка, сцепив пальцы за спиной, пошел по коридору, ощущая босыми пятками холод цементного пола. Конвоир — в трех шагах сзади. Поднялись по лестнице, и Гришка зажмурился от ослепительного солнечного света, лившегося в пыльное узкое окно. Он скосил глаза на конвоира — близка воля, а не допрыгнешь, не успеешь...

Тарантаев вошел в комнату, где его допрашивали, и... ноги сами подкосились. Рядом с этим проклятым майором, которого он чудом не пришиб, потому что в первый раз в жизни промазал, рядом с ним сидел... Антон. Нет, недаром, знать, все время думал о нем, вот и накаркал на свою голову! Живой Антон!.. Но ведь этого не может быть! Значит, Бергер врал Анне? Он же уверял, — Гришка своими ушами слышал, — что, когда партизаны устроили засаду и напали на машину с осужденными, чтобы отбить своего командира, немцы не растерялись и успели всех приговоренных перестрелять еще в машине. А партизанам только трупы достались.

Гришку как раз в тот день вызвал Бергер, хотел дать, наверно, какое-то очередное задание, связанное с партизанами, но не успел. В его кабинет ворвалась разъяренная Анна. Гришка тогда впервые увидел ее взбешенной до такой крайности. Она так орала на Бергера, что тот, прямо на глазах, забыв про посторонних, то есть про него, Гришку, стал серым от страха. Анна кричала, что будет жаловаться генералу и он шкуру спустит с Бергера. Видно, хорошо знал Бергер этого генерала, родственника Анны, если клялся всеми святыми, что Антона успели ухлопать, и он сам это видел. А потом он, выпроваживая их обоих из кабинета, чуть ли не по-приятельски подмигнул Тарантаеву: «Что, мол, поделаешь? Баба — она баба и есть, надо терпеть...» А сам все-таки трясся, как сучья лапа, от угроз Анны. Вот он почему за нее держался-то. Не за Анну, выходит, а за ее родича-генерала! Ну и дерьмо! Кипело в груди у Гришки, так и тянуло вмазать тогда Бергеру по его ухоженной морде. Еле сдержался. Испортились у Анны отношения с Бергером, а Гришка был рад, думал, что навсегда, но не прошло и месяца — и снова засобиралась она к Бергеру, как ни в чем не бывало. Ну, Анна — черт с ней теперь! А Бергер, значит, врал, гад!

Лихорадочно работала мысль: неужели все? Крышка?.. Вот он, палач, рядом сидит... По напряженным мышцам словно судорогой дернуло, глаза захлестнуло смертной тоской. Но конвоир ткнул в спину автоматом и показал на табуретку. Гришка свалился на нее. Голова настолько отяжелела, что шея не выдерживала, и не было сил поднять глаза на партизанского командира.

Сейчас они снова связную с того света вытащат и дом ее сожженный... А, собственно, кто его, Гришку, там видел? Старуха сумасшедшая? Соседи придурки? Так это на них от страха перед немцем затмение нашло. Не было там Гришки никогда, не было и — все! Бергера нет, Анны нет. А эти — не свидетели... Ну да, не свидетели! Теперь война. Пришьют, и не отвертишься.

И Гришка вдруг сообразил, как петли избежать: надо все валить на Анну, Аньку эту — паскуду. Вот кто виноват! Она и ее немцы. Пусть ее и судят! Поймают и судят. Только она не дура, наверно, давно уж и след ее простыл. А что Антона приглашал встретиться, так то ж немцы заставили! Командир-то, поди, не дурак, мог бы и сам догадаться. Да, теперь валить все на Анну — единственное спасение от петли. Тарантаев почувствовал, как найденный

выход словно отпустил судорогу, жестокой болью сковавшую его тело. Теперь, думал он, вылезу, вылезу...

Допрос уже длился более двух часов. Тарантаев словно торопился выговориться. При этом исчезла напрочь его мрачная угрюмость, во взгляде появилась даже какая-то угодливость. Так, видимо, подействовало на него присутствие Елецкого. Сразу развязался язык.

Дзукаев, конечно, заметил, какой ошеломляющий удар нанесла Тарантаеву неожиданная встреча с бывшим партизанским командиром. Дубинский едва успевал записывать за ним показания.

Тарантаев подробно, буквально захлеб, повествовал свою горькую историю, как застал его в городе приход немцев, как долго он прятался от них, пока однажды не увидала его бывшая начальница Баринова, которая, оказывается, давно служила немцам. Да она и сама — немка, еще в двадцатых приехала и прижилась тут. Это она выдала Тарантаева полиции, его схватили, долго били и мучили, вынуждая нацепить белую повязку полицейского. Но он, оставаясь убежденным советским человеком, никогда не участвовал в облавах и других фашистских акциях, оправдываясь болезнью ног, которые у него, правда, болели еще с детства. Не надо думать, что он такой здоровый внешне, он с малых лет измученный жестокой подагрой. При этих словах Тарантаев показывал свои грязные ноги, мял и растирал их руками, потупив взгляд, и было видно, что он и сам искренне верит собственному вранью. А однажды фашисты — Бергер, Клямке, он валил их в кучу, — угрожая пытками, потребовали, чтобы он нашел возможность встретиться с партизанским командиром, вот, с товарищем Антоном. Он и сам хотел уже связаться, только тайком от фашистов. Но они, видать, заподозрили его и в последний момент, неожиданно для него, привезли солдат и устроили засаду. Вот почему так получилось. Он же, Тарантаев, самолично просил свою соседку предупредить товарища Антона, что против партизан готовится карательная экспедиция. Настя могла бы подтвердить, но он слышал, что схватили ее немцы. Он ведь знал, что она в лес ходит, однако никогда никому не говорил об этом. А что Настю Савелову схватили, так в том, он клянется, нет никакой его вины.

И еще он желает сделать самое важное признание. По поводу Бариновой. Он, Тарантаев, конечно, не может знать всего, однако уверен, что товарища Антона выдала нем-

цам та же Баринава. Это она донесла Бергеру, своему любовнику, который теперь обретается в Смоленске, что встретила на улице партизанского командира, после чего Бергер организовал облавы по всему городу. И награду за поимку товарища Антона они поделили между собой. И вообще, Баринава — немецкая шпионка, она проговорила однажды, — Тарантаев своими ушами слышал, — что составляла специальный список, по которому немцы вылавливали советских людей и казнили. А после ухода немцев это она заставила его, Тарантаева, прятать радиопередатчик и угрожала, если он откажется, выдать его НКВД за сотрудничество с врагом. Она его заставила подписать такой листок, что он ее сотрудник. Вот почему он боялся и прятался в развалинах от своих. А с тем передатчиком он и обращаться-то не умеет, посмотрел разок, что это за штука, и — все. Передачи всегда вела она сама...

Дзукаев уже получил подробную информацию от прилетевшего утром Елецкого о Бергере, Бариновой и о самом Тарантаеве и теперь, внимательно слушая Тарантаева, мысленно отсеивал ложь, продиктованную страхом перед неминуемой расплатой, от подлинных фактов, которые могут быть полезны следствию.

Рассказ Елецкого прояснил для Дзукаева самое основное в том, что теперь торопливо выкладывал Тарантаев: было совершенно ясно, что он — исполнитель. Нет, конечно, не заблудшая овечка, каким он стремился представить себя, а вполне сознательный, продавшийся фашистам негодяй, каратель, и мера наказания для него ясна. Но вот главным лицом Тарантаев не мог быть — это несомненно. Тут все нити тянулись к Анне Ивановне Бариновой, к майору Карлу Бергеру. Но Бергер далеко, видимо, за линией фронта, а вот Баринава где-то здесь, под боком скрывается. Вся надежда сейчас на Сашу Рогова, рыскавшего по городу в поисках бывших служащих сельпо, которые могли бы сказать о ней что-то более определенное. Дубинский, как и предполагал Дзукаев, ничего нужного не смог обнаружить.

Тарантаев начал повторяться.

«А теперь самое время по-настоящему прижать его, — решил Дзукаев. — Запал его прошел, и он утомился от необычно длинного для себя рассказа, от долгих ночей, проведенных в страхе за свою жизнь, или ему действительно нечего больше сказать?»

— Ну, а пропуск в сапоге, Тарантаев? Как с ним бу-

дем? — спросил он, словно бы между прочим. — Кто и когда вам его выдал?

Забыл об этом Тарантаев.

— Бергер выдал. Недавно, перед отъездом уже, — нехотя выдал он. Потом, помолчав, добавил: — Вообще-то, не он сам, а Баринова. Она принесла и велела взять и спрятать подальше.

— Значит, буквы «КБ» обозначают инициалы Карла Бергера?

— Наверно, я не знаю.

— Слушайте, Тарантаев, этот документ вам здесь не нужен. Зачем же было его хранить? Вы что, собирались убежать вслед за фашистами?

— Никуда не собирался.

— Ну, предположим. А если бы пришлось или Баринова приказала, к кому вы должны были бы там обратиться?

— Да к Бергеру, к кому ж еще?

— А сколько месяцев вас учили радиodelу?

— Да недол... — Тарантаев испуганно осекся.

— Продолжайте, чего остановились? Месяц, два, три? Вы у Курта в школе учились?

— Не знаю никакого Курта! — глаза Тарантаева зло вспыхнули. — Никто меня не учил!

— Вы же говорили, что знакомы с рыжим Куртом? — Дзукаев помнил, что Тарантаев ни разу не упомянул этого имени, но решил взять его «на пушку».

— Когда я говорил? — Тарантаев понял, что запутался. Он не мог теперь вспомнить: говорил или нет. Этот проклятый Курт так и вертелся все время на языке. Неужели сказал?

— Говорили, говорили, — поморщился Дзукаев.

«А черт с ними, со всеми!» — решил Тарантаев.

— Ну, видел я его. Он к Бергеру приезжал. И к Ане...

— К Бариновой? Вы ее разве Аней зовете?

— Это... сорвалось... — Тарантаев уже и не рад был своему языку.

— А у нас есть свидетели, которые утверждают, что к Анне Ивановне Бариновой довольно долгое время захаживал похожий на вас, кудрявый, рослый молодой человек. Может, стоит предъявить вас им? Кстати, именно ваше нижнее белье обнаружено в ее доме, в шкафу. А под печкой — грязное белье. И тоже ваше. Ну, звать соседей?

— Не надо, — хрипло пробормотал Тарантаев.

— Тогда будем отвечать правду, — жестко отрезал Дзукаев. — Вы были любовником Бариновой?

— Был...

— Но она предпочла вам Бергера. Так?

— Нет! — выкрикнул Тарантаев. — Это он ее... из-за генерала... Ладно, скажу, все равно ведь узнаете. Лучше сам. Чистосердечно.

— Что за генерал? Ну-ка, поподробнее...

— Родственник у нее есть такой. Он генерал. Группенфюрер, по-ихнему. Вот Бергер его боялся и подмазывался к Ане.

— Как фамилия генерала?

— Не помню. Она называла его Вилли, а фамилию не помню — Клот... Плот... Я его ни разу не видел.

— Ладно, уточним. Так что с Куртом?

— Брандвайлер — его фамилия. Аня мне сказала. Он начальник школы, где этот парашютист учился. Полковник, а Бергер ему подчинялся. «КБ» — это и есть Курт Брандвайлер. Всем шпионам, которых он готовил, на документах ставили эти буквы.

— И вам тоже?

— Я что? Они меня силком отправили, избавиться хотели, когда ничего у них не вышло вот с товарищем Антоном. Вроде я был виноват. Но я плохо учился, неспособный я к учению, и меня отчислили. Я не шпион, мне и заданий-то никаких не давали. Нет, не шпион я...

Дзукаев усмехнулся и взглянул на Елецкого. Антон Ильич сидел с каменным лицом, только желваки перекачивались на его провалившихся скулах. Надо бы дать ему отдохнуть, решил майор. Устал ведь человек, ночь летел. А допрос можно кончить и без него. Колется Тарантаев...

— Антон Ильич, может, вы хотите отдохнуть? — тихо спросил майор, наклонившись к Елецкому.

Но тот отрицательно покачал головой, а потом, словно спохватившись, прошептал:

— Извините, если я, конечно, вам не мешаю...

Дзукаев всем видом показал, что об этом не может быть и речи. Елецкий сухо кивнул и снова перевел немигающий взгляд на Тарантаева.

Майор мысленно благодарил своего начальника за подсказку. Снова оказался прав Федоров — перегорел Тарантаев. Словно ринувшись с высокого обрыва в воду, выкладывал он все, что знал о рыжем Курте. Но сведения эти касались лишь оккупационного периода, а Дзукаеву требо-

валось узнать, как далеко в сегодня и завтра протянулись связи Брандвайлера и Бариновой. Тарантаев действительно начал говорить правду. Но всю ли? Вот в чем вопрос. Скорее всего, лишь ту часть, которая наверняка касалась его персоны в наименьшей степени. Будучи, однако, человеком недалеким, не умеющим рассчитывать свои мысли и действия на несколько ходов вперед, он незаметно противоречил сам себе в довольно существенных деталях. Ему-то они наверняка казались незначительными, — ну, оговорился, не так выразился! — а со стороны было видно, как старательно пытается он уйти от всякой информации, связанной с военным временем.

Заметив мимоходом, например, о том, что Баринова была давним агентом Курта, Тарантаев тут же поправился, что это он так думает, потому что их встречи в оккупированном фашистами городе были теплыми и даже дружескими. «Вряд ли, — мысленно возражал Дзукаев, — могла присутствовать при них такая мелкая сошка, как Тарантаев, если он является новичком в этой компании. Кем же он должен являться в противном случае?» Уходил Тарантаев и от конкретного ответа на вопрос, как давно он сам знаком с Бариновой. Утверждал, что недавно, и, несомненно, лгал. По его словам, Баринова появилась в этом городе незадолго до войны, а где жила раньше, он не знал. О себе сказал, что переселился сюда из Смоленска. Но ведь в Смоленске, по словам соседей, жила и Баринова. Словом, путал свои ответы Тарантаев. Путал и понимал, что увязает в этой путанице все больше и больше.

Требовалось чем-то снова сильно огорошить его, встряхнуть, нанести нокаутирующий удар. Если бы можно было доказать его довоенное, давнее знакомство с Бариновой, тогда, конечно, сотрудничество Тарантаева с германской разведкой стало бы неопровержимым фактом. Но он больше всего боится именно этих сведений и будет крутиться, как черт на горячем шампуре, пока не удастся конкретным доказательством прижать его к стенке. А Бариновой нет... И местные архивы как сквозь землю провалились. То ли их успели куда-то вывезти, то ли уничтожили с умыслом. И никаких сведений из Брянска и Смоленска. Впрочем, последних скоро не дождешься, на это следовало рассчитывать с самого начала. Где-то мечется Саша Рогов, скоро уж день кончится, а от него ни слуху ни духу. А вдруг раскопает хоть что-нибудь, хотя бы маленькую зацепку найдет? Как желал сейчас майор успеха молодому следова-

телю! Он и сам бросил бы все к дьяволу и занялся опросом прохожих, лишь бы хоть какое движение. Легко полковнику рассуждать, что у них впереди масса времени, будто этому дню длиться вечность... Но ведь и его надо понять. И ему несладко.

Капитан Бурко, представляя Елецкого, прибытие которого явилось для Дзукаева полнейшей неожиданностью, не преминул похвастаться, что летели вместе с маршалом, представителем Ставки. Дзукаеву не надо было объяснять, что это означало. Крупное наступление, вот что. И удар по фашистам должен быть не только сильным, но и неожиданным. А секретность подготовки и решающего удара обязаны были обеспечить именно они, контрразведчики. Обрубить руки специально оставленным здесь гитлеровским агентам, зажать их в смертельные тиски, очистить от них тылы наступающих войск.

Видя, что дело затягивается, Дзукаев решил пойти ва-банк.

— Слушайте, Тарантаев, все, что вы тут рассказали, представляет для нас некоторый интерес. Однако зачем вы увиливаете от прямого ответа: почему вы перебрались в этот город следом за Бариновой? Чем плох был Смоленск? Или это связано с новым заданием Курта? — и, держа в памяти рассказ полковника Федорова, добил Тарантаева: — Брандвайлер ведь не раз приезжал в Смоленск, когда работал в германском посольстве, в Москве. Разве вы это не знали?

— Нет... — растерялся Тарантаев.

— И Баринова не говорила?

— Не говорила... Да я и не знал тогда, вот как перед господом богом!

— А когда было это ваше «тогда»? Слушайте, я думаю, пора выкладывать. Начистоту. Чего мелочиться? Мы с вами уже полдня крутимся на одном месте, надоело, честное слово. Вы сильно надеетесь на то, что трибунал учтет ваши чистосердечные признания, а сами постоянно недоговариваете, умалчиваете правду. Только время затягиваете... И учтите, очень дорогое для вас время! Нам, в конце концов, торопиться некуда. Мы можем и подождать, а вам ждать больше нельзя. Я почти уверен, что трибунал не примет во внимание такую вашу искренность. Вы курите?

— Нет, не курю.

— Вот и берегите здоровье. Разрешаю вам в последний раз подумать и снова все рассказать о Бариновой, все. Та-

рантаев. И о том, когда и как вы стали германским агентом, и какие задания выполняли. Последний раз спрашиваю, и передаю дело в трибунал.

Образовавшуюся паузу прервал требовательный зуммер телефона. Дзукаев, уже забывший о его существовании, несколько удивленно взял трубку и услышал взволнованный голос Рогова. Саша говорил торопливо, будто задыхающийся бегун.

— Докладываю, товарищ... Казбек! Алло! Алло! Снова вышел в цвет, алло! Бегу к вам!..

— Ты где? — закричал в трубку Дзукаев. — Неужели нашел?

— В госпитале! Сейчас буду!

— Оставайся там, сейчас мы сами приедем!

Послышался треск, и связь прервалась.

Дзукаев увидел, как сразу насторожился арестованный. Взгляд его беспокойно заметался по лицам следователей. Дубинский все понял и даже привстал из-за стола, сверля глазами майора. Но Дзукаев усилием воли взял себя в руки и, сохраняя максимум внешнего спокойствия, почти небрежно, но с нотками торжества в голосе сказал:

— Товарищ следователь, отправьте арестованного в подвал! Ступайте, Тарантаев! — и с маху хлопнул ладонью по столу. — Все!

Ах, если б это «все!» не вырвалось у него! Позже Дзукаев анализировал события этого дня и нигде не видел ошибок. Он последовательно и твердо загонял Тарантаева в угол и уже почти уверен был в ожидаемом финале. Он просто упустил из виду, что даже заматерелому убийце всегда надо оставлять надежду хоть на малюсенькую лазейку. Но своим неожиданным эмоциональным взрывом он как бы поставил точку и дал иное направление развернувшимся событиям. Окрыленный удачей Саши Рогова, он не обратил внимания на резкую смену настроения у Тарантаева. Напротив, он буквально ерзал от нетерпения, глядя, как арестованный медленно и словно отрешенно читал протокол допроса.

Дубинский открыл дверь и позвал Одинцова. Боец вошел и остановился у притолки. Автомат висел у него на груди и руки спокойно лежали на ложе и кожухе ствола. Одинцов сдержанно зевнул. Тарантаев оглянулся и понял, что это за ним. Он долго, как бы раздумывая, подписывал листы допроса, потом так же неторопливо встал, окинул всех присутствующих мрачным взглядом исподлобья. За-

державшись на Елецком, презрительно хмыкнул и пошел к двери, косолапо ступая и сутуло пригнувшись, будто огромная обезьяна.

Буквально через минуту в коридоре с гулким треском ударила автоматная очередь.

Все онемели, а через мгновение Дзукаев мчался по длинному коридору и в голове его колоколом билось: «Ушел! Ушел!..»

Поперек лестницы, ведущей в подвал, раскинув руки, лежал навзничь Тарантаев, а у стены, скорчившись и привалившись к ней боком, — Одинцов. Со всех сторон сбегались люди. Минуту спустя лежащих окружила толпа. Дзукаев пробился в центр, наклонился над арестованным и сразу все понял: мертв, его грудь была буквально разорвана выстрелами в упор. Майор машинально дотронулся до него и тупо посмотрел на запачканную кровью ладонь. Повернулся к Одинцову. Боец лежал, крепко прижимая к себе автомат и неестественно запрокинув голову. Его немигающие глаза были широко раскрыты. Из полукрытого рта тянулась по щеке кровавая ниточка. Рядом на полу валялась белесая, выцветшая на солнце пилотка.

Кто-то истошно крикнул: «Санитар!» Прибежала Татьяна, присела возле Одинцова, попробовала оттащить его от стены, несколько рук тут же помогли ей. Русая голова Одинцова с мокрым, прилипшим ко лбу чубчиком, словно булыжник, стукнула по каменному полу. Девушка ойкнула и сунула под нее свою сумку. Потом она обвела непонимающим взглядом окружающих ее и прошептала:

— Убили его.

Все замерли. Стоявшие медленно стягивали пилотки, фуражки. Татьяна вскочила и надрывно крикнула:

— Он убил его, гад!

Этот вопль будто оборвал что-то внутри у Дзукаева. Он повернулся, прошел сквозь невольно расступившуюся толпу и остановился, будто уколовшись о жесткие, прищуренные глаза Елецкого. Майор покачал головой и сокрушенно развел руками.

— Пойдемте, Иван Исмаилович, — неожиданно мягко предложил Елецкий. — Мы тут не нужны. Ушел все-таки, мерзавец, от суда нашего... Но, насколько я понял, нашлась мадам?

— Барина-то? — как о постороннем предмете спросил Дзукаев. — Нашли ее... Я сейчас еду в госпиталь. За ней. А вы отдыхайте, Дубинский обеспечит.

— Послушайте, майор, нам с вами необходимо поговорить, причем не откладывая дела в долгий ящик.

— Может быть, — нетерпеливо перебил Дзукаев, — позже, когда я вернусь?

— Не хотелось бы оттягивать... А что, в машине нельзя?

— Но вы же понимаете... я еду не в игрушки играть. Там всякое может случиться.

— Помилуйте, майор, что может произойти? А потом, я вовсе не собираюсь вам мешать.

Дзукаев неопределенно пожал плечами.

— Н-не знаю... — протянул он. — Впрочем, как хотите. Едем сейчас... Виктор! — позвал он Дубинского. — Займись, пожалуйста, здесь, — он кивнул в сторону Тарантаева. — Я тебя очень прошу...

— Знаете, майор, почему он так сделал?

Дзукаев обернулся к сидящему на заднем сиденье «виллиса» Елецкому.

— Догадываюсь...

— Он был уверен, что вы не найдете Бариновой. Потому и заговорил безбоязненно. Грехов за ним числилось немало, но он рассчитывал отмотаться. У таких зверей особая тяга к жизни. И поразительная боязнь смерти...

— Мальчишку мне жалко. Одинцова. Мы вместе с ним брали Тарантаева, выручил он меня тогда... Как так случилось?..

— Напал неожиданно. Это он с виду неповоротливый, а на самом деле силен и ловок, как тигр. У фашистов школу прошел. Не могли же они учить его только ключом работать да шифровать передачи, там программа обширная... Он задушил его. Но мальчик все-таки успел... Жаль, совершенно ненужная, бессмысленная жертва... Что поделаешь? Война...

— Войной всего не спишешь... — вздохнул Дзукаев. — Ну, так что вы хотели мне сказать?

— Иван Исмайлович, — негромко и доверительно заговорил после паузы Елецкий, — давайте договоримся сразу вот о чем. Я, как вы понимаете, лицо к этому делу некоторым образом... как бы сказать... сопричастное. Поэтому все мои соображения и советы вы, естественно, можете отбросить... отвергнуть. Из тех немногих материалов следствия, с которыми вы сочли возможным меня познакомить, ни в коем случае не примите это как какой-то упрек, я человек

военный, все понимаю, так вот, из этих материалов плюс сегодняшнего допроса у меня сложилась некая картина. Думаю, она будет вам интересна.

— Я внимательно слушаю, — хмуро кивнул Дзукаев.

— Постараюсь быть краток. Функции Курта Брандвайлера ясны, он в этом деле всему голова. Полагаю, что Баринаева его старый агент. По свидетельству Тарантаева, она — немка и, вероятнее всего, является основным резидентом. Ее функции — разведка предполья нашей границы. Иначе чем объяснить такую тягу к западным областям? Массовые аресты, я уверен, дело ее рук. С Бергером, как вам известно, я был знаком лично. Бергер — это абвер. Поскольку Баринаева, по существу, подчинялась ему, мы имеем дело с абверовской агентурой. Вильгельм Канарис, руководитель абвера, ярый и давний поклонник массового шпионажа, так называемой системы «частого гребня». Ну, вы знаете, масса агентов, проверка и перепроверка друг друга и поступающей информации и так далее. И вот тут возникает странный парадокс: видя порочность такой системы, они тем не менее не могут отказаться от нее и действуют по давно известному, еще с первой мировой войны, шаблону. Следовательно, и мы должны быть готовы к тому, чтобы долго и тщательно вычесывать их агентуру. Это я вам говорю, Иван Исмаилович, исходя из своего прежнего опыта. Бергер, полагаю, успел насадить у нас в тылу своих агентов и, видимо, не мелких диверсантов, а поставил перед ними задачу на долговременное оседание... То есть оставил серьезную публику. Для решения вопросов будущей стратегии. Вот где главное. А мелочью Бергер не стал бы заниматься. Я ведь вам уже рассказывал о его попытках вербовки моей персоны и не думаю, что его опыты так на мне и закончились. Наверняка нашлись подлецы. Каковы же выводы? Баринаева сейчас ключ ко всей операции. На Тарантаева мое присутствие оказало весьма сильное впечатление. Решите сами, майор, нужен я или нет при допросе Баринаевой? Во всяком случае, о смерти Тарантаева я бы ей не говорил. Если она будет знать, что он взят, а также дает показания, реакция окажется весьма благоприятной для нас.

— Спасибо, Антон Ильич, за информацию... Когда вся эта история началась, я сгоряча подумал было: вот поймем мерзавца и передадим в военно-полевой суд. Нет, вижу, тут уже для трибунала дело созревает. Крупное дело. Вам спасибо за помощь. За совет... Ну, кажется, приехали.

Петя лихо заложил крутой вираж на выщербленной, разбитой площади и остановился у бывшего здания исполкома. Из подъезда тут же выбежал сияющий Саша Рогов. Но, увидев хмурое лицо подъехавшего начальника и незнакомого, сухого, как жердь, человека, который, опираясь на палку, выбирался из машины, он сник, сообразив, что случилась какая-то непредвиденная, серьезная неприятность. Дзукаев отметил перемену на лице Рогова и быстро объяснил: только что при попытке к бегству убит Тарантаев, а Одинцов погиб.

В этот момент от колонны отделился Червинский и сделал несколько коротких, несмелых шажков навстречу Елецкому. Лицо Ильи Михайловича выражало полное изумление.

— Боже, не может быть! Антон Ильич, живой! Нет, я в это никогда не поверю! Дорогой вы мой, правда, живой, как я! И такой здоровый! Ой, извините меня, старика, можно я вас сейчас обниму от всего сердца?

Червинский прослезился, стал искать в карманах носовой платок, но махнул рукой и вытер глаза сложенными щепотью пальцами. Он ткнулся носом под мышку Елецкому и обхватил его обеими руками. Сгорбленная спина старика вздрагивала.

Елецкий, неловко прижимая к себе плечи Червинского, высоко поднял подбородок и часто моргал повлажневшими веками.

Вконец растерявшийся от этой встречи, Рогов недоуменно взглянул на Дзукаева, и он, подтянув Сашу за плечи, шепнул:

— Бурко ухитрился привезти. Это тот самый Елецкий, понимаешь? Который побывал в гестапо. — Он поморщился, словно от больного зуба. — У Тарантаева, будь он трижды проклят, при виде Антона ноги подкосились, так испугался... Ну, а эта твоя, что в госпитале делает? Арестовал?

— Какой там! Похоже на воспаление легких. В кровати лежит. Сейчас лучше. Только я теперь думаю...

— Что? И ты думаешь? Боишься, что и она окочурится, когда его увидит?

— Да ведь все может случиться... А врач не велел никаких нервных встрясок.

— Он не велел! Послушай, может, мы войну отменим, потому что он не велел? — едва не сорвался на крик Дзу-

каев и, оглянувшись, продолжал злым шепотом: — Это для него она больная! А для нас — фашистская сволочь! Гам есть где поговорить? — Дзукаев кивнул на здание.

— Уголок найти можно. У начальника госпиталя. Тесно все, койки только что не на крыше стоят.

— Пойдем... Антон Ильич, — майор тронул Елецкого за рукав старого, видно с чужого плеча, пиджака, висевшего на нем, как на вешалке. — Мы тут посовещались... такое дело... Она пока больна, наверно, вам сейчас не надо? А? Вы вот с товарищем побеседуйте, шофер отвезет вас. Мы потом сообщим, сразу сообщим...

— Поступайте, майор, как считаете нужным. А машину не надо, мы к Завгороднему зайдем. Там и найдете.

На втором этаже, в длинном коридоре, тесно заставленном койками с лежащими на них ранеными, Дзукаев остановил Рогова.

— Ты мне покажи ее, а говорить потом будем.

Рогов кивнул и призывно махнул рукой пожилой женщине в белом халате, семенящей им навстречу.

— Это — Прасковья Васильевна, тетя Паша, бывшая сторожиха при сельпо. Она теперь в сиделках при раненых и больных. Тетя Паша, вот мой начальник. Мы только заглянем к ней, ладно? А беспокоить не станем. И еще раз прошу, тетя Паша, ей ничего не говорите. Ни слова, ни полслова. Просто строжайше запрещаю.

— Понимаю, голубок, как не понять, — ласково зачистила старушка, кивая седой, накрытой белым платочком головой. — А вы кто же будете Анюте-то? — она хитровато прищурилась и хихикнула совсем по-девчоночьи. — Уж не женихи ли? Надо ей, надо мужа хорошего. Такая она у нас славная, Анечка наша...

Она подвела военных к приоткрытой двери, заглянула и, повернув голову, шепнула:

— Спит, поди. Ну, поглядите. В том углу, слева...

Дзукаев разглядел в глубине просторного помещения, впритык друг к другу заставленному разномастными кроватями, лежащую на спине женщину, накрытую по грудь серым одеялом и с таким же землисто-серым лицом. Голова ее была забинтована. Он отошел от двери, чувствуя себя в высшей степени неловко, словно подглядел что-то неприличное, запретное. Старушка аккуратно прикрыла дверь.

Окна в длинном сводчатом коридоре были все побиты, и здесь тянуло сквозняком, выгонявшим тяжелый запах лазарета.

Присели на подоконнике у лестницы, где на белой табуретке стоял бачок с кипяченой водой.

— Не знаю, как быть, — Дзукаев взъерошил свой вороной вихор. — Оставлять здесь нельзя. А где охрану держать? За ней в десять глаз надо следить, чтоб не выкинула чего-нибудь. В безвыходной ситуации она может сделать все что угодно... Ну, так как же? С собой забирать?.. Вот же проблема, опять придется Федорову докладывать. Черт знает что, может, ее в Москву придется отправлять.

Следователи помолчали, потом Дзукаев спросил, как удалось отыскать Баринову.

— Да общественность я поднял, — Рогов грустно улыбнулся. — Червинский помог. Начал он припоминать старожилы, ну, и вспомнил о Прасковье Васильевне. Она, говорит, до войны болела всеми болезнями, даже теми, которых и на свете-то нет. Обожала лекарства пить. Постоянная его клиентка. Если, говорит, еще жива эта бабка, всех знает в городе. Энциклопедия. Объяснил, где жила раньше. А там уже мне соседи сказали, что Пашка — это она — днюет и ночует теперь в госпитале. Нашел. Начал ее исподволь расспрашивать про сотрудников сельпо, а она — с ходу: «А ты, голубь, уж не Анюту ли повидать хочешь? А то она все спрашивала, не приходил ли кто к ней? И еще просила никому не говорить про нее, да как не сказать такому, — Рогов хмыкнул, — красавцу!» Вот и рассказала, как Анну Ивановну бойцы подобрали, сюда принесли. Похоже, товарищ майор, она действительно собралась удирать, но... болезнь свалила. Можно считать, повезло нам. Но как дальше быть, и я ума не приложу. Я уж бабку настрашал, но не уверен, что она способна промолчать. Язык-то у нее — сами видели!

Решили посоветоваться с начальником госпиталя. Он принял их в своем закутке, где стояла железная койка и небольшой, заваленный всякими бумагами стол. Здесь были его кабинет и спальня одновременно.

Дзукаев представился.

— Мы уже заочно знакомы, — отозвался, поднимаясь с койки, плотный, средних лет мужчина с выбритой до блеска головой. Он провел пухлой ладонью по темени и протянул руку для пожатия. — Это с вами я разговаривал по поводу операции на легком? Извините, сидеть тут негде. Я сейчас прикажу найти табуретку, а вы располагайтесь на койке. Тесно, но хоть под крышей. Сию минуту, товарищи, — он вышел и вскоре вернулся, держа в обеих руках

табуретку. Сел на нее и привычно провел ладонью по талии. — Чем могу служить? Вы по поводу того мужчины?

Дзукаев предъявил свое удостоверение, и врач внимательно его изучил, потом поднял на майора непонимающий взгляд.

— Я что-нибудь не то сказал? Или сделал не так?

— Нет, доктор дорогой, все так. Только у меня к вам убедительная просьба, вернее, сразу две. Вы позволите?

— Разумеется, я же все понимаю, просто...

— Вот именно. Все должно быть очень просто, — Дзукаев улыбнулся. — Во-первых, я к вам никого не присылал и вы никого не обследовали. Договорились? Это очень важно, запомните, доктор. Для посторонних, если возникнет вдруг вопрос, скажете: был какой-то раненый, давно в тыл отправили. И все.

Начальник госпиталя кивнул, но какая-то растерянность все еще плавала в его глазах.

— И второе. А это уже просто военная тайна, доктор. Вы ведь тоже человек военный и должны понимать. У вас там, в большом зале, лежит некая Барина. Наси она подозревается в связях с немцами. Мы ее ищем вот уже несколько дней и нашли совершенно случайно. Не исключено, что она просто прячется у вас в данный момент. То есть скрывается от правосудия.

Врач отрицательно потряс головой, но Дзукаев жестом остановил готовые вырваться у него возражения.

— Не торопитесь, доктор, нам лучше известно, кто она и чем занималась при немцах. Так вот, больна она действительно или грамотно притворяется, это вы нам еще скажете. Сейчас же нам необходимо поговорить с ней, лучше, конечно, забрать с собой, в худшем случае — как-то отделить ее от остальных больных и раненых и поставить надежную охрану. Вы меня поняли? Если с ней что-нибудь случится или если, не дай бог, она исчезнет, мы все ответим головой. В буквальном смысле слова, дорогой доктор. Ну, а теперь я слушаю вас.

Но врач молчал. Только пальцы его выбивали барабанную дробь на крышке стола. Пауза длилась довольно долго.

— К великому сожалению, друзья мои, отдельным помещением я располагать не могу, сами видите, как живем. Вот рассортируем раненых и больных — станет легче. А пока... — он развел руки в стороны. — Вашу больную я смотрел. Она действительно больна, но у нее не воспаление легких, как я предположил. У нее сильная простуда

плюс депрессия, теперь я, кажется, понимаю ее причину, плюс легкая травма черепа. Все, вместе взятое, и дало такую реакцию. Она у нас, по-моему, четвертый день, температура спала довольно быстро, если до утра будет все в норме, завтра я разрешу вам. Но только после осмотра. Это категорически. Делайте со мной что хотите, но перевозить ее сейчас не позволю. Все понимаю, но не разрешу... Впрочем, если вы боитесь каких-то непредвиденных случайностей, сидите себе у палаты и караульте на здоровье. Лучше, если об этом никто знать не будет. Могу временно, на сутки, зачислить санитаром.

— Простите, — вмешался Рогов, — а нельзя как-то на это время отпустить отдохнуть вашу Прасковью Васильевну? Она нас видела, и мы, честно говоря, побаиваемся за ее язычок. Она ведь может для поддержки, так сказать, тонуса больной проболтаться о нашем посещении...

— А вы-то чем рискуете? Ну, предположим, скажет ей — и что? Она же не встанет с постели. Значит, и не убежит никуда. Впрочем, минутку... Кажется, я смогу вам кое в чем помочь. Мы сегодня отправляем в тыл эшелон с частью тяжело раненных и, возможно, удастся освободить местечко внизу. Я пойду посмотрю. А то здесь, действительно, вы правы, как на вокзале...

Пока доктор ходил выяснять, когда будут отправлены раненные и скоро ли придут за ними машины, Дзукаев с Роговым успели обсудить, как обеспечить охрану Бариновой, с тем чтобы завтра, если это будет возможно, прямо с утра начать ее допрос. Здесь, в госпитале, и начать, раз доктор такой неуступчивый.

Начальник госпиталя все не возвращался. Рогов ерзал, вздыхал, наконец не выдержал:

— Иван Исмайлович, можно я на минутку выскочу покурить? Тут не разрешают, а я просто замотался, закрутился, с утра ни одной затяжки. Можно, а?

— Иди, — улыбнулся Дзукаев.

Рогов открыл дверь, и его тут же словно отбросило к стене.

— Гляди! — сдавленным шепотом вскрикнул он, ткнув пальцем в коридор.

Дзукаев вскочил. Через распахнутую дверь он увидел, как по коридору, заботливо поддерживаемая тетей Пашей, медленно удалялась высокая женщина с перебинтованной головой, в длинном сером халате.

В несколько сумасшедших прыжков они догнали идущих. Женщина резко обернулась и как-то затравленно съежилась, сразу стала меньше ростом. Рогов немедленно преградил ей путь на лестницу, а Дзукаев приблизился вплотную и, сдерживая рвущееся из груди сердце, выдал только одно слово:

— Далеко?

— Ох, и напугали! — мелко закрестилась тетя Паша. К ней быстро вернулась привычная болтливость. — Какой тут далеко. В тувалет мы... Экие вы — мужики сторожки! И чего пугаете? Я сказала Анечке, что к ней гости припожаловали, так она и попросила свести ее в тувалет, в порядок себя привести. Неужто не понятно? Ну, не удержалась я, сказала, казните, я ж добра ей хочу...

Женщина скривила лицо и брезгливо вытащила свой локоть из цепких пальцев тети Паши.

— Что здесь происходит? — Дзукаев увидел разгневанное лицо поднимающегося по лестнице начальника госпиталя. — Я же приказал ее не тревожить! Вы ответите за свое самоуправство!

— Спокойно, доктор! — Дзукаеву этот гнев показался почему-то комичным. — Вашу больную никто не беспокоил. Клянусь честью. Мы даже не выходили из вашего кабинета. Просто выглянули случайно в коридор и обнаружили такую картину. Вы говорили — лежачая? Оказывается, она совсем ходячая!

— Вы зачем встали? — загремел доктор, но гнев его был обращен на санитарку.

— Дак в тувалет же, я говорю, — словно обрадовалась она подоспевшей вовремя поддержке. — А они, вишь, не пустили. Лексей Митрич, голубь, скажи ты им...

Дзукаев в упор, жестко посмотрел в глаза доктору, и тот смешался, отвернулся и буркнул:

— Я не разрешал вставать. И вы это знаете, Прасковья Васильевна... и вы... больная... Впрочем, теперь...

— А теперь, Алексей Дмитриевич, разрешите мне, — вмешался Дзукаев. — Я замечаю, что вы в состоянии передвигаться, Анна Ивановна. Я правильно вас назвал, гражданка Баринова? Так? — он требовательно посмотрел на санитарку.

— Так, истинно так, — закивала тетя Паша. — Анечка это. Как же не знать ее, голубку?..

— Ну так вот. Считаю, раз ваше состояние теперь не внушает опасения доктору... Не внушает, доктор?

Начальник госпиталя неопределенно пожал плечами и махнул рукой.

— ...то мы имеем все основания предложить вам привести себя в порядок в другом месте. Лейтенант, — кивнул он Рогову, — помогите санитарке доставить сюда вещи Бариновой. Извините, доктор, но Прасковью Васильевну мы тоже вынуждены пригласить с собой. Разберемся и тогда поставим вас в известность. Пусть она поможет ей одеться. Мы отвернемся.

Дзукаев взял врача за локоть, спустился с ним на несколько ступенек и, жестко сузив глаза, процедил сквозь зубы:

— Алексей Дмитриевич, теперь-то вы понимаете, что могло случиться? Ведь я только что говорил вам об этом.

— Помилуй бог, неужели вы думаете, что я?.. — искренне испугался врач.

— Успокойтесь, вам я верю. Да и не ушла б она от нас далеко... Давайте, доктор, только абсолютно честно, как ее состояние? Мы ведь, сами догадываемся, не о любви с ней будем беседовать...

Начальник госпиталя поиграл своими лохматыми бровями, морща и расправляя лоб, погладил ладонью темя, искоса наблюдая за движениями одевающейся Бариновой, и утвердительно качнул головой.

— Думаю, выдержит. Реакция нормальная... Конечно, возможны и срывы... Я сейчас принесу вам лекарство, можете ей дать, это общеукрепляющее, никакого вреда...

19

И вот они снова собрались в комнате, ставшей им почти родной. Дзукаев, Дубинский, Рогов... Не было Бурко — он обжился на новом месте, куда, если все пройдет по намеченному плану, они смогут перебраться уже завтра...

Сейчас приведут Баринову.

Сразу по прибытии Дзукаев тщательно проинструктировал Татьяну, и та, под руководством Виктора Дубинского, старательно обыскала Баринову, но ничего, никаких острых — режущих, колющих предметов, никаких документов или других бумаг у нее не обнаружили. Теперь арестованная приводит себя в порядок, а в дверях ее сторожит Коновалов, глубоко переживающий гибель своего друга — Одинцова.

Вошла Баринова. Черты лица ее заострились, нос опустился, губы вытянулись в сухую ниточку — словом, ощущение было неприятное; может быть, подумал Дзукаев, она когда-то действительно была красавицей и кому-то могла даже понравиться, но не ему, нет... Она села на предложенный стул. На вопрос о самочувствии презрительно усмехнулась, не удостоив ответом.

— Ну что ж, — не обиделся Дзукаев. — Будем начинать по порядку. Несколько вопросов и уточнений, чтоб потом нам с вами не терять даром времени.

— Спрашивайте, ваша воля...

— Скажите, ваш родственник, группенфюрер Вилли... как правильно его фамилия?

— Клотш. Вильгельм Клотш. Мой кузен, — небрежно ответила Баринова.

— Вот-вот, Клотш... Это он был причиной столь... нежных отношений к вам Карла Бергера и Курта Брандвайлера?

Анна замерла, услышав эти фамилии. Потом пожала плечами.

— Не думаю... Возможно... Вилли недавно погиб в Белоруссии. Партизаны убили... А откуда вам это известно?

— Я удивлялся, почему Бергер оставил здесь вас? Теперь понял. Вы потеряли для него всякую ценность после смерти Клотша. Что ж, это вполне естественно для Бергера... Вы спрашиваете, откуда мы знаем об этом? Секрета тут нет никакого. Виктор Александрович, покажите гражданке Бариновой протоколы допроса Григория Никитовича Тарантаева... Да-да, все три протокола. Самый подробный и наиболее интересный последний, сегодняшний. Вы потом сможете их почитать и, полагаю, найдете много любопытного для себя.

— Он... жив?

— Ну, а как иначе он мог бы давать свои показания?.. Кроме того, с вами хочет встретиться Антон Ильич Елецкий, — Дзукаев внимательно наблюдал за реакцией Бариновой. В какой-то миг ему показалось, что она упадет в обморок, но она взяла себя в руки, снова выпрямилась на стуле, — сильная женщина. Дзукаев сделал небольшую паузу и продолжал: — Он специально прилетел для встречи с вами из Москвы, из санатория, где он лечился после знакомства с вашим другом Карлом Бергером. Только встреча произойдет не здесь, а чуть дальше по коридору, в бывшем кабинете Карла Бергера, где вы однажды уже виделись и обсуждали качество французского одеколona. Ну,

и кроме того, к нам явился по собственному почину посланец от вашего друга Курта Брандвайлера, из Эстонии. Он тоже кое-что имеет вам передать. С чего начнем? Спрашивать? Или дать бумагу, карандаш, а вы сами все напишете?

Анна молчала.

— Совсем не слышу ответа, — спокойно констатировал Дзукаев.

— Скажите... — голос у Бариновой захрипел. — Гриша все про меня рассказал?

— Что — все? — удивился Дзукаев.

— Что я его... любила...

— А как же! Да вы сами прочтете, я ж сказал.

— Мерзавец... ничтожество.... хорошо, я сама напишу. А что мне за это будет?

— За что — за это? За расстрелянных наших честных людей? За ваши специальные списки коммунистов? Мы сегодня интересовались в соответствующих инстанциях, и нам сообщили, что практически уже подготовлена исчерпывающая информация и на вас и на ваших друзей — рыжего Курта, Генриха Рихтера, Бергера и других. Так какого же снисхождения вы ждете теперь?

— Но... может быть... если я все расскажу?..

— Об этом теперь будет судить только трибунал. Скажу лишь, как я уже говорил и вашему Тарантаеву: чистосердечное и полное признание может оказать воздействие на решение военного трибунала. Это все.

— Я напишу... Мой бог, за что? Ведь я так любила его!.. А он изложил... в своем признании, кем являлся на самом деле?

— Да, и довольно подробно, — не моргнув глазом, ответил Дзукаев.

Баринова задумалась.

— Ну, что ж, тогда и мне скрывать нечего, — решительно заявила она. — Я напишу, я все напишу, даже то, что ему очень хотелось бы скрыть... Давайте бумагу. Где я должна работать?

Последнее слово и безапелляционный тон, с которым она его произнесла, едва не вызвали шок у следователей, настолько комично это выглядело. Вероятно, эта женщина была слишком уверена в своей значительности. Следователи переглянулись. А что, мелькнула вдруг у Дзукаева шальная мысль, может, она действительно считает, что представляет собой великую ценность для нас? Такую ве-

ликую, что и самой Мата Хари не снилось? И фрицы с восторгом согласятся ее немедленно обменять на своего Гитлера? Ну и честолюбие!

— Я думаю, удобнее всего вам будет здесь. Начинайте и не обращайтесь на нас внимания. Этому вам, надеюсь, хватит? — Дзукаев протянул ей довольно толстую кипу бумаги и несколько заточенных карандашей.

Но Баринова не заметила иронии.

— Думаю, хватит. Но все-таки, может быть, вы мне разрешите пройти в соседнюю комнату, куда вы уже меня определили? Там тоже имеются стол и стул. Там на окнах такие же решетки, а я себя неважно чувствую и, как вы понимаете, убежать не смогу. Только уберите вашего солдата, пусть не стоит над душой. Он так зло смотрит, что я не могу сосредоточиться.

— Виктор Александрович, проводите ее, пожалуйста. Мы пойдем вам навстречу, Баринова, наш боец будет находиться за дверью. Теперь все?

— Достаточно.

Шло время... Рогов уехал за Елецким.

Дзукаев время от времени интересовался у Дубинского, заходившего в соседнюю комнату.

— Ну, как?

— Пишет, — коротко отвечал Виктор.

— Много?

Дубинский двумя пальцами показывал толщину стопки исписанной бумаги.

— Читать нам — не перечитать, — вздыхал Дзукаев. — Боюсь, что я погорячился, когда решил, что мы выгадали завтрашний день. Давай, дорогой, займемся бумажными делами...

Вернулись Рогов с Елецким. Антон Ильич заметно изменился. Он словно помолодел, казалось, даже запавшие щеки его разгладились, исчезли на них резкие морщины, и глаза светились и были живыми, а не теми, пристально-отрешенными, которыми он смотрел на Тарантаева.

— Спасибо вам, друзья мои, — негромко и стеснительно сказал он. — Вы даже не представляете, какое это лекарство для меня, как всего этого мне не хватало. Хотелось бы думать, что мой неожиданный приезд вам не в тягость. — Он уже знал от Рогова о неудавшемся побеге Бариновой и теперь предложил: — Разрешите, и я тоже изложу свои показания? Постараюсь быть предельно кратким. Если я вам пока не нужен, приткните меня куда-нибудь, где поспокой-

нее. И еще просьба, майор, вы обещали, что сегодня ночью появится возможность вылететь в Москву. Видимо, не надо объяснять, что меня ожидает там, в санатории? — он слегка улыбнулся. — Но это уж я как-нибудь переживу, да и руководство в курсе дела. Однако лучше, если задержка не продлится более суток. Будут считать самоволкой.

— Антон Ильич, какие разговоры! — широко и белозубо рассмеялся Дзукаев, подмигнув следователям. — Мы сегодня же отправим вас. Полковнику Федорову я уже докладывал о вашем прибытии. Его здесь нет, но он просил вам передать свою глубокую благодарность и беспокойство по поводу вашего здоровья. Он обещал лично решить с командованием вопрос о доставке вас в Москву. За это не волнуйтесь. — Дзукаев внимательно посмотрел на Елецкого и строго сказал Рогову: — Сандро, дорогой, обеспечь Антона Ильича всем необходимым.

Они долго занимались бумажными делами, которых Дзукаев терпеть не мог. Выручали скрупулезная точность и аккуратность Виктора Дубинского. Дзукаев прочитал и подшил к делу показания Елецкого. Ждали Баринову.

Виктор зашел в ее комнату, быстро вернулся, шепнул: — Заканчивает, — и снова ушел к ней.

Минут через пятнадцать она вошла в сопровождении Дубинского, несшего пухлую кипу исписанной крупным почерком бумаги. Барينوва окинула взглядом комнату, и глаза ее прикипели к Елецкому. А он пристроился на подоконнике, опершись на палку, и внимательно смотрел на Баринову, слегка покачивая головой из стороны в сторону. Наконец Анна словно очнулась и быстрыми шагами прошла и села на стул спиной к Елецкому. Резким движением указательного пальца приказала Дубинскому положить бумаги Дзукаеву на стол.

— Здесь — все. Прежде чем я буду отвечать на ваши вопросы, настаиваю на следующем. Все написанное — истинная правда. Лично я не повинна в смерти ни одного человека, я никогда не держала в руках никакого оружия и к акциям, проводимым гестапо во время оккупации этого города, отношения не имею. Ни в каких уголовных делах я не замешана. Напротив, на посту заместителя председателя правления сельпо и ранее я трудилась честно и за свой труд получала только одни благодарности. Во время оккупации я также была абсолютно лояльна по отношению к местному населению. Все, кто меня знают, могут это подтвердить. И последнее. Прошу суд учесть, что я женщина.

— Понятно, — согласился Дзукаев. — Почитаем, какую правду вы изложили...

Любопытная это была исповедь. Казалось, Баринова не скрывала ничего, не стремилась выставить себя в более выгодном свете. Она начала издалека, с детства, со своей семьи, Петра Баринова, подробно описала свои взаимоотношения с военнопленным, затем появился кузен Вилли Клотш, будущий группенфюрер СС, его советы, приезд в Россию. Она писала о работе экспертом-переводчиком в техническом бюро Отто Вольфа в Москве, затем о возвращении в Брянск и переезде в Смоленск. Можно было подумать, что она даже получала какое-то своеобразное удовольствие, живописуя свои взаимоотношения с мужем, а потом с Тарантаевым. Подробно описала она, как ей напомнили о ее долге перед Германией, но она, не желая бросать и намека тени на свою деловую репутацию, предложила использовать в качестве агента человека хитрого, но недалекого — Григория Тарантаева. Он и выполнял задания сотрудника германского посольства в Москве Курта Брандвайлера. О существовании этих заданий она, конечно, долгое время не догадывалась. Только с начала войны, когда появился Бергер и она стала его любовницей, некоторые из этих заданий прояснились для нее. Но об этом ей рассказывал уже сам Бергер, который в своей разведывательной деятельности подчинялся Брандвайлеру. Вот, собственно, и вся ее биография. Она, разумеется, признает себя виновной в том, что была связана с представителями германской разведки, но эта связь была сугубо личной, так сказать, интимной, и не наносила никакого ущерба советскому государству, в котором она жила и честно трудилась. Она виновата лишь в том, что знала о преступной, шпионской деятельности Тарантаева, но не донесла на него в органы НКВД, хотя как женщину, ее, в общем, нетрудно понять. Что же касается Бергера, то он, являясь офицером абвера, занимался вербовкой агентов в России с целью их длительного оседания после ухода немецких войск. Многих из них она видела в доме Бергера, даже запомнила их внешность, псевдонимы. Учитывая то обстоятельство, что по законам военного времени к ней уже по одному только подозрению в шпионаже может быть применена высшая мера наказания, она ставит в известность следствие, что, если ей будет твердо гарантировано сохранение жизни, она постарается вспомнить адреса оставленных Бергером агентов, а их около полутора десятков.

Дзукаев жирно, двумя линиями отчеркнул этот абзац и поднял глаза на Баринову.

— Эти агенты действительно существуют?

— Разумеется. Возможно, повторяю, я смогла бы их вспомнить. Но вы сами понимаете, мне нужны определенные гарантии.

Дзукаев кивнул и снова углубился в чтение. Он по несколько раз перечитывал отдельные фразы и абзацы и хотел понять, разобраться, что, какие пружины двигали этой женщиной. Она так спокойно и даже равнодушно, с массой вполне зримых деталей рассказывала о приходе фашистов, их карательной политике, несколькими фразами ярко охарактеризовала каждого из своих соотечественников, особенно Бергера и Курта, и во всем этом была какая-то совершенно непонятная Дзукаеву ирония, словно Анна выбрала себе роль беспристрастного судьи, для которого не существует таких понятий, как фашизм, предательство, убийство, а есть ситуация, положение вещей, акция...

Она не называла людей, в России их для нее не было, было население. Откуда же, думал Дзукаев, в ней такая ненависть к русским людям? Ведь муж ее был русским. Она пишет, что ехала в Россию с большими и честолюбивыми планами. Так что же это, неудовлетворенное честолюбие, крушение надежд? Видимо, мечтала о величии, а оказалось, никто не оценил ее «подвига», ее миссионерства среди дикарей, и пришлось ей работать, как всем в стране, и быть наравне со всеми. Но ведь она пишет и о том, что к ней относились хорошо, ценили, хвалили. Значит, что же, не так ценили, как ей того хотелось? И поэтому она с равнодушием палача смотрела на бесчисленные, немыслимые страдания людей, которым принесли смерть и горе ее соотечественники.

За чтением Дзукаев упустил момент, когда начался какой-то странный, отрывистый диалог между Бариновой и Елецким.

— Страсть к искусству? Ложь! Самый обычный грабеж, вот что это такое, — сказал Елецкий.

— Наполеон после войны с Египтом привез во Францию и тем спас и открыл миру древнее египетское искусство, — возразила Анна. — Я видела в Дрездене.

— Наполеон был таким же грабителем... Рангом выше... Дзукаев непонимающе посмотрел на Елецкого.

— Извините, майор, я просто вспомнил, что в кабинете Бергера висела масса наворованных картин и наших древ-

них икон, и поинтересовался, куда все это делось? А она, — он кивнул на Баринову, — стала объяснять, что это акция по спасению ценностей от варваров. Невероятный цинизм! Впрочем, те же слова говорил мне и Бергер.

— Да-да, — кивнул Дзукаев и снова принялся за показания.

И вот последняя страница. Что же, Барина, похоже, старалась писать свою «исповедь» искренно — о себе, о своих увлечениях, о своих знакомых. Она только старательно уходила от своего участия в шпионаже и преступлениях, творимых гитлеровцами. По ее показаниям, от Бергера шла прямая линия к Тарантаеву. А где же она сама?

— Каким образом вы завербовали Тарантаева? — как бы между прочим, спросил Дзукаев, не поднимая глаз от «исповеди».

— Я? — удивилась Анна. — Я ведь написала, что только указала на него Брандвайлеру в один из его давних приездов в Смоленск.

— Он разве не давал подписки о сотрудничестве с германской разведкой?

— Ну-у... нет, давал, — Анна насторожилась.

— Выходит, он знает немецкий язык?

— Думаю, нет... Определенно, нет.

— Кому же он давал, в таком случае, подписку?

— Мне.

— Уточните, она была на русском или на немецком языке?

— На немецком.

— Значит, это вы переводили ему текст?

— Я...

— А в каком году был завербован Тарантаев?

— Не помню, думаю, что в середине тридцатых.

Дзукаев нахмурился.

«Вот почему Тарантаев так старательно уходил от ответа на вопрос: когда познакомился с Бариновой. Значит, их связь тянется с тридцатых годов».

— А вот Тарантаев утверждает, что передавал свои сведения только вам, а вы — уже дальше.

— Он лжет.

— Нет, не лжет. Более того, из его показаний следует, что именно вам было поручено собирать данные о дислокации наших войск в западных областях накануне войны. Именно по вашим специальным спискам были уничтожены советские патриоты — тысячи людей. Тарантаев довольно

подробно рассказал об этом. Вот, — Дзукаев перелистал протокол допроса Тарантаева, отчеркнул карандашом на полях и протянул одну страницу Бариновой. — Можете посмотреть сами.

Баринова нервно выхватила лист, прочитала и отшвырнула его на стол.

— Все это гнусная ложь! Навет! Покажите мне хотя бы одного человека, которого я выдала!

— Оглянитесь, — просто сказал Дзукаев.

Баринова вздрогнула, медленно обернулась и встретилась глазами с Елецким.

— Это неправда! — воскликнула она. — Это тоже «заслуга» Тарантаева!

Елецкий молча засучил правый рукав, показал длинный шрам и негромко сказал:

— После того как вы отправились к обер-лейтенанту Рихарду за французскими духами, Бергер мне сам сказал об этом. От него же я узнал и о вашей профессии.

— Это в вас говорит месть, — после паузы зло сказала Анна. — Вы мстите мне за то, что Бергер поймал вас и... пытал. Как это подло, истинно по-русски — мстить женщине, когда не можете отомстить мужчине! Я понимаю, вы хотите убить меня без всякого суда! Какой тут суд, какие у вас могут быть законы?!

— Зачем горячиться? — пожал плечами Дзукаев. — Никто не собирается вас прямо тут убивать. И нет у нас такого права. Ставлю вас в известность, что советский суд вершится только уполномоченными на то людьми. Это в фашистской Германии, насколько нам известно, полностью отсутствуют правовые гарантии для граждан. А у нас их никто не отменял. Поэтому не будем горячиться. Не будем кричать на свидетеля. Вот вы, гражданка Баринова, обвиняете нас в самоуправстве, а сами тем не менее требуете гарантий сохранения вашей жизни. Обязан вас предупредить, я, как следователь, никаких гарантий вам дать не могу. Только военный трибунал может учесть ваши чистосердечные показания и вынести свое решение. Думаю, поэтому вам стоит вспомнить адреса агентов. Это очень важно для вас лично... Вам нужна бумага или будете диктовать?..

Анна долго сидела, не шевелясь, уткнувшись взглядом в чистый лист бумаги. Она трезво оценивала свое положение: с блефом ничего не получилось, игра подошла к финишу. Когда противнику известны твои карты, ты — в проигрыше. Оставалась единственная надежда пробудить ин-

терес руководства контрразведки к себе, как к опытному агентурному работнику. Все-таки ее знакомства и связи по ту сторону фронта значат немало. Кстати, и данные на полтора десятка агентов, оставленных здесь Бергером, но, по сути, находящихся под ее личным контролем, тоже должны быть оценены как акт добровольной сдачи. В конце концов, когда речь идет о жизни и смерти, что для нее эти пятнадцать отлично натасканных ничтожеств?! И Анна решительно протянула руку к карандашу.

В ожидании, пока Баринаева напишет, Иван Исмаилович Дзукаев медленно прохаживался по комнате. Остановился, оглядел присутствующих. Дубинский обхватил лицо ладонями и, казалось, дремал, но глаза его сквозь щели между пальцами пристально наблюдали за каждым движением Баринаевой. Отрешенно смотрел в окно Елецкий. Саша Рогов сосредоточенно выкладывал на столе из двух папирос и зажигалки какие-то фигуры. А думал сейчас наверняка уже о том, как будет разыскивать и брать бергеровских агентов.

Дзукаев взглянул через плечо Баринаевой: она уже заканчивала длинный список фамилий, имен, словесных портретов. Машинально отметил ее тренированную память, пробегающая список по диагонали, — это же надо столько держать в голове адресов, всяких подробностей, деталей! Взгляд вернулся к началу текста и споткнулся на фразе: «Когда встает реальная необходимость альтернативного решения: жизнь или смерть...»

После встречи с секретарем райкома Дзукаев выбрал полчаса и съездил в загородную рощу. Там производили эксгумацию трупов расстрелянных. Работал взвод саперов, пришло много народа, зрелище было невероятно тяжелым даже для военного человека. С высокого песчаного взлобка смотрел майор, как из-под слоя коричневой, будто пропитанной кровью земли, то там, то здесь появлялись скрюченные кисти рук, почерневшие ступни, головы убитых. И всякий раз дергался и ахал пожилой мужчина, стоящий поблизости, — несмотря на жару, на нем был брезентовый дождевик с опущенным на глаза капюшоном. Дзукаев следил за размеренным движением лопат, которые десятками живых маятников словно отмахивали время, и в сумбуре бьющих в виски мыслей явственной была одна: запомни... и никогда не посмей простить... или искать объяснение причин... запомни.

— Слушайте, Баринаева, — неожиданно хрипло произнес

он и отстраненно отметил метнувшийся к нему удивленный взгляд Саши Рогова. — Не забудьте написать, как вы помогали составлять специальные розыскные листы для гестапо. Ведь так назывались эти ваши списки официально? И с какой целью вы снова оставлены здесь в качестве резидента. Настоятельно советую больше не терять времени, а то ваш поезд может уйти...

Анне казалось всю жизнь, что она едет куда-то в дальнем поезде. И все, что было ее — собственное, настоящее — находилось в ее купе. А за окнами, летящее мимо — призрачное, никому не нужное. Она не знала, куда идет поезд. Она лишь ждала той, последней остановки. И она приехала...

Эпилог

В годовщину десятилетия Великой Победы, в один из жарких последних дней августа, Иван Исмаилович Дзукаев получил от своего давнего сослуживца неожиданное приглашение посетить московский Музей изобразительных искусств имени Пушкина, где должен был состояться торжественный акт передачи спасенных Советской Армией сокровищ Дрезденской галереи народу Германской Демократической Республики.

Предъявив свое приглашение, Иван Исмаилович прошел через зеленый скверик и поднялся в мощную колоннаду портика перед входом. Народу было очень много. Среди гостей Дзукаев сразу узнал известных писателей, артистов кино, отметил знакомые лица крупных военачальников. Вдруг военные как-то подобрались, вытянулись. По мраморной лестнице неторопливо поднимался, легко кивая в обе стороны, Георгий Константинович Жуков. Непривычно было видеть его не в маршальском мундире, сплошь увешанном орденами, как его изображали на всех портретах, а в великолепном черном костюме, с тремя золотыми звездочками Героя Советского Союза.

Хотя день был по-летнему жаркий, большинство гостей облачились в вечерние туалеты. Было душно, пахло духами, вспыхивали блицы фоторепортеров, под ногами змеились черные шланги и провода телевизионных установок и ослепляющих «юпитеров».

Все стихли, и до Дзукаева из глубины зала докатились

аплодисменты. Иван Исмайлович поднялся на цыпочки и через головы впереди стоящих увидел, как к микрофону чуть вразвалку подошел невысокий, с широкими покатыми плечами старик с артистически взъерошенной седой шевелюрой. Серый мешковатый костюм, ярко-голубой галстук-«бабочка», незажженная курительная трубка в руках — все это убеждало, что их хозяин — человек из мира искусства.

— ...Это символично и знаменательно, — немного растягивая слова и упирая на букву «а», говорил между тем оратор, — что картина немецкого художника, которым гордится все немецкое искусство, как бы скрепила узы между двумя народами. Выбор ее подтвердил, с каким огромным уважением относимся мы к многовековой культуре Германии...

Президент показал трубкой в бок, и Дзукаев обратил внимание на совсем небольшую картину в тяжелой золоченой раме, стоящую на высоком постаменте, затянутом вишневым бархатом. С этой картины началась, как он понял, передача всех остальных ценностей, заполонивших стены огромного музея.

Позже, когда речи закончились, погасли жаркие фонари и в зале стало сумеречно и даже прохладно, потому что толпа повалила в другие залы, Иван Исмайлович сумел подойти к картине.

«Альбрехт Дюрер, — прочитал он на табличке внизу рамы. — Портрет молодого человека».

Он посмотрел в немного грустные и внимательные глаза на портрете и вдруг вспомнил... Да, вспомнил высокий мост в Мейссене, ведущий к замку Альбрехтсбург, игрушечные, покрытые черепицей дома внизу, сбегаящие с холма к Эльбе, — всю эту прекрасную и радостную картинку маленького немецкого городка, словно возникшего наяву из сказок братьев Гримм.

Десять лет назад, в июне сорок пятого года, на этом мосту Дзукаев встретил Сашу Рогова. Они не виделись с сорок третьего, когда Рогов был ранен во время ликвидации фашистской агентуры на Смоленщине. Дзукаев ушел дальше, в Белоруссию, потом к Кенигсбергу, а Саша затерялся в госпиталях. И вот такая неожиданная встреча. Они вспомнили своих товарищей, с кем прошли долгий путь к Победе, а потом медленно отправились в замок. Рогов возмужал, посолиднел, отпустил рыжеватые усики, а волосы его совсем выгорели и стали цвета соломы. Он уже дослужился

до капитана, а Дзукаев после Кенигсберга стал подполковником. «Снова не догнал», — пошутил Саша.

В замке, которому, как заметил Рогов, уже пятьсот лет, было сумрачно и холодно.

— А вот тут, — он показал в угол, заваленный всяким мусором и мебельным хламом, — мы еще в мае знаешь что обнаружили? Картины Рембрандта, Рубенса и других художников. Величайших художников! Их фашисты спрятали здесь, привалили к стене прямо без рам и тряпками закидали. Сюда эксперты наши приезжали, говорили, что это еще куда ни шло. Тут хоть сухо. А вот другие картины в каменоломни, в шахты старые, в сырость запрятали и заминировали, чтобы взорвать, если мы подойдем. Представляешь, Иван, совсем озверели...

Они снова вышли на широкий, из каменных плит, замковый двор, прошли под башней на мост и остановились. Саша закурил.

Наступал вечер. Солнце, погружаясь в туманные расщелины горной Саксонии, стекало с островерхих черепичных крыш потоками расплавленной бронзы. Синие тени гнездились в кривых и тесных ступенчатых улочках города, мощенных многовековым стертым кирпичом и брусчаткой. У ног Дзукаева лежал Мейссен — родина знаменитого фарфора, помеченного синими скрещенными мечами. Чистенький, аккуратный немецкий городок. Тысячелетия не коснулись его. Ни чума, ни войны, ни мировые катастрофы. У подножья его все так же вилась широкая лента Эльбы...

«Но ведь и здесь, — думал Иван Исмайлович, — прошла война. Гремели орудия, шли танки. На этой же самой Эльбе встретились наши бойцы с американскими парнями, которые неизвестно зачем разнесли вдребезги Дрезден. Замок разбомбили, такую красоту уничтожили... Но почему же тем не менее этот Мейссен остался чистым и нетронутым?»

— Слушай, Сандро, — как когда-то называл Рогова Дзукаев, и Саша улыбнулся грустно и задумчиво. — Я видел, как наши джигиты в Кенигсберге охраняли памятник Шиллеру и могилу философа Канта. А в Веймаре, мне говорили, первым делом, как вошли, возложили венки к памятнику Шиллеру и Гете...

— А я сейчас вспоминаю тот наш городок на Смоленщине, где мы с тобой последнее дело о немке раскручивали. Не знаю, почему вспомнил... А-а, ну, конечно, она же родом откуда-то из этих мест. Из Саксонии... Кстати, чем

дело-то кончилось? Меня тогда чуть не пришил тот агент, век его, гада, помнить буду...

— Да чем кончилось?.. Быстро не кончилось. Взяли мы в общей сложности четырнадцать агентов. Следствие затянулось еще на месяц. Но начальство пошло навстречу, увидели, с кем дело имеем. Больше восьми тысяч погибших на совести этих мерзавцев. Потому так долго. Сам Зеленин, начальник управления контрразведки фронта, разрешил продолжать следствие. Он потом нашу разработку приказал, как хороший пример, Сандро, обсудить на совещаниях во всех отделах. Ну, а потом что? Трибунал, приговор: смертная казнь. Силина помнишь, нашего коменданта? Вот сам и расстрелял... Да, Сандро, совсем забыл! Нас же всех к орденам представили! Полковника Митрофанова помнишь? Начальником отдела контрразведки армии был. Вот он и представлял. Тебе вручили?

Рогов отрицательно покачал головой, усмехнулся.

— А что хоть дали-то?

— Как что?! Орден Ленина! Неужели не нашли тебя?

— Да, видать, все ищут, — снова усмехнулся Рогов.

— Найдет, дорогой! — воскликнул Дзукаев. — Как же так? Обязательно найдет орден такого джигита!

— Ладно, — вздохнул Рогов. — Найдет — так найдет... Вот войну закончили — это главное. Ты сейчас сказал: фашисты уничтожали, а мы — охраняем всеми силами... Знаешь почему? Все очень просто. Ведь это они, а не мы стреляли в парламентариев. Они, Иван, несли гибель миру и жутко боялись наказания. А нам дано избавить мир от фашизма. И в этом наша миссия.

Долго стоял Дзукаев у портрета молодого человека и вспоминал своих фронтовых друзей. Уже народ начал расходиться. Дзукаев, спохватившись, чуть не бегом обошел залы музея, не успевая даже читать, что написано на табличках под картинами и кто их рисовал, запомнил только, что было их много, очень много, и были они большие, и на каждой — живые люди, жившие в разные времена. А потом он вернулся к молодому человеку, которого четыреста лет назад изобразил немецкий художник Альбрехт Дюрер, и попрощался с ним, просто, по-мужски, молча, как расстаются с хорошим другом и не знают, даст ли вечное время возможность когда-нибудь свидеться.

СОДЕРЖАНИЕ

3 Мой друг Сибирцев 271 Следователь особого отдела

**Виктор Евгеньевич
Вучетич**

ПЕРЕДАЙТЕ В «ЦЕНТР»

Повести

**Редактор М. Вострышев
Художник Р. Сурвилло
Художественный редактор А. Дианов
Технический редактор Л. Демьянова
Корректор Г. Панова**

ИБ № 4905

**Сдано в набор 18.09.87. Подписано к печати 24.03.88. А10051.
Формат 84×108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип.
№ 2 кн.-журн. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,36. Уч.-изд. л. 27.
Тираж 100 000 экз. Заказ 116. Цена 2 руб.**

**Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза
писателей РСФСР**

123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

**Типография № 2 Росглавополиграфпрома, 152901, г. Андропов,
ул. Чкалова, 8**

Виктор
Бучеткин

ПЕРЕКЛАДЪ
С

ИЗЪ